Цена 90 коп. 23-1-74 Индекс 73293


# МОСКОВСКИЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ДРУЖБА»

**ПРЕДЛАГАЕТ АЛЬБОМЫ ИЗ СЕРИИ «КЛАССИКИ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ» РУМЫНСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЕРИДИАНЕ»:**

**Антуан Ватто.** (1684—1721). Бухарест, 1985. Текст на фр. яз. — 69 цв. и черно-бел. репродукций картин французского художника.

**Герард Терборх.** (1617—1681). Бухарест, 1985. Ц. 2 р. 65 к. Текст на англ. яз. — 62 цв. и черно-бел. репродукции произведений голландского живописца.

**Грюневальд.** Бухарест, 1985. Ц. 5 р. 31 к. Текст на нем. яз. — 59 цв. и черно-бел. репродукций произведений немецкого художника XV—XVI вв.

**Клод Лоррен.** (1600—1682). Бухарест, 1983. Ц. 4 р. 41 к. Текст на англ. яз. — 55 цв. и черно-бел. репродукций произведений живописи французского художника.

**Поль Сезанн.** (1839—1906). Бухарест, 1984, Ц. 4 р. 86 к. Текст на нем. яз. — 63 цв. и черно-бел. репродукций произведений французского художника.

В альбомах представлены репродукции картин из крупнейших музеев мира.

**...АЛЬБОМЫ ПОЛЬСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА «АРКАДЫ» ИЗ СЕРИИ «В МИРЕ ИСКУССТВА» НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ:**

**Вит Ствош.** Варшава, 1985. Ц. 10 р. 80 к. — 9 цв. таблиц и 43 черно-бел. репродукции, знакомящих с творчеством (резьба по дереву) всемирно известного мастера XV—XVI вв.

**Лоренцетти.** Варшава, 1985. Ц. 10 р. 80 к. — 20 цв. и 23 черно-бел. репродукции произведений монументальной живописи итальянского художника XIV в.

**Тинторетто.** Варшава, 1984. Ц. 9 р. — 16 цв. и 23 черно-бел. репродукции картин итальянского художника XVI в.

**Адрес магазина:** 103784, Москва, ул. Горького, 15.


«Октябрь», 1988, № 6, 1—208.

1988 6 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

# ОКТЯБРЬ

6

1988




# ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

1988

ИЮНЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

## В НОМЕРЕ:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ



### ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

© Издательство «Правда». «Октябрь», 1988.

В. ПОМЕРАНЦЕВ

# Итога, собственно, нет...

РОМАН

*Человек судьбу не выбирает. Но человек обретает себя в своей судьбе. На этом жизненном пространстве он либо вырастает в нечто, либо превращается в жизненную пыль.*

*Владимиру Померанцеву выпал удел быть Стоиком. Если угодно — максималистом в том высоком смысле слова, когда невозможно ни при каких обстоятельствах, сверхэкстремальных и сложных, разменять правду, погрешить против совести, за что и принять муки и не сломаться при этом.*

*Он был способен на поступки неординарные. В 1953 году в 12-м номере журнала «Новый мир» появилась статья «Об искренности в литературе», автором которой был Владимир Померанцев. Статья — манифест, статья — потрясение. Непросто было написать такую статью; то был факт не только таланта, но и гражданского мужества. Однако вряд ли меньшим было мужество Александра Твардовского, опубликовавшего эту статью в журнале, который он в ту пору редактировал.*

*Не стану опережать событий и говорить что-либо о романе, предложенном вашему вниманию журналом «Октябрь». Скажу о другом. Если бы меня спросили, что наиболее характерно для творчества Владимира Померанцева, чем оно отличительно, я бы ответил: он был редким психологом, знатоком человеческой души. И, может быть, эта черта делала его прозу страстной и доверительной одновременно. Но одно бесспорно: все, что он писал и как прозаик, и как публицист, имело главную идею — справедливость, обостренное чувство человеческого достоинства.*

*В утверждении человеческого достоинства он видел свое предназначение. Будучи юристом по образованию — и на практике юристом блестящим,— он не раз противостоял надругательству над справедливостью. Казалось бы, в том и есть призвание истинного юриста. Но сделаем уточнение: Померанцев поступал так в тридцатые годы.*

*И снова мысленно я возвращаюсь к статье «Об искренности в литературе». Она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ее с таким же успехом можно было назвать «О партийности в литературе». Но мы так далеко ушли от этих сущностных понятий, мы произвели к тому времени столько лжи, что возвращение к нравственным истокам — правде, совести и чести — тем, кто вершил судьбы культуры и литературы, в частности, показалось оскорбительным.*

*После публикации статьи началась длительная опала Померанцева. Бюрократический аппарат, чиновники от литературы мстили автору. За пять последующих лет он практически не смог опубликовать ни строчки. Потом стало чуть легче, но ненамного. Лучшие работы Померанцева придут к читателю после его смерти.*

*Не скроем досады и боли: не он первый. Ему предлагали отречься от своих убеждений, написать покаянное письмо. Была у нас такая хорошо отлаженная практика — писать покаянные письма и отрекаться. Но Померанцев остался верен себе.*

*Литература, лишенная искренности, правды и чести, есть занятие рабское, а значит, бесплодное, неспособное подвигнуть к свободомыслию, справедливости и добру.*

*Так он считал, так он жил, таким остался в своем творчестве. Ярким, честным писателем. Стоиком и романтиком.*

*Олег* ПОПЦОВ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### *Глава 1. Повеса, бунтарь и свободная певчая птица*

Ты сам в свое время надоумил меня написать этот обвинительный акт. Оба мы были тогда еще молоды, и ты просил, чтобы дружба не обрывала мой голос, если увижу, что ты начинаешь меняться, говорить не то, жить не так... И вот я теперь делаю это. Делаю вовсе не с тем, чтобы возвратить тебя себе самому. Ты уже не способен сделаться преж-

ним, и не стал бы я ныне тратить силы на то, чтобы заставить тебя заглянуть в себя. Нет, я пишу не с душеспасительной, а со злонамеренной целью — чтобы невмоготу тебе было читать, чтобы разные замысловатые блюда, которыми славится среди знакомых твой дом, показались им менее вкусными, чтобы задумалась дочь твоя...

Эта книга — разрыв с тобой. После нее перестану получать от тебя к праздничным дням поздравительные, не услышу по телефону покровительственно доброго баска твоего, не буду пить в новогодние ночи удивительных вин, засургученных еще до того, как мы родились. И где только они добывались тобой, эти корзиночки неправдоподобно старых бутылок? Как могли уцелеть, когда все винные подвалы страны испытали столько нашествий! Или ты это сам придавал им вкус и облик столетних? Может быть, после шампанского и всяческих водок повеселевшие гости просто не умели уже распознать? Но рюмки ты наливал так торжественно, что все верили в тайники, не откопанные немцами в замурованных подземельях Массандры, и пили эти несколько заветных глотков с пиететом, пили вкушая и, разумеется, за здоровье хозяев, у которых все так особо, так на редкость изысканно...

Ты очень радушен. Всегда был таким. Даже в юности, когда угощать было нечем. Семья ваша жила чем попало, мать пускала нахлебников да пекла хлеб за припек, а ты умудрялся приносить нам в школу свежие ломти. Помню, как ты налавливал пескарей и другую рыбешку, мать варила ее марлевым узлом в чугуне, а нельма потом лишь увенчивала этот настой, клалась для пущей пахучести, и получалась уха, которой ты кормил заходивших друзей. Она была крепчайшей, наварнейшей, какой я потом не едал даже в дорогих ресторанах.

Сдружились мы подростками, когда ты побил голубятника. Помнишь этого Кольку, нашего сверстника с пушком на губах и зачатками баков, чему мы тогда сильно завидовали? Завидовали и другому его превосходству: орудуя на птичьем базаре, он бывал всегда при деньгах. Но на другом конце улицы у него жил соперник, и тот обладал сизо-ленточным, приводившим к нему чужих турманов. Колька жил в вечной опаске за своих голубей, и сизо-ленточный сделался его лютым врагом. Неведомо, как он этого врага залучил, но стало известно, что заколол и сварил. Это была гнусная расправа с перехитренным противником, с красавцем, которым любовались все мальчишки квартала. И, когда на помойке обнаружен был его отодранный хвост, ты, потрясенный, не посмотрел, что Колька много сильнее тебя, и схватился с ним. Этот честный порыв восхитил меня, и синяки на лице, с которыми ты потом долго ходил, были в глазах моих боевыми ранениями. Кажется, именно после этого случая я и стал искать твоей дружбы.

Но особенную тягу к тебе я ощутил после истории с сахарницей.

То были годы пресловутого нэпа. На главной улице города открылся магазин, продававший без карточек белую муку, шоколад, сухие колбасы, сыры. У витрин собирались толпы глазевших... И начали горожане стягивать с пальцев обручальные кольца, отчищать зубным порошком пробу на почерневших подсвечниках, искать рубли царской чеканки. Мой отец отнес сахарницу. Кейфовали мы на нее несколько дней, а потом в городе стало известно, что у поддавшихся соблазну гурманов идут обыски с выемками. Собрал тогда отец столовые ложки, оставшиеся после матери кольца, щипцы для сахара, чайные ситечки, сунул их в банку из-под ландрина и отправился ночью в сарай закопать ее. Случилось так, что ты в это время возвращался домой, заметил в сарае мерцание свечки, подкрался, чтобы схватить татя ночного, и увидал...

— Я собираюсь вступать в комсомол, — хмуро сказал ты мне утром. — Пусть твой отец в другое место запрячет... Тогда я буду не знать и не должен буду ничего сообщать...

Это было чудесно-наивным решением смутившей тебя моральной проблемы, но я преисполнился к тебе уважением за самую попытку решать. Все мы, твои ровесники, были бездумнее...

Восторгался я и твоим бескорыстием. Помнишь, как мы ездили целой ватагой за солью, чтобы выменять ее у бурят на муку? Нам было тогда по двенадцати, и в путь мы пускались впервые. Он привел в поселок Усолье, названный так потому, что расположился у источников соленой воды. Мы обступили колодцы, из которых ее насосом выкачивали, долго наблюдали за вываркой-выпаркой, и этот нехитрый процесс показался нам тогда чудом механики. Потом мы ходили на фабрику «Солнце» смотреть, как делают спички, и мазались прославленной целебною грязью. Ревматиками мы тогда еще не были, но нельзя же было не испытать на себе, для чего эти ревматики ездят сюда. На другой день мы выменяли старые бритвы, ножи, безмен и будильник — кто что имел — на соль, которой было в каждом дворе на три поколения, и, не боясь грыжу схватить, поволокли ее к поезду, с поезда — в какой-то улус. В отличие от женщины в «Соли» у Бабеля мы тащили мешки совершенно открыто и не претерпели с ними никаких злоключений. Но когда мы уже были у цели, ты увидал в юрте ружье... За возможность пострелять в беспределье и за несколько горсточек пороха пришлось пожертвовать половиной муки. Порох мы поджигали на обратном пути, чтобы хлопать в ладоши при вспышках. А потом мы тебя ругали за то, что вовлек нас в соблазн, что промытарствовали трое суток за пшик, и ты, сознавая вину свою, отказался от доли. Мы доставили тебе ее все же домой, ты отнес ее кому-то назад...

...Вижу тебя кричащим, взволнованным возле детской коляски, брошенной у порога трактира. Ты ищешь денег, чтобы выручить из этого трактира ребенка, оставленного в залог алкоголиком. Он был уверен, что жена прибежит и выкупит сына, а та спокойно возилась дома на кухне, будучи тоже уверенной, что раз муж гуляет с ребенком, то в трактир не зайдет... Покинутый мальчик захлебывался в коляске от плача. Его адреса никто толком не знал. Трактирщик проклинал все на свете, а ты ругал его на всю улицу, и он готов был отдать что угодно, лишь бы ребенок вместе с тобой провалился в тартарары. Но когда ты порывался взять коляску и отправиться на поиски матери, он требовал, чтобы с ним расплатились... Возле вас собралось много зевак. Я их вижу сейчас, когда пишу эти строки. Они возмущаются зверем-отцом, поносят кабатчика, принимающего живую душу в заклад, сюсюкают, пытаясь успокоить ребенка, посылают друг друга за молоком, за милицией, но никто не хочет платить за выпитую пьяным родителем водку, унести ребенка к себе, разыскать его дом... Ты, подросток, единственный проявляешь решительность, катишь коляску, и тогда за тобой движется толпа добровольцев...

Ты инструктор ликбеза. Под твоим началом двадцать пять ликвидаторов, таких же школьников пятнадцати-шестнадцати лет. Ты горд своим назначением, своею ответственностью. Проводишь теперь все вечера в депо, на стекольном, кожевенном, и я неделями не вижу тебя. Потом встречаю с какой-то худенькой девочкой. «Оля, — представляешь ты ее, чуть смутившись, — ликвидатор на мыловаренном»... Потом как-то утром, задолго до школы, ты у пузатой афишной тумбы на углу нашей улицы. Афиш не разглядываешь, а быстренько, воровски, чтобы никто не видал, что-то малюешь на них. Скрываешься за углом, а я, охваченный любопытством, подбегаю к столбу. Всматриваюсь и различаю над тенорами, лекторами, боксерами послюнявленный химкарандаш: «Там же 7 ч.», «Там же 7 ч.», «Там же 7 ч.».

Годы и воспоминания путаются, я перескакиваю от одних эпизодов к другим без последовательности, без хронологии и сижу с тобой, бледным, подавленным, на лавочке у наших ворот. Мы оба молчим. Еще недавно ты был гордостью нашего курса, известным всему городу фельетонистом газеты, желанным в приятельском кругу человеком, а теперь отовсюду изгнан, заклеймен, ошельмован, и некоторые стали даже сторониться тебя... Эх, несдержанность твоей прямолинейной натуры! Ну разве можно было надавать пощечин редактору! Разве можно было ставить на карту свой заработок, свой студенческий билет, свое будущее! И, главное, из-за кого?! Из-за какой-то воровки! Соучастницы громкого уголовного дела. Служащей бюро хлебных карточек, где их крали и продавали... Ты должен был писать об этом деле отчеты в газете, а фоторепортер — заснять подсудимых. Но женщина увертывалась от объектива и, пока фотограф упорно старался поймать ее профиль, билась в истерике. «У меня дети, — кричала она, — пожалейте детей!» Эти крики остались в ушах твоих, и ты умолял редактора не помещать фотографии. Тот сердился, даже кричал на тебя, но ты наседал на него, не отступался. «Ну, хоро-

шо, черт с тобой, — не выдержал он, — поставим другое клише, отвяжись». Ты облегченно вздохнул... Утром конвой дал подсудимым газету с их фотографиями. Днем, когда их вели во двор на обед, женщина бросилась через перила в пролет. Вечером в типографии при десятках наборщиков ты бил редактора по обеим щекам, потом побежал к печатникам, схватил ведро краски и плеснул на него. Редактор уехал из города, а тебя вышибли из газеты, из вуза...

Не помню теперь, кто и как возвратил тебя после этого в жизнь, но помню деревню, в которую нас послали воевать против масленицы. Мы читали какие-то антирелигиозные и антиалкогольные лекции, но сами не сдюжили ни бога, ни водки. Лекторов понесло, закружило... Одуренные медовухой, мы горланили песни, катались на розвальнях, выталкивали друг друга в сугробы, целовались с несчетными девушками и бессильно отбивались от них, когда они гурьбою валили нас, притащив дрова и веревки. Это был здесь на масленой веселый обычай, какого потом я уже нигде не встречал, — холостяку привязывалось полено к ноге, и он должен был его волочить, пока не давал слово жениться. Ты хохотал и молил, давал обязательства направо-налево, и тебя били за такую сговорчивость.

А как чудесно мы безобразничали, когда твои мать и сестра уехали однажды на лето в деревню и ты остался в квартирке один! В запальчивой оппозиции к соседям, ложившимся с первой звездой, и вообще ко всему степенному, благоразумному люду ты надписал над входной дверью своей: «Дом для блуда и пьянства». Вызвал желанную бурю негодования всей нашей улицы. А на деле мы меньше пили, чем просто шумели, меньше распутничали, чем просто ухаживали, и часто даже ревновали, вздыхали. А когда в «дом для блуда и пьянства» нагрянули милиционеры с понятыми, с возмущенными гражданами, они не застали в нем ни девушек, ни даже бутылки вина. В тот вечер ты читал мне свой доклад о покорявшем тогда Европу философе.

Какой овацией сопроводили потом на факультете твое выступление! Сколько разговоров было о нем! А отчего? Ведь ошеломить нашу аудиторию было непросто. У нас подобрался тогда очень крепкий народ, и были парни много начитанней, было несколько человек полиглотов, были ораторы со свободно лившейся, безукоризненной, отточенной речью. Ты уступал этим звездам, но именно ты нас всех взбудоражил, именно тебя стали потом называть, говоря, что среди нас вызревают заправилы будущих дней. Это оттого, что в тебе не было ничегошеньки вялого, вражда и симпатии выражались напрямик, безоглядочно, в страстях чуялась сила неукрощенности и все твои утверждения шли от сердца и обращались к сердцам.

Хорошо помню здравый и, казалось, безответный вопрос, который философ задавал, а ты разрешал. Если меркой добра и целью стремлений людей является счастье, то почему, спрашивал он, это должно быть счастье других, а не мое... Пусть эта каверза была антиреволюционна и полна разъедающей горечи, но одолеть ее логическим путем было трудно. Ответ на нее подсказала тебе собственная сущность твоя, недаром через три года, на выпускном вечере, ты самовольно снял с тортов шоколадных зайцев и вынес их заглядывавшей в окно детворе. О, ты совсем не считал, что вся радость человека должна сводиться лишь к той, что он доставляет другим, но знал, что никому не удается смеяться, если за стенкой плачут.

Ты мало оперировал учеными мнениями, как это делали другие докладчики, заставлявшие многочисленных авторов между собою сшибаться. Это было занимательным спортом будущих профессоров и доцентов, и чем больше имен они сталкивали, тем умней слыли сами. А ты, не помышлявший об ученой карьере, рассказывал, как зябко становится человеку в тулупе и валенках, встречающему человека в ботиночках... Ты говорил о неполноценности радости, которую дает тебе будоражащая умная книга, не прочитанная, однако, твоими друзьями. И помню, ты сравнивал устройство человеческих обществ с многоярусностью городского театра, где с галерки ничего не видать. Одни люди изощряют свой ум в тончайших произведениях мысли, другие неграмотны, а третьи живут в такой дикости, что и о самом существовании грамоты им неизвестно. Зрелищные залы и мир, говорил ты, должны строиться так, чтобы всем отовсюду все одинаково видно было.



Вольнолюбивая и войнолюбивая у тебя натура была! Как мы хохотали, когда ты напугал мадам Н. и она бросилась в бегство! Это была жена известного в городе деятеля, раздобревшая дама в каракулях. Мы повстречали ее, ты подошел к ней: «Скажите, гражданка, вам удается спать без снотворного? Ведь сколько овечек из-за вас жизни лишились. А вы от этого прекрасней не стали. По-моему, вас должны мучить кошмары из-за даром пролитой крови...» Она обомлела и в ужасе, словно ты собирался снять с нее этот мех, быстро-быстро засеменила своими коротенькими ногами-кувалдами...

А скандал, учиненный тобой профессору-медику! Он приезжал к отцу одного из наших студентов, взял за визит полстипендии, выписал дорогие рецепты, прохмыкал несколько подбодряющих слов. А знал, что пациента к ночи не станет... Ты поймал этого эскулапа-стяжателя в клинике, окруженного ассистентами в белых халатах, и вручил ему счет, выписанный похоронным бюро... Об этой истории говорил потом целый город.

Ты действовал, как побуждала душа, и не умел подчиняться порядкам, приходившимся не по тебе. Не страшился поднимать иногда на собраниях одинокую руку... Так было в истории с К., исключавшейся из комсомола за то, что помогала матери тайно портняжить, скрывая от финотдела свой заработок. Так было и в случае с отправкой на дровозаготовки в тайгу, когда ты утверждал, что обязывать к этому можно лишь тех, кому выдадут валенки. Так было и с делом девчонки, которую лишали стипендии, потому что она-де имела доход, продавая на рынке присылавшееся ей матерью сало... «Как можно идти против целых собраний!» — шептали иные друзья твои, уговаривая держать при себе все эти небезопасные мнения. Ты отвечал, что тебе легче высказывать их, чем разделять безопасные. «Есть что-то внутри у меня посильнее собраний... не позволяет оно... не могу...»

Видишь, сколько на моей памяти отрывочных, но не бессвязных историй. Я единственный из всех, кто ныне приходит в твой дом, знал тебя и повесой, и бунтарем, и свободной певчею птицей. Единственный, кто может еще распознать в твоем пожилом лице прежние молодые черты. У меня, между прочим, сохранились и некоторые старые снимки. Вот групповой, всего выпуска. Ты среди тех, что сидят на полу, в ногах у первого ряда. Наверное, потому оказался не в центре, что был добродушно-покладистым и сел, куда распорядился фотограф. Лицо твое, обычно всегда выразительное, улыбчивое или нахмуренное, здесь выглядит глуповато-удовлетворенным, бездумным и похоже на... Мне его не с чем сравнить, но раз взялся писать о тебе, то какой же автор я буду, если сравнения не подберу... похоже оно на твое собственное лицо в те минуты, когда ты последнего в лузу укладывал и на выигранный рубль поил пивом партнера. «Играл без отыгрыша, а обыграл, — читается на этом лице, — балбесничал четыре года, а кончил».

Мы не так уже часто встречались в последние годы — по торжественным дням или в случаях, заставлявших меня прибегать к тебе, — но нас связывала почти целая жизнь, и потому эта дружба казалась пожизненно прочной. Люди, с которыми сближался ты позже — по совместной работе, общественным нитям или через жену, — занимали больше места в твоей жизни, чем я, но это были знакомства, приятельства, а не сплетенности. Такие сплетенности образуются лишь совместною молодостью, совместным старением. Тем больнее, тем глубже поранит тебя наш разрыв...

О, ты, конечно, во мне не нуждаешься. Никогда ты не обращался ко мне за какой-нибудь надобностью. Наоборот, просителем время от времени бывал только я. И поэтому любой арбитраж, который собрался бы нас рассудить, несомненно, счел бы тебя сейчас стороною страдающей, а меня — незаслуженно причиняющей горечь. Но подумай, признайся себе и скажи: разве не приношу я и себе много горечи, решаясь гласно от тебя отмежевываться?! Разве неясно, что для этого нужно было в чем-то больно-больно разочаровываться, чему-то долго-долго накапливаться?..

Ведь сначала я думал не рвать нашу связь, а предать ее угасанию, находить предлоги не бывать у тебя, не приглашать самому... И если сел потом все же писать — значит, иначе не мог, значит, так нужно...

Твоя молодость молода была по-настоящему, то есть в ней было все: умственная свобода, девушки, книги, пиры, нужда, правдоборство, труд, лоботрясничество и органическая уверенность в будущем. Помню тебя в латаных валенках и помню на тебе модные в те времена роскошные высокие бурки, заведенные на подвернувшийся заработок. То ты ходил в одном несносимом лоснившемся френче, то появился вдруг в новенькой, от самого дорогого портного, студенческой куртке. У тебя никогда не было обилия денег, отнимающего волю к труду, и ты часто писал что-нибудь целые ночи, чтобы получить в редакции пять-шесть рублей, или листал словари, чтобы за такую же сумму вдохновенно перевести для чьей-то ученой корысти целый ворох статей с едва знакомого тебе языка, но тебе жаль было гасить этими нелегкими заработками накопившиеся счета за квартиру, и ты тратил их на любопытные книжки, пароходный рейс до Ольхова с какой-нибудь девушкой или просто на очередной сабантуй.

С деньгами у тебя вообще часто случалось неладное. Однажды ты взял аванс под положительный очерк о первом трактористе Сибири, а тот хоть и был человеком новой профессии, опоил тебя совершенно по-старому, ты ничего в предназначенный номер не сумел написать и принужден был потом долго доказывать, что тебя вовсе не тянет к вину, что это так вышло... Пил ты действительно не больше других, только в компании, и любил ее не ради вина, как и читал ты не ради чего-то, а ради читаемого, испытывая от этого чистую радость и умея — что лишь чистым людям дано — становиться все лучше и лучше по мере запечатления книг. Ты переходил и от одной глупости к следующей, и от одного умного дела к другому. Мог проиграть в бильярдной половину стипендии и мог в то же время, заспорив с профессором, отвергавшим психологическую теорию права, запоем прочесть десятки книг об этой теории и написать потом собственную, пусть не изданную, но зато доказавшую, что ч у в с т в о права не менее важно, чем н о р м а его, и законодателю следует постоянно заботиться, чтобы она не бывала в разноречии с ним. В тебе вперемешку уживались многие страсти и склонности, из избытка натуры своей ты мог черпать самое разное, на любые предприятия был готов, кроме низких, и ненавидел только одно — всякого рода преснятину.

В тебе, наверное, не было четких склонностей и больших дарований — журналистикой ты лишь прирабатывал, а правоведом не стал, — но была большая душа, и рядом с ней бледнели талантики, а темные вопросы светлели. Тут, вероятно, имело значение, что в отличие от нас, горожан, проводивших детство в базарных рядах, среди скучных заборов и кирпичных амбаров, ты часто живал под Хамардабаном у дяди. До высокого прибайкальского пика доносились только чистые звуки природы, с него становились зримей другие хребты, на нем лучше чуялись излишества людской суеты на низинах земли, мир оттуда виделся мне ясней, много непосредственней, проще... Ты любил и поездки в рыбацкие поселки, на заимки, в деревни, привозя оттуда свойственную неискушенному люду свежесть взгляда на вещи и ту доброту, с которой в Сибири привыкли обогревать и кормить проезжающих. Да, если бы характер твой складывался т о л ь к о среди горожан, в нем недоставало бы многого, что отличало тебя и от книжников, и от повес.

Добрыми были и твои авантюры...

Вел у нас семинары по уголовному праву омерзительный тип, крутившийся в чьих-то передних и выхлопотавший себе там доцентуру. Ортодокс за пюпитром и циник в душе, похотливый, как суслик, скабрезный, он подбирал все казусы только из области половых преступлений, словно других не совершалось вообще, при этом выискивал случаи самые пакостные, вгонявшие девушек в краску, и всегда норовил принимать от них зачеты у себя на дому... На него много раз жаловались, против него было много свидетельств, но выгнать его было трудно, его постоянно спасала чья-то рука. Но вот однажды от него в слезах убежала студентка,



и случилось так, что ты с ней столкнулся на улице. Она рассказала... Ты бросился за мной, за другими приятелями, и мы тут же отправились к нашему нравоучителю на дом. «Даем вам неделю, чтобы уехать из города, — объявил ты ему. — Защиты ни у кого искать не пытайтесь. Если на нее понадеетесь, вам не помогут уже и в хирургической клинике...» Он понял, что это серьезно, что ты ему действительно переломаешь все кости, и уложился в назначенный срок...

Ради хорошего дела ты решался и на анархистские выходки, и даже на остроумный шантаж. Однажды к одному из студентов ушла от родителей девушка. В общежитии их приютить не могли, денег на комнату не было, и молодожены поселились в конце коридора, отгороженные лишь занавеской. Прожили так несколько суток, потом комендант стал их гнать. А уходить было некуда... Узнав об этой печали, ты пораскинул мозгами и... накропал вирши о клоповнике. Отправился с ними к владельцу подворья. Так назывались гостиницы. В городе их было немало, они между собой конкурировали. Хозяин подворья тоже пораскинул мозгами и предпочел пустить к себе бесплатных жильцов, вместо того чтобы ты пустил в ход стихи о клопах, которые-де у него заедают...

## *Глава 2. Как в старинной новелле*

Но самой большой авантюрой была твоя собственная женитьба, твоя победа над своенравной москвичкой. Я знал эту красивую, капризную женщину, с которой ты прожил несколько лет, и помню ребенком дочку твою, которая ныне сама уже мать, инженерствует и изредка приезжает в Москву. Тогда она была миловидной девушкой, которую, словно собачку, прогуливала по набережной очень молоденькая, но и очень надменная мама. Надо признать, что не только по тем временам и не только на взгляд обитателей далекой провинции, каким был в ту пору наш город, в этой женщине ощущалась порода, были элегантность и шик. Но как не вязался ее облик с твоим — простодушным, открытым, веселым...

Вероятно, именно эти черты да чуявшаяся нутряная сибирская сила, переданная поколениями приангарских крестьян, и остановили на себе взгляд балованной девушки, которой наскучило общество разных влюбленных очкариков. Ее изнеженное нервное тело потянулось к тебе... Впрочем, дочь члена правления банка, изучавшая иностранный язык, полагая, что это и есть специальность, не решилась бы на столь нешуточный жизненный шаг, не будучи совершенно уверенной, что ее будущий муж и житейски тоже прочно устроен. Для этой надежды были, казалось, все основания...

Но они породились мистерией... Ты завоевал эту паву, как гусар, умыкатель, персонаж позабытых итальянских новелл, как герой водевилей, в которых любовник проникает в дом девушки под видом слуги или слуга принимает обличье маркиза. Вернее, ты сам своею женитьбой написал водевиль, придумал веселое действо о том, как нищий провинциальный студент перехитрил многоопытных столичных мещан.

Занимал в ту пору небольшую квартиру в так называемом Доме правительства — сером, закрывающем солнце массиве неподалеку от Кремля — большевик, живший когда-то в Сибири на поселении и снимавший комнатушку в вашей семье. Ты был тогда еще маленьким, знакомства этого никак не запомнил, но из памяти матери оно не изгладилось и впоследствии стало почетным. Когда ты поехал с экскурсией столицу смотреть, она дала тебе с собою письмо к нему. Старичок принял тебя по-отечески, настоял, чтобы ты у него поселился, а через несколько дней забрал с собой дочь и уехал к кому-то из тогдашних заграничных светил оперироваться. Тебя он оставил в своей квартире калифом.

Лето стояло в тот год очень душное, улицы разворочены были стройкой метро, ведшейся еще докессонными способами, большинства нынешних достопримечательностей города не было или их нельзя было видеть, и ты, обежав театры, музеи, бульвары, бросился в Москву-реку охлаждаться. На пляже нежилась великолепно сложенная девушка с полудетским лицом. С ней были парни, но ты не смог не заметить, что посматривала она на тебя... Потом ты решил покататься, осмотреть с реки московские набережные, долго стоял за байдаркой, а когда подошла твоя

очередь, подошла и компания с девушкой. Им предстояло ждать на жаре, и девушка изобразила недовольную мину. Парни почувствовали себя виноватыми. «Можем вместе,— предложил ты любезно,— сейчас моя очередь». И взял не байдарку, а шестивесельную. А на веслах... ну, что за гребцы были рядом с тобой, с малолетства привыкшим одолевать Ангару: какой-то близорукий филолог, какой-то труженик консерватории по классу смычка, какой-то деятель с ключом от запасника музея кустарной игрушки или высокий, но не умевший надеть весло на уключину, не умевший даже плавать брат девушки! На прирученной, беззлобной столичной речушке ты греб за всех, греб играючи, и девушке чудилось, будто ее несет вечным двигателем, несет по воздуху, неизвестно куда...

Но и тебя понесло... Прогулка на лодке положила начало знакомству, без которого все остальное стало бы уже нелюбопытным в Москве. Ты не находил теперь времени для земляков, с которыми прибыл, и когда они уезжали смотреть чудеса Ленинграда, оставался в Москве... И когда они возвращались в Сибирь, задержался... Тебе было тогда двадцать два, женщин ты знал уже и городских, и таежных, насмотрелся и на чужие романы и сам не мог поверить себе, что втюрился вдруг, словно школьник, и что это так цепко...

Но ты не открылся ей. Не сказал, что приезжий. Сказал лишь, что родился в Сибири, живал там. И вообще мало говорил о себе... Чуял, что Сибирь для нее слишком далека и морозна. Как и для ее благоразумных родителей... Когда ты стал у них часто бывать — в двух больших смежных комнатах большущей коммунальной квартиры, которую предки их занимали когда-то всю целиком, то почувствовал, что это не место для рассказов о домике, утепляемом на зиму снегом, приваливаемым почти до окон... Расшатанная громоздкая мебель красного дерева, старинный хрусталь, потускневшее золотое тиснение Брема, выцветшие драпри из тяжелого шелка и скромные ужины на кузнецовских тарелочках свидетельствовали, что в дом нет притока, но вкусы и представления в нем не менее крепки, чем бронзовый всадник, стоявший на книжном шкафу. Было бы просто нелепо рассказывать в этой семье о другой, с утра дожидавшейся, привезет водовоз воду или нет...

Отец Оли был великим специалистом по кредитному праву, его порадовало, что молодой человек знает имена корифеев юриспруденции прошлых времен, и зачем было хвастаться, что он знает еще, как мастерить крышку погреба... Олина мать сдержанно выведывала у гостя о семье, о родных, казалась довольна, что они иркутяне, живут от него далеко, и ему не хотелось сказать, что живут они от него ближе близкого... А Олин брат увлекался бактериологией, на все зримое без микроскопа смотрел безучастно, любопытства к возможному родственнику не проявлял, с ним вообще было проще... Ты допустил, правда, оплошность, заинтересовав его мошкарой, о которой он стал сейчас же расспрашивать, но когда Оля воскликнула «Какой же там ужас!», то спохватился. Оля бы никогда не поехала, да и родители не отпустили бы ее в дикий край, где эта мошкара так свирепствует, где в двух шагах эскимосы, где ходят полгода в валенках, обед варят в русских печах и едят строганину, от которой глисты.

Да, на край света она бы ни за что не уехала, но из коммунальной квартиры рвалась. Ей так надоели соседи, вечная перебранка по любым пустякам, синие, рыжие и зеленые почтовые ящики, азбука морзе у кнопки звонка, расписание ванных дней и дежурства по уборке, персональные ведра с очистками и взаимные изобличения лиц, не погасивших за собой света в уборной,— что из-за одного этого она готова была на замужество с любым принцем из отдельной квартиры. Квартировладельцами в тогдашней Москве были именно одни только принцы. И когда ты, гуляя, предложил ей зайти посмотреть, как живешь, и она увидела здание, за пороги которого только считанные люди ступали, а потом вынул ключ и распахнул перед ней двери в царство, то предстал уже даже не королевичем (тот мог обладать только комнатой, живя с мамой и папой), а утвердившимся, коронованным, единоличным властителем. У Оли и без того кружилась от тебя голова, а тут она совсем потеряла ее...

Напрасно впоследствии, оправдываясь перед судом, ты напоминал, что ни разу не называл квартиру своей. Это было несвойственной тебе



казуистикой. Ведь ты не назвал ее и чужой! И когда Оля через неделю к тебе переехала, когда вы по нескольку суток не покидали квартиры, спускаясь из нее лишь за булками и колбасой, ты тоже еще не решался признаться, под чьей вы крышей кейфуете... И когда родители Оли, продавая заветные, оставшиеся от бабушки кольца, накупали ей картонки сорочек, выискивали допотопных монашек, чтобы вышить гладью монограммы на постельном белье, когда они преподнесли тебе часы и костюм, созвали родню и знакомых на свадьбу, заставившую специалиста по кредитному праву залезть в неоплатный кредит, у тебя все еще не хватало духа сказать... О, разумеется, ты не хотел этой суеты и подарков, они тяготили тебя, и ты ужасался при мысли о том, что должно было неотвратимо раскрыться, но ты ведь и гнал от себя эту мысль...

Когда пришла катастрофа, Оля была в положении... Она жила еще в поцелуйном тумане, но ее так ошеломил твой обман, что, когда ты малодушно сбежал, взбешенному отцу не пришлось уговаривать ее подписать заявление о расторжении брака и привлечении тебя к уголовной ответственности. Ты, в свою очередь, слал за пять тысяч верст заявления, уверяя, что в заблуждение никого не вводил, клялся, что любишь жену, ждешь ее в своем городе...

И, конечно, она, отбушевавшись, приехала... Ты к ее приезду лихорадочно оклеивал стены самыми дорогими обоями, выбросил все пустые коробки с шишкинским лесом, которые мать собирала для любования, спорил с ней из-за ломаных гипсовых пастушков и собачек, наложил от ворот до флигеля доски, чтобы Олю при въезде не обляпало грязью, заменил табуретки и венские стулья дерматиновой роскошью... Но никакие твои усилия не смогли предотвратить того ужаса, с каким Оля переступила порог. Она никогда и предположить не могла, что ей может выпасть на долю так объэскимоситься, одиогениться... И с этого первого часа на лице ее появилось, чтобы на годы застыть, выражение неутешимой обиды...

И пошла у вас, надо прямо сказать, т а я жизнь, как выразительно говорилось в Сибири. Сестра твоя, Олина сверстница, умолив коменданта, переехала в общежитие педагогического, куда местных не брали. Мать, стыдясь своей бедности, старалась всячески угождать московской невестке и, чтобы той было просторнее, надолго уходила из дома. А ты бегал на барахолку за плечиками, чтобы Оля могла, наконец, развесить привезенные платья, бегал за председателем стипендиальной комиссии, моля выдать стипендию за полгода вперед, за редактором, который не верил, что ты сможешь теперь выезжать и отработать авансы... «Хочешь охай, хочешь ахай»,— с невеселой улыбкой отвечал ты на расспросы: как, женатик, живешь?..

Потом одно за другим произошли три благоприятных события, и в вашей судьбе наступил перелом. Ты получил штатную должность в городском арбитраже. Хамардабанский дядя, испытав несколько приступов почечных колик, побоялся жить дальше без врачей и больниц, распродал хозяйство и купил себе в городе, за два квартала от клиник, четырехкомнатный дом. Дочери его жили замужем в разных местах Прибайкалья, вдвоем со старухой ему было бы пусто здесь, и он сам предложил тебе поселиться с ним. Старик протянул водопровод, сломал кухонную печь и поставил плиту, сменил висячий замок на английский, даже корыто для купания твоего ребенка купил. В его доме Оля и выкормила. Жена дяди пеленала, выхаживала. А когда Оля отняла от груди, ты и ей нашел заработок — стенографистки в городском исполкоме.

С деньгами вам стало сносно. Но Оля не вошла в местную жизнь, не сблизилась с твоими друзьями. Ей все здесь оставалось чужим, все было вокруг неприютно. Она ходила по объявлениям о продаже вещей, чтобы «хоть как-то обставиться», и в то же время постоянно твердила тебе, что надо выбираться в Москву. Без жены дяди, делавшей всю работу по дому, она бы и дня прожить не могла, но эта совместная жизнь угнетала ее. Коробили привычки людей, сложившиеся в полубурятском селении, раздражали кружева из бумаги, навешенные старухой в буфете, претили заваленные всякой рухлядью сени, отвращал запах столярного клея, который старик постоянно варил, тошнило от чая в грубых фаянсовых чашках... Она купила по случаю китайский сервиз, но не могла потом

видеть этот тонкий фарфор в заскорузлых руках старика и не доверяла тетке мытье. Из-за этого сервиза общие чаепития кончились, старики затаили обиду... Ты старался улаживать отношения обеих сторон, и в тоне твоем появилось что-то искательное, прежде совсем не присущее...

Оля была вовсе не глупенькой, понимала невозможность сделать жизнь такой, как хотелось бы, сознавала надобность ладить с родней, но не могла заставить себя проявлять родственность даже к твоей вовсе не назойливой матери, сдружиться с людьми, окружавшими тебя до женитьбы. Со всеми она была только сдержанной... Она много занималась ребенком, привязалась к нему и все вечера что-нибудь шила ему, делая из девочки заправское беби, или читала. Прочитала она за этот период во много раз больше, чем за всю предыдущую жизнь. В театр она с тобой ходила охотно, как охотно согласилась и с тем, что Байкал очень красив, но, взобравшись на пик Черского, откуда он открывался, ты мог долго стоять и смотреть, а она выжидала, пока тебе надоест... Увлечь ее историей, бытом, чудесами твоего необыкновенного края нельзя было. Она и прежде не была натурой восторженной, не принадлежала к числу девушек, постоянно ищущих поводов к смеху, а теперь оживленности стало в ней еще меньше. Зато усилилась склонность отличаться от местных людей, с которыми не найдено было контактов. В этом Оля весьма преуспела. Обладая картонками со старинными жабо и боа, она умела найти в этом хозяйстве и пряжку, какой ни на ком не увидишь, и пуговицы, каких не выделывают, и оторочку под тон, и кусочек шиншиллы на отделку, умела при скромном бюджете обращать на себя общие взгляды, тебе неприятна была эта тяга жены к необыкновенностям, к выставочности, но и лестно, что она становилась предметом внимания... И даже когда ее вкус перебивался безвкусицей, вычурностью, когда она чуть ли не первою в городе проделала над собой операцию, ошеломлявшую своею нелепостью, ты с тайным удовлетворением стал примечать, что и в этом ее примеру последовали, хотя не мог взять себе в толк, зачем сбривать брови и лепить другие повыше.

Убедился ты также, что покупки ее, никогда не укладывавшиеся в семейный бюджет и увеличивавшие твою озабоченность, создали в доме неведомый тебе прежде уют. И с ним начала испаряться та невзыскательность, с какой в холостяцкую пору, разъезжая с баульчиком, ты ночевал на постоялых, на сеновалах и в юртах. Теперь, ездя по делу в Усолье, откуда мальчишками мы тащили мешки на плечах, ты стал уже коситься на избы и просился ночевать в санаторий к ревматикам... Изредка забегая ко мне или другим старым приятелям, ты замечал теперь: «Ох и воняет же у тебя табачищем! Хоть бы одеколоном побрызгал!», «Что у тебя и пол и подоконник завалены? Как в букинистической лавке. Завел бы еще один шкаф...», «Пружины уже выпирают. Ты бы выбросил эту старую рухлядь. Если поищешь, найдешь за тридцатку вполне приличный диван»...

У тебя я теперь почти не бывал. Но запомнилось, как однажды, незадолго до моего отъезда из города, я обедал у вас. Это был воскресный день, вы общесемейно гуляли, мы столкнулись на берегу, ты вскричал: «Чудесно! У нас пирог с нельмой!» Оля тоже оказалась вдруг любезно-настойчивой, и вы затащили меня. «Разве вы не вместе столуетесь?» — удивился я, видя, что старики ели отдельно на кухне, и зная наверняка, что пирог изготовлен не Олей. «Мы теперь платим им за квартиру, за все», — объяснила она. Ты курсировал между столовой и кухней, стараясь брать на себя всю связь между этими разобщенными лагерями, шутил по адресу обеих сторон, боясь в то же время навлечь на себя их недовольство, и я почувствовал, что семья уже что-то отняла от прежней твоей простоты, прямоты... Когда я заметил, что у вас очень мило обставлено, ты поспешил подчеркнуть, что это заслуга жены, и стал чересчур возбужденно восхвалять ее организаторский дар. Вообще жену свою ты все время стремился гладить словами. Неискупаема была, очевидно, твоя вина перед ней...

Ты прошел у этой женщины печальную житейскую школу. Узнал, как приятно спать на тонком постельном белье, как повышается аппетит от сервировки стола и оживляется комната, освещаемая люстрой с подвесками. И это была бы полезная школа, не утрачивай ты при этом собственный голос... Такую потерю тебе неизбежно предстояло испытывать уже и вне дома...



— Не ты ли писал эту статью о загрузке арбитража разными тяжбами городских предприятий, напечатанную за подписью председателя горисполкома? — спросил я за обедом. — Там заметны твои выражения.

Ты подтвердил.

— Это хорошо, — сказал я, — что сохраняешь связи с газетой. Все-таки приработок.

— Какой? Ведь статья подписана им.

— Ну и что? Писал-то ведь ты!

— Гонорар будет послан тому, кем подписано.

— Но он же тебе передаст!

— Ну вот еще! Есть ему когда вспомнить! — ответил ты, переглянувшись с женой...

Я сообразил, что председатель вызывает ее для диктовки решений и записи прений на пленумах. Да и сам ты в его системе работаешь... И стало мне не по себе... Еще недавно, не связанный семьею и службой, ты возмутился бы, услышав, что кто-то присваивает заработок, принадлежащий другому...

На столе у тебя лежали проекты решений. Мне любопытно было, чем арбитраж занимается, и я стал их просматривать. Первая же папка удивила меня. Речь шла о премиях рабочим завода, получавшим их незаслуженно меньше, чем на другом предприятии города. «Считая жалобу правильной, — решил ты вопрос, — и признавая, что премиальные фонды при одинаковых производственных планах, одинаковой производительности труда и сходной рентабельности должны быть уравнены... снизить их на другом предприятии».

— Экономия средств, — ответил ты на мой недоумевающий взгляд.

«Взрослеет», — грустно подумал я, уходя.

Но вскоре, при расставании, я с радостью увидел, что это не так, что ты тот же самый.

### *Глава 3. Теперь все дело в характере*

Выпускной вечер был танцевальным, как все выпускные. А вот прощальная встреча в кругу немногих друзей осталась в памяти как последний всплеск нашей юности, последний всплеск байкальской воды под веслом. Да, под утро, уже стуманенные, накричавшиеся до того, что заныли уж челюсти, мы забрались в большую рыбацкую лодку и медленно плыли по глади морской, едва шевеля ее. Тихость Байкала была удивительная, но мы знали, что он через день-другой загрохочет, запенится, начнет швырять все суденышки так, что их будет поднимать в поднебесье, и знали, что жизнь, в которую мы отныне вступаем, будет поступать с нами так же. Знали, что она разбросает нас в разные стороны, станет кидать вверх и вниз, заливать с головой, прибивать неизвестно куда... Провидеть судьбы и годы никто из нас, конечно, не мог, но уже угадывалось, как-то подчувствовалось, что дни спокойной воды уже считаны. И, отрезвляемые предрассветной прохладой, мы в лодке уже не шумели, а только давали себе тихие клятвы не отказываться ни от чего из того, о чем стоял шум. Не отказываться, несмотря ни на что. Всегда оставаться такими же, как в песнях, спорах, тостах...

Это была чудесная мысль — устроить встречу в Листвянке, за пятьдесят верст от города, в просторной избе, хозяин которой ушел в море за сигом, а хозяйка испекла для нас пироги, нажарила сочной тайменины, раскрыла бочонок селенгинского омуля, выпотрошила все запасы икры...

Двое суток обильной еды, лихих возлияний, горячих речей... Со стола не убиралось, словно на пасху. Пили тогда исключительно рюмками, но каждый в каждый присест обязан был выпить их столько, сколько букв в его имени. Освежались в Байкале. Спали кто где, большинство на полу, который хозяйка застелила кошмой. Спали, впрочем, мало, потому что бесконечно дурачились, бесконечно ораторствовали. Незабываемо!..

Все мы к этому времени получили уже назначения. Предстояло разъехаться по городам и весям страны. Оставались лишь те, кто уже был при должностях в городе, в том числе ты. Но во всех одинаково пе-

реплетались радость, грусть, надежды, сомнения. Ты требовал не поддаваться им.

Среди нас находился самый молоденький из выпускников, милый, немножко застенчивый парень, уезжавший в какой-то из районов Урала. Он не был ни глупым, ни слабосильным, но говорил так тихо, что его приходилось иногда переспрашивать. Ты увел его шагов за пятьдесят от избы и заставил что-то кричать нам оттуда в раскрытые окна. Он силился делать это, но голос его едва доносился, мы ничего не могли разобрать. Тогда ты удвоил дистанцию. Это было, казалось, издевкой, и ничего не стало слышно вообще. Ты отвел его еще дальше — «Кричи!». Парень тужился делать это, напрягал горло, страдал и, наконец, — отчаяние придало ему сил — докричал. Тогда ты обнял его. «Вот так! Так держать! Чтобы был громкий голос. Иначе сомнут тебя...»

А что означало не дать себя смять? В чем зарекались мы, для чего требовался нам сильный голос?

Мы обещали себе приближаться духом к героям революционной поры, никогда не засохнуть душой, не пребывать в добровольном ничтожестве, не прийти к сытой тупости. Обещали себе — стремление молодости к широкой дороге тоже играло тут роль — строить жизнь так, чтобы сама она сортировала людей, приводила таланты к известности, каждому дала выпрямляться в его полный рост. Мы смеялись над нашим товарищем, ехавшим в сельский район прокурором и собравшим себе целую папку передовиц и речей о колхозах. «Ну станешь, значит, и областным прокурором, — уязвлял ты его. — Раз будешь утрами по газете справляться, как тебе следует думать сегодня, не дадут тебе сгнивать на селе»... Мы качали товарища, парня из семьи лесоруба, привезшего некогда в город целый набор таежных ругательств, от которых отучивался, заставляя себя прыгать сто раз за каждое вырвавшееся бранное слово. Сейчас он назначен был следователем и попал под начальство к грубияну. «И вот, ребята, я решил по прежнему методу сто раз скакнуть, если он меня обхамит, а я промолчу ему». Мы чуть не вытрясли из этого настойчивого парня все внутренности... Мы ругали тех, кто недоволен был своим назначением в глушь («Народовольцы, — говорил ты им, — сами выбирали места потемней»), и коллективно сочиняли письмо запорожцев султану — сокурснику, не поехавшему с нами в Листвянку. Единственный из всех нас он должен был вскоре поселиться в Москве. Это был парень средних способностей, но имевший счастье оказаться племянником какого-то столичного деятеля, и его отобрали для дальнейшего учебного курса — подготовки к дипломатической деятельности. «Вам уготоваиы будут по чину, — писали мы в отличие от запорожцев изысканно, — роскошные апартаменты, «мерседес» и метрессы. И вам предстоит делать историю. Поэтому вы поступили разумно, поспешив отчислить нас от друзей своих. Между человеком государственным и человечками прочими всегда должна быть дистанция. Ему не следует позволять видеть себя в излишней близи... Счастливого плавания по недоступным нам водам!»

Да, и в дурачествах наших были оценки, и в них выявлялись те чувства, с которыми вступали мы в новую жизнь. Но это не были лишь честолюбивые чувства. Все мы страстно желали служения стране и людям ее, все склонялись перед общими целями, считали себя бойцами в строю. Помню, как шумно всеми поддержан был тост сына одного командира высокого ранга, громившего в свое время хунхузов. «Поймите, ребята, — сказал он о речах, в которых слышался слишком цивильный оттенок, — никто не будет по своей воле в окопе сидеть... Даже патриотичнейший из патриотов. Сознательности хватит у него на три, ну на пять часов... А чтобы сутки сидеть, пригнув голову, в мерзлой земле, — к этому самого себя не принудишь. Тут нужно сложение воль, сколоченность их. И люди нужны, следящие, чтобы никто не откалывался. Иначе... сами понимаете, что тогда было бы... И когда мы говорим здесь: «Я считаю», «Я хочу так-то», то иногда забываем... Выпьем за то, чтобы не забывать!» И выпили еще за отца его, который не только бандитов бил, но и наматывал ватку на карандаш, проверяя, как вычищены стволы у винтовок, и не опасаясь прослыть солдафоном...

Но как раз потому, что мы сознавали надобность сложения воль, мы чуяли и то, как нам тяжело будет... В стране уже становилось неладно, и многие начинали испытывать разлад в понимании долга. В Листвянке мы могли как угодно сочинять свою грядущую жизнь, но на широких собраниях уже царило хоровое начало и во всяком несогласии с ним стали видеть отступничество... После молодцеватых речей предстояло возвращение в город, возвращение к трезвой действительности, и на пароходике мы, словно выдохшись, уже уныло молчали. А на пристани, когда мы перецеловались, чтобы разойтись в разные стороны, ты на прощание тихо сказал:



— Давайте, ребята, запомним Листвянку... Время приходит ну-ну... Теперь все дело в характере. Никогда ни у нас, ни у папаш, ни у дедов не было в нем такой надобности... Желаю вам, ребята, характера...

Все снова стали тебя обнимать.

Я оказался в большом волжском городе, центре индустриального хлебного края, и моя деятельность целиком поглотила меня, сразу наполнила жизнь. Находился я большей частью в разъездах, ревизуя суды, обучая их применению права и — что меня особенно в собственных глазах поднимало — стараясь внушать самое чувство его... В чем другом служитель юстиции, то есть справедливости, мог тогда видеть свое прямое призвание, чем иначе мог он в ту пору очищать свою душу?! Мне хорошо было. Хорошо и житейски: ездил вверх-вниз по матушке Волге, берега которой стояли нетронутыми, а пристани завалены копченою стерлядью, лопал камышинские арбузы, дубовские дыни, заедал жигулевское пиво астраханским рыбцом, каждый раз сталкивался с новыми лицами, новыми темами. Ну и, конечно, бывали в пути встречи на палубе, когда любуешься луною в воде, и на садовых скамейках, которые обходит луна... Я считал свою жизнь великолепно сложившейся, даже непозволительно хорошей для времени, которое ты прозревал и которое уже наступало...

На первых порах мы честно с тобой переписывались. Потом письма стали редеть, делаться все более вялыми. Каждый ушел в свое, возле каждого встали уже новые люди, и становилось невозможно, ненужно вовлекать друг друга в дела, между которыми легли расстояние, время.

Время... Оно становилось непонятным и лютым... Подниматься над ним можно было лишь в одиночку, в собственном обществе, в диалоге с собой, и никому не давалось оказаться выше событий... И это было самое деятельное, полное энергии время, когда создавалась индустриальная сила страны. В нашем крае одна за другой срезались все приметные головы и возникали заводы, выпускавшие тракторы, нефтепродукты, комбайны, цемент, вагоны, станки. Душа человека раскалывалась. В ней жили вместе признание, недоумение, страх... Все стремились оттерпеться, замереть, пережить... Но не всем удавалось быть в стороне, и с людьми творилось такое же, что происходит с деревьями — в грозу, как известно, валит дубы, но не иву, которая гнется...

Об этом периоде жизни моего поколения много говорено, много писано и еще больше будет сказано позже. Время Нерона, как и пришедшее затем через много веков время Борджиа, все неизбежнее стиралось из памяти каждого нового поколения римлян, но чем меньше оставалось о них свидетельств истории, тем больше росло количество романов и драм... Потомства, к которым всегда апеллирует каждое данное время, своенравны в своем любопытстве, и пьес будущей драматургии предсказать невозможно. Кто знает, как будет выглядеть в ее толковании наше спрессованное последующей жизнью, последующими событиями, последующими умами и бумагами прошлое! Но для нас, современников, это прошлое еще слишком недавне, на суждения о нем еще слишком влияет каждый сегодняшний день. Поэтому мы то и дело систематически пересочиняем историю, превращаем ее в орудие наших страстей, вертим ею то эдак, то так, словно блин, который вертят ухватом в печи... Я не стану добавлять к тысячам свидетельств добавочные или увеличивать эту разнотолковщину. Не моя это тема сейчас. Скажу коротко, что это была пора, когда пьяный следователь, заехав к руководителю машинно-тракторной станции, удостоенному вскоре рукопожатия самого могущественного человека земли, хохоча, говорил ему: «Представление на тебя послали в Москву? Ну, и что мне оно?! Вот пойду к тебе на любую делянку и найду, за что обвинить во вредительстве». Директор заискивающе старался тоже смеяться и подливал... Когда же впоследствии я поздравил этого человека с по-

лучением пятиконечной звезды, он вопросительно-грустно ответил: «Вы думаете, что нагрудный значок всегда предохраняет затылок?»

И вот в эту годину всеобщего трепета ты совершил... да, слово подвиг не будет здесь слишком пафосным. Рассказал мне об этом необыкновенном поступке сам человек, ради которого ты на такое пошел. Рассказал через много лет, при случайной встрече, в разнородной компании, где тебя мало знали и были равнодушны к тебе. А он резко оборвал человека, сказавшего о тебе что-то не очень восторженное, и, кипятясь, заявил, что ты выше любого злословия, что узнал тебя по-настоящему в годы, служившие лучшей проверкой человеческих качеств, и ты пошел тогда на такое, на что неспособен был больше никто, что он даже внуков своих будет учить брать пример настоящего мужества не из надуманных книг, а с тебя...

Ты догадываешься, что этот твой горячий защитник — наш земляк, на всю жизнь оставшийся верным Сибири, возглавляющий ныне институтскую кафедру и разные научные общества, бессменно избираемый в представительные учреждения города, всем здесь известный, маститый... Тогда он был молодым инженером, рьяным строителем, лыжником, пропагандистом дыхательной системы йогов, темпераментным и общительным парнем. Но эта общительность пришлась не по душе чьим-то мрачным натурам, предпочитавшим разобщенность людей. Тем паче, что он совершал иногда свои лыжные вылазки и с убежавшими от Гитлера немцами. Их на стройке работало пятеро. Не надо забывать, что тогда появление и одного чужеземца доставляло столько тревог, будто их вторглась через границу дивизия. Неосмотрительный русский молодой инженер сейчас же сделался предметом внимания. Сначала его вызвали, чтобы узнать, почему строительство ведется на площади, под которой, говорят, есть руда, не имеет ли оно целью утаить от народа оставляемые под землею богатства. Он ответил, что об этом надо спросить у геологов, что место для стройки не он выбирал и занят лишь на одном из участков. Его спросили, не подозревает ли он этого умысла у руководителей стройки. Он ответил, что и они лишь осваивают утвержденный проект, что в их задачу не входило бурение... Через неделю его вновь пригласили, чтобы справиться, куда пролегает лыжня, влекущая каждое воскресенье приезжих, что они ищут за городом. Он ответил, что ничего они не ищут да и не могут найти на снегу... Его спросили, чего ищет, проводя с ними время, он сам. Он ответил, что только возможности практиковаться в чужом языке. Его спросили — да, да, так и спросили! — почему он изучает именно этот язык, а не какой-либо другой европейский. Он недоуменно минутку молчал, и его любезно спросили, можно ли занести в протокол, что он не дал ответа.

Вскоре ему стало известно, что разговоры подобного рода велись не только с ним, а и о нем. Тут было тем больше причин взволноваться, что не стало начальника стройки, затем — его сменщика, и один за другим стали исчезать инженеры. Не могло оставаться сомнений, что часы его считаны...

Знакомств среди городского начальства он не имел. Да и что оно тогда значило! Чем более влиятельный пост человек занимал, тем больше за себя опасался, тем дальше старался уходить от влияния. Идти было не к кому... Мальчишкой он жил на одной с нами улице, играл с тобой в лапту, в чехарду, вы остались на «ты», и отчаяние привело его за советом к тебе...

Никакого касательства к надзирающим и карающим органам ты не имел. Но чье-либо несчастье всегда касалось тебя. И ты стал лихорадочно думать. А по части придумок ты доккой был. Сложись у тебя иначе судьба, учись ты не праву, а технике, изобрел бы в ней что-нибудь хитрое. Ум твой был чуящий, схватывающий, крестьянски-лукавый. Ум бескорыстный, веселый, всегда открывавший какие-нибудь потехи друзьям.

Этот ум заработал и быстро оценил положение. Бежать? Но есть телеграф, телефон, целая система сигналов и целая сеть зорких глаз. Нет, бежать некуда... Заболеть? Но самоувечье будет распознано, заболевание желудка излечено, а с сердцем могут и из больницы забрать. Нет, болезнь не спасение... Самому идти в грозное учреждение с жалобой? Но там или скажут, что безвинному человеку тревожиться нечего, или же, раз он пришел, то оставят. Нет, апеллировать к ним на них же нелепо. Нелепы вообще все мысли сокрыться или управу найти... Остается один только способ спасения — замешаться в толпе, где не будут искать, где все уж разысканы. Остается одно лишь прибежище, где можно сберечься, — тюрьма!



Но как спрятать в ней инженера?

В арбитраже должен был слушаться спор управления стройки с кирпичным заводом. Первое не хотело оплачивать брак, а второй утверждал, что кирпич бьется при выгрузке самими строителями да еще воруется ими и продается на сторону. Ты поспешил разобрать этот спор, решил его в пользу завода, подтвердил, что кирпич был на стройке расхищен, и передал дело судебному следователю. Тот сейчас же добился от молодого инженера признания в грубой халатности — не следил за сохранностью и за расходованием. Судья столь же быстро приговорил его к трем годам заключения и позаботился о быстрейшей отправке на Север.

Участники встречи в Листвянке не изменили ей...

Если бы кто-нибудь вздумал проверить это уголовное дело, было бы плохо. Ведь инженер ни от кого не принимал кирпича, не расписывался ни в каких документах, на нем не лежало учета... Но ты неповинен, что в арбитраже не было спора, который имел бы к нему более прямое касательство. Ты сделал из наличного материала что мог. Сделал, правильно исходя из того, что осуждение оставалось тогда для судей безнаказанным, что отвечали они только за мягкотелость — самое употребительное словечко в тогдашней юстиции, которое все избегали услышать примененным к себе... Да и как могло дойти это дело до проверки в каких-либо вышестоящих судах, если осужденный не жаловался...

Инженер возвратился через четырнадцать месяцев, когда участники встречи в Листвянке сумели дать знать областному суду о незаконном приговоре народного. Он возвратился, справедливо считая, что пожизненно обязан тебе.

Да, это был подвиг. Спасая другого, да еще с помощью сговора, ты сам вступал в преддверие ада и хорошо понимал это. Честь и хвала тебе и друзьям твоим за этот поступок, доказывающий, что и тогда были люди, чье сердце оказывалось сильней головы, ставившие ее, если надо, на карту...

Но есть у меня и другое свидетельство. Увы, оно расходится с первым... Ты уже был в это время заместителем председателя городского совета, и мне встретилась в центральной газете статья твоя о налаживании городского хозяйства. Речь шла о школах, больницах, о жилье, об автобусах, электростанции, прачечных. Но я не узнал знакомого автора. Это писал кто-то другой, начинавший и кончавший статью утверждением, будто недостаток жилья, транспорта, света, воды, всех средств жизни вообще — плод козней врагов. Из-за их коварства происходят давки в автобусах, слаб накал в лампочках, трудно белье постирать... И ты призывал разоблачать злоумышленников, пролезших в городское хозяйство.

Верил ли ты в то, что писал? Нет, ни минуты не верил. Ты знал, что городские автобусы — это не боевые машины и не занимают внимания иностранных штабов. Знал, что строительство прачечной затягивается не потому, что в партии действуют империалистские наймиты. Ты просто отдавал неизбежную дань фразеологии дня.

Но эта уступка не была безопасна. Пусть кто-то и чуял, что ты вовсе не думаешь уверить людей в своих уверениях, что они оборот речи, и только. Но другие, ошеломляемые изо дня в день потоком подобных статей, продолжали после твоей еще пристальней всматриваться во всех окружающих, гадая, кто из них недруг, а отчаявшись в собственном зрении, решали, что мир нераспознаваем вообще, что явь и видения в нем перепутаны, что история — фантасмагория и единственные ценности жизни — личные, собственные... Значит, ты своею статейкой помогал разыгрывать грандиозную злую мистерию, взял роль на театре, убивавшем дух человеческий. И что мне за дело, что ты этого совсем не хотел, что душа твоя ныла, протестовала! Театр-то ведь был, грим на себя ты накладывал, на подмостки выходил, как и все...

Горячий рассказ инженера свидетельствует, что ты оставался верен Листвянке. А желтый газетный комплект тихо-тихо подсказывает, что ни-

кому не дано было себя сохранить, оставить свою природу непопранной.

«Воистину, — говорил Достоевский, — всякий перед всеми и за все виноват».

### *Глава 4. Битва с торжествующей тупостью*

Высказал сейчас свою горечь, свои упреки тебе, а теперь вдруг засомневался. Справедливы ли они, надо ли было упоминать о статье? И если даже она была не единственной, если ты и речи такие держал, то можно ли видеть в этом уход от себя? Ведь ты прибегал к обязательному словарю того времени, пользовался им, как и все. Вот сейчас, например, общепринята легкая мебель из поролона и полированных досочек, она повсеместна, другой нет в продаже, и невозможно определить по ней вкус человека, обставившего ею квартиру. Так и с языком злосчастной годины, совсем, вероятно, не характеризовавшим тебя.

Ты знал, что нечистой силы не водится, а призывал истреблять ее. Да, это было... Но разве ты всегда воевал только с безоружными духами? Нет, вовсе нет! Одной из этих войн, отнявшей у тебя несколько лет, я и уделю теперь главу, из которой увидишь, что хорошего о тебе я не собираюсь оставить несказанным.

Твоим начальником и руководителем города был Степан Платонович Гулый — высокий, полный мужчина на пятом десятке. Добродушен он был не только по виду, но и с людьми, не доставлявшими ему серьезных хлопот.

— Палисадника, говоришь, не разрешают тебе? — переспрашивал он посетительницу, не беря даже в руки протягиваемую ею бумагу. — Нельзя в центре города? Гм... А ведь, кажется, и правда, нельзя... Ну, а что ты посадить собираешься? Облепиху? Хороша, хороша у вас здесь эта ягода. Не кисель, а сплошной, можно сказать, аромат. Но для палисадника, мать, надо подсолнухов. Чтобы вид был и вообще... Ну, что ж с тобой делать? Плетень уже, говоришь, возвела? Да, выдергивать теперь, конечно, обидно... Ну, ладно, мать, так и быть... Пойдешь до милиции, скажешь там, что Степан Платонович просил око прикрыть... Ну, чего ты, чего ты?.. Не такой твой вопрос, чтобы обещать за меня столько поклонов Христу. Я ведь не пожарный, не доктор, ни от чего тебя не спасал. А, между прочим, известно тебе, что Христос-то твой был из евреев? Я в прошлом году случаем услышал такое. Оказалось, что факт... Ну, счастливо тебе, мать, счастливо! И не надо было к грамотеям ходить заявленье писать. Я ведь на службе у жителей, и, значит, ко мне можно запросто. Так бабам и говори...

Но когда в просьбе посетителя приходилось отказывать, Степан Платонович делал это уже от лица какого-то незримого большого начальства.

— Бился, бился я за тебя, — сокрушенно говорил он старику, просившемуся в дом престарелых, — и ничего не добился... Да, есть там два места, это ты прав, но они, говорят мне, резерв. Кто его знает, для кого они держат? Может, для ветеранов гражданской, а может, для тех, за кого повыше попросят. Разве скажут они?.. Я, брат, сам за тебя так расстроился, что и борщ эти дни мне не борщ...

Зато в делах, которыми впрямь интересовалось начальство, добродушие Степана Платоновича сменялось готовностью к поступкам, крайне недобрым. Он забывал тогда даже и о нуждах, и о правах человеческих.

— За жабры надо их, недоимщиков, за хвост и за нос! — возбужденно говорил он тебе и начинал тут же придумывать способы возможных внушений: — Слушай, а что если вызвать их, бисовых деток, и намекнуть, что это, мол, пахнет политикой?.. Или сказать, что пошлем эти списочки в амбулатории и там не станут лечить. Пригрозить, что на «Красных дьяволятах», «Тарзанах» зачитывать будем. Раз они не выполняют пе[illegible] д государством обязанностей, то и оно...

— Невозможно, — перебивал ты. — Нет у нас права.

— Ну, а если на другой манер припугнуть? Выключить у них на недельку электричество, воду? А где привозят ее — запретить.

— Тоже нельзя, — бросал ты со скучающим видом и покидал кабинет, оставляя Степана Платоновича наедине с его финансовым гением.

Но через десять минут он посылал за тобой:



— У тебя, законник, и того нельзя, и другого нельзя. Ну, а торговлю мы вправе развить? Это нам по Конституции можно? А у нас в этой части еще скрытых резервов полно. Я вот на днях проезжал мимо кладбища. Как раз родительская суббота была. Народищу тьма, а холод собачий. Для малахаев будто бы рано, а в кепочках спасу нет. И нечем, между прочим, согреться... А открыли бы мы там ларек — и план подскочил бы и люди не мерзли.

— На кладбище?!

— А что ж тут такого?.. Мы, мол, верующим навстречу пошли, уважили их предрассудки, позволили за упокой...

— Верующие сочтут, наоборот, осквернением места.

— А осквернять не дадим. Милиционера поставим.

— Все равно найдут возмутительным.

— А финплан горит — это не возмутительно? С тобой не сядь и не ляжь. Ларьки тебя не устраивают, так выдвигай свои предложения. Почему я один должен ломать себе голову, а ты, чистоплюй, только критику будешь на все наводить?! Скажи свои меры. Может, заведующего финотделом сменить? Найти половчей, башковитей... Ну, скажи же ты что-нибудь! Вот запрещаю тебе всем другим заниматься, запрись сейчас и чтоб к вечеру неиспользованные резервы нашел!

Степан Платонович справедливо считал, что ты, молодой заместитель, должен быть мозговым штабом при нем. На то ты был с дипломом, на то он и взял тебя, на то дал квартиру... Ты колебался занять ее, а он сказал «Не дури» и послал Оле полуторки с грузчиками... Домашнего знакомства у вас не сложилось, вы были для этого слишком различными, в работе тоже подчас не столковывались и предпочли разделить между собой сферы деятельности, но было у вас молчаливо условлено, что все, связанное с головными усилиями, ты должен брать на себя... Он представительствовал, принимал утрами директора единственной местной гостиницы (все другие стали жилищами инженеров, понаехавших в город), сам определяя, кому из приезжих какой номер дать, объезжал участки строительств, мало интересуясь заводами (они министерские!) и торопя с возведением жилых корпусов, в которых горсовет получал свою долю, подписывал один за другим ордера на вырубку леса вокруг городской полосы («У степу тоже живуть, не вмирають») и, как сам признавал, вытаскивал носовой платок, когда в областном центре чихали. Говорил он об этом посмеиваясь, но действовал для исполнения всяких решений нешуточно. Телеграмм и звонков, вносивших постоянные хлопоты в жизнь, он терпеть не мог, но как только область чего-нибудь требовала, лишался покоя и отнимал его у всех подчиненных. В таких случаях он посылал одного своего заместителя торопить исполнителей, потом второго, чтобы поторапливал первого, и, наконец, тебя, чтобы торопил их обоих...

Ты к этому человеку теплых чувств не испытывал, а население хотя и посмеивалось над ним, но скорей благодушно, чем зло. Людям нравились его простота и доступность, его сугубо житейский язык, нравилось, что держался он с каждым, как с ровней. На собраниях, где он выступал, было всегда оживленно и ему от души много хлопали. Начинал он обычно с чтения написанного тобою доклада, но оно туго давалось ему, он запинался на многосложных словах, нахмуривался, потом сердито отбрасывал текст и объявлял, что будет лучше отвечать на вопросы. И вот тут разворачивался... Обнаруживал кучу разных житейских познаний и говорил такое, что нигде не услышишь.

Люди спрашивали, какой район города будет застраиваться, и требовали отводить жилые массивы подальше от задымленных мест. Он отвечал, что сделает пробы — развесит в разных местах бараньи шкуры, и, где они позже загниют, там, значит, воздух здоровее, там жить... Его упрекали в том, что стахановцам, передовикам производства, создаются возможности повышенной выработки, которых нет у других рабочих городских предприятий. Он отвечал, что корове, приносящей пять тысяч литров, тоже дают лучший корм, что так поступает каждый хороший хозяин, хотя другие коровы тоже видят в этом, наверное, несправедливость. Авторам записок, возмущавшимся вырубкой сада, на месте которого строился завод горных машин, советовал прятаться от летнего солнца в шерстяную одежду и класть на ноги пуховые подушки. На вопрос, почему го-

рожанам не достаются путевки в Усолье, которым теперь распоряжается область, отвечал, что ревматизм можно и без курортов лечить. Надо делать для этого ванночки из молодых березовых листьев. «Це средство еще моя бабушка знала. Спробуйте и спасибочко скажете».

Все видели, что он уходит от вопросов, от критики, лукавит, хитрит, но зато собрания проходили шумно и весело, председатель был в доску своим...

Степан Платонович справедливо говаривал, что не любят его лишь книгочеи, всякие умники с высшим, которых, кстати, он не любил, в свою очередь. Но не переоценивали его милых черт и сотрудники самого горсовета, знавшие чересчур уже близко... Тебе приходилось забегать к нему по срочным вопросам домой, и ты видел там рушники с вышитыми гладью портретами главы государства. Литографированными они висели тогда во всех учреждениях и во многих домах, но на полотенцах, по-крестьянски красовавшихся в красном углу, ты их увидел впервые. И впервые тебе пришлось видеть начальника, который, столь почитая главу государства, не умел пересказывать его статей и речей в самых простейших докладах и уклонялся от них... Сбегал Степан Платонович и от других заковырок. Как только требовалось по мудреным делам его слово, за которое можно было попасть потом в каверзу, он скрывался куда-нибудь. Ездил в таких случаях, не оставляя записок, по пригородам и деревням. Старался при этом и машины угнать, на которых его могли бы разыскивать, и однажды, хохоча, признался тебе, что поступает, как предусмотрительный жулик, уносящий с собою всю обувь, чтобы людям не в чем было бежать за ним.

Эти веселые приступы его откровенности ты переносил так же плохо, как и случавшиеся с ним иногда припадки сугубой решительности. В одной заводской столовой ему пожаловались однажды на холостежь, уносившую с собою ножи и чайные ложечки. Степан Платонович сейчас же распорядился тогда приковать ножики во всех рабочих столовых цепью к столам, а ложки так продырявить, чтобы ими можно было лишь размешивать сахар, а не взять что-нибудь в рот. Кое-где в городе остались, возможно, еще и сегодня следы этой губернаторской выдумки, долго вызывавшей у посетителей и хохот и гнев... Когда оказалось, что город занимает в области первое место по числу хулиганств, председатель запретил здесь, словно в павловском Питере, хождение в ночные часы, и лишь испуг прокурора, повергшего и председателя в страх, заставил потом поспешно срывать расклеенное на заборах и стенах постановление городского Совета.

Ты и нужен был ему, и тяготил его... Первая серьезная ссора произошла между вами, когда ты случайно услышал, как он ругался с молодыми строителями. Тех заставили в выходной день возить деревья из леса, а потом не заплатили им, сказав, что то был воскресник. Ход этот придуман был Степаном Платоновичем, когда оказалось, что превышена смета... Парни пришли к нему с жалобой, а он стал угрожать им:

— Тебе сколько лет? Уже двадцать? А тебе? Двадцать два? Ну, а тебя-то,— обратился он к третьему,— и спрашивать нечего, ты уж, наверное, со второй жинкой живешь. Значит, возраст у всех давно призывной, все вы военнообязанные. А в армии коллективные жалобы воспрещены. В армии за такие дела под трибунал отдают. И если вы мутите народ, я скажу военкому, чтобы он взял ваши учетные карточки и...

Парни не оробели. Стали кричать, что они не военные,— один отслужил, у другого отсрочка, третьему еще только осенью, и нечего запугивать их. «Не мы народ мутим, а вы воду мутите»,— услыхал председатель. Он вспылил, стал тогда называть их рвачами, кулацким отродьем, понаехавшим неизвестно откуда, хулиганами, от которых ночами проходу нет...

Поднялся скандал. Ты вошел и стал слушать его. Председатель старался вовлечь тебя в эту ругань и, кипятясь, обращался к тебе за поддержкой, но ты упорно молчал, а потом пообещал строителям выяснить, на каких началах работы велись, и, если не объявлялся воскресник, предоставить отгул.

Парни ушли, и председатель перенес гнев на тебя:



— Авторитет мой срываешь? Это ж предательство! Это ж иудство! С бандитами против начальника! А если бы они мне чернильницей в голову, ты тоже молчал бы?! Если избили бы, ты тоже обещал бы, что выяснишь, на каких началах лупили?!

— Вы вели себя недостойно, шантажировали их, придумывали черт знает что, и я не мог поддержать вас,— сказал ты и вышел.

Назавтра он, опомнившись, сам пришел к тебе в кабинет:

— Я попылил вчера. Накричал, может, лишнее... Но давай договоримся на будущее... Если нам вместе работать,— у нас всегда единый фронт должен быть.

— Единый фронт против кого?— спросил ты.— Против области, населения, посетителей, да?

Он смешался.

— Против врагов... Крикунов... Но если так ставишь вопрос, то... да, против всех. Если председатель станет одно говорить, а заместитель другое, то будет у нас не горсовет, а цирк с ярмонкой. Вот приходит от тебя посетитель ко мне — разве я что-нибудь перерешаю?.. Меж собой мы можем и спорить и цапаться, но на людях я тебе воспрещаю перечить. И когда на меня наседают, ты обязан вступаться. Должен закон подыскать, фразу вождя, соображенья науки и прочее. Партия требует единодушия, понятно тебе?! А всякие там мненья, сомненья, мыслишки свои — их можешь жинке выкладывать... Запомни это раз навсегда. И не думай, что если я добрый, то можешь здесь комсомол разводить.

Единодушия Степан Платонович требовал и от всех депутатов городского Совета.

— Ты чего собираешься о домах говорить?— подозрительно спрашивал он перед сессией.— С непросохшей штукатуркой сданы? Половицы в них прыгают? Хочешь, чтобы вместе с ними на радостях и враги Советской власти попрыгали? Материальчик им поставить готовишься? Снабдить, так сказать? Об этом ты пораскинул мозгами? А почему, объясни мне, оратор, ты своевременно ко мне не пришел, не попросил тебе выделить плотников, маляров и так далее? Ведь ты депутат! Значит, не с трибуны болтай, а возглавь, организуй и наладь! А речами ты кого организуешь теперь? Сам знаешь, кто такие речи подхватывает.

— Ты, наверное, уже целую тетрадь накатал?— любопытствовал он у другого из возможных ораторов.— А почему бы тебе не принести ее нам, не показать предварительно? Посоветовались бы, обсудили, как лучше... Я вот, например, свой доклад даже машинистке даю с таким требованием, чтобы не просто отстукала, а подметила где что неладно. Ведь это не на вареники народ соберется и не на пионерский костер. Из газеты, из области будут... И тут никому нельзя с бухты-барахты... Любое серьезное дело надо готовить. Чтобы не ляпать, чтобы не вышло анархии... И вообще в нынешних международных условиях нужны согласованность, дисциплина, единство. Ты только выгадаешь, если представишь нам. Не придется потом пальцы кусать.

Сам склонный к шутке, Степан Платонович опасался ее у других, опасался всякого своеволия мыслей, уязвлялся любым нареканием на свой недогляд или промах, затаивал тайную обиду на всякого, кто решался о них говорить, и поэтому скука на пленумах городского Совета искупалась только их скоротечностью. Единодушие, которого он достигал на них, было, с одной стороны, плодом домоганий и бескультурья, с другой — равнодушия, а потому и сговорчивости. Интересы депутатов к жизни города гасли. Но тебе впрямь оставалось жаловаться на это только жене.

Может быть, она, эта женщина, безучастная к местным делам, и подвигнула тебя на решительный шаг? Ведь именно по ее настоянию ты не ушел из городского Совета и расстался потом со Степаном Платоновичем для обоих вас памятно...

После того как ты занял видное положение в городе, Оля немножко примирилась с судьбой. Но с ее молодостью и отчужденною вежливостью не могла примириться увядавшая, рыхлая женщина... К холоду твоих отношений с начальником прибавлялась неприязнь между женами. Точнее, Оля не замечала существования Евдокии Тарасовны, а ту это изводило, бесило.

Жена председателя была отнюдь не плохим человеком. Дородством она выглядела мужу под стать, превосходила его хлебосольством, общительностью, обладала большим и приятнейшим голосом, чудесно пела украинские песни и от души хлопотала, когда кому-нибудь требовались больница, закройщик или билеты на московских эстрадников. Но когда ты сказал, что в ней пропал незаурядный вокальный талант, Оля сначала ответила: «И хорошо, что пропал», а потом исправилась: «Талант не пропал бы». Основания для этой сухости были — по наущению Евдокии Тарасовны у Оли происходили одна за другой неприятности. Сначала заломила с нее несусветную цену портниха, у которой они обе шили. Потом до Оли дошло, что о ней распространяются слухи, будто у нее нет груди и она носит набюстники. Передавалось это якобы со слов массажистки. Но у Оли в массаже не было надобности, и та посещала только Евдокию Тарасовну... Затем Оле пришлось услышать, будто отец ее был деникинцем, дед — в холуях при царе. И, наконец, Степан Платонович, который никогда не интересовался законами, однажды, отведя глаза в сторону, сказал тебе, что жене нельзя служить в учреждении, где муж занимает начальственный пост. И хотя Оля не числилась в штате, получала почасовую оплату, стенографировала еще при предшественнике Степана Платоновича и до того, как ты сам пришел в горсовет, ее лишили вдруг заработка.

Стареющая женщина завидовала твоей жене, травила ее. И ты решил сказать это мужу. Повести с ним мужской разговор.

— Да, — согласился Степан Платонович вяло, — мозолит молодая глаза. Да еще больно гордая... Не любят наши бабы друг дружку. — И сделал неожиданный вывод: — Может, хочешь уйти? Я не буду препятствовать...

Ты был поражен, потрясен.

— Так как моя жена неугодна вашей жене, то должен и я уйти?!

— А сами мы разве угодны друг дружке? — возразил он резонно. — Столько времени вместе, а нет между нами тепла... Хочешь наробразом заведовать? Бабу оттуда можно в учительницы. Директором показательной школы назначим ее... Или сам, может быть, займешься наукой? Факультетов, слава богу, достаточно. Можно похлопотать, чтоб деканом...

— От тебя ли слышу? — возмутилась вечером Оля. — И ты еще над этим задумываешься?! Уступить произволу?! Самодурству какой-то неграмотной бабы?! Почему, когда дело идет о других, ты действуешь, негодуешь, кипишь, а с собой даешь обращаться, как с мальчиком? Где же твоя принципиальность, где твой характер? Где горкомы, обкомы и прочее?! Почему не пойдешь, не расскажешь? Почему не потребуешь, чтобы этому был положен конец? Или тебе наплевать на жену?! Хочешь, чтобы над ней взяла верх помпадурша? Но тебя и самого выгоняют! Просто в лицо плюют! И ты это стерпишь?!

Оля так задета была за живое, что ты не узнавал своей флегматичной жены. И хотя с жалобой никуда не пошел, из горсовета уйти не спешил. Это начало раздражать Степана Платоновича, и он перешел к открытой вражде.

Настал унизительный, глупый, до боли обидный период... Ты давал разрешение на расклейку афиши, председатель отменял разрешение. Ты запрещал устанавливать плату за вход в городские сады, председатель велел не впускать без билетов. Ты позволял собору праздничный благовест, председатель угрожал ему за это закрытием. Ты не видел беды в ранней торговле на рынке, председатель приказал штрафовать все подводы, которые прибудут до времени. Тебе надо было ехать на стройку, председатель решал, что без тебя обойдется. Тебе нужно было оставаться на месте, он усылал тебя... Начав действовать наперекор, беспринципно, назло, Степан Платонович так закусил удила, что шел и против здравого смысла, и против собственных мнений, если они совпадали с твоими. У тебя рвались нервы, но теперь невозможно было бежать с поля сражения.

Ты пытался говорить с высокими лицами. Они пожимали плечами, отвечали, что никто не без слабостей, что Степана Платоновича любит народ. Ты понимал, что он нужнее, удобней, чем ты, — никогда не перечил...



И вот разыгрался последний акт изнурительной, совсем незабавной борьбы...

На далекой улице города жил старик, потерявший ногу в войне с монголо-немецким бароном Унгерном. Инвалид этот давно освоил протез и ковылял не только по улицам, а и за кедровым орехом, рябчиком, зайцем. У него были колотушки, силки, дробовик и собака. Хоть и старая, она делала еще много работ: отыскивала запорошенный след, волочила возок со сбитыми шишками, стерегла хибарку и сушившиеся во дворике шкурки, ходила с подвязанной за шею корзиночкой в лавку за хлебом, а главное, разделяла с хозяином его одиночество... Эту собаку, совмещавшую в себе способности разных пород, знал на окраине каждый, и даже мальчишки перестали дивиться тому, как спокойно позволяла она продавцу брать монетки и терпеливо дожидалась буханки. И люди вознегодовали, узнав, что какой-то парень прострелил этому замечательному животному ноги. Сделал он это в отместку за то, что старик отказался одолжить ему дробовик...

Инвалидом овладело настоящее горе. Он пошел в милицию, в суд. Не с тем, чтобы искать возмещения, а за воздаянием злу. Но он не знал, что его бессердечный противник окажется племянником деятеля, который позвонит из областного центра городскому начальству и попросит это пустяковое дело уладить. А Степан Платонович, вызвав судью, не знал, что оно уже накануне рассмотрено и парень приговорен к трем месяцам принудительных...

— Перереши! — потребовал он. — Разорви этот листик и другой напиши.

— Но я ж огласил! — пытался судья возражать.

— Чушь огласил! Надо было все полюбовно. Присудить, скажем, столько-то рублей на лечение.

— Старик не денег просил. Он плакал в суде.

— И ты, значит, тоже расплакался?! А еще судья называешься. Ну, в общем, надо исправить... И быстренько!

— Но поймите, я не могу... Есть городской, пусть отменит...

Степан Платонович стал звонить в городской, а судья зашел после этого разговора к тебе. Зашел и раскаялся — ты снова поволок его к председателю и заставил слушать совсем иной разговор.

— Какое вы право имели судью вызывать к себе? — резко говорил ты ему. — Он такой же избранник народа, как вы, и не подчиняется вам. Как осмелились требовать порвать приговор, вынесенный от лица государства! Вы идете на беззакония, которым имени нет. Ваш разговор с судьей — уголовщина. Я буду сейчас акт составлять...

Лицо Степана Платоновича приняло кумачовый оттенок. «Уйди!» — сказал он судье и, плохо справляясь с волнением, заговорил отрывисто, медленно, четко, решительно:

— Я тоже кое-что составлю сейчас. Но в другой адрес. И это не будет подлостью с моей стороны... Когда пишешь на другого не с тем, чтоб сгубить его, а чтобы он сам не сгубил тебя, — это и на том свете простится. Интересно, чье раньше дойдет... И еще интересно, как взглянут: тот вредней, кто собаку калечит, или кто государству мешает...

Впоследствии ты узнал, что содержалось в бумаге, над которой Степан Платонович, не выходя на работу, пыхтел дома целые сутки. Ты изображался в ней покровителем попов, рвачей, хулиганов и всех антигосударственных элементов вообще. Рассказывалось, как ты помог в прописке какому-то дворнику, сбежавшему, наверное, от раскулачивания. Как вредил финансам страны, отказавшись заняться ловлей холодных сапожников, работавших по дворам и подъездам и не плативших налога. Как не согласился отвести под автобусный парк территорию кладбища, на котором «кажный день сеется религиозный дурман». Как передал этот вопрос секции городского Совета, сказав: «И без того все дела захвачены ведомствами, надо и людям дать что-то решать». Как отгораживаешься от сослуживцев, водишь компанию только с друзьями жены, которую не устраивают советские книжки и берущую в университетской библиотеке французские...

В этой длинной, потешной, злобной и сумбурной бумаге Степан Платонович выплеснул все, что подсказали ему память и месть. Но как ни

спешил он подать ее, а опоздал на два года. В тридцать девятом кошка уже была так насыщена, что могла позволить себе не пожрать мышонка, а позабавиться с ним. В течение нескольких месяцев тебя много раз вызывали, показывали по нескольку строчек бумаги, просили давать на них объяснения, извинялись за причиненное тебе беспокойство и затем беспокоили снова... Один раз ты объяснял, что для поимки холодных сапожников у финотдела не хватает ловцов. Во время второй встречи оперировал справками о том, что жена не живала во Франции. При третьем визите доказывал, что автобусы можно размещать без того, чтобы лишать места покойников. Все это было для кого-то потехой, для тебя — трепкой нервов.

Столько же извел ты их в попытке нокаута...

Большую, неслыханно резкую и насыщенную фактами речь перед синклитом, судившим твою борьбу со Степаном Платоновичем, ты начал с рассказа об одном из царей. Прочитав написанный с ошибками рапорт дежурного о ночном происшествии в казарме полка, царь этот велел посадить преподавателей кадетского корпуса, учивших этого человека словесности и выпустивших его в офицеры... «И мы здесь, — сказал ты, — также должны бы ответить за то, что университетский город возглавляет неграмотный... И не только неграмотный. Дела двухсот тысяч жителей решает то благодушный, то самодурствующий, то безучастный, то деспотичный, то суетливый, то бегущий от дел человек. Для людей он и браток, и творящий что хочет сановник. И лекарь, советующий с официальной трибуны пить от слабости ног парное молоко вместо чая, и шинкарь, готовый весь город споить... Неуклюже, неловко, вызывая стыд за него, прикладывается он, словно ко кресту архиерея, к ордену Ленина на генеральской груди, а без людей, когда он дома один, никогда не раскроет томика Ленина. Водружает венок перед обелиском павшим героям гражданской войны и отказывает живому герою в крове на старости лет. Не может, не должен, — сказал ты, — человек без идеи в душе, руководящийся только идейками сугубо житейскими, занимать место, на котором надо бы видеть средоточие чистоты ума, дарований...»

Твои слушатели непривычны были к тому, чтобы при обсуждении «персональных вопросов» так портретировали, упоминали царей, рассуждали о нужных носителям власти достоинствах, уходили в рисунок, в психологический очерк... После твоей речи воцарилась неловкость. Из нее вышли, занявшись конкретностями — хлопотами Степана Платоновича в собачьей истории. Их нельзя было не признать неуместными. И ушел Степан Платонович с ринга не нокаутированный, но сильно пошатываясь...

И тебя тоже мутило. Не оттого, что пришлось сменить учреждение, а от боли за себя, за два потерянных года, ушедших на нелепую, никчемную, жалкую, изводившую душу борьбу. Чем занят ты был, на что тратил себя — молодой, много учившийся, полный сил человек? Ты чаял отдавать эти силы большим, умным и добрым делам, чаял отдавать их на устроение жизни людей, занятых подлинным и нужным трудом, а ушли они на одного человека — нетрудового, ненужного... Человек этот должен бы стать лишь забавным персонажем какой-нибудь веселой истории, промелькнувшей и тут же забытой, а сделался он важным фактом твоей биографии, одним из сонма тех духов, что непрослединмы в анамнезах, но стоят у истоков сердечных болезней... В годы студенчества, до того как он встретился тебе, этот дух, ты был крепко уверен в своих делах, в своем будущем, уверен, что от умного, честного человека самого все в жизни зависит. Теперь ты узнал, как от глупых сам умный зависит. И, встречаясь потом с пожилыми людьми, страдавшими от ревматизма, стенокардии, почечных камней или больной печени и говорившими тебе: «Вы молодой, вы этого еще, слава богу, не знаете», ты еще долго, до самой войны, мысленно отвечал им: «Нет, знаю. Знаю председателя городского Совета. Он — мои камни, мой ревматизм, моя желчь, моя печень»... И человек этот не уходил от тебя, продолжал неотвязно на память навертываться, присутствовать при всех твоих столкновениях со всякими скверностями. Всюду виделись тебе его черты, его след. Не по злопамятству это, а потому, очевидно, что нельзя забыть первую девушку, первые часы на руке и первое чувство бессилия перед воинствующей, торжествующей тупостью...



Степана Платоновича ты впоследствии мельком повстречал на дорогах войны. Он оказался в управлении тыла одного из фронтов. «Еще туда-сюда, — подумалось тебе, — если ведает он только шинелями, а ну, как снарядами?» Но фронт наступал, и, значит, присутствие этого деятеля не могло что-нибудь заметно напортить...

## *Глава 5. Малодушие или торжество доброты?*

В учетной карточке ты числился военным юристом. Но правильно сделал, отклонив назначение во фронтовой трибунал и попросясь просто в пехоту, где стал помощником начальника штаба полка по разведке. Из-за того ли поручили тебе это дело, что ты понимал речь противника? Потому ли, что, зная тайгу, мог пробираться и в смоленских лесах? Или просто оттого, что был старше досрочно выпущенных питомцев военных училищ? Во всяком случае, ты оказался на месте, а случай, который произошел тут с тобой, стал свидетельством, что для фронтового суда не годился бы...

Услышал я об этой необыкновенной истории лет через десять после войны, когда мы сидели в твоей московской квартире и туда приехал прямо с вокзала пожилой, плотный, загорелый мужчина в грубоватом суконном костюме и с Звездой Героя Труда на груди. Сразу видно было, что он от земли, живет в сытном месте, домовит, деловит, не речист, в столицах редко бывает, но достаточно степенен и денежен, чтобы не потеряться в их суете. Он казался чуточку неуклюже-громоздким среди горок с саксонским фарфором, немножко чересчур натуральным рядом с висевшим на стенке крестьянином других широт и долгот, но его нежданный приезд не смутил тебя, ты даже заулыбался ему. Рад был, наверное, случаю что-то услыхать о сегодняшнем селе, о крестьянстве, с которым давно-давно не общался... Раздосадовали тебя лишь гостинцы, привезенные гостем в непомерном количестве: целый окорок, банка меда, бочонок вина... Они были неадекватны беспокойству, которое причинял он хозяевам в те несколько дней, что собирался пробыть. Человек привез просто подарки. «Вы опять то же самое, — сказал ты ему раздраженно. — Опять, как в позапрошлом году... Ну, что с вами делать, не знаю... Теперь будем бегать по магазинам, искать, чем отдаривать».

А потом я узнал, откуда это знакомство с бригадиром из кубанской станицы...

Лето сорок второго, когда полк твой лежал в обороне под Гжатском, было мокрым и мерзким. Дожди размывали траншеи и пробивались через накаты землянок. Шинели промокали насквозь, штаны разбухали, сапоги тяжелели от грязи, а волглое белье прилипало, будто сразу после стирки надетое. Казалось, что солнце вообще покинуло землю и никогда уже на нее не вернется.

На позициях было утомительно тихо. Щелкали только одиночные выстрелы, слышались время от времени короткие пулеметные очереди, да свистели вечерами ровно полчаса мины, которыми отмечали свой приход на позиции ночные смены противника. И наши и немцы не позволяли видеть себя, на передовой не проглядывалось никакого движения. Солдаты обеих сторон вяло постреливали не столько по высмотренным, сколько по измышленным мишеням, и никто, кроме самых зорких из снайперов, не мог сказать о себе, попал ли в кого-нибудь... Отсидев в траншейной воде свою смену, люди возвращались в землянки, чтобы разогнуть занемевшие спины и развесить вокруг печурки портянки.

Грызла тоска. И не оттого лишь, что в небе не виделось никакого просвета, а от беспросветности самого хода войны... Немцы взяли Воронеж, Ростов, шли к югу, шли к Волге, шли по всем направлениям, и ты чувствовал, как теряется вера в возможность остановить их поток. Сводки с фронтов разъедали души людей, они боялись их слышать...

Ты жил не в штабной землянке, а со своими разведчиками и знал, о чем они говорили, о чем говорить избегали. Говорили о поваре, обеде, старшине, о березовой коре на растопку, о негорящей осине, о кирзе, о ДТТ, о зажигалках, кремнях... Говорили совсем не о том, о чем думали,

а когда это становилось невмоготу, затихали. После длительных пауз кто-нибудь произносил неизбежное «да-а», за которым следовал долгий, томительный вздох, и снова воцарялось молчание. «Да-а» означало, что ничего тут не выдумаешь... Все ненавидели это тупое, нелепое «да», и все-таки оно обязательно каждый раз вырывалось.

Иногда над передним краем показывались воздушные шарики. Их расстреливали, и они рассыпались листовками — множеством разноцветных бумажек, напоминавших конфетти. В листовках говорилось, что война немцами выиграна, что сопротивляться им бесполезно, что к ним перешли уже многие русские части и солдатам под Гжатском остается спасаться тем же путем.

Люди читали и рвали листовки, не вдаваясь в их обсуждение. Что было тут обсуждать, когда противовесом им был только приказ стоять насмерть!.. Казалось, что этим приказом стратегия найдена, ибо если все вместе и каждый в отдельности будут насмерть стоять, то наводнение, разлившись по русской степи, поглотится ею, испарится на ней. Тебе стало легче от ясности и простоты этой формулы. Но прошел месяц после приказа, дожди продолжали безостановочно лить, пал Ворошиловград, немцы растеклись по Донбассу, листовки-конфетти стали сыпаться уже каждый день, и над одной из них, игравшей кумачом, синькой и зеленью, задумался самый старый во взводе пеших разведчиков кряжистый усач Антон Растидуб.

— Хороша бумага, — сказал он. — Богато живут. И где такие краски берут, что от дождя не линяют...

Никогда в прежней жизни люди так не тяготели ко сну, как в эти сырые и серые дни. Кутались в затвердевший брезент плащ-палаток, пахнувших глиной и порошками, прижимались к соседям и старались уйти в миражи и небытие.

Но это разрешалось твоим людям не больше, чем другим пехотинцам. Разведчикам, получавшим ночные задания, давали на другой день отсыпаться, но все остальные помногу часов учились поиску, подслуху, лазанью, схваткам и, подобно солдатам прочих взводов, несли караульную службу, углубляли траншеи, выкачивали воду из них. Поэтому засыпали все намертво, при подъеме не сразу приходили в себя, но ты слышал их крики и стоны во сне. И до тебя доносилось, как Растидуб молил свою Катеньку, ругал свою Катьку, бил свою Катерину...

Это была оставленная дома жена. Ему перевалило за сорок, а ей было лишь двадцать пять, и в единственном полученном из станицы письме ему намекали, что она загуляла...

— При мне ей никого другого не требовалось, — рассказывал он, не умея удерживать в себе свое горе, — я ведь сам могу так, что святые угодники на стенке шатаются, ну, а без меня невтерпеж, значит, стало... Разлакомил я ее на свою голову, стерву, разлакомил...

Усача распирала неулегавшаяся ревность, он страдал от любви и от злобы к жене. Ее нужно было хлестать и стегать, поволочь за волосы по огороду, измордовать ей лицо, а он вместо этого должен был недвижно стоять часами в траншее и ползать на учебных занятиях.

Бессильный убить жену, Растидуб вдувал свою силу в огонь, не желавший заняться над мокрым валежником, и, стоя у печурки на корточках, метался душой.

Он клял себя за то, что, не предвидя войну, поехал за семенами люцерны в Московию, откуда не смог уже пробраться назад и попал воевать на Смоленщину.

Ненавидел Смоленщину, которую создал черт, а не бог.

— И как только люди тут жить могли, — рассуждал он о ней. — Одна картошка да ржевник. Недаром говорят, что только дураки с него кормятся... А у нас тыща видов продуктов. Вареньев-соленьев ешь не хочу. В лесах не осина, а груша, орехи, кизил. Фруктой кормим даже свиней. Свиньи на пятнадцать пудов. Сала в каждом дому на погребе столько, что опять же свиньям подбрасываем. А самый наш дом если взять, так он бы здесь считался дворец. Избы все пятистенные, простынного цвету, вокруг палисадники... По улице идешь — сердцу отрада, в дом заходишь — ризы серебряные, ковер на стене, хозяева уставляют настойки... А Смоленщина эта — позор человеческий. Хаты все на боку да дрючками подперты. Хорошо, что пожег их немец к чертовой матери, землю освободил от дерьма...



Ненавидел солдатскую пищу, а хлеб пуще всего:

— У нас булка белая-белая. Высокая, мягкая, с дырками. Откусишь — она под зубами вздыхает, проглотишь — сама в кишку соскользает. Сыть от нее по всему нутру разливается, а остается оно свободное, легкое. Вот у нас булка какая! А ржу вашу у нас никто и не сеет. Рази это человеческий хлеб? Утоленья на полчаса, а газу на целые сутки.

Негодовал и на армию, что отступала с Кубани, лишала вестей.

— Перестрелять бы их всех, сукиных сынов, паразитов! — говорил он о безыменных солдатах, не отстоявших беленьких домиков с их палисадниками и привычной, устоявшейся жизнью.

Всех своих дум он еще не выговаривал. Но из отрывочных фраз можно было угадать недосказанные.

«Зачем мне, Растидубу, — витало в его подсознании, — защищать здесь от немца чьи-то хибарки, когда его в это время пускают ко мне на станицу? Я предан, обманут... Зачем же буду в дерьме здесь лежать? С какой это стати?.. Надо домой... При хозяине немец не тронет двора. Не тронет, во всяком случае, Катьку... Катьку, которая, того и гляди, будет лежать под ним, трепыхаться».

При этой мысли Растидубу не хватало дыхания, и он выбегал из землянки под дождь.

Но ты не приметил, как часто этот боец не справлялся с дыханием. Пропускал мимо ушей его фразы о сволочах и предателях. Не видел, что ему иногда хотелось завыть, хотелось мстить неизвестно кому за то несправедливое, страшное, что стряслось с ним и страной. Не придал никакого значения его похвалам немецкой бумаге. Не обратил внимания даже на то, что он разглядывает по трофейной карте России, как вьются дороги из Москвы на Кубань. Прочертил полоску на Брянск, спустил ее к Льгову и завернул дужкой вправо на Курск, откуда лежала прямая тесемка к Ростову.

Однажды ты его карандаш увидал, но подумал, что это он изучает путь почты с Кубани. И промолчал, зная, что ему уже не может быть писем...

В злобе Растидуба ты видел только злобу к врагу, не чуял, что он зол еще на своих и хочет уверить себя, будто не должен чувствовать себя перед ними обязанным больше, чем обязаны они перед ним.

Ничего этого ты не разглядел, ничего этого тебе не приходило и в голову. И когда пошел на подслух узнать, не прибыла ли новая немецкая часть, то взял с собою не кого-то другого, а именно этого казака, осмотрительного, немолодого, на котором никогда ничего не бренчало. Во взводе были куда более храбрые люди, — например, бывшие штрафники, которым все нипочем, были московские школьники, ориентировавшиеся в маршруте, языке и приборах не хуже тебя, но ты взял Растидуба. Взял потому, что он не сорвиголова, а ударит — не встанешь...

Он двигался за тобой по пятам, и двигался совершенно недостойно разведчика: спотыкался о корневища и пни, ругался, издирая о сучья лицо, упал в муравьиную кучу. При этом ворчал, что ночью по лесу рыщут только сычи, и подозрительно спрашивал, хорошо ли ты знаешь, что до цели идешь. Ты назвал его бабой, но в душе был доволен им. Знал, что этот казак, когда его включали в группы захвата, был неловок в пути, но первым оглушал «языка» и тащил его на себе.

Вскоре вы вышли к поляне, по которой перебрались ползком, и на опушке занятого немцами леса Растидуб спросил, далеко ли до них. «Рядом», — ответил ты и почувствовал, как он задрожал. Ты подумал, что это от страха. Не знал, что в голове его пронеслась мысль о судьбе... «Так, — сказал он. — Ну, я ползун не горазды́й. Дозволь, капитан, присядем чуток, передохнем».

...Очнувшись, ты почувствовал дикую ломоту во всем теле и увидел себя стреноженным, словно коня. Только левая рука осталась нескрученной.

— Слушай, парень,—прерывающимся голосом сказал тебе Растидуб,—греха на душу брать не хочу... Я тут нож воткнул в пень. Посветлеет—увидишь. Докатишься, ремни порвешь и иди куда хочешь. Можешь на подслух, можешь назад... А у меня свои думы... И толкуй, как желаешь... Ну, будь живой...

Пошел нетвердой походкой, затем возвратился, скинул с себя автомат, сложил возле тебя четыре гранаты.

— Не понесу им...

Потом смутно видать было, как он снова остановился, встал на колени и делал рукой непонятное. Ты догадался...

«Господи, правилен ли мой путь?»—вероятно, спрашивал он, ожидая, что если неправилен, то над поляной и лесом разразится какое-нибудь подобие грома. Но тишина не нарушилась, и это его подбодрило, он отвесил богу поклон, стал объяснять ему что-то, оправдываться. Шептал, наверное, что его предали, разлучили с семьей, что идет не к врагу, а до жены и до дома...

Потом поднялся и потерялся в лесу.

Ты стал пытаться высвободить себя из ремней. Нащупал узел в ногах, но он был так затянут, что не смог в него пальца просунуть. Потом ощутил ком на спине и понял, что это еще один узел. Долго выворачивал руку, чтобы хоть сдвинуть его, но не сдвинул. Ты был связан взахлест, ничего тут одной рукой сделать нельзя было, и при каждом движении кости ломались.

Тогда ты начал кататься, ища во мраке пень и нож. Нет, не кататься, а, опираясь на свободную руку, взбрасывать себя на два-три вершка. Но, промаявшись сколько-то времени, ты не до пня дотащился, а до какого-то гнилого торчка и раскровянил о него и без того занемевшую руку. Передохнул, стал снова взбарахтываться, снова драть руку о сучья и ушибать ее о торчки... Ты сызмала знал, что лес—это вовсе не травка-муравка, но только в эти часы ощутил, что стволы, сучья, прутья могут быть так люты, враждебны... Неранящими были только поганки, эти раздавленные тобой склизкие нежности, да мшистая, засыпанная мягкими иглами кочка, до которой ты, наконец, дотащился. Она оказалась затем муравейником... Неизвестно, сколько часов ты вздымал, опускал себя, ворочался, полз, дрался с путами, с мраком и плакал, сопел... Плакал от боли, страха, беспомощности.

Страх был основным ощущением, оставшимся в памяти. Он брал верх над болью, дал силы. А боялся ты всех и всего. Боялся шуршать, чтоб не услышали. Боялся далеко уползти и не найти потом ножика. Боялся хруста, за которым чудились звери. Боялся потери сознания.

И хотя этот страх придавал тебе мужества, кто знает, хватило ли бы тебе его до утра и что было бы дальше... Возможно, что с рассветом ты обнаружил бы нож, собрался с последними силами и перерезал ремни. А возможно, что на тебя набрел бы немецкий патруль. Или вообще никто не набрел бы... До самой весны, когда под растаявшим снегом был бы найден смерзшийся нераспознаваемый труп, но при нем никаких документов...

Все это было бы равно вероятно, не произойди в лесу в это время такого, что возможно лишь по заказу, в измышлениях, в сказке, в кино или по прямому начертанию бога, как навсегда уверился в том Растидуб. Здесь перебежчик натолкнулся на перебежчиков...

Он скованным замер на месте, когда, пройдя с километр, вдруг почувствовал — не увидал, не услыхал, а почувствовал,— что в двух шагах от него, за деревьями, кто-то таится...

— Ихь эргебе михь,—вспомнил он из немецкой листовки.

Никто не откликнулся.

— Ихь эргебе михь,—повторил он погромче, не решаясь услышать себя.

Люди продолжали молчать.

Он решил уже, что они ему просто почудились, как вдруг его ударили чем-то в живот, схватили одновременно за ноги, повалили и стали душить.

Но справиться с Растидубом было непросто. Нельзя сказать, чтобы у него была бычья шея, но сломать ему позвонки и руки с налету не мог бы никто. И все трое стали барахтаться с переменным успехом, стараясь сдавить противнику горло.

— А-а, сволочь!.. Проклятый!—задыхались враги.

— Немчура поганая!—хрипел Растидуб.

Но двое было на одного, и они бы его в конце концов задушили, не донесись до них голоса. По лесу шли несколько немецких солдат... Впоследствии Растидуб посчитал это тоже небесным перстом, и надо признать, что голоса эти вправду спасли его. Правда и то, что немцы не бродили обычно ночами по лесу, избегали его, патрули были редки, и этот случился удивительно кстати... Все трое притихли. Обе стороны ждали, что вскрикнет другая, и тогда наступит развязка. Но никто не позвал немцев на помощь... Все трое сжались...

Тогда эти люди оторвались друг от друга, подождали, пока шаги солдат отдалились, поднялись.

— Кто ты такой?

— Русский,—сказал Растидуб.

— Тоже... из плена?

Растидуб покачал головой.

— Значит... разведчик?

— Да вроде...

— Мать честная! А мы-то... Вот это да!

— Бандиты вы... Из лагеря, значит?

— Из дома.

— И бежите?

— Потому что... надзирателем сделали... На работы сгонять. Со всей деревней поссорили... И его вот спасти,—кивнул старший на младшего.—Сын это мой. Шестнадцать ему. Не сегодня-завтра угнали бы...

Растидуб тупо слушал.

— Уж коли пропадать,—добавил беглец,—так в шинелке. Со всеми.

Растидуба вдруг проняла убийственная простота этих слов.

Пришла ясность. Единственная. Исключавшая прочие.

Испарилось, сгинуло в нем наущение...

Ты в первый миг испугался, увидев его с незнакомцами. Подумал, что он возвратился убить. А он сказал с усмешкой, неискренне:

— Ну что, не помер со страху? Хорошо попужал тебя? Зато вот привел языков. Это почище, чем подслух.

Но, развязывая, устало добавил:

— Поступи со мной, как захочешь... Можешь прямо сейчас...

Но ты ни в эту минуту, ни после не поступил с ним никак. Твоего рапорта было бы совершенно достаточно, чтобы и без трибунала, без следствия... Ты рапорта не написал... Оттого ли, что омерзительно было при мысли о нагане, направленном в незащищенный затылок? Оттого ли, что, изучая когда-то законы, сам не дорос еще до законов войны? Или, наоборот, умел встать над ними, возвыситься? Трудно сказать... Но ты ничего не решил.

Трепетал ли он, ожидая судьбы своей? Да, вероятно. Но ни о чем не просил тебя. Скинул завшивленную рубаху, надел свежую, ждал. Ты избегал смотреть на него... Потом попросил командира полка перевести одного пожилого солдата из разведывательного взвода в стрелковый...

В начале сорок шестого ты шел по Берлину с женщиной, о которой пойдет речь впереди. Встретился с группой солдат, гулявших по увольнительной в городе. Один из них был усатым, обвешенным целым десятком медалей. Вы сразу узнали друг друга... Он взволнованно попросил разрешения обратиться к тебе... Вы ходили по Пренцлауэр Берг, он рассказывал, как довоевывал, и прочувственно сказал твоей спутнице: «Я товарищу подполковнику жизнью обязан». Потом сообщил, что скоро демобилизации ждет, и попросил зачем-то твой адрес. Женщина назвала ему свой московский...

Сорок шестой был неурожайным, и москвичи питались только по скудным карточным нормам. Каково же было твое удивление, когда мать женщины, гулявшей с тобой по Берлину, радостно сообщила, что получила с Кубани посылку от твоего боевого товарища. Тебя это совсем не обрадо-

вало, но ты не знал адреса, по которому мог бы послать нагоняй. И хотя сделал это потом, посылок все равно пришло еще несколько. Ты, в свою очередь, поспешил отправить отрез на гражданский костюм. Втянулся в отношения, которые тебя тяготили.

Потом пришло и письмо. Казак сообщал, как восстанавливается хозяйство колхоза и что делает в нем. «Не брезгуйте водиться со мной,— употребил он ребячьи слова,—ибо воинское свое понимание, которое через вас получил, применяю сейчас на производство продуктов для страны и народа, и вы не можете заставить меня позабыть в отношении вас. Я о том перед смертью детям признаюсь, чтобы и они почитали вас».

Через несколько лет, когда ты давно уже стал москвичом, он пришел к тебе со Звездой на груди. Ему для того, вероятно, вручили ее, чтобы ты с этих пор уже никогда не стыдился нерешительности своей в сорок втором. Чтобы тогдашнее твое малодушие могло стать возведенным в великодушие и подкрепиться уверенностью, будто последнее всегда дает такие плоды.

Необыкновенность судьбы казака переплела исключающие друг друга понятия. И не знаешь, что именно сделал ты: труса прикрыл ли, героя ли спас?

Но от попыток определений ты морщишься, говоришь, что ни до чего в этой истории не надо доискиваться, и коротко заключаешь ее:

— Так вышло, и все...

## *Глава 6. Она была когда-то радисткой*

Преступление, оставшееся вашей обоюдною тайной, искупилось последующей пользой, принесенной тобой делу войны.

Подвигов, которые становились бы общеизвестными, за тобою не значится. Но разведчики первыми проникали в места, куда втягивались затем батальоны. И ты первым подсказывал командиру полка, где можно прокрасться к противнику с тыла, а где есть возможность фронтового удара. Все это давало тебе безусловное право считать себя нужным для войны человеком.

Потом из полка ты был забран, оружием твоим стало ухо. Допросив уже сотни немецких солдат и разобрав много документов противника, ты поднаторел в языке, и тебя обучили радиосвязи — подслушивать, что делается в стане врага. Твоя деятельность стала неприметной вовне — даже поселен был отшельником,—но... кто знает, сколько решений командования принималось теперь по твоим перехватам. Слух у тебя был отличный: его не могла обмануть никакая смена позывных и паролей, всех радистов противостоящих частей ты распознавал по голосу, акценту и выговору, привил чувствительность и ушам подчиненных своих, делал многое, чтобы противнику дорого обходилась его радиосвязь.

Потом тебя взяли из спецбатальона в другой вид разведки, потом привлекли к штабным разработкам, потом... ты случайно и глупо был ранен при воздушном налете (остался дообедывать в офицерской столовой, вместо того чтобы в траншею залечь) и отвезен в московский лефортовский госпиталь, где простая случайность изменила всю твою дальнейшую военную жизнь... По палатам бродили однажды какие-то люди, спрашивая, кто здесь знает немецкий язык. Не подозревая, в чем дело, ты отозвался. Они попросили тебя перевести вразумляющее обращение к немцам. «Это у вас очень наивно»,— сказал ты им на прощание, не понимая, как это взрослые люди в такое напряженное время занимаются таким нестоящим делом. Тебе не могло тогда прийти в голову, что просьба их была провокацией, экзаменом, пробой и ты получишь потом направление уже не назад, не в разведку, а в распоряжение этих людей. Это ошеломило, возмутило тебя. Ты бросился было к большому начальнику, подписавшему этот приказ, ты хотел объяснить ему, что невозможно, нелепо пересаживать тебя с важного, нужнейшего дела на несерьезное, пустое, никчемное, и ты, несомненно, убедил бы его, что в войне не призывы нужны, а сила и хитрость, но тебе не удалось проникнуть к нему...

«Внимание, внимание!.. Немецкие солдаты, перебегайте к нам в плен... Спасайте себя, иначе погибнете... Гарантируем сытость и возвращение на родину после войны... Дело Гитлера обречено... Не обманывайтесь тем, что вы временно еще стоите на русской земле... У нас бессчетные силы... За нами пространства, до которых вам никогда не дойти... На них день и ночь выпускаются самолеты, танки, снаряды... Вы по собственному опыту знаете, что их становится все больше и больше... Много ли осталось в вашей дивизии солдат, перешедших границу в сорок первом году... Она уже дважды была перемолота... Вас ждет участь предшественников... Решайтесь же, если не хотите быть погребенными в снежных сугробах России... Сохраните себя для ваших жен и детей...».



Листовки, листовки... Ты их писал, разбрасывал с самолетов, разбрасывал руками разведчиков, вкладывал в минометные гильзы, передавал партизанам для разброски в тылу. А ночами забирался в автобус, который прятал на опушках лесов, и говорил-говорил-говорил, стараясь глушить усилителем поднимавшуюся орудийную ярость противника. Мины свистели рядышком, в считанных метрах, и ты не раз сам себе удивлялся, как остался живой...

Но не опасности тяготили тебя. Тяготила неблагодарность задачи. Немцы побеждали, немцы были на русской земле, немцев допустили ко всем ее центрам, немцы разрезали ее, расклинили, и чего ради немецкий солдат, ждавший, когда станет здесь фермером, стал бы следовать твоим комичным призывам... Действие их сказалось лишь позже, после перемены военной судьбы, после Сталинграда и тревожных речей в Спорт-Паласе, после того, как твой фронт в одно лето скакнул от Смоленщины почти до границы. Тогда великое множество немецких солдат из великого множества разбитых частей стали выходить из лесов на дороги, поднимая над головой прибереженные, мятые, писанные тобою листовки... В июле сорок четвертого ты, уже не таясь, летал над лесами в открытом биплане почти над верхушками сосен и, держа у рта микрофон, сообщал, как выходить на шоссе, где сборный пункт...

В это торжество ты внес свою лепту. Во все торжества, чередовавшиеся потом одно за другим. И в мае сорок пятого года, когда пронеслась долгожданная весть, ты потому не мог справиться со спазмами в горле, что сам все четыре мучительных года жил войной, жил для войны и победа народа была твоей личной победой.

Ты не совершал героических актов, увенчиваемых вручением больших орденов. Твоя жизнь на войне была не цепочкою подвигов, а вседневным подвижничеством. Первая половина войны связана в твоей памяти с калом, смердевшим вокруг нор и землянок, и с кровью, что струилась на снег. Кал и кровь, кровь и кал... Потом ты помнишь веселую пору движения и лихорадочной деятельности. Но, странное дело, в тот первый период, когда ты считал себя чуть ли не преданным и чуял, что на тебя возлегло исправлять тяжелые ошибки людей, правивших судьбами страны и народа,—в этот период кровь, кал, вши, сухари, плошки и гарь, вся кротовая жизнь и все ее запахи только поднимали в тебе священное чувство служения, усиливали гордое сознание мученичества, что тогда называлось войной. Это было ненужное мученичество, которого Россия могла избежать, но ты ощущал через него величие времени, не поколебленное ни горем, ни вшами. Величие, создавшее славу владык, но вытруженное страстотерпцем-народом.

В мирное время военное мужество тускнеет перед гражданским. И переходит с полей в кинофильмы, в учебники, в стихи и легенды. Наверное, уже недалеко до поры, когда Сталинградская битва станет для наших детей Бородинской. Обе сделаются для них одинаково давними, как равно древние им Александр Македонский и Александр Второй, упокоенные лишь на разных страницах учебника, но ты до конца своей жизни будешь удовлетворенно вспоминать о поре, в которой есть что вспомнить о себе...

Сюда вплетутся и события иного, близкого ряда. Вернее, они переплетутся с военными. Но воспоминания о них принадлежат уже не тебе, а Наталии Сергеевне. Сам ты не очень словоохотлив тут. Ну, встретился с нею на фронте, и все... А Наталья Сергеевна в разное время расскажет то один, то другой эпизод...

Ты казался этой радистке строгим начальником, и она удивилась, когда ты однажды сказал ей:

— А, знаете, такие светлые блондинки, как вы, теперь дефицитны. Я где-то читал, что их рождается все меньше и меньше. Когда-то их была половина всех женщин, а сейчас только десятая часть...

В другой раз, зайдя в аппаратную, ты сделал вид, будто не к ней, а над шифровкой нагнулся, и огорошил ее тихим грубым вопросом:

— Где это вы умудряетесь такие духи доставать тут? С кем амурничаете здесь из штабных?

— Что вы!.. Ни с кем... Как вы смеете! — растерялась она.

— Это плохо. Значит, не у кого узнать о вашем характере, — ответил ты, вдруг улыбнувшись.

Улучив момент, когда она была дома одна, ты пришел в избу, где жили связистки. Застал ее с утюгом в руках, полуодетой, но как ни в чем не бывало расположился на стуле, сев на отглаженную только что гимнастерку.

— Посмотрите, на что вы сели, — сказала она. — Неужели не видите?

— А я нарочно, — сказал ты. — Хотел посмотреть, вскрикнете вы, всполошитесь или спокойненько скажете. Теперь вижу, что вы некрикливая.

— А для чего вам этот экзамен? — рассмеялась она.

— Должен знать своих подчиненных.

— И вы их всех так испытываете?

— Ну, на всех у меня любопытства не хватит.

— Польщена. А почему оно обращается лишь на меня?

— Вот этого объяснить не сумею.

— Блондинка? Дефицитная категория девушек?

— Скорей дефицитное для них поведение.

— Не надо, — сказала она. — Ничего не надо о девушках... Все вы не понимаете, как им здесь трудно... При штабе-то еще ничего, мы здесь в отдельной избе и вообще... А вот в части... Ни переодеться, ни своего уголка. На войне всем очень плохо, девушкам особенно плохо, как бы мы ни хотели, чтобы все оставалось у них хорошо... И вам не идет осуждать. Вы не такой.

— А какой?

Она подумала, внимательно на него посмотрела.

— По-моему, вы тем меньше суровый, чем больше стараетесь походить на сурового.

Ответить ты не успел. В сенях послышались голоса, ты вскочил, стал что-то официально выговаривать ей за мнимую путаницу в каком-то приеме и, поклонившись девушкам, вышел.

— Вы ведь москвичка?! В Москву сегодня идет самолет! — заговорщически сообщил ты ей через несколько дней. — Готовьте маме и братишке посылочку. Быстренько. Летчик знакомый, он занесет.

— Ох! — обрадовалась и растерялась она. — Но у меня нет ничего... Можно мне сбегать на пятнадцать минут в военторг?

— Там тоже нет ничего. Но вчера выдавали офицерский паек. Пятьсот колотого, четыреста сливочного, две пачки печенья, кусок туалетного, баночка кильки и баночка ваксы.

— Это не мой паек, — холодно сказала она. — И откуда вам известно про маму, про брата?

— Я разведчик, мне все известно.

— Я тоже разведчица, и мне тоже известно. Треугольнички с выведенными печатными буквами... Как вам не стыдно отправлять посылку не дочке?

Ты смутился:

— Самолет идет не в Сибирь, а в Москву.

— Все равно... Как вы смели мне предложить? Что предложили бы после пайка?

И она вдруг расплакалась.

— Глупая! Какая ж ты глупая! — вскричал ты, неожиданно схватив ее руки. — Как могло это тебе прийти в голову?! Я хотел только... хотел только маленькую радость тебе...

И ты сам не знал, как это вышло, что почувствовал вдруг на губах сладкую соль ее слез... Она поддалась, словно это мама ее утешает, потом сразу отпрянула, выбежала. Выбежал не в аппаратную, а неизвестно куда. Ты послал потом вестового разыскивать, но он нигде не нашел ее. И только впоследствии ты узнал, что она весь этот день пробыла за деревней, в поле, в лесу, сама не помнила где...



Медовые одиннадцать суток вы провели тоже далеко за деревней, и это был доподлинно рай в шалаше. За линией фронта, с аппаратурой, с рассчитанным по граммам запасом консервов и с необыкновенным заданием: путать немецкие карты появлением нового немецкого функера... Распознали тебя очень скоро, но ералаша в эфир ты внес немало, и голоса в нем с опаской притихли... А Наташа стала с этой поры твоей женой и пожизненным другом.

Рай в шалаше не прошел вам, к сожалению, даром. Взяв с собой на задание женщину и отказавшись от человека, которому надлежало быть третьим, ты не смог этого сделать бесследно. Дело дошло до начальника штаба, и между вами произошел такой разговор:

— Как это вы, майор, могли позволить себе! Находились на особом задании...

— Задание, товарищ генерал, выполнялось.

— Еще бы! Иначе бы с вами не я, а трибунал разговаривал. Ну, ладно... Девицу перевести в штаб дивизии! Чтобы ее сегодня же не было здесь! Ясно вам?!

— Так точно. Но позвольте сказать... Она не девица... Не то, что вы думаете... Я люблю ее... Она не из тех...

— Это что еще значит?! Кру-гом!

Держа руку у козырька, ты повернулся на каблуках, но когда был уже у двери, генерал вдруг окликнул:

— Стойте! Подойдите... У вас семья?

— Семья.

— Аттестат на нее?

— На нее.

— Пишут?

— Пишут.

— Ждут?

— Ждут.

— Советую подумать об этом. Кру-гом!

Так по твоей вине Наташа лишилась дощатого пола, электричества, столовой, подруг... И доброго имени... Но ее, очевидно, так заполонили одиннадцать дней, что она стоически перенесла все мытарства остальных семисот, считая их неизбежною оплатою счастья... Впрочем, эти два года и сами полны были радостей: вы находили друг друга в эфире, по проводу, вглядывались в фотографии, в почерки, слали и получали приветы с шоферами и через всяких заезжих, а несколько раз вам удавались и праздники — это случалось, когда тебя посылали в штаб армии, а маршрут позволял заглянуть и в дивизию...

Но самой длительной, дорогой и скрепляющей вышла встреча в Москве... У тебя приостановилось дыхание, когда ты, не веря глазам, увидел Наташу в лефортовском госпитале... В первый момент слов не нашлось...

— Ты?.. Ты?.. Здесь?..

— Узнала... Мне дали отпуск... Родной мой, родной... Ты не вскакивай... Бога ради не вскакивай...

И ты ощутил, что эта женщина в белом халатике, бледная, тоненькая, с большими глазами, в которых стояли и тревога и счастье, — самое дорогое для тебя существо.

Теперь ты с утра стал жить ожиданием вечера. Наташу пускали на час перед ужином, она садилась у койки, почти вплотную примыкавшей к другим, вы больше молчали, чем разговаривали, но рана стала быстрей заживать и ход войны казался счастливее, чем он тогда был.

А было на вашем Западном фронте еще совершенно недвижно, в Москве затемнено и голодно. Сталинград уже придал силы сердцам, но дивизия Наташи не выбилась из окопов Смоленщины, брат не учился, а делал патроны, мать капала из пузыречка в гороховый суп масло, служившее прежде для швейной машины... Ты деловито распределял госпитальные завтраки, обеды и ужины: съедал гарнир, а котлету припрятывал, снимал с бутерброда бекон, откладывал сахар. Укрывал это все в ночном столике, заслоняя лекарствами, чтобы не увидала сестра. Наташа ни за

что не хотела брать твоих накоплений, но ты заставлял ее половину съедать при тебе, а другую засовывал ей в карман гимнастерки... Пакостное и жалкое время? Нет, дорогое сердцу и памяти...

Чтобы побыть хоть немного вместе с Наташей, ты умолил врачей отпустить тебя раньше срока. И провел у нее несколько суток, представленный матери и брату как зять...

Это была семья инженера, погибшего в самом начале войны, когда устанавливал в столице локаторы. Именно тогда Наташа сразу попросилась на фронт, бросив свой институт. И ты понял, почему она, такая живая, игривая, избегала на фронте мужского внимания, — он был для нее выполнением дочернего долга... В чистенькой, полученной перед самой войной квартире на Ленинградском проспекте висели увеличенные портреты отца, лежали нетронутыми разные инструменты, приборы, хранились тетрадки с исчислением дальности, азимута... Мать покоробило появление нежданного зятя, привезенного дочерью с военных дорог, где не в браки вступают, а спариваются, но она ни о чем его не расспрашивала и ничего не планировала. Изболевшись по дочери, она и с ней не говорила о том, как это вышло и что дальше будет, а только гладила ее волосы, старалась взять ее руку в свою и смотрела на нее со сдержанной грустью.

Зато пятнадцатилетний твой шурин, хотя и ревновал сестру к незнакомцу, отнесся к тебе с большим любопытством, расспрашивал о разведке, о рациях, о заброске воздушных десантов и допытывался, когда двинется фронт. Мальчик ходил в полувоенном костюме, нацеплял раздобытую каким-то путем портупею, знал все виды оружия, следил за военными сводками и, неистово желая скорейшей победы, в то же время тайно побаивался, что война закончится еще до того, как он сможет принять в ней участие. Ты жалел, что у тебя не было при себе офицерского фонаря, полевого бинокля или хотя бы планшетки, которые мог бы ему подарить. Располагал ты только буханками хлеба, концентратами, сахаром, куском затвердевшего сала...

Некогда войны велись только армиями и только на окраинах стран. Городской обыватель мало чувствовал их. Его борщи оставались столь же наваристыми, и свиная селянка в недельном меню чередовалась по-прежнему с телячьей грудинкой. Мемуарист времен Семилетней войны отмечал, что во все ее продолжение ни на копейку не повысились цены на вещи, не пала стоимость денег и не уменьшился привоз на базары, а современник бесконечных походов Суворова жаловался только на рестораторов, выдававших дешевые итальянские вина за марочные... Но уже через два года русско-германской войны начались голодные бунты, а через два месяца с начала Великой Отечественной в стране введен был спасительный голодный паек. Спасительный, ибо без него осеклись бы и все виды производившегося страною оружия, и всенародное мужество, превзошедшее и выдержку греков в эпоху войн с персами, и бесшабашное презрение римлян к страху перед физической смертью. Без продовольственных карточек мы бы погибли... Но не дай бог другим поколениям тоже познать эпоху продовольственных карточек.

Все радостные людям события, даты и праздники овеществляются в чревоугодии. Их отмечают — на свой лад в каждом кругу — обилием, изысканностью и украшением всякого рода еды. Она поддерживает, скрепляет, увенчивает приятельства, сближения, дружбы, родство. И неловкость твоего пребывания в доме Наташи, напряженность в отношениях с тещей, двойственность самого твоего положения в этой семье сгладила тоже еда. Но не обилие, а крайняя скудость еды. Будь ее много, будь на столе и то и другое, холодок в отношениях никогда не развеялся бы, ты уехал бы из этого дома таким же чужаком, как вошел в него. Но когда ты не дотрагивался до выданного тебе как больному серого хлеба, утверждая, что ешь только черный, перекладывал из своей тарелки в Наташину кусочек картошки, не брал сахара, уверяя, будто у тебя от него зубы болят, и настоял на том, чтобы масло ел только Петя, так как ему, растущему, нужно больше калорий, а Наташу твои жертвы приводили в неистовство, — мать приглядывалась к вам и неприметно теплела...

На вокзале она решилась поцеловать тебя в лоб. Ты поцеловал ее в щеку.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### *Глава 1. В доме у Натальи Сергеевны*

На столе — ни колбас, ни ветчины, ни селедок, никакой привычной еды. Все блюда изготовлены лично хозяйкой, большинство их неведомо, и гостям приходится долго разгадывать, из чего они состоят. Но попробуй не ошибиться, когда в паштете и рыба, и грецкий орех, и чеснок, в другом — куриное мясо с салом, мадерой и фруктовыми соками, в третьем — телятина с протертым сыром, лимоном и сливочным маслом, а салаты смонтированы столь многосложно, что без очков в них разобраться нельзя. Гости стараются вдуматься, вчувствоваться в каждое блюдо, но всех его компонентов они все же не могут назвать, чем Наталья Сергеевна очень довольна. Потом она великодушно делится своими секретами, благо в следующий раз изобретет что-нибудь новое. Ведь у нее и Молоховец, и Гудериан (да, да, тот самый, что написал и о танках!), и много новейших пособий, а главное, неустанная выдумка...

Ты любишь в жене эту энергию и честолюбивую жилку. Может быть, сам и привил ее. Охотно помогаешь ей выколупывать ядрышки орехов для торта, сбивать желтки, прокручивать фарши. А когда выходишь к столу, где закуски украшены яркими перцами, зеленью и майонезной мозаикой, обозреваешь его сервировку, любуешься гранью хрустальных графинов и чуешь плывущие запахи, смешанные с ароматом цветов, расставленных в тоненьких, как стебельчики, сосудиках, то удовлетворенно потираешь руки. «Согласитесь, — говоришь ты нам, — что это чудесно, друзья. Это надо вкушать! Признаюсь, что люблю эти маленькие радости жизни. В старости делаешься эпикурейцем... Сядем же опустошать и воздавать хозяйке хвалу».

А Наталья Сергеевна оправдывается перед гостями за такое обилие:

— Я знаю, что это старомодно, товарищи. Теперь даже на самых высоких приемах подают только несколько блюд. Но, как вы знаете, мой муж сибиряк... И пусть это консервативно, но мы любим, чтобы у нас ели в свое удовольствие.

Она рассказывает о виденном в заграничных поездках, о скромности, с какой теперь принимают гостей в разных странах и в разных кругах, и добавляет, что, на ее взгляд, умение много и вкусно кормить должно остаться русским национальным отличием. Можно и нужно перенимать очень многое, но когда вам подают белый соус, в котором еле виднеется куриное крылышко, то бог с ним, с Монмартром... Они там бродили целый день среди живописи, почти даром купили вон те две акварели, но в ресторане потратили безумные деньги и остались голодными.

Ты замечаешь на это, что и у нас крайне оскудела еда. Упростилась до чрезвычайности. Сколько делалось в Сибири всевозможнейших блюд, теперь совершенно исчезнувших! Развилось техническое и научное творчество, а творчества в еде теперь нет.

Кто-то из гостей говорит, что какое там может быть творчество, когда вымерла вся лучшая рыба, вкус парного мяса забыт, туши поступают в продажу без вырезки, масло не масло... Ты подхватываешь эту тему и вспоминаешь нельму, сосвинскую сельдь, селенгу, привозы на городские базары, где утрами крестьяне отдавали все ни по чем, лишь бы продать или сделать почин. При этом ты ссылаешься на меня, свидетеля твоей молодости и былого обилия.

— Да, — подтверждаю я, — всяких рыб было много, но зато у тебя тогда не было специальных лопаточек и приборов для рыбы.

Наталья Сергеевна вновь оживляется. Это же ее тема, которая могла бы иначе остаться упущенной! Эти особые вилочки с инкрустированными хвостами и жабрами она купила случайно. Они уникальны. Им сто с лишним лет. А вот все остальные приборы она специально искала, заменив ими прежние, привезенные еще из Германии. Есть нужно плотно, по-старому, но в сервировке стола нужен, конечно, известный модерн. В меру, но нужен. Прежние ложки теперь режут глаз. А нынешние — видите вот — они округленные. Старая яйцевидная форма исчезла. А ножи и вилки теперь короче и шире, чем раньше. Завести их не так уже сложно, потому что стоят недорого. А вот обновлять сервизы было бы глупостью. Нынешние глубокие

тарелки — уже не глубокие, они бесформенны, на манер узбекских пиал, суповые миски — приземистые, а чашки уродливы... Как можно это даже и сравнивать с настоящим хученрейторовским столовым сервизом или мейсенским чайным! Бог с ним, с модерном! Он, может быть, проще, удобней, но совершенно безрадостен. А старый баварский и саксонский фарфор... Вы только вглядитесь в рисунок, в глазурь...

Хотя гости уже не раз любовались твоей великолепной посудой, не уступающей ее образцам за музейным стеклом, они снова подносят к носу тарелочки, переворачивают их, разглядывают скрещенные мечи и короны, подтверждают, что эти эмблемы делают яства еще много вкусней.

Модерн в посуде осужден окончательно, и разговор перебрасывается на новые моды вообще. Начинаются шутки о мини. Кто-то рассказывает, что в Англии они повели к нескольким серьезным авариям — останавливаясь у светофоров, шоферы заглядывались на пешеходок, промедляли дать газ, сзади на них налетали... Другой из гостей находился в Голландии, когда там разыгрался парламентский скандал: из-за коленок стенографисток депутаты прозевали дебаты. В палате запрещены теперь мини и даже вырезы строго нормированы.

— Ну, голые коленки у молоденьких девушек — это еще ничего, к этому глаз уже привык, — замечает какая-то дама, — но у женщин в возрасте они непростительны.

Эта гостья чуть-чуть полновата, и ты пользуешься случаем сказать ей приятное.

— Нет, дело не в паспорте, а в форме коленок, — галантно возражаешь ты ей, — если они круглы, не остры, то почему им не оставаться открытыми...

— После этого хотят, чтобы дети не развращались! — смеется твой сын.

— У коротких платьев будет и короткая жизнь, — бросает другая дама, коленки которой трудно проверить. — Через два-три сезона они удлинятся. А потом и вообще наступит реакция.

— Вы правы, на свете все возвращается и против всего наступает реакция, — вставляет какой-то философ.

— Ну, нет, не все! — отводишь ты разговор от темы, которая может стать скользкой. — Нашему внучонку скоро два года, а он лишь на днях первый раз в жизни лошадку увидел. Дочь рассказывала, что пришел домой в большом возбуждении. Согласитесь, что лошадка — животное, вымершее на московском асфальте. И это впрямь невозвратимое зрелище.

— Да, — подтверждает одна из гостей, — эти клопики знают теперь животных только по сказкам, картинкам...

— И не поймут, если вы назовете их клопиками, — замечает другая, — потому что клопов они тоже не видели.

— Да здравствует ДДТ и моторы! — вставляет твой сын, но женщины уже подхватывают тему о детях. Начинаются рассказы о том, как они нынче умны и всезнающи. Одни расхваливают своих внуков намеками, другие — применяя к ним прилагательные, не скрывающие превосходную степень.

С детей разговор перекидывается на мам и на бабушек, в том числе и отсутствующих общих знакомых. Зная, что хозяйка должна ко всем проявлять снисходительность, Наталья Сергеевна с улыбкой выслушивает порицания по адресу близких приятельниц, которые на прошлой неделе тоже судачили у нее за столом. Потом кто-то сказал, что одна из них непомерно худеет и врачи опасаются худшего. Тогда каждая женщина говорит «Какой ужас!» и находит, что рассказать о собственной родственнице или родственнице своих близких родственников, у которой уже пошли метастазы. Приводятся страшные случаи с молодыми и еще недавно цветущими женщинами, умирающими или умершими в ужасных мучениях. Одна из них молила мужа и пятнадцатилетнего сына дать ей яд, положить конец этим нестерпимым страданиям, но те не смогли...

— Почему не делают этого сами врачи, почему им запрещается это? — негодует дама, разрешавшая девушкам мини.

Ты объясняешь, что вопрос этот старый, возникавший еще столетие назад, что врачей, соглашавшихся умерщвлять безнадежных больных, всюду судили, что об этом много писали и пишут.



Гости начинают спорить о том, гуманен или жесток был бы яд, и не вернее ли было бы говорить иному больному страшную правду, чем скрывать ее от него, продлевая мучения... Кто-то сравнивает состояние такого больного с состоянием заключенного в камере смертников, и темой спора становится уже смертная казнь. Тебе со студенческих времен известно много монографий о ней, известно, что за и против нее спорили во все времена, но по долгу хозяина ты терпеливо слушаешь всех дилетанток и помогаешь жене обносить их чаем и тортом. Чай пьется уже не за столом, а на диване и в креслицах. Так удобнее, и таков здесь ритуал. Одна из дам, хваля торт, который несравнимо вкусней любого готового, продолжает, однако, отстаивать и смертную казнь, без которой нельзя было бы ходить вечерами по улице, и ты, некогда ее безусловный, убежденный противник, заключаешь этот разговор примирительно: да, отменять этой меры не надо, как и применять ее столь часто, как ныне. «Будем держать ее, Анна Филипповна, в нашем резерве для каких-нибудь особенных зверств». Как мило и мягко ты это сказал! И фраза была такой всеустраивающей, что сразу позволила переключиться на чай. Ты спросил гостей, как он им нравится, сообщил, какие сорта покупаешь и смешиваешь, никому не доверяя заварку.

— Для меня чай — основное. Наталья Сергеевна и Сережа утром пьют кофе, а я — только чай. И после обеда, и вечером. В день выпиваю семь-восемь стаканов. Говорят, любовь к чаю — признак старения, но что ж делать, не могу без него.

— Скоро одиннадцать! — вспоминает Наталья Сергеевна. — Сегодня должен быть «Огонек».

Некоторые гости готовы смотреть его, другие отмалчиваются. Начинаются споры о телевизоре. Кто-то говорит, что из-за него вечерами вымирают теперь города. Одна гостья жалуется, что не может оторвать от него своих мальчиков, что он чересчур возбуждает их, они поздно ложатся, не высыпаются. Другая дама считает, что телевизор, наоборот, развивает детей.

— И не только детей, — говоришь ты. — Разве могли бы без него миллионы людей смотреть столько фильмов, спектаклей, слушать столько полезных вещей!

Я решаюсь напомнить, что ты однажды говорил мне другое: жаловался, что телевидение разобщает людей, вытесняет печатное слово, ведет к бездумью, к безмыслию, и назвал его бедствием нашего времени.

— Возможно, что я так говорил, — соглашаешься ты, — но это не мое разноречие, а противоречивое действие самого телевидения...

Потом мы смотрим на экране эстрадный концерт, сопровождаемый скучным, но идущим в бравых тонах конферансом. И у нас снова начинаются споры — на сей раз о том, не староват ли такой-то актер, не грузновата ли танцовщица, обязателен ли для пения голос или он может быть возмещен придыханиями...

Зная, что женщинам нужно немножко злословия, ты пошучиваешь над их приговорами актрисам, но те и впрямь не могут понравиться пресыщенным зрительницам. Участвующий в концерте известный актер дает повод заговорить о театре, и ты с общего одобрения выключаешь экран. Одна из дам начинает оживленно рассказывать о последнем спектакле в одном из московских театров. Говорит не столько о пьесе, сколько об ее шумном успехе и трудностях, с какими она достала билет.

— Ну, успех обеспечен был тем, что спектакль разругали газеты, а вот стоит ли он в самом деле чего-нибудь? — справляешься ты.

Дама уверяет, что стоит. Всего двое участников, идет без декораций, без грима, а публике не скучно, следит с напряжением.

— Без декораций, без грима... А почему бы и не без билетов? — улыбаешься ты, добавляя, что шутишь, что пьеса, наверное, впрямь любопытна.

Но это сказано только из вежливости. Я не знаю, что тебе теперь любопытно... Когда-то ты считал такие пьесы нестоящими и спрашивал, как это драматургам не стыдно в наше путаное, многосложное время писать пустяки... А потом ты как-то сказал мне, что публика так устала от войн и угроз войны, столько наслушалась и насмотрелась подлинных ужасов,

ей так надоели проблемы и события вселенских масштабов, что впечатляют ее уже не они, а дела житейские, маленькие...

Наталья Сергеевна приносит из холодильника кофе-гляссе.

— Не могу, — говорит один из гостей, — уже не вмещу в себя. Вот если бы можно еще чашечку чая...

Хозяйка спешит на кухню и возвращается оттуда в тревоге.

— Чайник я поставила, — сообщает она, — но, представляете, нет, оказывается, горячей воды.

— Ну, это на полчаса-час, — говоришь ты.

— Нет, выключили, наверное, на сутки — на двое. Какие-нибудь котлы или, как они там называются, бойлеры... И не предупредили... А у меня столько посуды... Просто ужас, что с нами делают...

— Вскипятить воду — минутное дело, — бросаешь ты.

— А ванна? Как будем с ванной?! Эти управдомы и слесари творят что хотят.

Наталья Сергеевна всерьез озабочена. А мне вдруг вспоминается ее же рассказ о ведрах воды, добывавшихся ею журавлем из колодца. Воду она ставила у крыльца, заставляя товарок-связисток отмывать глину с сапог...

Я встаю, ухожу от других гостей и рассматриваю в твоем кабинете давно знакомую мне фотографию офицера с молоденькой женщиной. На ней была тогда юбка, сшитая из его гимнастерки... Наталья Сергеевна не умела в ту пору готовить замысловатых паштетов, но умела пеленговать, засекать, выйти из фединга, поймать частоту...

Вспоминается, что она дочь инженера, изучавшего радиоэхо, и еще первокурсницей помогала в этом отцу. Вспоминается, что особняк, занимавшийся потом тобою в Карлсхорсте, уже не предрасполагал молодую жену к возне с генераторами. Вспоминается, что потом у нее дети пошли, муж стал влиятельным...

Гости засиживаются, и твой сын развозит их потом по домам. Автомобилист он прекрасный, и машина — одна из немногочисленных тем, на которые он готов разговаривать с твоими гостями. Он знает все марки, следит по журналам за новшествами, вводимыми иностранными фирмами, жалеет, что они недоступны ему. Машина в его руках то сдержанна, то темпераментна, ведет он ее механически, готов ко всем коварствам движения, и с ним бестревожно. Мне нравится, как он держит руль — не обнимает его, как иные водители, а едва прикасается кончиками чуящих пальцев. Вначале это было у него, вероятно, кокетством, теперь стало привычной манерой. И хотя он беззаботно, без напряжения скользит в водовороте московского транспорта, но поругивает нам и свою и все остальные машины. Приходится, говорит, все время включать, сцеплять и так далее, а надо бы иметь для этого кнопку, и все! Вот у новых «Рено» автоматика, электромагнетика... Передаточные механизмы там уже не чинят, а просто меняют... А у Форда... У «Дженерал моторс»...

Вскоре мы дома. Наталья Сергеевна любезно звонит, осведомляется, как ее сын нас довез. Он еще не вернулся, развозит других. Жена благодарит за превосходнейший вечер. «Как всегда, в вашем доме был изысканный стол, интересные люди». И я тоже решаю, что вечер прошел хорошо. Переговорили о модах, о женском вопросе, о смертной казни, об искусстве, о раке, о педагогике, о марках машин — обо всем... Плюс к тому жена записала четыре рецепта...

## *Глава 2. Другого еще не придумано*

Я видел их в счастье. Это было лет девять назад на черноморском курорте. В санатории, на прогулках, на пляже — всюду привлекали они общие взгляды. В мужчине не виделось черт грубой силы, но его тонкого покроя фигура была одновременно крепкой, и женщины на нее откровенно засматривались. Жена, под стать мужу, отличалась изяществом, и ее равномерно загорелое тело носило девический облик. Любопытство, которое они пробуждали к себе, усиливалось обаянием известного актерского имени и тем, что супругов всегда видели только вдвоем. С ними искали знакомства, а они удовлетворялись собственным обществом.



Но женщина вовсе не была нелюдимой. Она мило здоровалась с нами в столовой, живо откликалась, когда с ней заговаривали, и терпеливо переносила людей, искавших случая навязывать ей себя в собеседники. Стараясь делать людям приятное, она хвалила официанткам все блюда и хлопала всем приезжавшим эстрадникам. Однажды она подошла к человеку, искавшему ножницы, и сама обрезала ему сломавшийся ноготь. В другой раз вынесла старушке, коротавшей на веранде время за спицами, большой клубок шерсти, сказав, что думала тоже вязать и взяла с собой целый пакет. Она совсем не производила впечатления чопорной и, значит, потому проводила время лишь с мужем, что он был ей интересней других людей.

Я несколько раз издали видел, как держалась она с ним за столом. Держалась не как жена, прожившая с мужем уже много лет, а с той неуловимой игривостью, которую рождает желание нравиться. Сохранение такого чувства в долгом замужестве — счастье, и я понял, что у них оно есть.

Однажды я разговорился с нею перед дверью врача, за которой ее муж отбывал повинность курортника.

— Ему не нужно никакого лечения, — сказала она. — Мы здесь потому, что он подвернул весной ногу, получилось растяжение, оно еще ощущается, и нужно недельки три покупаться. А обычно проводим отпуск иначе. Садимся всем кланом в междугородный автобус, смотрим в окно и вылезаем там, где приглянется. Нам нужны лес, речка и пристанище в чистой избе. Много бродим, купаемся, собираем грибы. Муж сам не понимает, как устает от театральной суеты. Отдых для него — быть подальше от сцены, от мыслей о ней. Я вырываю его из актерской среды. Вне города не менее красок, чем в вечернем мелькании неона на улицах. Правда, долго жить в тишине он не может, но месяц выдерживает.

— Приобщаете его, значит, к природе?

— Стараюсь. Ведь потом у него обычно летом гастроли. То за рубеж, то по стране. Разъезды, напряжение, шум. А в деревне мы даже не смотрим газет, не слушаем радио. Берем с собой только несколько стоящих книжек и читаем их вслух.

— А как отбираете вы эти стоящие? — полюбопытствовал я. — Какая тут мерка?

— Мерка? Ну, это трудно так сразу... Впрочем, она, пожалуй, простая... Мы едим летом много яиц, сметаны, зелени, ягод и потому не хотим, чтобы и книжки были питательны, как куриный белок, и полезны, как витамины.

— Ваши вкусы всегда сходятся со вкусами мужа?

— Ну, одно только сходство без разноречий было бы скучно, — рассмеялась она. — А у нас их достаточно.

— Эти разноречия, — спросил я, — не семейная тайна?

— Нисколько. Мужа изводит толчея театрального мира, и в то же время он не может без нее обходиться. А я совершенно не втягиваюсь в закулисную жизнь. Он человек безрежимный, а я требую соблюдения часов и порядка. Вот главные наши несходства.

— Чую, — сказал я, — что нелегко быть женою артиста, да еще причастного к славе.

— О, славы у нас на почтовый ящик такого формата, что его пришлось специально заказывать! — засмеялась она. — Столько поклонниц, что к ним я уже не ревную. Ревную его только к дочке.

Оказалось, что у них двое детей — пятиклассник и второклассница.

— Мы впервые проводим отпуск без них.

Ее муж вышел от врача, и мы поклонились друг другу.

— Вижу, что оставлять жену без глаза — непростительное легкомыслие, — пошутил он.

— Особенно такую жену, — ответил я искренне, — за которой здесь все глаза следят с восхищением. Но, увы, тщетно следят.

Этим мимолетным разговором ограничилось наше знакомство, пока накануне разъезда мы не оказались вместе в экскурсиях и мне удалось понаблюдать эту женщину ближе, убедившись, что живет она вовсе не отражением известности мужа, не одомашниванием его богемной натуры и не одним материнством.

Крым знают миллионы людей. Общеизвестно чарование его моря, гор, скалистых пустынь, пышной растительности, розариев, суровых ущелий,

виноградников, головокружительных пропастей, современных живописных поселков и обломков далеких времен. Гиды рассказывают здесь о скифах, о виноделии, о Пушкине, о розовом масле, показывают дворец хана, наместника, водопады, заповедники флоры, курганы... Но это обаяние Крыма, это переплетение веков и культур оказались для нас во сто крат ощутимее оттого, что среди нас была женщина, чувствовавшая места и эпохи так, как никакие гиды из туристских бюро. Те говорили заученное, а наша спутница тихо читала в доме поэта его малоизвестные строчки, вспоминала в Бахчисарае легенды о ханах, а у моря — о римлянине и его «Скорбной элегии», мысленно возносила на горные пики высившиеся здесь некогда замки, перебирала у портрета жены генерал-губернатора разноречивые свидетельства его современников о том, любил или не любил ту женщину Пушкин, рассказывала эпизоды из жизни князя Тавриды и знала, какие старинные песни лились на прибрежной скале, когда взбирался на нее, наезжая сюда, великий русский певец...

И все это лишь прорывалось, все было непроизвольным, навеваемым чьим-либо портретом, именем, видом или названием местности, все говорилось вполголоса, только мужу да людям, шедшим с ней рядом, и ей становилось даже неловко, когда мы старались приблизиться, услышать побольше и дивились, откуда в ней это... Дивились даже не знаниям, ибо суть была не в них, а в ее ощущении прошлого, умении переноситься в него. Оказалось, что этой женщине, хвалившей бескалорийное чтиво, известны чуть ли не все мемуары прошлого века, что она историк театра, написала уже несколько книг. И я почуял, что это она утончает и направляет талант человека, которому неистово хлопают театралки Москвы. Было ей тогда тридцать три года.

В памяти остался образ привлекательной женщины, у которой esprit[1] сочетался со спортивной фигурой, сдержанность — с простотой и приветливостью.

Прошло несколько лет. Я редко бываю в театре и потому не заметил, что общеизвестный актер куда-то исчез, не появлялся на сцене. «Как же вы не знаете, — пристыдили меня, — ведь он попал в аварию, жутко разбился». Потом услышал, что он лежит в глазной клинике и его там несколько раз оперировали. Рассказывались подробности, но я не хотел их — перед глазами стояла чудесная пара на крымском курорте...

Через год я узнал, что актер выпущен из больницы с невосстановленным зрением. Еще через год был потрясен сообщением об отравлении мужа женой...

Я не верил. Не верил следствию, не верил экспертам, не верил самой женщине, что она это сделала. А потом пришлось признать очевидность...

Знакомый психиатр, ведавший клиникой, в которую ее помещали для проверки вменяемости, рассказывал мне, что свой страшный поступок она коротко объяснила волей мужа не жить в слепоте.

— Он всем своим поведением требовал, молил, ускорял... Больше ничего не могу вам сказать...

Однажды она попросила:

— Не надо смотреть за мной в оба... Зачем ваши санитары всегда по пятам?.. Я ничего над собою не сделаю. Мне предстоит важный труд, и я должна оставаться...

Это прозвучало слишком здраво, продуманно...

Психиатр расспрашивал ее о характере мужа.

Она отвечала, что он, как все актеры, был уязвим для обид и неравнодушен к хвале. Надписывал карточки, хранил плакаты, рецензии. Страдал, когда другой играл его роли, отнимал его отличие, делая то же, что он. Если не считать этого ревнивого чувства, был благожелателен, бескорыстен и весел. Ослепнув, стал сразу другим. Заставил однажды сына найти и перечитать ему вслух старую статью театрального критика и, не дослушав, стал рвать ее. Потом, отдышавшись, сказал:

— Наклей... на картон.

[1] Esprit *(фр.)* — ум.



Сын убрал вещи, которые могли бы бередить. Не нащупав на столе альбома с малахитовой крышкой, преподнесенного ему коллективом театра в торжественный день, отец стал грубо кричать. Сын достал альбом с антресолей. Отец — намеренно или нечаянно — уронил его на пол. Крышка разбилась.

— И хорошо! — сказал он злорадно. — Это никому не нужно теперь.

Потом его лицо искривилось:

— Прости меня, сынок... Это вещь дорогая... Вы могли бы продать...

Неистовство длилось несколько месяцев и сменилось мучительной тихостью. Он старался делать себя незаметным. Не хотел, чтобы его кормили, что-нибудь подавали, читали ему... Но в нем не выработалось инстинктов слепца. Он натыкался на то и другое... Исчезали, наоборот, даже инстинкты, которые были у зрячего: прежде он всегда одевался не глядя, а теперь долго ощупывал все части костюма...

Стал выходить на улицу с тростью, не разрешал провожать его. Но однажды, выйдя на полчаса после ужина, возвратился мертвенно-бледным и сказал мальчику с деланной игривостью в голосе:

— А что если ты присобачишь ко мне свою велосипедную фару? Прицепишь мне к заду? Чтобы видали шоферы... Придумаешь такое, конструктор?

В сумбурном письме сыну из тюрьмы говорилось:

«Я отняла у вас, дети, отца. Но он был не только отцом. Он был артистом. Когда мы поженились и я пришла к нему в уборную после спектакля, он долго не хотел, не мог снять с себя грим. Продолжал быть Макбетом, не мог заставить его улечься в себе... Таким он был в двадцать семь, таким оставался в сорок семь, накануне...

Когда он часами стал молча просиживать в кресле, то я видела, сынок, что и ты стал успокаиваться. А я поняла, что раз вползла эта тихость, то не примирится... Когда он плакал, метался, то все-таки верил, что через год или два будут опять оперировать. А замкнулся в себе — значит, понял, что все... А тут постепенно прекратились звонки, перестали справляться... Видел — его уж не ждали...

Для него невозможна была эта тишь. Вокзалы, самолеты, гостиницы и... эта тишь. Разноликие города, разноязычные люди, позолота и бархат партера, сотни горящих, прикованных глаз, грохот аплодисментов, бесконечные вызовы и... эта тишь.

Нет, он не мог... Не мог от солнца, прожекторов, красок, цветов в безысходную, навечную темень. Темень, из которой некуда деться... Не мог!

Если бы он вместе с глазами лишился и слуха, то я жарила бы ему пирожки, настаивала на лимонной корке «Столичную» и сидела бы с ним на садовых скамейках. Но слух его, наоборот, обострился, и в ушах стояли овации...

Особенно страшны были сны его. Сны без кошмаров, деловые и будничные, в которых всегда что-нибудь репетировалось и партнеры делали что-то не так. Эти сны приходили обычно под утро. Он вскакивал, торопясь, и... садился на кровать протрезвевшим, в сознании своей свободы от времени...

Твой отец мог только жить. Существовать он не мог».

Молва была единодушна в предвзятости к ней. Убила мужа, потому что он стал ей не нужен таким.

А она поведала невропатологу, именитой исследовательнице, разговаривавшей с нею, как женщина с женщиной:

— Он был очень самолюбив. Чтобы сделать ему указание, режиссеры искали слова и моменты. Я была единственным человеком на свете, руководству которого он отдавался без унижения. И лишь потому, что брал свое в другой сфере...

Когда он ослеп, это стремление брать в чем-то верх надо мной, над здоровой, стало особенно нетерпеливым, упорным. Он ждал теперь ночи, чтобы утверждать свою полноценность. Он мстил мне, зрячей, мстил всему зрячему миру... Был разнуздан, обдуманно меня унижал, и я испытывала не животную радость, а ужас... Ужас, ибо это была не тяга ко мне, а ма-

ния, лютость. Тут клокотала какая-то ненависть к жизни, злобный уход в скотство, в ничто... И это все чаще стало кончаться бессильным рыданием, и мне слышалось исступленное, тихое: «Ну, сделай же, сделай...».

Драматург показал:

— Он играл во всех моих пьесах. И она пришла ко мне, чтобы я написал теперь пьесу о нем. Об ослепшем артисте. Единственную, в которой он мог бы отныне играть. Себя самого...

«Это спасет его,— молила она.— Он сможет по-прежнему жить. Представляете вы, сколько бешенства, сколько счастья забьется в этих спектаклях! Представляете, что будет в зрительном зале! Я умоляю вас... Вы же знаете его, знаете, что он не может без этого... Он сейчас Колумб без Америки, мать без детей, солдат без оружия, не знаю, с чем еще можно сравнить... Верните его к жизни, верните!»

Драматург не написал этой пьесы. Говорил, что пытался, не смог...

— То ли недостало таланта,— рассказывал он,— то ли не верил, что решится театр...

«Родная моя девочка! — писала она дочери перед судом.— Мы долго-долго теперь не увидимся. И это хорошо, что будем не вместе. Ты не могла бы смотреть на меня, отнявшей у тебя нашего папку... Нужно время, чтобы ты поняла. Поняла, что сделала это я для него и, делая, знала, что осиротею больше, чем вы, мои бедные.

Я прожила с твоим папочкой годы, какие выпадают немногим. Если бы женщины моего возраста — все мои знакомые женщины — могли сейчас снова выбирать себе мужа, лишь редкая выбрала б нынешнего, каждая искала бы кого-то другого. А я не задумывалась бы. Никто, кроме нашего папки, не был и не будет мне нужен. Мы были вместе почти двадцать лет, и моя молодость могла длиться с ним еще столько же... Но когда ты сама станешь женщиной и тебе, молю бога, выпадет такое же редкое счастье, как матери, ты почувствуешь, почему оно на нее наложило страшную и святую обязанность...»

— Вы исподтишка дали яд,— сказал следователь, раздраженный бессилием понять эту женщину.— Обманным путем доставали его. Примешали к лекарству... Значит, обдумывали это убийство и боялись ответственности.

— Боялась другого,— сказала она.— Чтобы во мне не ослабела решимость...

В суд она идти отказалась. За нею пришли начальник тюрьмы, конвоиры, но она не вышла из камеры.

— Мне все равно, что там будет...

Прокурор в своей речи сказал, что отравление — самый трусливый и низкий способ убийства. Тем более, когда он обращен был к беспомощному...

Защитник рассказывал, что убитый предпочитал всем драматургам Шекспира. Ему была по натуре эта бесконечная смена времен, декораций. Жизнь без них была бы для такого человека немыслима. Он лишь потому не обрывал ее сам, что для этого требовалось именно то, чего не было,— зрение... Он ждал помощи, решимости, поддержки,— да, поддержки — жены... Из любви выросла железная женщина.

В реплике прокурор назвал мотив преступления беллетристикой, которую надо отбросить. Он попросил занести в протокол слова адвоката, возведшие преступную волю чуть ли не в доблесть.

Защитник ответил, что решение, которое забудет мотив преступления, будет расправой, а не приговором. Он попросил занести в протокол искажение его слов прокурором.

И вот она третий год в колонии. Я знаю о ней через общих знакомых. Знаю, что это теперь совсем не та женщина, которой любовались в Крыму. Седой клок в волосах появился у нее еще в пору, когда ни к чему не привели операции мужа, лицо поблекло потом, а распухшие синие руки обморожены были на валке сосны... Адвокату удавалось пробиться к ней, но она



не разрешала ему подавать куда-либо жалобы, а детям запретила слать ей посылки. Разрываемые противоречивыми чувствами, те пишут ей скудно, сообщая о себе лишь немногое. Сын стал телефонным монтером и поступил в институт на вечернее, дочь кончает десятый. Адрес у них изменился — из большой барской квартиры они переехали в маленькую, в новый район, получив за это приплату. Но на нее не удалось поставить отцу тот монументальный памятник из гранита и мрамора, которого мать неустанно требовала во всех ее письмах. Она нетерпеливо ждала, чтобы они получили для этого ее гонорар, а дети не решались поведать ей, что денег этих нет и не будет, что набор ее книги рассыпан, так как авторов, находящихся в колонии, не издают... Они могли лишь заверить ее, что ничто из архивов отца при переезде не затерялось: мать за этот архив волновалась, собираясь впоследствии написать свою последнюю книгу — книгу о великом артисте...

«Я не могу,— писала она,— взять свой поступок назад. И повторила бы его, если бы он не удался... Слепота была не для него. Он от нее задыхался... А себя я оставила совершенно расчетливо... Не потому, что не поднялись еще на ноги вы, мои бесконечно любимые, а для того, чтобы продлить его жизнь. Он всегда жаждал славы. Всегда тайно мечтал о посмертной... А я все равно умерла. Вам это, деточки, сейчас не понять, но мы все умираем со смертью того, кто знал нас молодыми, знал все потаенное наше, делил его с нами. Без него нет и нас... Есть дети его, он есть в моих детях, но дети не он»...

И вот я пришел к тебе с этими строчками, с рассказом об этой удивительной женщине. Ведь у тебя много влияния.

— Преступники,— говорил я,— это, так сказать, экскременты общества, строя, народа. Бессмыслица — держать ее среди них.

— Она тоже преступница,— возразил ты резонно,— где доказательства, что муж сам хотел быть отравленным? Почему она не подумала взять от него... ну, скажем... ну, какую-нибудь форму свидетельства? Но и в этом случае у нее все равно бы не было права выполнять просьбу человека, который находился в смятении, был, по существу, не в себе...

— Ты рассуждаешь о праве, а она это ощущала как долг. И она лучше, чем мы с тобой, знала, смятение это или что-то другое.

— Ерунда. Со слепотою сживаются. Время смягчило бы.

— Время ничего не смягчило бы.

— Много слепых великолепно живут себе, работают, радуются.

— Клеют конверты? Приучаются к автоматическим движениям рук?

— Почему только движения рук? «Илиада» и «Одиссея» — плод автоматики? А их, как известно, слепой написал.

— Их вообще неизвестно, кто написал. Это легенда.

— А масса слепых музыкантов — легенда? Прикованный к постели писатель — легенда?

— Постель не зрительный зал.

— Не будем препекаться. Пусть он сцены лишился, но почему должен был и жизни лишаться! Мог слушать радио, жена и дети могли бы читать ему вслух... В общем, от нее зависело сделать ему жизнь переносимей, терпимей... Сколько есть жен-поводырей, сестер милосердия!

— Но ведь она не оттого это сделала, что не хотела стать сестрой милосердия!

— Ах, с благостной целью?! Но пойми наконец...

— И ты тоже пойми наконец. Я ведь ее не оправдываю. Я только говорю, что там, где нет злого умысла...

— Но есть злой результат!

— Не перебивай, я прошу тебя. Я хочу сказать, что раз нет злой воли, нет социальной опасности, раз мы знаем, что она никого больше никогда не убьет...

— Но убила!

— Если бы не убила, то мы бы и не говорили о ней. Но я спрашиваю: разве ей место среди прочих убийц?! Те тупы, жестоки или хитры, корыстны, коварны...

— А эта добра, умна, утонченна. Какие назовешь еще прилагательные? И в какое заведение ее поместить? Ни у нас, ни в других странах мира еще ничего не придумано для убийц с благородными умыслами. Эти

люди находчивей законодателей, знающих только старые способы. Или, может быть, попросту выпустить? За личное обаяние и осведомленность в истории Крыма?!

— Чувствую,— сказал я возможно спокойнее,— отчего у тебя эта раздраженность, язвительность. Ты сам хорошо понимаешь, что этой женщине нечего делать там... Хорошо представляешь себе обстановку... Воровской язык, скотство, нары, мороз...

Ты помолчал, потом сказал, потускнев:

— Да, ей нечего делать там. Но не может она находиться не там. Не вижу пути, чтобы она находилась не там...

— Идите чай пить,— вошла в кабинет Наталья Сергеевна.— У нас Тоня сидит, о Риме рассказывает. Или у вас деловой разговор? Тогда я велю сюда принести вам. Сегодня такой яблочный торт получился! Прямо воздушный! Ну, выйдите хоть на десять минут, а то просто неловко...

— Да, да, конечно,— сказал ты, обрадовавшись, и поволок меня к Тоне и торту.

Недалекая, но зато нежеманная женщина безыскусственно рассказывала за чайным столом не о Риме, а о том, что она в Риме приметила. Это были розовые, лиловые, желтые, вообще яркие платья, декольте на спине, тяжелые висячие серьги, малюсенькие шляпки без всяких полей, склад старых роялей, продававшихся прямо на улице почти за бесценок, потому что они теперь всюду магнитофонами вытеснены, и ресторан, в котором кельнеры передают заказы на кухню по радио. Искренним или деланным было твое любопытство к ее болтовне, но ты не возвратился со мной в кабинет...

В нем вольнодумная библиотека, в твоем кабинете. И когда-то книги учили тебя. В ту пору, когда ты был порывист, решителен, не избегал слышать о судьбах, способных волновать, заставлять бегать и действовать. Тогда у тебя не были такие широкие плечи, такой отчеканенный подбородок, такой ковер на полу...

А может быть, зря я сейчас о тебе так недобро? Может быть, женщине, которую я видел в Крыму, впрямь следует сейчас оставаться в бараке? И, может быть, именно книги, тысячи продуманных тобой за десятилетия книг, мешают теперь проявлять храбрость невежества и отказываться от заведенного исстари, от мерок, вместо которых еще ничего не придумано? Ни у нас, ни в других странах мира. Опыт и знания учат, наверное, склоняться перед силою факта...

И я тоже стараюсь излечиться от мыслей о женщине на лагерных нарах, слушая рассказы о женщинах в светящихся платьях...

— Нет, нет, в них не лампочки скрыты,— я по наивности тоже сначала подумала это, а просто нейлон такой. Его нужно часик на солнце или перед каким-нибудь другим сильным светом держать, зарядить этим светом, и тогда он потом... ну, этого не передать, это нужно видеть самой... На освещенной улице он, правда, теряется, но в парках, в затемненных местах... Это удивительно, прямо-таки удивительно...

Я соглашаюсь, что удивительно. И заедаю мысли о лагерной женщине яблочным тортом.

### *Глава 3. В семью входит плебей*

Сначала худенькая милая девочка. Как у мальчишки, выдавались лопатки, смешно торчали косички, но глаза уже тогда обещали стать необычными.

Потом фигурка выравнивалась, а глаза начали дивить, озадачивать. На них посматривали в метро и в автобусах. С нею происходило такое же, как в «Илиаде» с ее сказочной тезкой. Там старцы при виде Елены, замолкая, вставали. В Леночке сказались, наверное, гены от мифической ее прародительницы. От нее же передалась и осанка. И только безразличие к таким божьим дарам было своим.

Ее даже раздражала эта особость, отличавшая ее от подруг и мешавшая ей быть как все. «Дураки,— искренне возмущалась она,— ну чего они на меня пялят глаза? Просто жить невозможно, когда тебя все время осматривают».

Всем девушкам присуще желание нравиться, а у нее, еще подростком



уставшей от общего внимания улицы, такого желания быть не могло. Напрасно Наталья Сергеевна заботилась о ее гардеробе — дочь была совершенно равнодушна к нему. Не надевала бриллиантиков, приобретенных матерью в послевоенной Германии, когда их можно было выменивать на сало и кофе, не разглядывала журналов с картинками мод, не выносила примерок. Не потому, чтобы влекли ее интересы иные и высшие, а оттого, что еще не было женских.

Даже уже в восьмом и девятом, когда подруги поднимали себе каблуки и взбивали прически, ее не тянуло отказываться от облика школьницы. Заставал я ее обычно в форменном платьице или домашнем халатике, с чернилами на тоненьких пальцах, в тревоге за урок или за предстоявшую четверть. Училась она средне — искупая тройки по алгебре пятерками за сочинения. В них обнаруживались и неожнданная ширь словаря, несхожего со скупым языком в разговорах с братом и матерью, и даже ширь сибирских пространств, по которым она вечерами частенько блуждала с тобой.

Спала она в одной комнате с братом, а уроки готовила в твоем кабинете, где для нее под торшером устроен был свой уголок. Вы не мешали друг другу. Наоборот. Тебе лучше работалось, когда ты мог посматривать на сосредоточенное личико дочки, а ей — оттого, что всегда могла тебя о чем-то спросить.

А расспросы бывали о многом. Дочь хотела услышать, чем великий писатель отличается от невеликого, почему на свете прибавилось знаний, но не прибавилось мира, как выглядел Хамардабан (ты чувствовал, что ей нравилось самое слово), как жили при Сталине, почему при капитализме бунтуют, а платья и туфли там дешевле, чем в нашей стране, не начнут ли китайцы войну, когда у них будет столько же бомб, как у нас, и как месил ты тесто в кадушке, когда твоя мама пекла хлеб за припек... Иногда, пряча под абажуром лицо, она спрашивала, отчего ты разошелся с твоей первой женой, и предлагала повезти ее летом не в Крым и не в Гагры, а в твои родные места. В ней чувствовалось любопытство к полузнакомой сестре своей, родившейся на целых двенадцать лет раньше, к племянницам, жившим в совсем другом мире, к твоей юности, к мыслям твоим... Когда я приходил к вам и мы в разговоре вспоминали иногда тот или иной эпизод нашей молодости, она старалась стать неприметной и побольше услышать. Ее чудесные глазки делались радостными, когда она узнавала, что ты любил говорить бурятское «сайн байнуу» вместо обыкновенного «здравствуйте», дарил смазливым девчонкам перед экзаменами бронзовые фигурки божков, выкрал у одного гада в гардеробе ключ из кармана пальто и положил его назад, подточив, чтобы тот не мог потом открыть свою дверь... Она приходила от этих историй в восторг и бросалась тебя целовать.

Ты любил эту девочку несравнимо нежнее, острее, чем некогда свою первую дочь. И глубже, чем сына. В Сергее ты ценил способности к технике, но знал, что устройство моторов занимает его куда больше, чем устройство белого света, и тебе подчас не о чем было с ним говорить... Книг из твоих шкафов он никогда в руки не брал, социальные науки считал просто бестолочью, газет не смотрел, при разговорах о мировых проблемах молчал и поканчивал иногда со своей вежливой скукой словами: «Э, не все ли равно, куда идем и что будет!» А дочь была близка тебе внутренне, сделалась твоей наибольшей привязанностью.

Ты досадовал, что материальными благами дети пользовались сугубо не поровну. Сергей проводил почти все время вне дома, и ему всегда нужны были деньги, а Леночка брала только полтинники на билеты в кино, никогда ничего не просила да и питалась хуже, чем все. Вкусы у нее были простыми, к кулинарным изобретениям матери она мало притрагивалась и любила больше всего печеную картошечку с маслом. Когда она заявляла, что хочет чего-нибудь вкусненького, то оно сводилось обычно к одному и тому же — насыпала в чашку толченых сухарей с сахарной пудрой и, готовя уроки, опрокидывала в себя понемножечку эту нехитрую смесь. Порошок этот не приедался ей. «Ну, что вы! — объяснила она мне однажды.— Разве можно сравнить с шоколадом! Тот вазелинистый, мазкий, а тут хрустко, приятненько». Ездить на лето она предпочитала не с матерью и не на юг, а в пионерский лагерь вожатой. Пляжующиеся женщи-

ны, показ тел и купальников, праздные толпы и всюду чуемое веяние секса претили ей. А с детьми она чувствовала себя в своей сфере, и ей, видимо, нравились обязанности, дело, ответственность.

Такой я знал Леночку, когда вдруг неожиданно...

Кто мог бы подумать!

— Боже мой! Боже мой! — ломала себе руки Наталья Сергеевна. И ты тоже за короткий срок пожелтел, будто пережил болезнь Боткина.

Стекляшечка. Палочка в два сантиметра. Белиберда. Ей три копейки цена. И она оказалась судьбой...

Не перегори эта палочка, ничего не случилось бы...

Или приди не этот монтер...

Наталья Сергеевна сама его вызвала. Заехала в ателье по дороге на рынок и попросила прислать. Леночка возвратилась из школы, а через пять минут и звонок...

— Ничего не произошло, — сказал он. — Это предохранитель. Видите вот...

Сменил палочку, и экран засветился.

И засветились отчего-то у обоих глаза...

— Нате, — дал он ей в запас горстку палочек и стал учить, как вправлять.

Она стала вынимать и вставлять, вынимать и вставлять...

А он стоял возле, улыбавшийся широкоплечий мальчишка, — стоял, открыто любуясь ею, и ей впервые не было от этого тошно... И она вдруг залюбовалась сама — его открытым лицом, глазами, звавшими к смеху...

— Вы на какой ходите? — спросил он, увидев в передней коньки. — В Парк культуры?

— Угу, — сказала она.

— После обеда?

— В семь. Как приготовлю уроки...

Леночка стала кататься не по льду, а на счастливящих волнах. И пусто стало у тебя в кабинете...

А было это перед выпускными экзаменами...

Ты не узнавал своей дочери. Стал нервничать, размышлять, толковать вечерами с волновавшейся матерью и продумал большой разговор.

— Мне хорошо с ним, — коротко отвечала она.

Наталья Сергеевна изловила его в ателье, вывела для внушительной беседы на улицу и холодно-сдержанно просила не видеться с дочерью, пока у той подготовка к экзаменам. Он слушал, потупясь, долго молчал, потом сказал: «Да, это вы правильно», — и, беспомощно улыбнувшись, ушел.

Каток был заброшен. Придя из школы, Леночка уже не выходила на улицу. Занималась до двух-трех часов ночи.

Ты уже стал успокаиваться, когда монтер оказался вдруг... на выпускном балу в школе. И Леночка танцевала лишь с ним... А перед торжеством, затеянным матерью дома, предупредила: «Если не должно быть его, не устраивай»...

В черном костюме, модных туфлях, с продуманным галстуком, рослый и ладный, он внешне не отличался от молодежи, набившейся в тот вечер в твой дом. Доброглазый, улыбчатый и державшийся, видать, начеку, чтобы не допустить в этом доме оплошку, он был даже приятнее иных Леночкиных шумливых соклассников. Но эта смущенность проистекала еще из того, что не все разговоры он мог поддерживать. И когда горячо обсуждалось, кто куда теперь бумаги подаст, он мрачнел...

Через несколько дней после этого вечера ты говорил с ним как мужчина с мужчиной. Объяснял, что дочери надо готовиться к трудным вступительным и ее надо оставить в покое... Он хмуро молчал и опять обещал...

Но воспротивилась Леночка. Заявила, что с институтом она подождет, устроится куда-нибудь на год работать, никуда не уедет на лето из города и будет готовить в школу рабочей молодежи его.

— Его?! — вскричал ты. — Из головы его выбрось! Ему двадцать один, а окончил семь классов! Не умеет двух слов связать! Отец — простой слесарь. Да знаешь ли, что тебе предстояло бы, если бы я допустил это?! Все слесари — алкоголики. Это наследственно. Он бы пропивал все получки и бил тебя! Ты побежала бы через год разводиться!.. Я не допущу, чтобы ты больше виделась с ним. Не допущу!



— Ты не в себе, папа, — отвечала она и вышла из комнаты.

Мать забирала ее к себе в кровать, прижималась к ней, увещевала, измачивала пододеяльник слезами.

— Доченька... красавица моя. Да тебе же и восемнадцати нет. Ведь вся жизнь впереди... Стольких встретишь еще... Ведь сама знаешь, нет молодого человека, нету семьи, которые не посчитали бы счастьем. А тут... Ведь вы разные, пойми, совсем разные... Вот ты любишь читать, а он, наверное, бутылку, гармошку... Где это слыхано, чтобы жена мужа в школу готовила! Да он и не станет учиться. Если хотел бы, давно мог бы сам. Сколько парней и работают, и заочно, и всяко... Ведь ты у меня единственная, и во всей Москве ты такая единственная, разве такой судьбы ты заслуживаешь?.. Это пройдет, поверь мне, пройдет... Ну что ты нашла в нем? Чем он вскружил тебе голову?

— Не знаю, мамочка, — отвечала дочь, стараясь честно вдуматься в это. — Он самый хороший... Мне нравятся его глаза, его волосы, кожа, он весь... Знаешь, мамочка... даже запах его...

Это был страшный ответ. Мать по-бабьи заплакала.

Я перебью свой рассказ. Возвращусь потом к истории этого брака, а сейчас скажу лишь, что, встретив Леночку в прошлом году, не знал, куда мне глаза девать. Она уже мать, живет своим счастьем, и мне муторно было подумать, что ей могут быть ведомы пакости, в которые ты вовлекал меня, чтобы предотвратить это счастье...

А что должен ты сейчас чувствовать сам?!

Сергей, называвший сестру идиоткой и пытавшийся использовать подкуп, чтобы не иметь дворового слесаря родственником, зовет теперь Виктора чинить вместе машину, покровительственно похлопывает его по плечу, неподдельно дивится, как тот одолел трехгодичный курс за полсрока, и не гнушается заезжать к новому родственнику на другой конец города, чтобы перехватить из его тощей получки десятку... Наталья Сергеевна после появления внука примирилась со вторжением в ее семью parvenu, возит дочери яства и, убеждаясь, что брак ее прочен, передает понемножку баккара, серебро, которыми Леночка лишь тяготится, так как они ей не нужны и ее кооперативная квартирка тесна. Перед гостями своими Наталья Сергеевна хвастается, что ее зять на все руки, и привирает ему третий курс института, хотя он лишь нынче поступил на первый заочного... И только у тебя одного нашлось мужество попросить однажды у дочери и зятя прощения...

Было за что!

Молодые доставляют вам праздники, привозя изредка внука по выходным, но не приезжают вечерами, когда у вас собираются. Так лучше для них и для вас. И для кое-кого из гостей. Например, для Николая Ивановича. Ведь это он, занимая какой-то хозяйственный пост, вызывал к себе подчиненных и через много каналов просил сделать так, чтобы монтер Виктор Ряшин послан был на уборку картофеля... А Георгий Игнатьевич?! Ведь именно он устраивал Виктору каверзу, пытаясь отправить его по комсомольской путевке за тысячи верст от Москвы...

Боже, что вы творили, чтобы не допустить брака дочери!

Даже состязаясь на конкурс, никто не сумел бы придумывать большего. И подчас более глупого...

— Есть у тебя кто-нибудь на телевидении? — звонил ты мне во втором часу ночи.

— Кто-нибудь, да... Наверное... Надо припомнить...

— Ты утром дома? Я заеду к тебе...

И, заезжая, просил найти через моих приятелей ходы для перевода Виктора Ряшина на работу, связанную с монтажом оборудования, с разъездами по Якутии, по Красноярскому краю... Я брел к режиссерам на студию, но они понятия не имели о людях, развертывающих телевизионную сеть, начинали справляться, звонить, искать у знакомых знакомых...

— Это паллиатив,— сказал ты после угона Виктора на уборку картофеля,— только на месяц, но все же...

Не вышло, однако, и месяца. Вышло хуже, нежданней — Леночка тоже исчезла! Собралась, когда мамы не было дома, оставила записку, адрес, и все! Колхоз был неподалеку от Москвы, и вы туда съездили. Застали дочь в поле... В кирзовых сапогах и косыночке, чуть похудевшая, с обветренным лицом и огрубевшими пальцами, она все же явно поздоровела на воздухе и одно за другим подтаскивала тяжелые ведра к буртам. Девушек было тут много. Они копали картошку, сгребали ее, бросали лопатами на грузовики, на возы. Леночка не смутилась вашим приездом, сказала: «Я так и думала», а когда вы оглядывались, не решаясь спросить, усмехнулась и объяснила, что Виктор бригадирствует со вчерашнего дня на соседнем участке...

Вы пробыли в деревне до вечера, наблюдали, как дочь с аппетитом поедала пшенку из миски, с тихим ужасом щупали подстилку из соломы и сена, на которой девушки спали, и не знали, что тут сказать...

— А спина, доченька, как спина? — мучилась Наталья Сергеевна.

— Сначала не могла разогнуть,— не стала Лена щадить вас,— теперь разгибаю.

Вы уехали, не спрашивая друг друга о том, чего добились и зачем это нужно было...

— Хотите предупредить мезальянс? — шутовски спросил вас однажды Сергей.— Поручите это мне. Присовокупите двести рублей. Съезжу к этому слесарю... Девяносто шансов из ста!

Виктор жил с родителями и младшей сестрой в большом доме нового городского района. Сергей подосадовал, когда оказалось, что квартира у них не в подвале, но успокоился, увидев, что она однокомнатная. Дома оказалась лишь девочка, разогревавшая себе на газе котлету.

— Мама не пришла еще с фабрики, а папа в котельной,— сказала она, удивленно оглядывая франтоватого парня, пришедшего к ним не за слесарем.

В котельной трое мужчин пили водку, закусывая ее хлебом и луком. Сергей угадал, кто из них Ряшин, сказал, что есть к нему разговор, и сделал глазами движение, приглашавшее выйти на улицу.

— А у меня тут нету секретов,— ответил тот, не проявив любопытства.— Что плотник, что электрик, что я — склад у нас общий. Вам чего-нибудь с подполы надо? Так говорите при них. Все одно распивать будем вместе.

Узнав, что разговор все же личный, он нехотя вышел, но не повел Сергея домой, а остался стоять на крыльце. Это никак не предрасполагало к беседе, тем паче что дождь моросил, а слесарь нетерпеливо спрашивал: «Ну?» Подготовленная Сергеем завязка беседы вылетела из головы, и он стал говорить сбивчиво, путано...

У слесаря раскрылся сначала от изумления рот, но он этой речи не перебил. Не хотел облегчать Сергею задачи... А когда тот неуклюже закончил, слесарь раздумчиво, но равнодушно сказал:

— Не знал я о Витьке... Видим с матерью, что он девчонку завел, а такого не знал. Не жениться ему надо, дураку, а учиться. Иначе тоже бутылками кончит... И не лезть в семью, где его не хотят...

Потом посмотрел на «Волгу», оставленную Сергеем в полупустынном дворе, и прищурил глаза на своего собеседника:

— Это ваша машина? Так... Готовы, значит, расходы нести, чтобы Витьку куда-нибудь в путешествие... Правильно, правильно. И сколько же вы предположили затратить?

Сергей неуверенно вытащил пачечку.

— Не пойдет! — взглянул на нее слесарь небрежно.— Уж если деньги — так деньги. Давайте мильен. Меньше мильена я не возьму.

Сергей круто повернулся и пошел твердым шагом к машине.

— Чего это вы? — догнал его слесарь.— Приехали сторговаться со мной, а бежите. Я уступлю. Я могу и другие условия. Сколько тут десяток у вас?

— Двадцать,— сказал Сергей,— но я ни одной вам не дам. Вы не тот человек... Разговоры бесцельны.

— Почему же бесцельны? Если договоримся, так не будут бесцельны. А договоримся мы вот как... Вы сказали, тут двадцать? Я их возьму и за каждую дам вам по морде. Согласны?

К чести Сергея надо добавить, что он, сам над собою подтрунивая, точно пересказал вам эту беседу, не умаляя своего поражения.

Такой же безуспешной была ваша затея сплавить Виктора на целину. Ты хорошо сознавал, что нынче уже не пятидесятые годы, что туда не мобилизуют теперь, но искал такой возможности, почти уж добился ее и... сам же отбой забил, поняв, что выгонишь в далекие степи и дочь...

А вспомни самое стыдное — разговор на скамейке бульвара. Ты намеренно назначил его именно там, а не в кафе и не дома, где он поневоле вел бы более сдержанно. А тут ты мог язвить, оскорблять, бить побольней... Виктор ничего тебе не ответил, встал и ушел... Потом ты простить не мог Георгию Павловичу, присоветовавшему тебе такой путь. Грустно иронизировал, что родители подобны правительствам и призывы к бешенству имеют у них всегда больший успех, чем призывы вдуматься, понять, примириться...

А период, который после сцены на бульваре последовал! Долгий период... Молчание в доме. Прежде приветливое личико дочери холодно, жестко. Ее глаза теряют лучистость. Иногда они вдруг дичают, в них сверкает решимость. В твой кабинет она уже не заходит, сидит в своей комнате, и ты прислушиваешься к каждому шороху... Иногда ей звонят, но это подруги. Разговаривает с ними как-то отрешенно от них, от вчерашней их общности. В мире происходят большие события, люди озабочены ими, в умах идут споры, ты намеренно наполняешь квартиру радиошумом, чтобы обратить дочь к действительности, но действительность ей сейчас безразлична, борьба идей теперь не занимает ее, взаимные заушения обоих миров она просто не слушает... С Севера приезжает брат Натальи Сергеевны, он геолог, открывающий нефть,— Лена чуть-чуть оживляется, о чем-то шепчется с дядей, и ты чуешь — расспрашивает, возьмет ли он к себе в экспедицию ее и еще одного... «Маленькие дети топчут родителям ноги, большие — сердце»,— жалуется брату Наталья Сергеевна афоризмом всех матерей и плачет при этом. Разубедившись в силе влияния прямого, родительского, она пытается прибегнуть к влиянию вкрадчивому, и дядя соглашается уговаривать Лену идти на филологический факультет МГУ. «У тебя же способности к этому. Ты же любишь и умеешь писать». «Ну и что из того? — отвечает она.— В литературе и без меня много девиц, которые не могут что-нибудь делать в другом месте». Дядя уезжает, и Лена снова не выходит в столовую. Иногда исчезает куда-то. Но не на встречи. Встретиться ей, видимо, не удается. После разговора на бульварной скамейке... Тем злее она все что-то пишет, бегает к почтовому ящику... Сергей острит:

— Вот тебе, папочка, и цена философии! Перегорел предохранитель — и ты лишаешься дочери. Все учение о закономерности к черту! Жизнь определяется случаем. Даже роком. Честное слово. Ведь вышло все просто фатально. Предохранитель в телевизор для того и вставляется, чтобы убавлять силу тока, предотвращать замыкание, не допускать перекала. А он перегорел, видишь, сам! Ну, разве не перст?! И ничего, значит, с Ленкой не сделаешь. Или вези ее за рубеж, заключи там в какой-нибудь монастырь, или играй с дворником свадьбу. А то ведь она молчит-молчит да и махнет с ним куда-нибудь. Увидишь, махнет!

И свадьба состоялась. Но о такой ли ты мог думать для дочери! Та, другая, происходила бы в «Праге», и не в один, а в три тура... А эта свадьба скорее походила на тризну. И на ней бумерангом отозвалось унижение, которому вы подвергали семью жениха. Теперь слесарь ни за что не хотел переступить ваш порог, и тебе с Натальей Сергеевной пришлось ездить за ним, уговаривать... Был очень узкий круг приглашенных — только самые близкие. Пили на этой свадьбе намеренно много, чтобы спиртом глушить безрадостность радости и краткость стыдливых тостов. Потом слесарь, напившись, плясал, потом плакал, и так вперемежку... Ты тоже не справлялся со спазмами в горле, не умея отгонять их и плясом.

На жене твоей вся эта эпопея так отразилась, что она не скоро в себя пришла, долго искала себе потом косметичку и вынуждена теперь перед приемом гостей делать себе кожу для них, как другие делают ее

себе на несколько часов для любовника. Но жизнь постепенно вошла в колею, и протокол ваших отношений со сватами установился, наладился. По праздникам вы ездите к ним и принимаете их у себя — разумеется, в семейном кругу. Но слесарь и не стремится сделать родственные связи тесней...

Я не мог не вписать этой главы...

Но пиши я ее для сценария — сделал бы это иначе.

В кино есть прием затемнения. Им показывают не то, что происходит во вне, а проносящееся в уме и видениях. Во мраке экрана возникла бы лента какой-то незнакомой дороги. На ней по брюхо увязали бы лошади и застревали мертвые цепочки телег с характерными ящиками чая Высоцкого. Потом показались бы неясные очертания мужика с бородой. Он брал бы лошадей под уздцы, и лошади дернулись бы. Он выволакивал бы телеги, и телеги задвигались бы... Это был твой дед, живший на кяхтинском тракте и питавшийся тем, что вытаскивал из грязи обозы...

В кино есть другой прием — перехода к новым кадрам через предмет, через вещь. Ею могла бы служить борода. Она приросла бы к другому лицу. Ссыльного поляка, занимавшегося изучением озера. При нем был парень, измерявший глубины воды, наблюдавший приливы, отливы. Парень неотесан, он с тракта, он смешно разговаривает, ему легче весло и руль смастерить, чем делать заметки, расчеты, и поляк вечерами учит его премудростям записей... Проносятся годы (примитивный показ на экране — отсчет календарных листков), парень сам уже с бородой, селится в городе, ему нужно вручить об этом прошение самому губернатору, нужно надеть для этого высокий, туго накрахмаленный, твердый воротничок, он силится сделать это, не может, идет к губернатору в косоворотке, его не впускают... И хотя он давно уже разные книжки читал, в «хороших домах» его дальше передних не пускали потом во всю жизнь. Это был твой отец...

В кино есть третий прием — показа прошлых времен посредством умерших с этими временами вещей. На экране мелькнули бы русская печь, расшатанные венские стулья, потом грубая железная койка, на которую парень смущенно укладывает молодую, из других миров завлеченную женщину. Этим парнем был ты...

В кино есть четвертый прием — для показа общности судеб разным людям дают одно и то же лицо. На экране ты мог бы заполучить вдруг лицо твоего первого тестя. Его лицо в те часы, когда он узнал, что не ты обладатель квартиры, и рвался развести с тобой дочь. Ты оказался бы двойником, эпигоном кого-то, забытого на Ваганьковском кладбище...

Тот никогда не мог думать, что его дочь выйдет за человека, который... И ты тоже никогда не мог думать, что твоя дочь выйдет за человека, который...

О, ты, конечно, объяснял это Леночке не разностью ступеней на общественной лестнице! Ты объяснял это разностью интересов, образования, вкусов. Объяснял, безусловно, правдиво. Но только... правда объяснений не требует, в них нуждается обычно неправда.

Как же это так получилось, что ты, потомок плебеев, гнушался родниться с плебейством? Почему скрывается у вас это родство, словно судимость какая-то?..

Эх, земляк мой, сокурсник и сверстник! Многое сделалось на свете другим, и все-таки все повторяется... Ты был ничто, а стал нечто и не хочешь в своей семье человека, пока он сегодня ничто... Полюбив, ты взял девушку, обмишурив отца, а став отцом, боролся с непоправимой влюбленностью парня, совсем не пытавшегося выдавать себя не за того, кем он был. Тебя всегда отвращал застой мыслей, а все доводы против решения дочери ты переволакивал из прошлых эпох. Ты воевал за права человека, а все твои действия попирали человеческое достоинство слесаря из опаски уронить свое собственное, понимаемое тобой ныне иначе, чем расценивали мы это в иные года...

Эх, земляк мой, сокурсник и сверстник!



### *Глава 4. Петька и жировая политика*

Как его выручить?

Что сделать для этого парня, попавшего в злую беду?

— Попавшего? Нет, навлекшего ее на себя! — отвечают мне в учреждениях, к которым я обращаюсь. — И подумайте, тот ли он человек, за которого следовало бы вам заступаться...

Тот ли? А вот поездили бы тогда тем же трамваем и поняли бы.

— Граждане, этот вагон последний раз в жизни ведет Степан Афанасьевич! Граждане, он вас возил тридцать семь лет. С ним вы никогда никуда не опаздывали. Он провел свою жизнь, не зная ЧП...

Люди на остановках выходили, входили — тысячи разных людей на многокилометровом маршруте, — и звучный молодой баритон заставлял их слушать себя.

— Товарищи пассажиры! Наш трамвайный парк провожает на пенсию старейшего из наших водителей. Это сейчас его последняя ездка. Пожелайте ему в своих мыслях, чтобы еще долгие годы...

В микрофон лились не затверженные, а душевные и простые слова. В них было что-то торжественно-трогательное. Я поймал несколько недоумевающих взглядов, но большинство людей поддавалось призыву, хотя он казался не слишком уместным в толчее, в многолюдье, в движении. Он усиливал давку и создавал заторы у выхода, потому что каждый невольно заглядывал в кабину водителя и кричал ему что-то приветственное.

У светофора на площади вагон поджидал какой-то трамвайный начальник.

— Вылазь! — крикнул он баритону, сидевшему рядом с водителем. — Смотри, что ты делаешь! Не заберешься — не вытряхнешься. Сию же минуту вылазь!

— Убери, убери его! — поддержал взволнованный общим вниманием, не привыкший к рекламе старик. — Нет с ним, оратором, сладу. Подведет меня в последний мой день...

Но тут же в вагон заскочили две девушки из трамвайного парка с цветами, с какой-то коробкой. Они стали высаживать того, кто высаживал. Если бы не долголетняя собранность сидевшего за рулем человека, все движение неизбежно застопорилось бы...

Я доехал этим редкостным рейсом до конечной его остановки. Баритон рассказал по пути еще много разных вещей. О заводах, мимо которых пролегает маршрут. Об истории улиц, по которым возил Степан Афанасьевич. О характере его, о семье. О руке, о слухе и глазе, нужных водителю. А когда к концу рейса в вагоне оставалось уже мало народа, разошедшийся парень сообщил нам еще, что Степан Афанасьевич держит павлинов, которых ни у кого в Москве больше нет, и они страсть какие красивые...

Старик покинул вагон обозленным на своего неугомонного спутника, но встречен был в диспетчерской цветами, корзинкой вина, поцелуями и, растерянный, уже вовсе не знал, сердиться ли дальше, расплакаться ли... А я свел здесь знакомство с Петром. То самое, что доставляет теперь столько тревог за него, столько горечи...

О, это совсем не образец добродетелей! Наоборот, скорее беспутный. Привлекают в нем доброта, смышленость, общительность, но ничего он из своих достоинств не сделал, способностей своих не использовал, живет как попало. Слесарил в депо, окончил зачем-то курсы водителей, сейчас на распутье... Жил с матерью в хорошей квартирке, полученной после сноса их деревянного дома, затем мать вышла замуж и переехала к мужу, радуясь, что и у сына будет очаг для семьи, а сын вместо этого... И хоть бы какие-нибудь подходящие девушки были, а то разводки — трамвайщицы или похотливые, уже в телесах, соседки по дому. А Петру всего двадцать три... Они приходят к нему с четвертинками, нажаривают котлеты, обстирывают... Недавно одна из них ввалилась в неурочное время, столкнулась с диспетчершей. Такой вышел скандал, что на лестничной площадке собрался народ, хотели бежать за милицией...

— Я после этого, — рассказывал Петька, — каждую предупреждаю: если рассчитываешь завести личную собственность, то ко мне не ходи,

ходи в американскую прачечную. Там холостяков сколько хочешь, там подбери себе и устраивай жизнь.

— А почему ты свою не устроишь? — спросил я.

— Да ведь кто его знает, — пожал он плечами. — Я считаю, что в этом вопросе плановому хозяйству не место. Тут стихия должна быть, случай, встреча, судьба и так далее. Ну, а этого еще не подвернулось пока.

Ему многое не подвернулось пока. Например, книжки о том, как стихи писать. И когда узнал от меня, что этого по книжке не выучить, порвал пять исписанных школьных тетрадок и не стал шестой заводить...

Но его тянет куда-то. За город, во дворик с павлинами. К стеллажам в моей комнате, где рассматривает книжку за книжкой и уходит потом молчаливый, смятенный. В кино, где в фильмах ему не хватает развязок, а когда они есть, то считает, что их не должно быть. В места, где он никогда не бывал и манящие своей новизной: на дипломатический прием, в Елоховский собор, в филармонию...

В рабочих общежитиях, где мне приходилось бывать, — газета «Футбол», молоко и колбасные шкурки. Книжки обнаруживаешь здесь о разведчиках и о токарных станках. У Петьки же всегда пироги (мать по субботам привозит прямо на противне), банки с вареньицем (стараются другие заботницы), альбом с литографиями польских художников, попавшийся на улице Горького и поразивший своею причудливостью, стопки раскрашенных еженедельных изданий, «Теркин», «Бежин луг» и... атлас стран Африки, известной ему лучше Европы. Но в рабочих общежитиях есть режим жизни и цели, а у Петьки ни того, ни другого. Он не знает даже, что сделает с собой после смены — ляжет ли спать, предстоит ли ему, наоборот, обниматься, или понесет его неожиданно в центр на городские огни. Не знает, кем в конце концов станет, чего желать для себя.

Вот его разговоры:

— Нет, в космос я не хочу, там пусто, там ничего... Мне бы какую-нибудь страну посмотреть.

— У нас вот пишут в газетах, какие дома надо строить. А почему совершенно не пишут про краску? Отчего ситчики такие красивенькие, а дома — как депо? Дома должны быть сарафановыми.

— Знаете, какая самая страшная книжка из всех, что я брал у вас? Вот эта, об Индии... Как парням не дают брать воду из рек, не позволяют им мыться, есть хлеб, подходить к прочим людям ближе, чем на сто шагов... Это что же такое? Как же мы терпим? У нас все о неграх да о неграх, а тут... Вот за кого бы я воевать согласился! Прямо сегодня пошел бы... И париев этих тоже по мордам бы хлестал. Почему они сносят? Зачем с этим мирятся?! Это ж коровы! Ну прямо коровы!

— Вы спрашиваете, отчего у меня мало товарищей. Нет, товарищей у меня все депо. Но только не вижу я интереса в пол-литрах. Не тянет. Если бабы с собой не прихватят, сам никогда не куплю. И хоккеи смотреть мне тоже удовольствия нет. Лучше на главный почтамт сходить. Я вот люблю иногда потолкаться там часик, посмотреть на людей, как они шлют телеграммы, берут до востребования. Очень это любопытно следить... Девчонка получит — сияет. У нее просто терпения нет, сейчас же бежит в уголок и проглатывает. Потом еще в метро изучает. Потом, наверное, и дома в уборной... А вот когда нету письма... Особенно, скажем, старушке... Посмотришь на нее — и самому тебе муторно делается... Я бы таких сыновей не растил, а давил...

— Техника, по-моему, идет не в ту сторону. Вот возьмем пылесос. Он же состояние стоит. А орудовать им — хуже нет. Бегемот, а не вещь. Почему бы не выдумать, чтоб без него? Чтобы пользовались люди, как водопроводом, канализацией, газом. Повернули какой-нибудь краник или включили бы кнопку — и вытянулась бы разом вся пыль.

— За что я в милиции был? Да так, за одного алкоголика... Двое суток держали... Сам виноват, был, конечно, но случись мне такое опять увидать, я бы опять не стерпел... Затащили меня ребята в тот вечер в пивную. Ну, выпил я свои полтораста и дальше отказываюсь. А публика вся кругом уже в космосе, на полу и так далее. А какой-то сволочь еще не свалился, считает, что, значит, зря деньги пропали, и снимает с себя, понимаете, китель. Разыскал коммерсанта, тот ставит за него двести грамм. Отцепляют медали и слаживаются. Но он выпивает этот стакан и снова не падает. Для этого требуется дополнительно пиво. Вынимает он тогда из кармана медали отстегнутые... «Ставь, — говорит, — по бутылке за штуку». Коммерсант соглашается только за две. Начинают они торговаться... За боевые медали!.. Я тогда подхожу — и р-раз одному по зубам, р-раз другому... Вот, собственно, все мое уголовное дело. Но в милиции оказалась одна молодежь и без всякого к медалям чувства понятия. Если бы не майор из управления города, прощай моя вольная жизнь!



— Почему не скоплю на новый костюм? Это вы правы, конечно... У нас ребята на кефире да булках, а уж брючки, носочки, нейлончики — это в первую очередь. А у меня как-то нет интереса... Сам не знаю, почему я такой. И куда деньги уходят, тоже не знаю. Обеды в депо у нас, правда, паршивые, но зато очень дешевые, и вообще мне питание недорого стоит, на женщин ничего не расходую, потому что они того не заслуживают, галантерейные траты у меня только на мыло, а до получки никогда не дотягиваешь... Ну, правда, ездил в прошлом году на праздники Таллин смотреть, нынче матери шаль купил к дню рождения... Но больше за эти два года ничего такого резкого не было... А расходятся неизвестно куда. То у кого-нибудь из ребят именины, то свадьба, то провожаем на пенсию, а то в прошлом месяце проходил по Арбату и зачем-то аквариум с рыбками взял. Теперь вот смотрю на них, изучаю... в полном, можно сказать, коммунизме живут. Безопасность с гарантией, потому что никто не сожрет, корма сыплю им вдоволь, нормы выработки никто с них не требует, денег не надо им, спи когда хочешь... Играются, валяют себе дурака, да и только... Но человек, между прочим, не мог бы так. Ни за что бы не мог. Помести его в такую роскошную жизнь — враз повесится или психом заделается.

— Профессию я к осени, между прочим, сменю. Надоело все по рельсам, по рельсам. Это для баб. Я шоферить уйду. Будет все ж таки какой ни есть, а размах.

— Я к вам на этот раз не за жизнь говорить пришел, а по делу. Очень у меня нехорошая история вышла. Хотел сделать как лучше, а нажил врагов. Не знаю, как быть теперь. Хочу, чтобы вы посоветовали... Есть у нас, понимаете, один мелкий гад. То есть гад-то он крупный, а начальничек мелкий. Но все же начальничек. И какие он токарю наряды запишет, по тем человек и получит. Я-то на линии и от него независимый, а для ремонтников он и маршал, и папа. И вот ребята приметили, что некоторым работки выпадают не пыльные, а получки наваристые. Подпоили они в домашних условиях одного паренька, и он им под честное слово раскрылся. Признал, что начальничек этот одалживает у него раз в месяц-другой по двадцатке... Услышали ребята про эту историю, повозмущались, поматерили прохвоста и стали раздумывать, как им самим вступить в отношения... Один мой дружок обратился за советом ко мне. А я вместо этого иду в кабинетик начальника, выкладываю, что мне известно о нем, и предлагаю в двадцать четыре часа выметаться... «Поскольку, — сказал я ему, — у вас большая семья, большой стаж, большой возраст и прочее, я разоблачать вас до степени инфаркта не стану, но присутствия больше не потерплю...» И что же вы думаете? Он, негодяй, вместо того чтобы тихо принять ультиматум, начинает орать: как, мол, ты смеешь, наряды и ведомости у всех на глазах, я член комитетов, твоей клевете никто не поверит, я тебя за этот подкоп суду передам, покажу, как заслуженного человека порочить, как языком поганым трепать... И в ту же минуту устраивает мне очную ставку. Вызывает этого самого Леньку, и Ленька при мне: «Первый раз о вас слышу такое, никогда этой подлости никому не выдумывал». Вызывает следующим Витьку, и тот: «Никогда мне Ленька о вас ничего худого не сказывал...» Представляете мое положение?.. И с того дня они со мною ни слова, и подлец теперь для них я... А прохвост этот потом мне на ходу: «Ты жалел мою старость, а мне жаль твою молодость, поэтому, так и быть, я замну, но в цех к нам дорогу забудь...» И вот вы скажите мне, что в таком положении делать? Вешаться? Драться? В комитеты идти?

Я подсказал тогда Петьке четвертый из выходов. Не самый честный, но сберегающий нервы — плюнуть на эту историю...

Но что мне предложить ему нынче, когда поступок его был в десять раз легкомысленнее и новое дело куда грозней прежнего?!

Перебираю в уме имена людей, могущих разобраться, помочь, верчу телефонные диски, хожу на приемы, выслушиваю советы не впутываться в эту историю и направляюсь к тебе.

Ты еще не приехал с работы, дома лишь Наталья Сергеевна, только на днях возвратившаяся из туристской поездки. Она рада возможности порассказать, поболтать: «Ведь сколько ни езди во Францию, всегда увидишь там необычное», — и мои мысли о Петьке перебиваются восторженными устными очерками о гостиничной комнате, где вместо диванов и стульев мягкие подвесные шары, опускающиеся для тебя с потолка, да о девицах, подверженных моде вышивать на платьях свои адреса.

— Это призыв. Понимаете?! Недвусмысленный, откровенный призыв! — восклицает Наталья Сергеевна, то ли возмущаясь цинизмом, то ли восхищаясь придумкой.

Ты приезжаешь, обедаешь, вы заставляете меня, сытого, тоже жевать что-то, потом пробовать компоты, которых Наталья Сергеевна наконсервировала чуть ли не полтысячи банок, потом убеждаться в названной цифре... Она раскрывает буфет, встает на стремянку и распахивает передо мной антресоли, показывает стенные шкафы, тоже набитые банками, жалуется, что архитекторы не предусматривают в квартирах чуланов, и я уж побаиваюсь, что эти стройные галереи консервов могут предрасположить тебя и к стройности разговора о Петьке... А он не смеет быть стройным! Ты должен в нем бесноваться, как я! Нет, ты будешь бесноваться, как ты! Прежний! Тогдашний! Бывший Петькиным сверстником!

Я рассказываю тебе о трагедии, происшедшей в депо. Как трамвай, выходивший из ремонта на линию, перерезал рабочего. Как эксперты спорили, по чьей это случилось вине. Как разбухли от показаний, от актов, от разноречивых суждений папки этого злосчастного дела, кочевавшего по разным инстанциям. Как дважды присуждались семье погибшего деньги за утрату кормильца и как люди, которым эти решения угрожали потом личной ответственностью, добивались отмены их. Как выдавался и отзывался исполнительный лист. Как Петька не в состоянии был этого вынести, не мог больше видеть бесплодных хождений женщины с тремя ребятишками к начальству депо и принял решение положить этому делу конец, стать верховным судьей, исполнителем, кассиром, бухгалтером. Как подбил к тому же еще двух водителей. Как передали они дневную выручку со своих маршрутов не в кассу, а женщине. Рассчитались с нею от лица депо, за депо...

— Да, парень решительный. И к тому же находчивый! — удовлетворенно сказал ты, широко улыбнулся, и в глазах у тебя мелькнуло что-то молодое, веселое.

Я обрадовался.

— Поставил начальство депо перед фактом! — продолжал ты, явно довольный. — И как остроумно проделал это! У нас так обесцвечивается обычно фантазия, что просто радуешься таким вот ее проявлениям. У кого есть хоть немножечко юмора, тот не сможет не оценить.

И вдруг посуровел:

— Но ты думаешь, что курс юмора всюду высок?.. Куда ты обращался? В юстицию?

— Да. Хоть у меня в ней давно растеряны связи.

— А у меня их в Москве и не складывалось. Как уехал из Сибири, не приходилось с ней дела иметь.

— Для тебя это не имеет значения. У тебя связь создается самим способом связи. Аппаратом, по которому ты разговариваешь.

— Не переоценивай, — коротко бросил ты. — И к судьям напрасно ходил. Отреза́л пути мне. Им неудобно будет, отказав тебе, сделать мне. Да и связаны рутиной, формальностями. У них все операции требуют оформления, времени... Я попробую без них обойтись... А парень твой молодец! Какая смекалистость! И, главное, смелость какая! Если хочешь, — воодушевился ты вдруг, — этот поступок может даже служить эталоном настоящего гражданского мужества. Ведь что оно такое? — то сопротивление неправде, рутине, противопартийности, злу, связанное с самопожертвованием. С готовностью отвечать за свои действия карманом, постом, свободой, судьбой... Ай, парень! Как услышишь о таком, просто душа веселится. Наточка! — крикнул ты. — Наточка! Иди к нам сюда, ты послушай-ка... Послушай, какой у Володи знакомец есть и что он удрал... Не чета товарищам нашего сына, всем этим молодым дальновидцам... Жаль, его дома нет. Не мешало бы послушать о сверстнике. Тоже водителе, да только другом...



Наш следующий разговор о Петьке произошел дней через десять. Совсем уже другой разговор...

— О нем собраны сведения, — рассказывал ты, — и они хуже худшего... Демагог натравливал рабочих на цеховое начальство, альфонс. От собраний увиливает, газет не читает. Звал товарищей на богослужения. Числятся два привода в милицию. За пьяную драку и за повторное нарушение правил движения... В истории с деньгами, да организованной притом коллективно, видят поэтому вылазку...

— Но это же чушь! От начала до конца просто чушь!

— Чушь или не чушь, я не знаю, ты слушай... Если кто-нибудь гибнет по вине предприятия, с последнего, как ты знаешь, снимают три шкуры, но за несчастье, происшедшее по неосторожности самого потерпевшего, ответственность следует лишь материальная и значительно меньшая. И вот в этот спор — спор далеко не законченный, ибо обстоятельства гибели толкуются разно, — вмешалась договорившаяся группа парней. Для чего вдруг вмешалась? Чтобы уверить рабочих, будто правды на законных путях не найти и действовать надо, минуя советские органы.

— Они дураки — те, кто тебе наболтал такое! Это черт знает что!

— Может, и черт знает что, но я продолжаю... Случай в трамвайном депо — это попытка занести в здоровую заводскую среду больные явления из других социальных кругов. Попытка, особенно опасная ныне, когда молодежь во всем мире совершает одну за другой неожиданности. Когда вообще тут и там... Мне незачем называть тебе страны, события. Международное положение сейчас таково, что надо смотреть в оба глаза. Оно не позволяет отнестись к происшествию в трамвайном депо как к бездумной мальчишеской выходке. Считают, что с виновных надо взыскать все до копейки, хотя бы им пришлось это годы выплачивать, и выгнать их с шумом... Но ограничится ли этим, не знаю... Есть мнение, что их надо еще и судить. По какой статье кодекса, пока неизвестно, ее должен будет подобрать прокурор.

— Судьба Петьки зависит от мировой политики, значит? Но это же бред!

— Тут представлялись две возможности, — продолжал ты, не отвечая на мое восклицание. — Оставить в силе решение той судебной инстанции, что требовала выплаты денег, и свести тем самым все дело на нет. И второй вариант — отказать, наоборот, в иске семьи, чтобы сделать поступок парней злоумышленным... Если раньше исход спора был гадательным, то теперь, вероятно, восторжествует второе решение, и можно считать, что добрый порыв этих Петек испортил дело семье.

— Позволь! — вскричал я. — Но какое дело суду до Петьки, до этих хитроумных расчетов! Суд — это суд!

Ты посмотрел на меня и ничего не ответил.

Мы оба долго молчали.

— Нам понравилась в его поступке отвага, — сказал ты после паузы, — а именно она напугала.

— Кого? — спросил я.

— Человека, придавленного грузом ответственности за состояние дел и умов в той части города, где находится это депо. А он что ни скажет — все будет на его территории истиной.

— Но ты-то не на его территории!

— От меня тем более здравости требуется. А не беззаботной храбрости безвестных парней...

В кабинет входит твой сын. Он в курсе истории с Петькой и, здороваясь со мной, весело спрашивает:

— Ну что, товарищи деятели? Потерпели фиаско? И правильно! Учат-учат вашего трамвайщика революционным традициям, водят на могилы борцов, рассказывают ему об их удали, выпускают для него фильмы и книжечки, а в него, оболтуса, ничего не внедряется, ему, видите ли, живую революционность давай! Ишь чего захотел! Таких надо к ногтю! В самом зародыше! Нет, честное слово,— смеется Сергей,— я не шучу, если бы я в каком-нибудь комитете сидел и мне пришлось такое дело решать, я бы сделал из этого протестанта мокрое место. В ситро превратил бы. Потому что дай им, этим подстрекателям, волю, они такой праздник очищения сделают, что меня бы потом, как постылую тещу... Правда, правда, я вам на полном серьезе! На днях я о вашем трамвайщике с восторгом на курсе рассказывал, но если меня в институтский комитет изберут и у нас такой комсомолец окажется, блата у меня за него не ищите... Да, да, это факт будет!.. Очень вашему парню сочувствую, но понимаю и лиц, посмотревших на дело иначе...

— Слышишь?— сказал ты мне не без горечи.— Какой у моего сына ум деловитый! Мы с тобой в его годы не рассуждали так трезво. Но зато за него я спокоен. Если ничего не произойдет за рулем, то спокоен...

А мне стало, наоборот, неспокойно. Не мог больше сидеть. Но паркет у тебя так надраен и в комнате столько вещей, что двигаться надо умеючи... Я стал прощаться. Наталья Сергеевна пыталась удерживать, но мне хотелось не чая, а воздуха... Шел по двору. Долго шел по двору. В голове колобродило. Отчего теперь вход в дома со двора, а с улицы лишь в магазины? Сережка блондинистый в мать. Для мужчины это уже чересчур— такие светлые волосы. Слишком отметно, скандинависто, броско. Давно ли я носил ему к дням рождения мишек, потом «Конструктор-затейник»... Хорошенькая эта девчонка прошла сейчас. Но ей лет пятнадцать, а грудь... будто она у нее накладная. И в каком приятном джерси! За джерси всюду давки. Да, люди стали хорошо одеваться. У Сергея девчонок, наверное, выбирай— не хочу... Зубоскалит над тем, как мы тужимся с внедрением революционных традиций. Но мы правильно тужимся. Правильно боимся, что не все будут, как старшие. А с Сергеем другая опасность— что б у д е т, как старшие... Почему он назвал Петра протестантом? Это была только вспышка отчаяния. Трое осиротелых ребят, три месяца хождений по рельсам, бегущим в депо во все стороны. Вот так и отец их погиб. Петр просто не выдержал. Душевный порыв, а никакой не протест. А может быть, правда, есть в нем порыв и к протесту? От прилива жизни, от беспокойства, рождаемого атласом Африки, от неумения гасить скуку в пивных. Скуки, наверное, много. Нет, это не скука, это неясные побуждения, неопределимые склонности. К дикторству на маршрутах трамвая, к изгнанию гада из цеха, к очеловечению париев, к неразведанным жизням. Все это, подобно любопытству к Елоховскому, поиски каких-то дверей, ведущих неизвестно куда из обычности. А смиренность с обычностью, верность обычности, ее нудному ходу, порядку была бы для Петьки, словно верность той или другой из соседок. Она бы вознаграждалась обилием постельной массы и запаса еды, но не приносила бы радости... Как бесконечна и широка эта улица! Когда они сюда переехали, Сергею было лет восемь. Тогда тут, на Набережной, построился только первый квартал и квартиры в нем получала лишь знать. Теперь такие же, с тем же комфортом, с теми же видами на парк и Москву-реку— для многих и на многие версты. Ох, сколько построено, строится! Нет места, которое можно было бы узнать через год. Жалуемся, вздыхаем, скрипим, недовольны то тем, то другим и словно не видим, какая вокруг деятельная, сильная жизнь. Сколько люстр тут сияет! Сколько бледных полосок неверного света просачивается сквозь щелки драпри от экранов! И разве Петька, тот же безалаберный Петька, холостяк и обыкновенный трамвайщик, не стал тоже обладателем отдельной квартиры? Ему ли быть протестантом!.. Вот тащится старуха, смешно волоча свой высохший зад. Наверное, поясницу свело. Ничего, ей не придется на верхотуру карабкаться, поднимется в лифте. Если ломит крестец— может теплой ванной унять. Теперь беды— облегченные беды... Вот останавливается у светофора такси, набитое пьяной компанией, шофер оглядывается, не выпали ли его пассажиры, и на всякий случай вторично дверцу захлопывает. У «поплавка» подобрал их, наверное. Всегда там гуляки, никогда свободного столика нет. И во всей вечерней Москве его нет. Значит, много народа с деньгами... А вот эта старушка, высокая, еще не согнувшаяся, похожа на Екатерину Ивановну. Как одинока была она! Как мечтательно иногда говорила мне: «У нас комнатки рядышком, вот бы и на одном кладбище рядышком. На вашу могилу придут и на мою тоже посмотрят». А не терпевшая меня Марья Федоровна, ругавшаяся, что я своим табачищем гублю ей цветы, злобно скрипела: «Вам так плевать на них, что я и на гроб-то вам вместо цветов окурков насыплю...» Екатерины Ивановны нет. Соседи ее по могиле— сплошь незнакомцы. Взглядывает ли кто-нибудь на ее крестик— не знаю. А остальные из нашей коммунальной квартиры давно расселились в отдельные. Не на кого шипеть теперь Марье Федоровне... Но люстры в домах почти все одинаковые. Как унитазы или дверные замки. Полверсты окон— еще ничего, а дальше уже не хочется и глаза поднимать. И сами дома тоже, пожалуй, слишком уж схожи. Когда люди здесь поселялись, они первое время часто попадали, наверное, то в чужой корпус, то в чужую квартиру... Глазу нужно разнообразие. Человеческим дням нужно разнообразие. Страстям и поступкам нужно разнообразие... Деятельная, сильная жизнь должна проявляться не только в возведении новых домов, городов, но и в возможности выявления сильных порывов. Цель нашего строя— чтобы все люди страны жили так, как живут здесь, на Набережной, и цель нашего строя— чтобы Петька мог выносить такие вот яркие постановления Верховного суда СССР, движением его души продиктованные. Ведь жизнь не старушечье прозябание, а жизнь только и хороша безоглядочной бодростью!



Да, Петькин суд внес переполох... Это правда... Но так и должно быть! Это ж чудесно! Это же весело! Это ведь заиграла в окне новых форм самодельная, не унылая люстра!

И как можно забыть, что Петька— поэт. Не в стихах своих— в видении мира. А поэт не может не вносить беспорядка. Не может. Разумный разум — разум скучный, усталый. А Петькин опрощает мир и снимает проблемы. Отдал выручку— и делу конец, сразу к черту два тома хитроумных сплетений!

Это вердикт поэта, понимаете вы, мудрящие над этой историей?! Отменят его— прервется поэтическое нарастание жизни. Клянусь вам, прервется! Для всех деповских, для всех знающих эту историю.

Спаси это решение, спаси, найди ходы! Ведь ты сам был Петькой когда-то. Оглянись на себя, оглянись! Вспомни, как наш рыжий завхоз проложил из профессорской в аудиторию коврик, запрещал студентам ходить по нему, чтобы не пачкали его и не портили, и как мы, возмутившись, перетащили этот коврик в курилку... Вспомни профессора, утомленного спором с тобой и раздраженно приказавшего: «Хватит! Пишите, как я вам сказал. По этому вопросу всегда так писали, и нечего умничать!» «Что же из того, что всегда. Всегда была и холера, а теперь же вот нету ее»,— возразил ты ему, и ответ этот стал знаменитым... Вспомни... Э, да что говорить... Как же мог ты теперь промолчать, когда Петьку хотят из-за международного положения выгнать! Нет, нет, такого с тобой не могло быть! В том разговоре с человеком, придавленным грузом ответственности, тебя просто охватил какой-то кратковременный шок! И я зря ушел сейчас, мне надо было рассмеяться или накричать на тебя, прогнать это оцепенение, вогнать тебя в краску. Ведь шок лечат горячим...

Я замедляю шаги. Поворачиваю, чтобы возвратиться назад. Неуверенно иду с полквартала. Потом опять поворачиваю...

## *Глава 5. Опасная дочь*

Не первой молодости, но хороша, курит немного, но сильно затягивается, рюмки опорожняет не сразу, но пить не отказывается, рассуждает толково, но подчас слишком решительно и говорит почти весь вечер одна. Впрочем, она в Москве редкая гостья, и ее рады слушать.

А почему, собственно, редкая? В давнюю пору между Пермской и Тобольской губерниями лежал пограничный камень, на одной стороне которого написано было «Европа», на другой значилось «Азия». Поезда замедляли здесь ход, чтобы пассажиры помахали камню рукой. Теперь же границы и расстояния нет. Женщина вылетела из таежного города

в восемь утра по сибирскому времени, прилетела в Москву в восемь по местному. Это рейсы, в которых ничего не теряешь. Но последний раз она была у отца три года назад, а сейчас дала знать о себе, позвонив из «России», только на третий день по приезде. Дела! Нету времени!

Есть какая-то недоговоренность, неловкость в том, что женщина остановилась не здесь, а в гостинице, пришла с коробкой конфет и разговаривает со всеми на «вы». Но эту неловкость испытывают только хозяева дома, а сама гостья вовсе не ощущает ее. Не ощущает и лишка деловитости в своем разговоре, вертящегося вокруг проблем освоения Севера и лишенного тем личных, домашних, обыкновенной простой болтовни.

— К нам сто пятьдесят тысяч в году приезжают,— сообщает она,— сто сорок назад уезжают... И тут десяток причин. Не можем, например, трудоустраивать женщин. На высотные сооружения их не пошлешь, на кран не посадишь, а за прилавками и в канцеляриях все места давно заняты... Посылаем на подсечку леса — не идут. А если, помыкавшись, бабенка куда-нибудь втиснется, ей ребенка некуда деть. Ведь город у нас молодежный, рождаемость, будто на конкурс, а на детские сады и на ясли нет финансирования. Квартиру приезжий через год-два получит, а места в детском саду не получит. Тут надо Героем Труда быть или ног лишиться от несчастного случая, чтобы ребенка пристроить... Сотнями миллионов ворочаем, а чтобы где-нибудь ясли открыть, ловчим, изворачиваемся... Да только ли ясли! В школах ребята тетрадок сложить не успеют, как их уже гонят, чтобы освободить парты другим. И уж, конечно, нет у нас для людей никаких развлечений. А люди это такие, которых надо бы холить, ласкать, ублажать. Вот на днях от нас чуть-чуть не сбежал человек, чьи портреты в газетах печатались. Проходчик туннелей. Под силовые кабели их прогрызают. Бурильными молотками, в скале. Когда на термометре сорок ниже ноля... Представляете?! Хорошо, что мне дали знать и я успела слетать к нему. Спрашиваю, в чем дело, ведь тебе, говорю, дали двухкомнатную, ты уже стаж накопил, тебе северная надбавка идет, как же бросаешь вдруг?! А он мне: «Черт с ними, с квартирой и с заработками, когда я тут одичал, ничего, кроме бутылок, не вижу».

— Трудности роста,— замечаешь ты неуверенно.— Ведь сама говоришь, что с жильем у вас не так уж плохо. Нельзя же все сразу...

— Почему же нельзя?! — перебивает она.— Знаете, во что это «не сразу» обходится? На создание места в детском саду нужно лишь половину средней суммы подъемных семье, покидающей Сибирь оттого, что это место не выкроено. Так почему же этого не подсчитали в министерствах, в Госплане, не знаю где!.. А во что влетают стране разъезды людей туда и обратно! И не только разъезды. Ведь потрачены деньги и время на их обучение. А приходят после них новички. Этих надо снова учить. Какое же это, к черту, планирование! — восклицает она грубовато.— Нет, надо именно все, все без исключения сразу! Если бы стройки городов заканчивались у нас вместе со стройкой заводов, все обстояло бы совсем по-другому. Не требовалось бы мобилизаций, путевок, вербовок. Каждый сам захотел бы селиться в новых местах. Скажите, капиталист платит двойные подъемные? — воодушевилась она.— Он не платит их вообще. Выступает он со статьями, речами, призывая романтиков ехать бороться с разными трудностями? Нет, он начинает с того, что обеспечивает отсутствие трудностей. Индустриальный район закладывается там с гостиниц, с баров, с аттракционов, с привоза всяких диковинок и украшения места. В чем там реклама, если нужно привлечь рабочую силу? В описании возможностей, выгод, удобств. Капиталисты знают, что именно так оно прибыльней. Так почему же социалистический район, социалистический город зачинается без такого расчета?! Почему у нас эшелоны романтиков, прибывающих вместе и сбегающих порознь?! Они же обходятся в колоссальные деньги. Ни один капиталист таких расходов не выдержал бы! Нет, заводов у нас прибавляется, но ума не прибавилось,— заканчивает она резким выводом.

— Тебе, Лидочка, видны, так сказать, лишь локальные нужды,— возражаешь ты ей,— а у государства много строек, много объектов.

— Локальные?! — вскипает она.— И это вы говорите о месте, которое дает в семь раз больше энергии, чем вырабатывала при царе вся Россия?!



— Я не оспариваю значения места,— противостоишь ты этому возбужденному тону,— оно известно всей стране, всему миру. Но у планирующих органов оно не единственное. Им приходится иметь дело с сотнями новых районов, требующих распределения средств. Поэтому естественно, что...

— Они словно нарочно делают все, чтобы человек был недоволен,— кончает она за тебя.

— Но это же несерьезно, Лидочка, совсем несерьезно.

— Что — несерьезно? Требовать шапку на голову, когда от мороза термометры лопаются?! Разве вы знаете, сколько нужно сил положить, сколько нужно мотаться из поселка в поселок, чтобы добыть на зиму ушанку! Ведь это одна из причин, по которой из Сибири бегут. Объясняют, что «оборудования для климата нет». У вас вот в Москве увлекаются теперь соцнологами, статейками о причинах текучести, а походили бы по магазинам у нас, так эти причины стали бы ясны и без модных наук... Помните, папа, у меня в детстве беличья шубка была? Поищите теперь во всей Сибири девчонку, на которой бы вы такую увидели...

Она начинает говорить о мехах, без которых в Сибири вообще невозможно, и ты слушаешь понуро, угрюмо...

Нам с тобой памятны многие теплые вещи. Чулки, которые назывались чижами, пимы с голенищами почти что до ягодиц, подбитые мехом штаны, шлемы, башлыки, капюшоны... Из овчинных, беличьих, лисьих, телячьих, собачьих, оленьих и прочих мехов, из пряж, пуха, войлоков разного типа и плотности было столько противоморозных устройств и так онн были доступны, что все переселенцы уже к своей первой сибирской зиме обзаводились тулупами, в которые можно было упрятаться с головой и ногами, полушубками, катанками. Разной зимней одежды можно было купить в любое время года в любом городке, по деньгам и на вкус... Лида жестоко права, утверждая, что все эти вещи еще много нужнее теперь, когда тайга вырубается и города стали продуваться ветрами, когда наехали людн, не привычные к здешнему климату, и развернулись под открытым небом строительства... Ты не можешь не чувствовать, что из Лидиных требований вопиет сама справедливость, что это взывают недоодетые в лютую стужу мальчишкн, чьи слезы на ресницах превращаются в льдинки,— ты не можешь этого не понимать, но когда твоя дочь вынимает из сумочки привезенную ею статью, требующую, чтобы меха продавались новоселам дешевле их стоимости в Центральной России, ты не наберешься сил помочь напечатать ее.

— Пойми,— утверждаешь ты,— это невозможно практически. Есть политика цен. Есть министерство финансов. Есть Союзпушнина, Союзразноэкспорт, Госбанк и еще прочие ведомства... Ты не учитываешь бесконечные сложности...

— Так, значит, из-за сложностей ведомственных должна и жизнь быть сложна? — не хочет понять она.— И почему ведомства должны все заменять, надо всем ставить себя? Почему они должны руководить нашей жизнью, а не мы ими?

— Но не может же вещь стоить в одном месте два рубля, а в другом — только рубль. Ведь будут скупать тогда. Откроется широкое поле для воровства, спекуляций. И станет невозможен контроль.

— Ну, а сейчас у нас всюду бесконечный контроль, один другого во всем контролирует, а воровства и спекуляций дай боже! И вообще, папа, это не разговор. Я вам вот что скажу: или социализму пора найти способы делать стимул выгоды ненужным, излишним, или он должен давать ее. В частности, жителям Сибири, если мы хотим заселить ее. Ведь сейчас все наши гигантские стройки — только на узкой полоске, только по краю тайги... Надо думать о будущем!

— Вот потому-то, что мы о будущем думаем, я и вынужден опять повторить, что все сразу нельзя. Международная обстановка тебе тоже известна. Средиземноморские корабли что-то стоили. А из Средиземного они будут держать курс в океан.

— Имперская политика, да? Ну, а мы у себя мировых проблем не решаем или, вернее, считаем, что они именно у нас и решаются.

Если Сибирь расцветет, вся страна себя в исторической перспективе увидит.

Еще долго идет этот спор, которого никогда не доспорить, а я смотрю на энтузиастку Сибири, на эту несговорчивую, волевую, незнакомую женщину, создающую в холодных лесах города, и стараюсь найти в ней хоть отдаленное сходство с обликом девочки в кружевном беленьком платьице... Неужели это ее, такую теперь деловую, упорную, думающую вразрез с тобой и госпланами, водила когда-то мама по набережной?! И откуда в ней эти свойства взялись? Или тут что-то от тебя, от тогдашнего?..

Как игрива судьба: ты, сибиряк, давно уже стал москвичом, а мать этой женщины, москвичка, завезенная в Сибирь против воли, и посегодня там... И хоть бы оставалась мать Лиды в сибирской столице, в Иркутске, в благоустроенном городе! Так нет же, она провела все эти долгие годы черт-те где, в непролазных местах. Вышла после войны за гидролога, он стал начальником строек, она кочевала с ним. Очаги ее менялись-менялись, да и были ли они, собственно говоря, очагами... Даже с Лидой, дочерью от первого мужа, старушка видится теперь лишь раз в несколько лет. А сама Лида потому, вероятно, стала такой независимой в делах и суждениях, что росла при отчиме в необжитых местах, среди разношерстного рабочего люда, а студенческую пору провела в общежитиях. Став потом женою и матерью, она возложила возню с детьми на свекровь — одну из считанных бабушек молодежного города — и предохранила себя от того, чтобы сделаться дебелой матроной.

Наталья Сергеевна считает нужным быть к Лиде особенно гостеприимной, все время подкладывает ей что-нибудь на тарелку, одобряет все, что та говорит, и сетует, что она не взяла с собой девочек.

— Ведь вы привозили их шесть лет назад. Мы видели их только крошками... И вообще я на вас очень обижена, Лидочка. Нехорошо, очень нехорошо вы ведете себя... Разве дом вашего папы не ваш? Или жена его ведьма?

— Ну, что вы! Мне так просто удобней... А девочек нельзя ведь развлечения ради отрывать на две недели от школы. Они и так далеко не отличницы. Вот и в будущем году у нас будет трехмесячный отпуск, поедем всем кланом на юг, вот тогда обязательно... А сейчас я ведь по делу. По тысяче дел. Мне столько поручений дано. С утра приходится на телефоне висеть, хлопотать о пропусках, о свиданиях... У меня, папа, на вас большая надежда. В некоторые места я и сама пробьюсь, а кое-куда без вас не прорваться... И еще я хочу, чтобы вы меня связали с газетами. Может быть, ваша протекция придаст какому-нибудь редактору храбрости. А иначе пошлют в отдел писем, сдашь материал, а через месяц раскроешь газету и ахнешь. Так все пригладят и перешерстят, так все у нас будет выглядеть устроенным, сделанным, что не поймешь, о чем еще люди хлопочут, какого рожна еще надо им. Да, да, папа, — предупреждает она твое возражение, — когда мы что-нибудь читаем о нас в центральных газетах, то из них узнаем, как все хорошо... Вот недавно один хлюст побывал у нас, заснял несколько новых кварталов и надписал, что вот так живут теперь люди на такой-то долготе-широте... Хоть смейся — хоть злись... «Другого заснять у нас нечего, — слышала я после этого. — Чтобы худое увидеть, журналистам надо еще дальше в широту-долготу пробираться, через Аляску летать. А у нас скверного ничего не осталось, мы — Эльдорадо». Ой, кстати, все забываю в словаре посмотреть... Что это, папа, такое? Чувствую, а точно не знаю.

Ты слушал Лиду обеспокоенно.

— Вот тебе на! Неужели, правда, не знаешь? Хоть к инженерии это не имеет касательства, а все-таки надо бы... Страна чудес и обилия... Но я вот о чем хочу предупредить тебя, Лидочка... В министерствах, в редакциях, где бы то ни было, забудь этот тон. Одно дело — когда мы в домашнем кругу, и другое... Раз я о тебе буду звонить, то вправе и ждать. Попрошу тебя взвешивать каждое произносимое слово. Да, каждое... Все время помнить об этом...

Наступила довольно долгая пауза.

— Хорошо, — сказала медленно дочь. — Буду помнить, хотя, признаться, я не пойму... Никогда понять не могла... Мы создаем гидростанции, каких, говорят, нигде больше нет, строим самый большой из существующих на земле алюминиевых заводов и крупнейший на свете лесопромышленный комплекс, сооружаем три города, прокладываем на тысячи верст высоковольтные линии. У нас целые армии бетонщиков, крановщиков, шоферов, бульдозеристов, монтажников. У нас каждый парень может получить профессию, заработок, место под солнцем — так неужели мы не можем, не смеем говорить о себе в полный голос? Почему нам не удается просунуть в московские газеты письмо о том, что месяцами, годами сидим без проектов, что чертежи нам приходится буквально вымаливать, что сегодня одной документации нет, завтра — другой, работы из-за этого постоянно срываются, строим без всякого порядка, вразброс, люди и техника то и дело простаивают, деньги летят... Неужели, далее, мы не вправе сказать, почему люди у нас не задерживаются, почему город стал постоялым двором, общежития в бардаки превратились — ох простите, Наталья Сергеевна, это у меня сорвалось, стараюсь, а не могу о наших порядках спокойней... Знали бы вы, сколько из-за этих вопросов хозяйственных возникает всяких других, сколько у нас дел алиментных, матерей-одиночек, разводов, прыжков в Ангару! Вы себе и представить не можете, сколько этих прыжков в Ангару! А пьют у нас как! Боже ты мой! Сами руководители горько острят, что, если бы наше море было из водки, оно обмелело бы... А отчего это все, отчего? Оттого, что нам дают деньги на объекты, а не на устройство человеческих жизней, оттого, что работа начальников наших оценивается по этим сданным объектам, а не по количеству осевших людей, оттого, что сами эти люди бессильны что-нибудь решать, изменять, оттого, что мозгам их нет приложения, а энергии — выхода, и ни о чем этом даже нельзя говорить, и вы, папа, тревожитесь, как бы я где-нибудь не забылась, не ляпнула...

— Что вы, что вы, Лидочка, — поспешила успокоить ее Наталья Сергеевна, — папа ведь только предупреждает, это для вашей же пользы... И он все вам устроит, все пропуска и все встречи... Мы же хорошо понимаем, хорошо понимаем...

— Да, устрою, — сказал ты. — И действительно, хорошо понимаю тебя. Даже больше — рад тебя видеть такой. Надеюсь, Наталья Сергеевна на меня не обидится, если скажу... жалею, что в брате твоем нет такой же воодушевленности, такого же отношения к людям, к делам... Но вот оценки твои, язык, обобщения... Прости меня, Лидочка, это провинциализм, ограниченность. Беды, о которых ты говорила, — это все неизбежные издержки при таком размахе работ, таком передвижении сотен тысяч людей... Ну, вот пьют, говоришь. Ну, и что из того? Это наш старый скифский порок. А на морозах, да еще при огромном скоплении безнадзорных, неустроенных юношей порок этот сказался особенно. Но умей посмотреть на это иначе, умей посмотреть с исторической вышки...

— Умею, — перебила Лида с неожиданной сдержанностью. — Я не из тех, кто оспаривает историческое значение нашего дела. Хочу, чтобы мы сами не унижали его. А что касается слова «издержки», то позвольте спросить: кто дал на них право? Это слишком удобное слово. Не хочу повторять, чем оно для нас оборачивается... Мы, папа, живем в разных сферах, у вас не те дни и дела, что мои, поэтому и зрение разное... Может быть, это и хорошо, — заключила она примирительно, — при общем взгляде на вещи мы упускали бы что-то...

— Правильно! — обрадовалась Наталья Сергеевна. — И хватит о делах, о политике! Хватит! Давайте условимся, Лидочка, что в субботу вы с нами обедаете, а потом мы к Лене поедем. Она вас так мало знает, а так уважает, так любит...

— У Лены я побываю обязательно, можете не сомневаться, я даже подарок ей привезла, стоит у меня скатанным в номере. Редкая вещь теперь, случайно купила. Медвежья шкура, мохнач. У Лены сразу заиграет квартирка. И, главное, мальчонка сможет играть на полу.

— Ох, Лидочка, большое, большое спасибо вам! А от меня вот примите...

Наталья Сергеевна убежала в соседнюю комнату, порылась в шкафу и вынесла дочери мужа два парижских гарнитура белья.

Я с любопытством наблюдал за реакцией, которую вызвал этот подарок у жительницы сибирского города. Приехавшая в импортном костюме

«джерси» — одежде, ставшей у нас униформой, — Лида внимательно рассмотрела белье и, не жеманясь, сказала:

— Господи, какое чудесное! Почему у нас так не делают!.. Мы с мужем получаем большущие деньги, а я еще никогда не носила такого... Но, Наталья Сергеевна... Я не возьму. Знаю, что вы от души, но... Это для Лены!

— Неужели вы, Лидочка, думаете, что Лену я обделила! — засмеялась Наталья Сергеевна.

— Все равно, — возразила Лида решительно. — Белья для женщины никогда не может быть много.

— Не дури! — вмешался ты. — И учти, что этот комочек — только начало. Подарки мы еще подберем. Главным образом для внучек моих. Пусть чувствуют, что у них в Москве дедушка.

Для чего пишу я эти страницы о приезде в Москву твоей старшей дочери? Может быть, хочу показать, как в доме твоем, где гости спорят о правах режиссера снимать в роли молоденькой женщины свою немолодую жену или, например, о тонах, в которые следует окрашивать стены, — как в этом доме зазвучали вдруг разговоры иные, с заботами неизмышленными, негодованиями неподдельными, шумными? Нет, вовсе не то. Я не сторонник противовесов, антиподов, примеров. И, кстати, совсем не считаю, что Наталье Сергеевне требовалось в нравах ее дома оправдываться, не считаю, что ее пустая жизнь хуже чьей-то наполненной... Да и Лида не так уж очаровала меня. Она делательница жизни, это бесспорно, но отнюдь не носительница всей ее правды, и... чего-то мне в ней не хватало. Я провожал ее до гостиницы, мы шли пешком, много еще говорили, но она не раскрылась мне какими-нибудь новыми сторонами, и к моим первым впечатлениям ничего не прибавилось. Продолжая разговор, который вела за столом, она сказала: «У нас, наверное, думают, что светопреставление будет, если писать о вещах так, как есть», — но мне эта однотемность наскучила, я стал расспрашивать о ее собственной жизни, о семье, повседневье и почуял, что оно не столь уже ярко. Оказалось, что у них есть моторная лодка и выходные они проводят на море, что они рано встают и поэтому вечером уже никуда не стремятся, мало читают, а если где-нибудь собираются, то «муженек лопает водку не хуже других»... Все это она считала, видимо, нормой жизни, тяги к чему-нибудь иному и большему я в ней не почувствовал. Особенно не по мне было услышать, что она ходит с мужем в тайгу на охоту...

В нашем прошлом были затрепанные детские книги, рамы с портретами предков, альбомы, реликвии. Уезжая в новый город, мы что-то перевозили из старого. И у нас всегда оставались вещицы, связывавшие нас с предыдущим. А у Лиды кочевки начались очень рано, она ничего не успевала взлелеять, оценить и сберечь, с каждым новым местом завязывалась у нее новая жизнь, и в ней не было чердаков с журналами времен эполет, бакенбардов и крестов над некрологами, не было потаенного дупла в лесу и пенечков с заветными буквами... Может быть, поэтому на Лиде как-то особенно заметно сказалось, что в тайге нет певчих птиц... Она далека от стремлений к незнаемому, в ней нет той неясной тоски, что влечет людей за пределы их места и дня. Ее помыслы, желания, требования сугубо определенны и вещны! Она служит в своем городе неким маленьким центром, возле которого кристаллизуются стремления ее земляков, и дай бог ей в этом успеха, но вряд ли дети ее познают от матери прелесть пушкинских строк, вряд ли не заскучают без радио, найдут себе дело в собственном обществе.

Нет, не попал я под обаяние Лиды, и не им продиктована эта глава. Она о тебе. О том, как ты справлялся со взятыми на себя нежданно заботами...

О, несомненно, что ты хотел сделать для дочери все возможное, помочь во всех хлопотах, дать хорошо провести время в Москве, проводить удовлетворенной, довольной. Ты в тот же вечер отчитал Сергея за то, что он не позвонил ни разу домой, не узнал о приезде сестры, заставил его чуть свет поехать в гостиницу и возить затем Лиду по учреждениям. Ты лично побывал у администраторов нескольких московских театров и запасся билетами. Ты отправил Наталью Сергеевну в ГУМ, в «Детский мир», дав и ей цель жизни на неделю-другую, и Лиде чемодан со всякою всячиной. Ты успел за это же время трижды свести своих дочерей, постаравшись их сблизить, скрепить их родство. Другими словами, ты сделал больше, чем сделали бы многие другие родители в двойственном твоем положении.



Но...

Волею случая я оказался свидетелем твоих телефонных хлопот. Зашел к тебе в учреждение, в служебный твой кабинет, когда ты вел разговоры о Лиде. И тут услыхал, что она... что она тебе вовсе не дочь.

— К нам тут приехали из Сестерска, — говорил ты своему собеседнику, начальнику одного из больших проектных институтов Москвы. — Вы задерживаете им документацию на холодильник. Ах, вы в курсе?.. На Гипрогор возложены сейчас другие задания? Да, да, понимаю... Но, видите ли... Этот холодильник — особая статья... Все деревни вокруг Сестерска, как известно, затоплены, на их месте раскинулось море, продовольственной базы и рынков здесь поэтому нет, все снабжение идет из дальних источников, продукты быстро подвергаются порче, это вызывает подчас недовольство рабочих и... вы поймете, что пуск холодильника надо рассматривать не только в аспекте хозяйственном... Да, да, попрошу вас принять... Как фамилия? Сейчас уточню. Черных. Инженер Л. Н. Черных. Женщина, да.

— Здравствуй, Александр Васильевич! — говорил ты другому. — Я вот по какому поводу беспокою тебя. К нам обратилась тут некая Черных из Сибири. Рассказывает о всяких непорядках в быту. Ах, завалила вас письмами? Местнический курс и настырная баба? Да, мне она тоже не показалась голубкой... Но кое-что в ее рассказах заслуживает... Боюсь, что если она до нашего патрона дойдет... Тем более что привезла с собой от губернатора письма... Не лучше ли предотвратить заварушку?

— Ну, как, Степан Федорович, решили вы быть с сибирячкой? — справлялся ты еще у кого-то. — Никак еще не решили?.. Не смею подсказывать, но что-то нужно решать. Это, видимо, очень агрессивная женщина... Ваши плановики возражают?.. Нет, я ничего ей не обещал, ничего... Но вы же знаете, какой чалдоны народ. Варнаки! Подождут-подождут — и прямиком по вертушкам. Тогда все равно придется заказывать им, но уже впопыхах..

— Слушай, — спросил я, — почему все эти твои разговоры... почему они какие-то не твои, не обычные? Зачем ты скрываешь, хитришь? Почему не скажешь прямо, что это приехала твоя дочь из Сибири, что ты ей хочешь помочь? Просителей в Москву приезжают многие тысячи. А тебе пошли бы навстречу.

— Да, вероятно, пошли бы, — не сразу ответил ты. — Но... Ты же видал ее... Отсутствует самоконтроль... «Что вы ссылаетесь на решение сверху! — услыхал от нее министр энергетики, у которого я ей устроил прием. — Мы у себя не смотрим на решения сверху, как на проявления высшей государственной мудрости...» Представляешь себе! Он это мне на днях при случайной встрече сказал. Со смешком и подмигиваниями. Так зачем ему знать?.. Или сама рассказала мне, например, о своем выступлении в ЦК комсомола. Оно было верхом бестактности. Там всесоюзный форум собрали, чтобы обсудить участие комсомола в строительствах, она случайной приглашенной была, но вместо того чтобы часик-другой отсидеть, выскочила на трибуну и стала ругать их за тамтам о посланцах, которые будто бы строят Сибирь, а на деле из нее разбегаются... Ты только подумай, какой эта гостья преподнесла хозяевам праздничный торт! Трудно было подобрать обстановку, в которой эта выходка была неуместней... Поэтому я и не афиширую родственности. Ты это должен понять...

Я и понял. Понял, что ты отрекался от дочери. Понял, что не носи она фамилии мужа, а останься при девичьей, ты вообще не ударил бы для нее палец о палец. Понял, насколько потерял ты естественность, если опасаешься в дочери именно этой естественности. Понял, что, подобно Наталье Сергеевне, подолгу приводящей в порядок лицо, ты тоже не оставляешь его, когда надо, без грима. И в таком полусвете держишь, наверное, часто..

Испугался, что дочь может ляпнуть... Да, очень-очень свойственный

нашему времени страх. Боязнь слов у нас неодолимей, сильней, чем некогда боязнь привидений. Составляя статью для печати или проект речи начальству (они именно составляются тобой, а не пишутся), ты так подбираешь, прикидываешь, примеряешь слова, как делает это отцветающая женщина с пуговицами. Какой скверный симптом — такая разборчивость. Она следствие постоянной борьбы двух несоединимых начал — необходимости и говорить, и скрывать. Отсюда тяга к неопределенным словам, словам без цвета и контуров, выискивание и утверждение этих пластилиновых слов, вытеснение ими обильного, ясного, живого словаря русских людей, даже борьба в твоем ведомстве с этим словарным запасом, борьба, отнимающая время и силы от службы людям, от подлинных дел...

Лида может черт-те что бухнуть... Да, может. Но это и ценно! Для того ведь она и приезжает в Москву, чтобы ругаться и требовать, взыскивать и понукать. Двери министерских кабинетов именно для нее и должны быть распахиваемы, для человека несдержанного, видящего все, как оно видится, а не как велится. «Если хотите быть наведенным на дельные мысли и не упустить возможности сделать хорошее, то выслушайте мою дочь, прилетевшую из индустриально-таежного края», — следовало тебе, гордясь дочерью, говорить руководителям ведомств. А ты...

Впрочем, ты, вероятно, считал, что не всякий министр обязательно заинтересован в хорошести. Считал, что, чем лучше такая вот Лида для людей и для дела, тем хуже может она оказаться для себя, для тебя...

Нет, зря я тщусь обелить тебя.

Стремления к хорошему в тебе еще есть, но силы на него уже капельные...

По какому же признаку должны теперь определять тебя люди?..

### *Глава 6. Неосуществимая просьба*

Я приступаю к самым тяжелым страницам — к истории с Петром Николаевичем... Именно она заставила меня наконец задаться вопросом, зачем я упорно хочу видеть такое, чего в тебе давно нет, и стоит ли продолжать нашу дружбу...

Он не часто бывал у вас. Обширный и пестрый круг ваших гостей формировался преимущественно Натальей Сергеевной и складывался из приятельств, заводившихся на курортах, на даче, в туристских поездках. Одни из этих приятельств держались годами, другие редели и гасли, но к праздничным дням вы получали-отправляли уйму посланий и могли накрыть стол то на нескольких, то на многие десятки персон. Большинство их оставалось тебе совершенно чужим, и ты часто чувствовал себя среди гостей тоже гостем. Любившая общество неутомимая Наталья Сергеевна рада бывала, когда и ты вводил кого-нибудь в дом, тем паче если они были людьми с именами. Но случалось это все реже, от множества поверхностных знакомств ты стал уставать, разномастностью людей за столом тяготился, многотемье, то есть бессодержательность их разговоров, начало тебя раздражать. Ты предпочитал лишь двух-трех собеседников, и не в столовой, а в своем кабинете. Водиться же с писателями тебе вообще не хотелось... Последние годы ты читал их все меньше. Неохотно просматривал даже и тех, о ком время от времени поднимались разговоры и шум. «Ни одна книга тебя не устраивает», — как-то сказал я тебе. «Да, — отвечал ты, — потому что никто не может в ней выговориться». А допускать, чтобы авторы выговаривались у тебя на дому, — значило ставить себя в положение ложное, двойственное...

Понятно поэтому, что широко читаемый Петр Николаевич был для Натальи Сергеевны респектабельным гостем, на которого она приглашала других. Но респектабельности внешней, наружной, у него не было вовсе. Небольшого роста, худощавый, белесый, проведший молодость в лесной деревушке, пробившийся к своему громкому имени не удачей, не счастьем, а подлинным даром и непрестанным трудом, он крепок был в слове за письменным столом, на бумаге, но никак не создан для занимательных, игривых бесед. Тем более на больные для него литературные темы, да еще когда на столе стоял пузатый графин... От него ждали рассказов о модных собратьях, о литературных скандалах, о битвах на собраниях или в редакциях, а он, хмелея и супясь, говорил о битвах в уме и душе своих, о битвах за литературу, за будущее. Говорил непоследовательно, то раздумчиво, то круто и зло, ни с чем не считаясь.

— Они правы, — внушал он сам себе вслух о литературных властях, — книга не смеет вносить в души разлад. Книга должна помогать людям жить, должна радовать... Промышляли классики сотни лет противопоставлением человека и общества, сколько же можно... Разве те времена теперь!.. Где сейчас лишние люди? Исчезли! У нас и наличных-то не хватает. Не знаю, что будет, когда придет автоматика, а сейчас каждый может найти себе приложение. Я вот побывал недавно в деревне, на родине. Там шестьдесят пять дворов, а одногодков моих — никого. Кто учительствует, кто инженерствует, кто в заграницы летает... Вот она — тема сегодняшних дней! И соскребание с земли хижин, халуп, замена их цехами, доминами... А нашему брату, видишь ты, обязательно надо о всяких нескладицах, о грызунах, что душу подтачивают. Правы, конечно, начальники, что стукают нас по мозгам, выправляют их... Правы!

А потом он начинал возражать себе:

— Но ведь дома и заводы без меня тоже выстроятся, а я же писатель, черт подери! Писатель, а не описыватель. Я же за теми разговорами езжу, которые в повестках не значатся, а ведутся в перекур, обиходом, за стаканом, когда дети легли... Беседовать мне ни к чему, я норовлю разбеседоваться... Мне ж интересно, отчего мой инженер хлещет водку, почему женщина, с которой мы вместе топали в школу, тишком тащится за пятьдесят километров ребенка крестить, почему я в восемнадцать верил каждому печатному слову, а у племянников моих отношение к словам изменилось... Да, книга нужна на радость, на пользу, но как мне их принести, если героев своих буду в тисках держать, не дам вырваться крику? Ведь он у них тогда так и останется в сердце...

Он наливал себе стопку, сглатывал, беспомощно, как-то по-ребячьи кривился, Наталья Сергеевна спешила что-нибудь пододвинуть ему, но он не обращал ни на одно блюдо внимания, брал соленый огурчик, откусывал его белыми молодыми зубами — только их не искрошили в нем думы да ночное труженичество — и продолжал в той же грубоватой манере:

— Я со Степаном пол-лета рыбачил, у Игната просиживал вечера в общежитии, Ивана уберег от развода, от Дарьи три ночи выслушивал, почему она в земных кумирах изверилась и обратилась к небесным... Перед кем они душу выпрастывали? Передо мной или теми, кто учит меня, что можно и чего нельзя им сказать? Да ведь люди ждут в моей книге продолжения именно тех разговоров, что вели со мною они, а не тех, которые проводило со мною начальство. Они, только они мне указчики! Да еще Федор Михайлович, который с богом силами мерялся, да Лев Николаевич, свой дневник мне оставивший... Учительство для книжного человека есть книги, а не надзиратель за книгами.

Если бы они, эти надзиратели, с классиками дело имели, — продолжал он с усмешкой, — ни шиша бы от них не оставили. Автору «Гамлета» сказали бы, что у него не герой, а трухлявая хиль, о Ромео — что это извращенный показ молодежи, об Отелло — что он патологический тип, о пьесах Островского — что они очернительство, изображают только мошенников, о Чехове — что все его люди сплошь безыдейная дрянь... Всех, всех заклевали бы! Обвинили бы в том, что они нагоняют тоску, что у них нет жизнерадостности, что занимаются одним мелкотемьем, копаются в чьих-то душонках, размазывают чьи-то несчастьица, проходят мимо настоящих людей.

Он неумело, но с горькой язвительностью начинал изображать, как принимали бы классиков в сегодняшнем просмотровом зале киношников и на редакционных советах... Люди улыбались, поддакивали, а когда кто-то заметил ему, что тематика прошлого сегодня была бы и впрямь неуместной, он бросил:

— Тема у писателя была и есть одна — человек. Вот потому-то, что классики о людском людское писали, люди их и сегодня читают. А у нас сколько держится книга? От одного правителя до другого правителя, от одного поворота до следующего...

Он наливал себе еще водки, его бледноватое лицо становилось нездорово-румяным, а речь выдавала теперь резкие споры, которые, очевидно, велись им с людьми, решавшими судьбу его книг:

— Я не для того толкаюсь по городам и по жизни, чтобы отражать действительность, как ты ее понимаешь. Я не водичка в пруду. Я не отражаю действительность, я ее делаю. Делаю, какой ты ее не видел, не знаешь... Кто же кого должен учить?! Нет, дорогой мой, искусство потому и искусство, что ему нельзя научить. И не посылай меня ГЭСы да домны смотреть. От меня ждут не глазения, от меня ждут прозрения. Да, да, я должен прозревать за тебя, для тебя. Ни хрена ты в литературе не смыслишь, если думаешь, что она не должна через тебя перешагивать. Обя-за-на! Да, да, обязана. Всегда обязана быть впереди тебя. Чувствуешь? Нет, не умеешь ты чувствовать,—пренебрежительно махал он рукой на невидимого своего собеседника,—иначе видел бы, как смешно получается: пожелаю я что-нибудь выдумать о жизни на Марсе—нет мне запрета, пиши, воображай, предвосхищай, что захочешь... О Луне, о Венере тоже вали... На любую планету летай, но только своей не касайся... Прилуняться мне можно, приземляться нельзя... Могу перепрыгивать через указы науки, природы, но только не вылезать за твои. И, значит, выходит, что ты выше наук, мудрей бога. Да, да, ты себя над богом вознес. Ведь тот разрешал Зосиме с ним схлестываться, а ты не даешь мне писать и тогда, когда я тебя совершенно не трогаю...

Гости уже переставали поддакивать, они теперь переглядывались. Ты осторожно отставлял от писателя водку подальше. Но он искал ее глазами, находил, нагибал графин, переливал через край...

— Что нового я дам для ума, если во всем буду с тобой соглашаться, к тебе подольщаться?—продолжал он, уже совсем опьянев.—Нет, я должен—понимаешь ты, должен расширять представления. У меня же роман—чуешь, роман, а не тамтам, не фанфары. Никогда не сказать чего-нибудь против сказанного где-то тобой я могу только, заткнувшись вообще... Эх,—шумно выдохнул он вдруг в заключение,—счастливый ты, что не имел дела с книгами и они у тебя не отнимали покой...

В комнате воцарилось молчание. Писатель опять потянулся было к графину, но ты поспешил переставить его на буфет.

— Довольно, Петр Николаевич. Хватит. То были красным, а теперь побелели. Вам надо ложиться. Сын пошел мотор разогреть и сейчас отвезет вас домой.

Но Петр Николаевич поднялся, оглядел тебя помутневшими, больными глазами, начал отталкивать и с ребячьим упорством силиться дойти до буфета.

— Вот так,—пробормотал он себе,—так все время, все время... Ты хочешь вверх, а тебя тянут за ногу вниз...

Писал этот человек удивительно сильные вещи. Может быть, он потому и был щуплым, что истощал в них все свое существо, все свои нервные силы. Люди, которых он высматривал, складывал, разнимал, брал из ничего, из себя, становились в его книгах слышными, видимыми, представлялись читателю ближе знакомыми, чем соседи по дому. Их несходные мысли оказывались той разногласицей, которую читатель ощущал в себе сам, и он моментами вскрикивал, увидя вдруг высказанными слова, витавшие в его подсознании. Где-то таившиеся в нем вторые, третьи и четвертые «я» делались неожиданно зычными, один заглушал при этом другого, в душу входили какие-то ясности, но не с тем, чтобы навсегда в ней улечься, а, наоборот, затревожить ее совсем новыми, еще не раздававшимися в ней голосами.

А средства Петра Николаевича были как будто нехитрые. То свежие, как соковица, то крепкие, как несворотимые глыбы, то вдруг опаляющие, словно ожог, слова Петра Николаевича не содержали, однако, никаких изощренностей. Он обладал безлукавою тайной претворения всего сущего в тело и кровь, не прибегая к мудреностям, и знал, твердо знал—на то он крестьянином был,—что никакое кокетство не может состязаться в читательской душе с простотой. Он не спрашивал себя подобно другим, писать ли ему для гурманов или для масс, перенимать ли входящие в моду приемы, снижать ли в своих вещах меру быта, чтобы поднимать их над сегодняшним днем, как соотносить свое дело с наукой, отнявшей авторитет у всех мыслей... Он просто писал, сообразуя свое дело с собой.



Поэтому его равно читали и девушки, дожидающиеся в избе книгонош, и снобы, которых в других случаях прельщает только манера.

Так же далек он был от сует литературного мира. Жил на отшибе, за городом, наезжал в него только по надобности и сторонился среды своих шумливых собратьев.

Об этой среде с ее мимикрией, суетностью и борьбой честолюбий он однажды рассказывал нам с подлинной горечью. Говорил об измельченных талантах. О проявляющих гиперлояльные чувства и о тех, кто крикливыми оппозиционными нотами пытается заслужить себе репутацию лихих вольнодумцев. О тех, кто шмыгает между этими лагерями. О тех, кого тягостный опыт иных смельчаков превращает из постоянных витий в таких же молчальников. О том, как происходят здесь вспышки отчаяний и как их лечат секирой. О тех, кто рвется к славе противоположным путем, жаждет, чтобы нетерпимость усилилась и они стали бы жертвами, мучениками. О том, как литературная жизнь, вместо того чтобы быть многоголосой и радостной, ушла в шепоты, шорохи.

Рассказывал все это Петр Николаевич не очень картинно, но достаточно обезбоживая литературный олимп. А картинности не хватало ему оттого, что сам он при этих баталиях, эскападах и тризнах почти не бывал и лишь пересказывал слышанное. Пересказывал, устало помахивая после каждого эпизода рукой,—они равно претили ему...

Видел я его тогда всего второй раз, происходило это среди дня, он был трезв и даже решительно отказался от выпивки, но тем тягостнее все это звучало...

— Почему,—спросил я его,—у вас обо всех одинаковый тон? Даже о тех, кто пишет петиции. Насколько я слышал, они подаются о том, что и вы однажды при мне говорили.

— Да,—вздохнул он,—вы правы... Донкихоты никогда ничего не спасали, но, если и донкихоты повыродились,—совсем расхотелось бы жить... Однако и донкихотство уже надоело. Все надоело...

— Проветриваться, отдыхать надо, Петр Николаевич,—сказал ты ему.—Ведь вы, наверное, почти и не спите?

— Часов пять удается. С люминалом, конечно.

— Вот оттого и настроены так... Поехали бы в Дом творчества на месяц, на два.

— Не люблю домов творчества.

— Ну, в деревню, на воздух...

— Вот затем и решился вас посетить, чтобы помогли мне в деревню, на воздух...

Ты посмотрел на него вопросительно.

— Два года девять месяцев лежала в издательстве рукопись,— начал он объяснять.— Два года девять месяцев, да... За это время две новых написаны... Сначала нашли, что больно глубокая, и держали в самом глубоком из ящиков. Потом посылалась на отзывы. Их целая папка скопилась... Потом читалась в местах, где не пишут бумаг, но ставят на полях вопросительные... Я переделывал... По отзывам, по вопросительным, по галочкам, палочкам... И вот, наконец... Наконец, включается в план, назначают редактора. Я рвусь на ваш целительный воздух, а он не подписывает. Ставит собственные вопросительные галочки, палочки. Все снова—сначала... Иду к директору, прошу другого редактора... Этот опять вопросительные, опять галочки, палочки... Ха-ха-ха,—засмеялся он неестественно,— ха-ха-ха-ха...

Ты слушал нахмуренно.

«Боже мой,—подумалось мне,—если такое творят с человеком, которого подростки читают, то что же...»

— Убей меня бог,— перескочил он вдруг на другое,—если я понимаю, почему у нас пишут статейки против абстракционизма, модернизма и прочего. Ведь на самом-то деле мы не их, а реализма боимся. Страшен-то, наверное, именно он! Ведь корежат, мнут, увечат меня как раз потому, что пишу о реальностях. Ха-ха-ха,—опять засмеялся он деланно,—не тот путь избрали издатели, совсем не тот путь. Бороться с писательством надо иначе. Радикальнее, круче! Как действовали когда-то лет с полтыщи назад. То время нам родственно. Ведь не имеет значения, что на реках плотины настроены и там грохочет вода, что в небе ревут реактив-

ные, а на полях тарахтят трактора и наше средневековье сочетается с шумом моторов...

— Петр Николаевич! — остановил ты его.

— Ох, простите, простите! Забылся. Не сообразил, где, кому... Да и вовсе, наверное, не думаю так. Просто состояние в последнее время... В человеке, по-видимому, слишком много нервных узлов, слишком много... И ничего не придумано, чтобы как-то их прижать, сократить... Я вот как раз задумал сейчас повесть о человеке, который... Нет, это, собственно, будут разговоры о целях. О ближайших и завтрашних, о мнимых и подлинных. О поисках целей и отказах искать. Это неопредилимо пока... И не знаю, этим ли сейчас вплотную займусь, потому что мне обязательно нужно еще... Вы Вологду знаете?

— Вологду не знаю, — ответил ты, — но знаю легенду о Пирре. Ему тоже нужно было и то, и другое. Друзья советовали ему отдыхать, а он отвечал, что завоюет сначала еще такую-то страну и такую-то, а потом уж... Разгрузите голову, Петр Николаевич. Дружески советую вам — разгрузите... Ну, а с издательством, — запнулся ты на минуту, — хоть я и не имею к нему никакого касательства, но...

— Никто не имеет! — воскликнул он. — Никто никогда! Куда ни ходил за эти три года — нигде не имеют никакого касательства... Ха-ха-ха! — искусственно засмеялся он снова. — Издательство висит в поднебесье, и земные учреждения не знают путей. Ха-ха-ха!

Его лицо исказилось. На нем мелькнули злоба, отчаяние. Этот сильный мастер и бессильный постоять за себя человек доведен был, кажется, до состояния, когда мог уже неведомо что наговорить, натворить...

— Вы не дали мне кончить, — поспешил ты перебить этот нервический смех, — я не имею касательства, но поговорю с человеком... И завтра же... Он позвонит в издательство и попросит дать вам редактора, с которым найдете общий язык. Да, да, кого-нибудь нетрусливого, умного... Идемте пить чай, — резко поднялся ты, чтобы переменить разговор. — Вам облегчат... Уверен, что облегчат. Это безобразие — три года тянуть... Идемте пить чай...

— Чай? — переспросил он. — Чай... Ну, что же, идемте... Моя мать говорила: чай душеньку отогревает... Идемте...

Прошло несколько месяцев, и я как-то спросил тебя, что слышно у Петра Николаевича.

— Не знаю, — сказал ты, — вероятно, печатается. В этой канители тогда обе стороны были повинны... Я видел эту злосчастную рукопись. В ней действительно слишком последовательны люди, которых можно считать негативными. Издательство требовало поубавить им ума и порядочности. Он на это не шел... Честно говоря, на его позиции в этом длительном споре стоял в свое время такой заметный марксист, как Карл Маркс. Он разделял точку зрения Гегеля, что в настоящем художестве каждой стороне следует быть правой по-своему и торжество добродетели должно происходить не над дураками и злыднями... Ну, а издателям не нужно, конечно, битвы умов, им нужен покой... И вот не могли сговориться, что черкать, что сохранить. Но теперь, я полагаю, уладилось... Во всяком случае, он больше не приезжал, не звонил...

Еще через несколько месяцев я застал у тебя красивую, дородную, но очень взволнованную и нескладно, впопыхах одетую женщину, пришедшую с трудно осуществимой придумкой.

— Один экземпляр, только один экземпляр... Умоляю вас!.. Понятно, что набор за мой счет. Чтобы только увидел, только взглянул! Ведь за несколько дней шесть раз камфара. В палате семь человек, он самый тяжелый... Умоляю вас, умоляю... Я же знаю, что это будет важней строфантина, важнее всего. Для него же вообще нет других радостей жизни, а эта книга была ему дороже себя... Как я билась с ним, как уговаривала! Боже мой, боже мой! — зарыдала она. — Ведь речь в общей сложности шла только о двенадцати страницах, двенадцати... Другой бы давно согласился, изъял их, а он пытался-пытался, не мог... Не мог против себя, ну, не мог... Поймите, мне только показать, только на пятнадцать минут. Я слово даю, дочкой клянусь вам!.. Сейчас же возвращу им набор и пусть рвут...



Она вытащила из сумки платочек, но руки ее так дрожали, что на веках размазался не смытый за эти несколько суток карандаш для бровей. И губную помаду она нанесла утром тоже наспех... И маленькая лаковая модная сумочка была набита бумажками, засунутыми в совершенной растерянности неизвестно для кого и зачем. Женщина вытаскивала их, пыталась показывать, клала назад...

В кабинете находилась и Наталья Сергеевна, пытавшаяся утешать, обнадежить:

— Не волнуйтесь вы так, не волнуйтесь... Все будет хорошо, вот увидите. И разрешат этот набор, разрешат... Но надо в другую больницу, в другую... Почему неотложка отвезла к Склифосовскому? Ты сейчас же звони, — повелела она, — сейчас же звони! Чтобы создать все условия... А вы успокойтесь, успокойтесь, хорошая, милая, — стала она обнимать незнакомую женщину, — вы верьте мне, у нас столько знакомых перенесли, отлежались и молодцами теперь... Ты звони, звони, — торопила она тебя и принималась опять успокаивать женщину: — Петр Николаевич такой молодой, всего сорок шесть, организм еще крепкий, старики и то поднимаются. У некоторых по два, по три бывают. Даже думать не надо вам о плохом, даже думать не надо... А в типографии надо отблагодарить кого надо, и тогда это быстро. Отвезете ему, и он успокоится. Вы правы, что это будет лучше лекарств... Ну, звони же, звони!

Она верила в спасительную силу звонков...

Но ты не знал, кому позвонить. Не знал, скольким звонить. И возможно ли вообще звонить о таком... Был растерян от этого двойного напора. Неуверенно вертел диск и, не набрав до конца нужный номер, начинал с таким же сомнением набирать какой-то другой, но и его не докручивал...

— Подожди, Наточка, подожди. Дай подумать... Типографии здесь ни при чем. Они не могут без визы. Никто не может, никто... И вообще... Такого ведь еще не бывало. Набрать, чтобы тут же рассыпать... Надо сообразить. Сообразить, кто может взять на себя... И по телефону нельзя... О таких вещах по телефону нельзя...

Ты посмотрел на меня, молчаливого свидетеля сцены, словно я, непричастный ни к каким учреждениям и сам вечный бессильный ходатай, мог тебе подсказать.

— Я поеду, — поднялся ты. — Тут надо лично... Побывать у целого ряда людей, посоветоваться... Потому что просто так не решатся. Никто... Или кто-нибудь очень большой...

Женщина тоже вскочила. Ей надо было назад в больницу, потом домой, за город, где дочка оставалась одна...

Мы вышли втроем. Дожидаясь такси, она пожимала тебе с благодарностью руки и снова начала плакать. Усадив ее, мы вошли в находившееся почти рядом метро. Но, когда спускались на эскалаторе, тебя снова взяли раздумья:

— Ехать сейчас нет, собственно, смысла. Никого не застану уже...

И, едва мы спустились, ты повернул на соседнюю лестницу, плывшую вверх.

— Да, сейчас бесполезно. Уже восьмой час... Надо завтра.

А на улице стал опять размышлять:

— Не знаю, кто на это пойдет... Беда и в другом... Она ведь сейчас не в состоянии думать, что будет дальше. Думает только о сегодняшнем дне, хочет, так сказать, заменить строфантин. Ну, а потом? Потом, когда он неизбежно узнает? Не женская ли это затея? Ведь она может привести еще к худшему... Как ты считаешь?

— Я считаю, что сейчас надо просто спасать.

— Но радостное потрясение — тоже ведь потрясение. Не знаю, можно ли проделывать это вот так, без врачей... Забыл спросить, согласовала ли она это с ними.

— Наверное. И от радости никто еще не умирал.

— А я не уверен... И, главное, не уверен, что в таком заблуждении можно будет держать его больше месяца-двух.

— За этот срок начнет зарубцовываться.

— Чтобы затем?.. Представляешь себе?.. Нет, я сомневаюсь, чтобы надо было добиваться, настаивать. Препараты есть препараты, их дейст-

вие — худо ли, хорошо ли — проверено, а вот такая придумка... Но я, конечно, поговорю, постараюсь...

Петра Николаевича я больше не видел. И никто его больше не видел...

— Да, — сказал ты задумчиво, — это был один из немногих...

Рассказывали, что гроб завалили венками. Самый большой, говорят, был от издательства.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### *Глава 1. Я промолчал*

Я все реже заходил к тебе, постепенно перестал и звонить... Ко дню твоего рождения ограничился лишь поздравительной. Чтобы не звучать слишком тепло или холодно, она потребовала много труда.

Жена не хотела понять меня:

— Как можно ни с того ни с сего порывать отношения! Вы связаны почти всю вашу жизнь. Ты не мальчик, у которого завтра появятся другие друзья. Много ли их осталось вообще... И что он такого сделал, скажи! Не лез на рожон, когда требовали от него невозможного?.. Добрейшие люди, всегда они к нам с открытой душой, и вдруг нанести им пощечину! Да, наконец, я просто хочу там бывать. Хочу, вот и все!

Я настоял на своем, и мы серьезно поссорились. Дней десять обменивались только самыми необходимыми фразами. А потом ты приехал ко мне. И спросил почти в тех же словах: «Скажи, что я сделал тебе?» Я видел, как ты поранен. Ведь обычно за праздничным столом у тебя тост поднимался и за твоего старейшего друга...

Это был утренний час выходного. Жена уехала по магазинам, чтобы мы остались вдвоем.

— Кое-что я замечал уже давно, — сказал ты чуть нервно. — Но такого никак не мог ждать... Перебирали с Натой в уме и не могли вспомнить ни единого случая, когда бы хоть в чем-то... Последний раз ты был у нас, когда приезжала... Значит, в ней, в нем дело, да? Но мы проследили по памяти весь разговор... И ты ведь не знаешь о моих разговорах в других местах... Ценил я его не меньше, чем ты. Но у него был глубокий... Чем могла бы тут помочь бутафория?! Но даже если тебе показалось, будто у меня не хватило настойчивости, то все равно в голове не укладывается, чтобы ты из-за этого... Нет, тут что-то не то... Давай выговариваться. А его, скажу кстати, не спасло бы ничто. Поражены были и задняя и передняя стенки.

— Не знаю...

— Вот именно! Не знаешь вообще очень многого. Не знаешь, что если бы он был транспортабелен, то его перевезли бы в кремлевку, что к нему сейчас же направили двух больших кардиологов и проводили консилиумы, что возле него непрерывно дежурили и...

— И обо всем этом позаботился ты, — добавил я за тебя. — Не сомневаюсь. Как и в том, что во всех этих хлопотах могло не быть надобности.

— Я что же, — посмотрел ты на меня, словно на недоумка какого-то, — ответствен за положение в литературе? Может быть, и за непорядки на транспорте?

Ты встал, прошелся по комнате, взял со стола папиросу, что бывало с тобой крайне редко, неумело закурил ее и начал жестковато, внушающе:

— Слушай ты, несмышленыш! Слушай, что я буду тебе говорить. Не перебивай меня, не ищи возражений. Только слушай и старайся понять. Если это дано тебе... Он, например, понимать не хотел... И по характеру, по натуре своей, в силу тех неизбежностей, что она диктовала, должен был кончить так, как окончил... Ясна моя мысль? Кто не умеет дать себя притереть, тот сгорает. И все! Для одних издательства — это пирушки, для него они были голгофами. Потому что он занимался, ну, как



бы тут выразиться... ну, если хочешь, противоборством с действительностью.

— Чем подлинная литература занималась всегда! — не мог не воскликнуть я. — Что сделало прошлых русских писателей духовниками всего человечества! Они рвались к преодолению сущего. Всякого сущего. Любого и всякого! Стремились к пересозданию жизни. В этом и есть суть писательства. Его единственная настоящая суть. И опять-таки любого писательства. Оно все подвергает проверке, обо всем задается вопросами и...

— Допустим, — сухо перебил ты меня. — Но я просил тебя помолчать. И не о литературе пришел разговаривать. У нас речь о нас. Но ты верно сказал, что он все время задавался вопросами. Разве, однако, за наши полвека еще ни на что не отвечено?! А у него они вставали один за другим и все допрежь батькиных. Он заскакивал вперед и мудрил. Если ты вздумаешь ответить на это, что так и должно быть, что искусству положено опережать жизнь, формировать ее и так далее, то мне останется опять повторить, что я здесь не для литературных дискуссий. И вообще надо мыслить реальностями. Слово у нас — вид оружия, писатель — солдат, он в шеренге, в строю, не смеет стрелять без приказа и не смеет вперед выпирать. Солдаты не умничают о роли искусства... О каких битвах с действительностью у нас может быть речь, если нельзя трогать даже и ту, что перестала быть настоящим, давно ушла в прошлое! Ничто не должно быть иначе, как есть. Понятно?! Ничто не должно быть иначе, как есть. А если писатели нащупывают в людях потребность в изменениях, в каких-нибудь новшествах, ощущают какие-то тяги, тревоги, тоску — пусть заливают эти мути вином. За водку писателей только журят, за оценочное движение мысли — лишают писательства... Короче говоря, он мешал. Мешал своими раздумьями. Они шевелили мозги, понимаешь?! Он докучал и гневил, путал карты, вносил беспорядок...

— Ученые тоже вносят беспорядок в природу, видя в этом свою цель и призвание.

— Не знаю, в чем и чье надо видеть призвание, но высший разум в наших условиях — не думать о том, о чем не положено думать. И умение ко всему привыкать, все сносить. Я знаю очень умных людей, которые похваляются этим бездумьем, как своим достижением...

— Это циники!

— Об их цинизме известно только кучке знакомых. А по тиражам их знают многие тысячи.

— Эти книги — однодневные мушки. А Петра Николаевича будут читать поколения.

— Нет, скорее всего современники. Все непечатаемое — вдвойне любопытно, и рукописи передаются друг дружке людьми, которые никогда не прочли бы изданных книг. А будет ли к этим вещам интерес у потомства — гадательно. Кроме того, нельзя забывать, что представление о нас и память о нас зависят, милый мой, не от нас. Память надо поддерживать, иначе она испаряется... А затем я надеюсь, что вопросы, над которыми бился Петр Николаевич, потеряют для внуков свою остроту. В этой надежде мы, наверное, сходимся, а?

Ты тоже был циником. Нет, просто рассудительным, искренним. Но почему не доходило до меня то, что ты говорил, хотя оно было правильным? И весь ты был правильным. Я смотрел на тебя, вполне понимая, почему ты уважаем, ценим. Хорошая фигура, костюм из дорогой ткани, тонкая шерстяная сорочка... Все это спокойных тонов, не кричащее. И жесты тоже спокойные... Проседь, лицо моложавое, честное, умное. Вежлив, благожелателен, прям. Ничего показного, наносного. Выше тщеславия, суетливости, политиканства, интриг. Идеал мужчины, каким должен он быть... На такого равно могут полагаться женщины, сослуживцы, начальники. Впрочем, к последним тебе приходится, вероятно, подчас приноравливаться, умалчивая о том многом, что тобой перечитано, познано. Без этого бремени ты для них ближе...

Словно угадав мои мысли, ты продолжал:

— Можешь мне верить, что всюду, где представляется случай, я стараюсь внушить невозможность отказываться от всех писателей с «но». Намекаю, что мы тогда без литературы останемся. Осторожно объясняю также саму разницу между нею и книгами, которыми заполняется рынок...

Но в истории с Петром Николаевичем я был бессилен. Издатели тоже. Да, да, и они. Эти люди были бы, наверное, рады и большим тиражом, и покрасочней... Не ищи виноватых! — воскликнул ты вдруг. — Не ищи виноватых!

— Это очень удобная формула, — сухо сказал я. — Очень удобная.

— А у тебя есть другая? Ты знаешь виновных? И можешь сформулировать, в чем их вина?

— В смерти большого писателя.

— Чепуха! Рукописей отвергается множество, а умирают от этого лишь единицы. Смерти — это не чья-то вина, а беда чьих-то плохих организмов.

— А смерти неизданных рукописей? Убить книгу — то же, что убить человека. Подчас много хуже.

— Да что ты все о книгах и рукописях! Какое ты к ним имеешь касательство? Можно подумать, что это ты их писал и это тебя запрещали.

— Не меня запрещали, а для меня запрещали. Касательство мое очень простое и очень прямое. Я человек, гражданин. А меня лишают возможности чтения. От меня скрывают все, что творится на свете. Меня информируют только о том, что желательно. Но это же трусость! Это же значит расписываться в несправедливости собственных действий! В бессилии перед тем, что скрывается! И какое неверие в меня, в весь народ!

— Но почему я — козел отпущения за все, что в тебе накипело?

— Почему? Потому что... потому что в тебе было много хорошего, и все оно смято. С чем ни обращайся к тебе, — ничего не выходит. Не знаю, что для тебя сегодня важней, — социализм, людские несчастья, служение чему-то, вера во что-то или же... положение, которое ты занимаешь, особый паек, антураж... Ну вот скажи, ты в душе во всем бываешь согласен со мной, почему же не скажешь кому-нибудь там наверху: «Слушайте, если вы, правитель, боитесь книг, фильмов, объективных известий о событиях в мире, считая, что все объективное всегда против вас, то побойтесь же в конце концов и молвы, всюду идущей о вашей боязни».

— Неумно, — сказал ты. — Неумно. Я всегда знал, между прочим, что не будь советского строя, ты стал бы крупным демагогом на адвокатской трибуне. Перед присяжными.

— Вот, вот! Наконец я услышал от тебя и словцо, присущее твоим сослуживцам, начальникам. Как только кто-нибудь осмеливается что-то сказать им, так он сейчас же зачисляется в разряд демагогов. А на деле ты знаешь, что я полностью прав. Люди, находящиеся в таком патологическом страхе перед элементарнейшей гласностью, не в состоянии даже измерить, как они жалки.

— Поносить власти испокон веков свойственно было пьяным в трактирах. А ты трезв и должен бы знать, что дело не в лицах. Но я пришел сюда не за тем, чтобы вести политический спор. Я пришел узнать, друзья мы еще или нет...

От меня требовались «да» или «нет». А я промолчал. У меня и в эту минуту не было друга ближе тебя, — с кем бы еще мог вести я такой разговор! — но я почему-то молчал...

— Ну, хорошо, — поднялся ты, побледнев, — не можешь решить — и не надо... А если со временем утвердительный ответ тебе дастся, ты придешь с ним ко мне.

Я не шел. Терзался и все же не шел. А через полгода послал тебе эту рукопись...

## *Глава 2. Ты мне пишешь*

Это великодушно, что свою любопытную рукопись ты направил мне для прочтения. Но этот поступок, я чувствую, продиктован не столько кодексом чести, сколько сознанием моего грустного права первому узнать документ, передаваемый тобой суду пересудов. Да, твоя книга сумеет вызвать обо мне кривотолки, но не способна внушить читателю менее простецкую мысль о несводимости наших зол к чьей-либо индивидуальной вине.

Твоя набитая делами, историями, картинами и сценами книга публике, вероятно, понравится. Ведь она так непохожа на быстро наскучивший



новый роман — изощренный, но незанимательный, скучный. Впрочем, занимательность объявили теперь кое-где старомодной. От романа там требуют поменьше событий, поменьше связи между событиями, меньше ясности, меньше логики, меньше обдуманности, чем у тебя. Между мной и тобой почти не должно происходить диалогов, каждому надлежит говорить лишь с собой, говорить непоследовательно, перескакивая с одного на другое, как это свойственно самовозникающим мыслям, им следует прерываться, быть кусковатыми, теряться, как речки в песках, и ни к чему не вести. А в твоей книге, мой милый, есть порядок, есть сюжетный каркас, и она, надо думать, завершится сводным балансом... Это нынче не очень-то принято. Ты выходишь с романом в период, когда ломается его построение, и не считаешься с этим периодом. Или полагаешь, что не надо считаться, что твоя книга сама создает себе нужную форму? Нет, ошибаешься. Какая уж там новизна, когда сам признаешь, что это обвинительный акт, но только принявший обличье романа! А твой прием постоянной игры вставными новеллами призван только скрыть от читателя, где ты заимствовал форму.

И уж, конечно, еще менее новы мысли, которыми пропитана книга. Это старые-старые правды. Такие старые, что даже не знаешь, относить ли их к поре острословов из французского галантного века или еще ко временам либералов Ювенала, Тацита, Лукиана. Во всяком случае, читателя пожилого и знающего ты своим вольнолюбием не поразишь.

Нет, у меня не получится последовательного письма, которым думал ответить тебе. И не знаю, какого тона держаться. Ты прислал мне рукопись, предназначенную жалить меня, но я не стану отвечать тебе тем же. Не буду ни язвить, ни отшучиваться. Моя нынешняя жизнь впрямь, вероятно, непохожа на ту, какой рисовалась она нам лет сорок назад, а нынешняя справедливость — на ту справедливость, что мы носили когда-то в груди. Значит, не след мне от твоей книги отбрехиваться. Но я не верю в твое духовное превосходство, мой милый. Ты суетливей меня, восприимчивей, сохранил больше чувствительности, но если у меня нет лада с собой и я не знаю, как налаживать жизнь, то из написанного тобой не увидеть, чтобы ты представлял себе это лучше...

И еще я не верю во враждебность ко мне, которую ты будто бы стал вдруг испытывать. Это напускное, мой милый. И способен ли ты вообще ко вражде? Я помню гада Сеньку Княжевича... Пытаясь избавиться от надоевшей жены, он подпоил ее на вечеринке, полураздел, усыпил, направил к ней пьяного парня, а затем вбежал в комнату и разыграл из себя потрясенного мужа. Нашел ты в себе к такому мерзавцу достаточно ненависти? Нет. Когда его изобличили, а он плакал, каялся и бил себя в грудь, ты над ним сжалился и голосовал против его исключения. Через несколько лет, в 37-м, в наступившем безлюдье, Сенька всплыл вверх, стал областным прокурором, и, слыша о его страшных делах, я вспоминал твою жалостливость... Теперь же, когда мы оба живем с подкармливаемыми валидолом сердцами, ты вдруг выдумал, будто чувства, которых тебе не хватало для Сеньки, неожиданно нашлись для меня. Кто поверит тебе?! Твоя ненависть литературна, дружок.

Пожилые люди, да еще высокопоставленные, обороняют себя от вестей, отражающихся на кровотоке. Ты же всегда приходил ко мне с такими вестями, и я не избегал выслушивать их.

Да, мой дед вытаскивал из грязи обозы, а я не хотел для своей дочери мужа-монтера. Значит, принадлежу к новой касте? Подтверждаю этим примером, что течение времен, идей и воззрений — круговороты, в которых все повторяется? Нет, дело обстоит немного иначе. Прошлое я повторил бы, наоборот, только в случае, если бы по собственной воле породнился с пьяницей-слесарем, отбросив тем самым подъем нашего рода или, если хочешь, движение мира на четыре поколения вспять.

Я всегда подчеркнуто крепко жму руку людям, с которыми другие здороваются вскользь и небрежно. Но уважение к зятю не должно быть таким же намеренным. С ним я хотел бы иметь общий язык.

Лекарство привозное и редкое, отпускают его по рецептам и выписы-

вают их лишь немногим. Мне же девушка-фармацевтка выдала его просто так... Я улыбнулся ей, поласкал глазами ее миловидную, хотя и простоватую мордочку, она просияла и вынула из какого-то ящичка. А ты просил бы ее полчаса и не выпросил бы... Не завидуешь ли ты мне в чем-то немного? Неосознанно, смутно...

Это правда, что мне редко удавалось помочь в твоих многочисленных хлопотах. Тебе не везло. Верней, мне у тебя не везло. Так получалось. И потому все новеллы второй части книги — о человеке безвольном, с убитой энергией. Но ведь это подобрано, нарочно подобрано, чтобы изобразить меня нерешительным, вялым, никчемным. На деле же все со мной обстоит не так плохо, как в этой однокрасочной книге. Почему, например, ни слова не сказано об истории с К., которой достаточно, чтобы меня после смерти направили в рай, а не в ад? Или ты позабыл это дело? К. осужден был за связь с Н. Н. и затерялся на Севере, когда Н. Н. давно выпустили. Разве не по моему настоянию разыскивали его по тайге? Разве минуты, в которые он, радостно плача, пожимал потом мою руку, были менее стоящими, чем те неудачные, на которые ты особенно памятлив! Почему же твоя рукопись отнимает у меня эти дорогие минуты, молчит о них?!

Ты был свидетелем его визита ко мне. И, в частности, не можешь не помнить, как он пытался тогда возвратить тысячу двести рублей, переведенные мною ему телеграфом, чтобы возвращался он самолетом, не провел на каторге ни одного лишнего часа. Ты не можешь не помнить, как я предложил ему передать эти деньги какому-нибудь другому человеку в беде, чтобы ходили они по неведомому священному кругу... Можно об этом прочесть в твоей книге?! Зато в ней отведено немало страниц погоне за игрушками быта, увлекающими Наталью Сергеевну. Разве ее слабости приносили кому-нибудь вред?..

Покойный П. Н. рассказывал мне, как порвал однажды главу начатой повести, потому что вымысел оказался не ярче действительности. А у тебя только действительность, и притом обнаженная. Ляпаешь обо всем так, как оно происходило в натуре, начиная с истории казака-перебежчика, и кончая сорочками, подаренными Натальей Сергеевной Лиде. Ну, зачем эта военная мутность и эта трикотажная точность!

Мне вовсе не нужно оспаривать тебя и оправдываться, — этот роман все равно никто не издаст. Зачем ты писал его? Неужели рассчитывал, что удастся пробить? В таком случае надо дивиться твоей чересчур затянувшейся молодости...

Читатель никогда не поймет, отчего ты приписываешь своему персонажу ответственность за все наши беды — за испорченную юстицию, за окаменелость печати, за невозможность подать о чем-нибудь голос эт цетера.

Это книга о каком-то сановнике, сибарите, стареющей даме в штанах, человеке, который к господам жизни относится. И ни слова о том, что к нему все чаще и чаще подступают ночные часы, которые никакой люминал не берет...

Все время не удается сказать что-то главное. Ты написал роман, возлагая на меня вину за наше время, и мне надо бы очиститься от этой ответственности, доказать, что нельзя переобременять меня ею, надо бы выговориться, отчаянно надо, потому что нельзя всегда все держать про себя, но я никак не ухвачу то звено, с которого следует начать разговор, а чую, что в нем вся суть, и найди я его, стало бы ясно, как ты неправ и... ограничен.

Ты вот хочешь ломать, изменять, улучшать наши дела, наши ведомства, нравы. Очень хорошо. Но разве дело лишь в том, чтобы наши программы осуществлялись с меньшею болью, чтобы вымирало меньше писателей, правдивее было печатное слово и можно было иногда вставить свое?! Ох, как это куце! Ведь все, о чем у тебя идет речь, исправимо. А уж если быть тоскователем, то по недостижимостям подлинным. По недосягаемой поэтической эре...

Опять ушел в сторону. Что-то нащупал, а потом ушел в сторону. Мне надо было просто спросить тебя, чего ты от меня хочешь. Чтобы я клял порядок вещей, при котором не могут осуществляться такие-то



правды? Но я не могу ничего клясть... Я не знаю, перевешивают ли мои правды правды людей, установивших бесправие. У меня только мой здравый смысл да обывательская потребность в непредвзятом освещении и обсуждении жизни, рулевые не смущаются отказывать мне в этих простейших моих притязаниях, я ропщу, но одновременно чувствую, что их уверенность куда крепче, чем моя и твоя. Мы с тобой полагаем, что ничто не должно делаться, если делается это без нас, а они делают все именно так и, значит, убеждены в правильности принимаемых ими решений. А разве у нас с тобой есть такая же убежденность в правильности каких-либо противоположных шагов? Допустим даже, что на самом деле им не всегда и не очень известно, как поступить, а они все же поступают по-прежнему, — все равно не нам с тобой состязаться с такими несокрушимыми волями, с таким упорством характеров...

Эта безоглядочность — огромное их преимущество перед далеким от власти рядовым человеком, в котором теснится самое разное. Благожелательность и неприязнь в таком человеке то соседствуют, то живут вперемежку и путаются. А если к тому же он привык еще и книги читать, что ведет, как известно, к бесконечным раздумьям, то трудно ждать от него воли и действий. Так имеет ли он моральное право клясть тех, кто владеет ими?.. Он остается способен только на то, чтобы время от времени стараться урывать для кого-нибудь — ей-богу, меньше всего для себя — чуть-чуть Конституции...

Я вполне сознаю, что за полвека у нас не возникло ни одной новой творческой мысли по устроению общества. Подавлялся всякий проблеск самостоятельности в раздумьях об организации жизни и самое ее проявление. Но я столь же хорошо сознаю, что у меня-то нет ничего за душой, кроме такого сознания... Что мог бы я предложить, на чем бы стоял?..

В мире враждуют два старых учения, но эта вражда большинством людей не испытывается. Для последовательной и нравственно чистой, то есть отрешенной от всего личного ненависти нужна вера, которая противостояла бы усталости от этой вражды, а такой веры становится на свете все меньше. Тем настойчивей призывы к борьбе. Ведь учения могут гаснуть, тускнеть из-за отсутствия у людей потребности в ненависти...

На Западе люди ощутили опустошенность сытого общества, и их охватила тоска, разъевшая когда-то античное общество. На востоке они отшатнулись от раскрывшихся перед ними злодейств, переплетавшихся с созиданием нового мира. У нас пытаются вырвать страницы истории, чтобы заменять их другими, силятся выжигать эти страницы из книг, из человеческой памяти, а все равно эти злодейства дали не меньше окраски нашей эпохе, чем ее большие всамделишные благие дела. Читая в газетах о пламенной вере, которая им там приписывается, люди чувствуют, как глушит в них эта неправда и ту веру, что еще держится в каких-то складках души, и чуют, почему в стране бесконечно склоняется имя вождя, умершего почти полвека назад, но призванное прикрыть наготу настоящего...

Нет, нет, я написал чепуху! Если бы во мне вовсе не было веры и власть представлялась одной Force majeur, я атаковал бы ее своей головой, как птица-самоубийца, бьющаяся о скалу, пока не упадет окровавленной. Для этого было бы необходимо сознание, что противник мой — сила в самом деле слепая, что это бесформенный скальный гранит или истукан с прорезями глаз и губами. Лицо у него или обличье — все равно они каменные. Вот тогда б я сражался! Тогда сказал бы себе, что лучше сгореть, чем сгнивать. Тогда готов бы безумствовать, разбиться, взорваться, кончить инсультом или издохнуть на лагерных нарах. Но ведь этого нет. Из прорезей то и дело показываются человечьи глаза. Людям строят дома, места увеселений, учебные залы... Откуда же браться решимости разбиваться о камни? Во имя чего?

Пусть у меня временами бывает ощущение плена. Но то у меня. А кум мой не знал бы, что делать со своими свободами, если бы ему их вдруг предоставили. Нам с тобой кажется нужной толкотня разных суждений о прошлом, о нынешнем, о человеке, о мире, отсутствие такой толкотни подчас равносильно для нас отсутствию жизни, а ему такая сумятица

показалась бы хаосом, пургой, он увидел бы в ней нежданно возникшую враждебную силу... И рассуждая о своих извечных проблемах, ты не себя, а его должен бы держать в голове.

Он, разумеется, поругивает управляющих государством за то, что им не приходится стоять в очередях у прилавка и живут они в собственном, полностью устроенном мире, намертво отделенном от прочих. Хотя у него есть орден Славы, четыре медали, и этого как будто достаточно для красования по праздничным дням, он, напившись, припомнит и то, что ему в жизни недодано, будет оспаривать звездочки, которые начальники страны сами себе да навесили, и не напоминай они ему о себе каждый день через говорящие ящики, он сам о них и не вспомнил бы. После низвержения культов упала не чья-то икона, а целиком повалился киот, и в стране теперь нет человека, который был бы для моего кума моральной инстанцией. И все же... Все это для дворового слесаря вовсе не главное и не определяет его отношения к ходу дел на земле. Определяют его унитаз, ванна и краники, сменившие черную баню и дворовый сортир. Определяет его холодильник, привнесший в семью нынешний признак зажиточности. Определяет его, далее, футбол на экране, возмещающий зрителям безучастие в политической жизни участием в лужниковских страстях. А страсти эти сближают людей, делают их людьми одного интереса, прибавляют к теме погоды еще одну общую. И роднит еще всех сидящих перед своими экранами зрителей теплота в горлах, блаженство отрыжек и поволока в глазах... Он не мне кум, этот кейфующий квартировладелец, он кум королю, и что ему до наших с тобой раздумий о всяческих грызущих вопросах!

...Хлещет сейчас где-то вода из непослушного крана, грозит затопить этажи, прибегают люди в растерянности к дворовому слесарю, сулят ему за спасение то и другое, но нет такого закона, чтобы отрывать его от экрана! Дежурный слесарь в штате отсутствует, а тот, что уже отработал свои семь часов, может снизойти до просителей, а может вальяжиться. В его воле устранить неисправность или попросту выключить воду, а то и предложить затопляемому звонить в пожарную часть... Все свободы, которыми мог бы воспользоваться, у человека этого давно налицо, и если бы даже он одолел твой роман, не взволновался бы твоими проблемами. Нечего думать, что он пошел бы с тобою, смутьяном, против порядка, хотя и поругиваемого, но привычного и явно устраивающего. Порядок этот п о н е м, и у него нет тех вечных дум о его неустройствах, которыми изводишься ты. А всякие духовные ценности, служащие тебе неизменным критерием для суждений о том и о сем, для него — никакая не мерка.

Не помню, у какого мемуариста читал я о царском любимце, к которому сановники приезжали в золоченых мундирах, а он принимал их в бане голым, распаренным. Вот так же неуважительно встречает жильцов своего дома мой кум, когда они, не дождавшись его посещения, спускаются к нему сами в котельную. Что ему жильцы и мольбы! У членов правительства или начальников ведомств есть, наверное, немало тайных соперников, но никто не стремится захватить место дворового слесаря. Нищенский оклад делает его независимым и позволяет обращаться к бутылке четырежды в день... Помнишь, сколько прежде водки лилось? Она стоила немногим больше воды, и ее подносили любому захожему, словно брали из крана. Теперь за нее платят больше того, во что обходилось прежде шампанское, а потребление ее все же возросло за советские годы в шесть раз! Вот как денежен кум мой, как доступно стало ему одно из первейших жизненных благ! Так неужели можно рассчитывать, что ты проймешь его разговорами, безынтересными ему, как ты сам!

Чего ты достигнешь своим поведением? Если мы перестанем встречаться, то тем паче осуждены к диалогу. Мысленному и постоянному.

К чему ты в конце концов призываешь? Чтобы я опустился до противоположности нашей жизни и себе самому? Ведь ничего другого не может быть, никакой новой программы жизни не выдумано. Если бы такая вдруг появилась — неслыханная, убедительная, берущая за душу, — я, может быть, не глядя на возраст, и пошел бы за ней. Но не могу вообразить себе гения или электронную штуку, которые оказались бы умнее всех человечьих умов, вернее, настолько иначе устроенными, что выпрыгнули бы из рамок нынешней мысли, высвободили людей из-под власти господствующих сегодня понятий и повели человечество совершенно иным, неожиданно ясным и легким путем.



Твой бунт — бунт против себя самого, ибо в твоем мозгу нет и не может быть ни единой идеи, так или иначе не связанной со строем наших идей.

Чем больше стареешь, тем яснее становится, что на жизнь надо смотреть со светлой и тихой улыбкой, а к тебе это понимание не пришло, твоя рукопись шумлива и желчна. В ней нет даже коротких прибежищ, хотя бы маленьких полянок, лужаек, на которых можно бы сделать роздых, привал, нет смеха, который хоть на минуту-другую осветил бы лицо... Ты никогда не был весельчаком, тебе всегда не хватало бездумности, а тут уже просто угрюм... Читать книгу должно быть удовольствием, а здесь сплошь напряженное мышление.

Да, у нас многое не может быть приемлемым для думающих, чувствительных, тонкокожих натур. То, что есть в человеке истинного, не позволяет ему жить воедино с газетной патетикой. Будь это иначе, сливайся действительность с тем, как она ощущается, эта патетика вообще и не требовалась бы. Она призвана заглушать несогласие. Мое несогласие с моей немотой... Но скажи, был бы ты счастлив, если бы смог променять ее на право громкого голоса, вдруг предложенное тебе Провидением в каком-нибудь из прошлых отсеков истории или в одной из нынешних стран? Приходило тебе это когда-нибудь в голову, а? Воображал ли себя перенесенным на ту людную улицу или в тот закоулок отживших веков, где мог бы воскликнуть: «Вот это по мне!»? Если бы даже мог там вдосталь витийствовать, изрекать что угодно... А из наличных сегодня стран зарубежья мог бы подобрать себе хоть одну по душе? Нашел бы такой микроклимат, такой порядок вещей, что сказал бы себе: «Я тут дома?!»

Нам дано лишь то, что дано. Я не хочу в этом споре во всем защищать свое время, но только оно есть м о е.

Да, это давит, ранит, кусает, когда твои представления о справедливости — это одно, а ход вещей, устроения, нравы — другое. Но вдумайся, так ли уж твои нравы добры, так ли отличны от заведенных у нас? Ты вот отрекаешься от друга из-за того, что он безропотен там, где, на твой взгляд, нужны бы крики и ярость. Выходит, что ты тоже нетерпим, непреклонен и, значит, сродни нашим правителям, о несговорчивости которых вопишь. Ну, не абсурдно ли?!

И еще хочу тебе вот что сказать. Мы с тобой учились не только по общечитаемым книгам, но и тем, что берут сейчас в библиотеках лишь очень немногие. Они невытравимо вошли в нас, и душа неизбежно тоскует, когда ход вещей, действия или слова оказываются далеки — далеки от наших понятий. Но в твоем возрасте давно бы пора сознавать, что наши мысли, настроения, чувства — только наши, не больше, чем наши...

Порвав со мной, ты не станешь прав за мой счет, а вот одиноким ты сделаешься...

В отличие от тебя я не умею написать цельной главы. Мой ответ тебе — разновременные наброски, и только. И не за себя, а за тебя самого я задаюсь в них вопросом, нужное ли ты этой книгой затеял...

Зачем рассказал мою жизнь? Какая тут мысль? Чтобы люди увидели, куда я скатился? Но я никуда не скатился. Ты же сам не скатил меня. Не сделал из меня негодяя, на что намекалось вначале, сюжетно застрял на полпути. Или это и была твоя мысль — изобразить застревающего? Но на пути к чему в таком случае? К тому ли, чтобы человек совсем измерзавился или, наоборот, кающимся грешником стал?

Опять перелистывал... И хотя здесь речь обо мне, о семье моей да о людях и случаях, вскрывающих постепенное мое очерствение, мой отход от заветов молодых наших лет, но послышалось на этот раз и другое — в этих строчках разлита печаль о чем-то недожитом нами, о недоосуществлении жизни вообще... Вот что я тебе об этом скажу.

Большинство людей преследует маленькие цели, мы с тобой задавались большими. И это сбило нас с толку. Слишком много было прочитано, слишком многое узнано, а разгружаться от этого нам не далось. Мы и по сей день мудрствуем-мудрствуем, изводимся умственностью и тщетно

ищем исхода ей. Поэтому кажется, что мы не так прожили, ничего не закончили. А может быть, не то затевали? Не так затевали?

Мне попалась недавно книжка, читанная худеньким пареньком в далекое время. Галочки, обильно рассыпанные здесь на полях, ставились бы ныне в других местах или не ставились вовсе. Этот паренек все читал иначе, видел и слышал иначе, чем мужчина, у которого за проплывшие годы давно расширились и снова сузились плечи, давно отчеканился, а потом стал отвисать подбородок. Да, да, я ведь наблюдаю этого мужчину каждый день в зеркале и прослеживал этот процесс, который ты выдаешь за отступничество, а в физиологии он зовется старением. Этот мужчина уже не может читать восторженными или полными гнева глазами,—ему мешает знание тысяч других книг. А ты требуешь от него воинственности и темперамента молодости, которая по твоему наущению лезла бы в драки и руками размахивала...

В молодости враг был мне так явен, как потом в войну, когда он перед нами в траншеях сидел. Цель жизни тоже была ощутима, словно перочинный ножик в кармане. Потом очертания врагов и друзей стали мутнеть от трагических путаниц, от колдовских превращений, с которыми народы и люди оборачивались к нам новыми лицами, а будущее все отдалялось, все опять и опять отдаляется, не становясь настоящим... Но прошлое не испепелилось от этого в труху из засушенных цветов девичьих романов, не стало тряпьем предков на чердаках или рисованным, несостоявшимся миром. Нет, оно где-то во мне.

Да, у нас не может быть книг, которые поражали бы умы. Мало таких, что оставляли бы в душе длительный след. С трибун не услышишь ни одной мысли, привлекающей новизной, даже просто возбуждающей интерес. Едва ли найдется хоть один человек, который сам не знал бы того, что оттуда вещается. Против оригиналов, если они появляются, сплачиваются плотной стеной. И оттого на всем, даже на праздничных наших убранствах, выцвели краски, все подернуто какой-то мертвенной сухостью. Но только подернуто. Дух прошлого вовсе не мертв. Попробуй занести над ним руку, и он оживет.

Это все только наши проблемы, за рубежом не поймут их.

Накопившееся в тебе раздражение требует ломок. Но бить и кромсать—недотепистость. Все существующее может преобразовываться. Я не раз слышал от Петра Николаевича, что нам только очень нужны два расширения: словаря нашего и представлений...

Чем больше листаю твою рукопись, тем меньше понимаю, о чем и зачем я должен был в рог трубить...

И в чем, обличитель, твой вариант разрешения наших вопросов?

Только друг с другом мы могли вспоминать заимку под Нижне-Удинском, где ели когда-то самую варварскую и самую вкусную в нашей жизни еду: тетерок и рябчиков, зажаренных в брюхе подсвинка. Только друг с другом могли вспоминать, как запутались в лабиринте ходов, коридоров и комнат здания ВЦСПС на Солянке, показавшегося нам грандиозным. Только друг с другом мы могли вспоминать церемониал посвящения двенадцатилетних ребят в молодчаг, когда без передышки сглотнули по жбанчику пива и, обалдев, свалились от этого. Только друг с другом мы могли вспоминать, как долго всегда были вместе, сколько судеб и сколько разделов истории прошло на наших глазах... Ну, рви теперь со мной, рви. Но вспоминать тебе будет не с кем... Понимаешь ты, что означает, когда вспоминать уже не с кем?..

Порывая со мной, ты перерезаешь *свою* жизнь. Отказываясь от меня, ты отказываешься от себя.

Разочарованный в попытках переустраивать мир, Герцен писал Огареву: «Все глупо, все безвыходно, все безумно». Через сто лет кинорежиссер ставит фильм «Этот безумный, безумный, безумный мир». ...И за эти неисправимые безумства истории ты делаешь в ответе меня... Безумный, безумный, безумный автор!

Слова потому так похолодали, утратив свою сокровенность, что твердим их без перифраза пять с лишним десятилетий подряд. Это физиологически объяснено было Павловым. Он писал (ст. 248 IV тома), что при длительном повторении действие раздражителей ослабевает, условный рефлекс исчезает, наступает состояние, названное им тормозным. Повторяемость, учил он, приводит к тоске...



Из-за повторяемости слова превратились в рутину, люди давно перестали думать о них, они утеряли возможность удивлять, привлекать, заставлять говорить о себе и... как раз по этим причинам являются вполне подходящей религией для безрелигиозных людей.

Перечитал написанное. Вижу, что крайне сумбурно и длинно. В статьях, выпрашиваемых у меня изредка центральной печатью, я, говорят, логичен и краток, но когда объясняешься с другом, пусть даже бывшим, то хочется сказать очень разное, а состояние при этом далеко от спокойного, и лишаешься дисциплины письма. Смысл его получается тоже какой-то не тот. Наговорил я тут многую всячину о том, что вне нас и чему все равно мы никогда не сможем придать единый и окончательный смысл, а хотелось говорить о другом, хотелось сказать, что, разменяв шесть десятков, нам становятся дороже всего в жизни привязанности...

Надо какой-то итог подводить, а итога, собственно, нет, есть тоска...

Передай мои приветы своим и вчувствуйся в мое предложение: что если нам взять себе обоим за правило соображать перед сном, кому бы мы утром могли сделать что-то хорошее?..

### *Глава 3. Итога, собственно, нет...*

Это письмо нашла и молча отдала мне Наталья Сергеевна. Сам он почему-то не отсылал его, медлил. Может быть, хотел переделывать.

«Он!». Впервые не «ты». Кто мог думать, что буду заканчивать в третьем лице...

Но заканчивать надо. Чтобы взять все страницы назад...

Вчера было три месяца... Уже не мечусь и не плачу, уже прошло состояние, в котором хотелось бить себя, колотить, стукаться головою о стену. Улеглось, поутихло. Сменилось навсегдашней тоской... Временами еще всполошивает острая боль, но потом она растворяется в коньяке, в мединале, во сне, и утром идешь за картошкой, за булками...

Помощь жене... Если б в то утро я не пошел в магазины, еще мог бы застать... Но когда Сергей лихорадочно два раза звонил, я стоял за цыплятами, потом оливковое масло искал...

Бесполезно себя успокаивать, спрашивая, что изменилось бы, если бы он кочене примиренным. Нет, если бы успел взглянуть в глаза мои, увидеть, что во мне делается, если бы я прижался своей щекою к твоей,— все обстояло бы для нас обоих иначе... Но я поспел только к связке мышц и костей, беспомощной перед людьми, привычно и грубо ее распрямлявшими и уложившими в ящик, повезя на расправу...

А потом дни сумятицы... Нашествие знакомых и незнакомых людей, беспрестанно звенючая нудь телефона, медицинские сестры, делающие уколы Наталье Сергеевне, ее вскрик «Нет, нет, не надо!», когда до нее донесся разговор о кремации, прилет потускневшей и потерявшей запальчивость Лиды... Затем Новодевичье—этот город привилегированных мертвых, непохожих друг на друга при жизни, но снискавших себе совсем одинаковые похоронные речи; разрывающий душу Шопен, и неожиданно забившийся над открытым гробом Сергей, с которого в последний момент слетело все напускное; ошеломленная, смотревшая невидящими глазами на мать и на мужа, двигавшаяся в прострации Лена... Потом приготовленная какими-то женщинами тризна в квартире; стол, уставленный уже не паштетами, а колбасами и консервными банками; сидевшая безучастною гостьей Наталья Сергеевна с начавшей вдруг трястись головой; поминальные слова, хотя и душевные, но кощунившиеся плотной и деятельной, не приличествующей моменту и месту едой и питьем прозябших людей; потом приглушенные разговоры друг с другом о слишком просторной квартире, которую могут забрать теперь и дать взамен меньшую, о пенсии, которую начислят вдове, обо всем этом серебре на столе и в буфете, которое Сергей промотает с девицами...

Я прошел в твой кабинет... Стеллажи высились до потолка и обнимали комнату со всех сторон, словно рама. Книги в них стояли вприжим, в два ряда, задние давно стали неизвлекаемыми, и от них шел вместе с легким запахом пыли аромат твоих рук и дыхания, телесного и бестелесного твоего существа... Я опустился на стул и начал усиленно сосать папиросу... Все эти книги я знал и почувствовал, что распад твоей личности, улетучивание твоего аромата начнутся именно с этой, с твоей, с нашей комнаты. Когда ее будут растаскивать, забирая каждый раз столько, сколько войдет в чемодан, то не станут задумываться даже над порядком и признаками, по которым книги обращались к тебе, а ты к ним. Будет ли знать человек, которого роднят с тобой только гены, что охапка, которую он заберет, это римляне, что вот на том стеллаже — Ренессанс, из которого идея человечества выбилась в свет, дальше — век, пробудивший идею его воспитания, здесь — шестидесятники, открытые нами еще до студенческих лет, тут — философы права, чувство которого не оставляло тебя во всю жизнь, а вот в этих заново переплетенных томах — давно ставшие редкостью протоколы заседаний партсъездов первых революционных годов... Представляю себе, как торопливо чемодан будет уставлен в багажник, с каким нетерпением и нескрываемой скукой будет ждать продавец, пока букинист все переберет, перепишет.

Вошла Лена, ничего не сказала и села на свой девичий стул. Я подошел и обнял ее. Мы стали вместе молчать. Заглянул ее муж, но она едва обернулась. В эту минуту я был ей ближе. В комнате, где вместе с папой и в папе жили все эти знания, мысли, миры, я был ей ближе... Но неестественно, нереально и странно было быть у тебя без тебя...

А потом понемногу ввалились курильщики... Лена вышла. Чтобы вывести ее из безжизненности, муж настойчиво увел ее в спальню, где женщины уложили в постель привезенного уще утром, но не хотевшего спать в неурочный час малыша. Зачем он был тут, в этом хаосе? Не с кем было оставить? Или призван был разжижать своим присутствием горе? Но ему тоже не по себе было от множества незнакомых людей, он плакал, капризничал, а Лена, подсев к нему, не возвращалась к действительности.

Этому вчера было три месяца...

Жизнь взяла за это время свое.

Борозды на лице Натальи Сергеевны уже не разгладятся, голова ее еще временами покачивается, но виски я увидел на днях уже не серебряными. Она занята заказами портрета и памятника, сменой цветов на могиле, вытиранием пыли, телефонными разговорами с дочерью, приготовлением ужинов для друзей и девушек сына, которых он привозит теперь вечерами, чтобы не оставлять мать одну. Сергей быстро исхлопотал повеление жэку не посягать на квартиру, избавляется от своей старой «Волги» и приобретает «фиат», уговорил мать продать для этого вещи, развозимые им по комиссионным магазинам Москвы, и не оправдал только моего опасения о разбазаривании отцовской библиотеки охапками. Он оказался догадливей, чем мне это думалось, договорился в библиографическом институте с какой-то студенткой, она приходит теперь после занятий, встает на стремянку, роется, сгружает, поднимает наверх и составляет для фирмы «Букинист» каталог. Лена в действия брата не вмешивается, к вещам безразлична по-прежнему, но не была недовольна, когда мать отдала Виктору два отцовских костюма, а потом привезла его именные золотые часы, чтобы они сохранились для внука... Да, жизнь берет постепенно свое... И только я ощущаю, как она навсегда для меня оскудела...

Пока подавленный смертью Петра Николаевича, которую приписывал твоей нерешительности, я строчил для тебя и безвестных читателей эту злосчастную книгу, моя отчужденность ею поддерживалась и полгода питалась. Пиша, я сам себя подговаривал, наущал, растравлял. Твоя жизнь была для меня все это время образчиком и вместе заклятием. Но вот книга написана, теперь нужен новый заряд, нужна свежая пища для ума и для гнева, и... некуда за этим идти. Стало пусто...

Нас было только двое на свете, которые могли вести эти споры. Только двое, помнивших равно «Азбуку коммунизма» и «Борьбу за право» Иеринга. Где найти в мире третьего, взращенного на таком сочетании?! Те, что выросли ныне, поумнее нас, деловитее. Жизнь для них — автоматика, бюллетени технической информации, женщины, автомобили, морские курорты, коньяк... Они не тратят невозвратимые ночи на попытки очеловечивать мир, а дни — на возню с неудачниками. Они над нами посмеиваются...



Среди ночи меня прорезает жгучая мысль... Увидя свою рукопись набранной, Петр Николаевич, может быть, выжил бы. Но и ты, не потерпев от меня, тоже, может быть, жил бы... Ведь скоропостижного ничего не бывает, все назревает, накапливается... Ты месяца полтора или два писал мне, писал... Значит, все это время тебя давило, сгнетало...

Боже мой, боже мой! Куда теперь от этой мысли уйти... Как мог я тебя обвинять, не хотел понимать! Ведь ты, как и все, был сжат, сдавлен, стиснут реальностями... Нет, я понимал, понимал. Но, понимая, изъязвлял тебе душу. А вместе с нею свою. Ведь споры с тобой — это споры с собой. Они велись не между нами, а в нас. Душа у нас была общая... Знаешь, я сейчас даже не очень уверен, что не перепутал где-нибудь на этих страницах событий из нашего далекого прошлого, не приписал тебе какой-нибудь выходки, которую следовало бы отнести к нам обоим или даже только ко мне. Вот перелистывал, и вдруг показалось, что стихи о клоповнике, которыми мы вымогали у владельца гостиницы комнату, сочинял я, а не ты... Надо бы все заново перебрать сейчас в памяти... А, впрочем, зачем?.. Никому абсолютно не нужно. Так же не нужно, как доспоривать теперь в одиночку...

Слушай, а вдруг... вдруг есть где-нибудь и еще одиночки?.. И тоже изводят себя, затрачивают невосстановимые ночи и, ломая вечно напряженные головы над попыткой снижать на земле количество горя, понемножку убивают друг друга, себя... Ведь вот на твоей душе лежит, быть может, смерть Петра Николаевича, на моей — только бог это знает — твоя, а ведь никто никого не победил и не мог победить, все недоспорено... С этой мыслью мне было бы как-то легче уйти. И, знаешь, она вероятна.

— Итога, — сказал ты, — собственно, нет... Значит, кто-нибудь где-нибудь, возможно, ищет его... Облегчи ему бог...

*Публикация М. И. КАНЕВСКОЙ (ПОМЕРАНЦЕВОЙ)*

*1970 г.*

Александр КУШНЕР

# Новые стихи

* * *

Снежок, снежок
Колючий, боже мой, какой же он горячий!
Сырого холода почувствуешь ожог,
Дыханье радости, волнение удачи.

Родных, замерзших что белее берегов?
Никто не выловит подледной зимней рыбки.
Международных дураков
На их симпозиумах мучают улыбки.

А доморощенных — обида, и тоска,
И тяжесть гиблая подспудной мысли задней.
Они-то сделаны из одного куска.
Что сердца пристальней, что жизни ненаглядней?

Будь тверд, мой друг,
Нет, мягок, ветрен будь, отходчив и уступчив,
Как этот бережный над городом испуг,
Идущий медленно — не важен, а задумчив.

Звезда, звезда
Лоснится снежная, на сонный пух подую.
Уединенного труда
Судьба послала нам возможность дорогую.

* * *

Музыка дисциплинирована.
Репетиционный график
Строг. Услада гарантирована.
И никто не скажет: на фиг! —
Даже самый неразборчивый
В выраженьях и горячий.
Здравствуй, здравствуй,
Бах отходчивый,
Шуберт с грацией кошачьей!

Но когда, горюя, струнные
Прислоняются к щипковым,
Словно брошены иммунные
Силы в бой в бреду багровом,
Даже мягкий и уклончивый
Оркестрант зайдется в корчах:
Здравствуй, Шенберг несговорчивый,
Шостакович в яме волчьей!



* * *

Когда бы Тютчев мог прочесть, что он
жил и работал в этом доме: сон, —
подумал бы он, — сон все это, снится!
Жил и работал... это комитет
цензурный, что ли, пристальный? Ну, нет!
«О, этот юг, — быть может, — эта Ницца?»

Назвать стихи работой? Что за бред!
Пылит снежок, и правый глаз слезится.

Каким, каким поэтом выдаю-
щимся он назван? Что ж это, в строю
стоял и как бы все же выдавался?
Иль он прочел неверно? Формуляр
служебный лучше скроен, и футляр
из-под очков куда-то задевался.

И скрыть всю жизнь хотел он тайный дар.
И не работал он, а забывался!

* * *

В ресторане «Атилла» на скатерти луч плясал.
Посмотрел бы Атилла на чистенький этот зал,
Где нам подали кофе с мороженым и варенье.
Интересно, что он подумал бы, что сказал?
Вавилонское, ты мне нравишься, столпотворенье.

Он сказал бы одно, а подумал другое... Нет,
Был он страшен, но прям. Слава богу, его портрет
На стене не висит, — как иначе бы есть смогли мы?
Ах, не так впечатлительны мы и не так ранимы
И еще пострашней можем вспомнить с тобой сюжет.

И когда-нибудь, лет через тысячу, интурист
Отутюжит гостиницу, чистую, как батист,
И на вывеске будет написано «Джугашвили» —
Тем приятнее номер, что солнечен так и чист.
И не все ли равно, как назвать, — так его забыли.

* * *

Что же делать, что вот не волнуют меня
Фотографии предков моих в сюртуках
И нарядных визитках... Прости мне, родня,
Равнодушие это, едва ли не страх
И, уж точно, тоску... Что крахмальный пластрон,
Что ермолка... Соврал бы, сказав, что черты
Различаю фамильные... Пасмурный сон
Этот смутен, остывшие соты пусты.

О, ни сладости в сердце, ни горечи нет!
Я — скупая, слепая, сухая пчела,
Вот когда на Дунае был я — и в просвет
Меж двух крон проступил крепостного угла
Полурухнувший камень, на крайней черте
В развороченный глядя полынный провал,
Я почувствовал счастье в Паннонии, где
С легионами конный философ стоял!

* * *

«Как будто я и впрямь жила уже когда-то,—
Ты говоришь мне перед сном,—
Знакомят с кем-нибудь — довольно слова, взгляда,
Чтоб все, все знать о ней; о ней или о нем,
О вкусах, о страстях, пристрастиях, страстишках.
Я знаю даже, чем сейчас нас удивят:
Каким враиья излишком
Иль искренностью — сам рассказчик ей не рад.
Скачкову, например, с пронырливым умишком
Я знала тыщу лет назад.

Ну ладно, засыпай». И точно, засыпаю,
Но, прежде чем уснуть, ночной травы слабей,
Подумать успеваю,
Что я-то, боже мой, не знаю так людей,
Как ты, что иногда мне кажутся загадкой,
То ангел в иих мерещится, то бес.
Нет, я-то в первый раз живу. И этой гадкой
Скачковой никогда не видел: темный лес.
И знаю: ты не спишь, глядишь во тьму украдкой,
Как будто вспомнить к ним свой хочешь интерес.

* * *

Лети, душа,
в пыли и прахе,
как лист кружа.
Дневные споры,
ночные страхи,
полет стрижа
и уговоры,
что жизнь свежа.

Круги, узоры,
что он крылом
чертит, и шторы
под сквозняком
дыханье — вторят
чужой строке.
Но горы горя,
но кровь в реке
времен... Сомнителен
твой полет,
внизу растительный
мир цветет,
но непростителен
жизни ход:
так крот, петляя
назад, вперед,
ползет, глотая
свой смрад и пот.

Лети, душа,
в пыли и прахе.
Я с этажа
в ночной рубахе,
едва дыша,
тебе рукою
машу, держа
письмо — другою.

Конверт с клеймом
из Тьмутаракани,
открытка в нем:
пять в Себастьяне
стрел. В остальном —
как на экране,
жизнь бьет ключом,
и горожане
на дальнем плане.

На обороте
читатель пишет
мне: «Как живете?
Поэту свыше
судьба дается,
как Себастьяну».
Мою берется
промыть он рану.

Так он уверен
в ней, друг далекий.
Стою, растерян,
смотрю на плечи,
на грудь, на щеки:
гордиться нечем!

Читатель дальний,
ты сам утыкан,
ты сам облизан
огнем, печальной
судьбой, пронизан
стрелою, пикой,
не замечая
их в бедном теле.
И только с края
не лавры — ели.



В России любят
судьбу поэта.
О, не уступят
волненье это
и грозный опыт.
Стихи ж — постольку,
поскольку губят
цари поэта.
Примеры копят
упорно, рьяно...
Все больше света.
Ночь втихомолку
пошла на убыль.
И пахнет странно
от века-волка
в овечьей шубе.

Да нет же, мне
притворяться стыдно.
В ночном окне
жестковатый, слитно
с туманом, тополь
темнеет смутный,
и спит Петрополь,
как сон, безлюдный.

Печаль какая!
В дыму утрат,
полуживая,
забытый лад
припоминая,
мечты, мечты,
где ваша сладость?
Вернешь ли ты
свою крылатость?
Лети, душа,
за рифмой «радость»,
как шмель, жужжа!

Василий СУББОТИН

# Прощание с миром

ПОВЕСТЬ

1

Первая картина, возникающая в моей памяти, такая.

Я сижу в траве, по-видимому, в траве. Себя я не вижу... Я сижу, а передо мной на длинных таких палках в маленький такой тесный домик, в кривую избушку носят сено.

Да, вот это и есть самая первая отложившаяся в сознании картинка. Мне потом рассказали, что это моя бабушка и моя мама носили навоз в парники.

Вторая. Мы все, мать, отец, я, вся наша семья, сидим за грубо сколоченным столом и едим крупно, каменной солью посыпанный хлеб, а за окном проносятся какие-то страшные, обгорелые дома. Это, как мне объяснили после, мы перебираемся в Сибирь, едем в товарном вагоне, в теплушке. И обгорелые эти, черные дома не что иное, как встречные поезда, которые видны мне были не столько в окно, сколько через открытую дверь нашей теплушки.

Должно быть, в сознании моем соединились две разные, в разное время увиденные картины — обгорелой избы, увиденной прежде, и черных, товарных, а может быть, и пассажирских вагонов, пробегающих за окном поезда.

2

Следующее воспоминание — деревня в лесу. Тегéнь...

Это и вовсе нечто смутное, лесное. Мы выбираемся из леса, очень темного и очень густого, сначала меня ведут за руку по тропе, переводят по высокому гибкому мостику и приводят в избу к гнутой в дугу бабке... Клещ влез мне в ухо. Этот покачивающийся длинный мостик и бабка эта, старуха, которой я так боюсь, опять же единственное, что осталось у меня в памяти. Дальше опять провал.

А то, что это была Тегéнь, мне потом все это рассказывали. Три дома на севере, и кругом сплошной липняк. Боялись медведей, которых много водилось в глухом этом, непроходимом липняке. Сохранилось воспоминание о девочке, которая ушла из дому и заблудилась и которую нашли уже через несколько лет... Нельзя было ни на шаг отходить от дому.

3

Где это было, не знаю. Меня привели, а скорее всего принесли, в церковь. Я говорю так потому, что все это я вижу как бы сверху, с высоты как бы... Не помню ни церкви, ни попа, ни службы, которая там, наверно, шла, а помню только ложечку чего-то необыкновенно сладкого, что мне положили в рот, какого-то сладкого зерна. Как видно, я был еще очень мал.

Впрочем, может быть, мать заранее взяла меня на руки, перед тем



как к нам подошел священник, чтобы вложить мне в рот ложечку этой сладкой манны.

Во всяком случае, у меня до сих пор еще такое чувство, что я эту сладость испытывал, сидя на руках у матери...

И вот еще одно такое же смутное воспоминание, как будто сон какой. Мы идем по дороге, идем полями, через поля. Я думаю, что все это в один и тот же день происходило, что мы возвращались домой из церкви, шли в деревню к себе. Так, я думаю, и было. Подходим к воротам, посреди поля поставленным. Это, как видно, околица, а может, поля загорожены, чтобы скот не ходил. Два столба тоненьких и перекладина сверху, а по сторонам изгородь... И вот тут, в этих воротах, у столба одного, прямо передо мной — череп бараний, с завитыми, закрученными вверх рогами...

Тоже очень запомнилось.

4

Я сижу на печи, в избе нашей сижу. С этого момента я помню себя в избе. Сидя наверху, на печи, я молча наблюдаю за тем, что делается внизу, в избе. Отсюда, с высоты, мне хорошо все видно. Отец был в городе и привез нам гостинцы. Ситец, мануфактуру мамке. Я вижу, как все это выкладывается перед окном, на лавку. Есть тут среди всего остального и конфеты. Я не свожу с них глаз...

Отец дает мне, маленькому, завернутую в синюю бумагу белую, сверкающую сахарную голову, и, обхватив ее обеими руками и ломая зубы, я грызу ее, сидя на печи тут же.

Если не насовсем, то надолго отец отваживает меня от сладкого.

5

Все это, как я теперь понимаю, было вскоре после нашего переезда в той же большой старой деревне, после того как мы перебрались туда. Мы, я думаю, оказались здесь потому, что раньше нас поселились здесь наши родные.

Мы тут жили на самом краю деревни, в узеньком проулке, называемом Сараями. В конце этих Сараев стояла наша изба. Дальше за нами, в глубине проулка, были только кусты колючего вереска, в которых жила старуха-травница, «бабушка-куставушка», как у нас ее называли. У нее перед избой был огород, заросший цветами, которых у нас обычно не разводили, огородные грядки, засеянные укропом и анисом. Не знаю почему, но мы к ней ходили однажды. Ее ветхая, наполовину ушедшая в землю изба вся была забита травами, снизу доверху вся в сухих травах — и на стенах и под потолком, везде и всюду были развешаны травы. Как на сеновале.

6

Перед окнами у нас была горка, крутой такой зеленый бугор, довольно высоко поднимающийся над рекой, над берегом. Это было самое любимое мое место. Каждую весну бугор этот порастал мелкой курчавой травой. И я очень любил эту травку и очень ее запомнил, и, хотя до сих пор не знаю, как она называется, я всякий раз очень волнуюсь, когда вижу ее. Она растет только там, в тех местах. Она очень курчавая, мелкая, похожа на капусту. А потом там еще была такая травка одна, на которой такие маленькие, очень смешные зелененькие семена, круглые, как пуговки. Я их тоже не мог забыть. Тоже часто вспоминаю о ней, об этой траве, нигде, наверно, ничего подобного не растет...

После избы я, может быть, больше всего знал эту поляну перед окнами. Очень многое у меня было связано с ней. И самые первые в жизни наблюдения, после избы, тоже у меня были сделаны здесь...

С каким нетерпением ждал я всегда появления первой травки!

Задолго до того, как снег начинал стаивать, сходить окончательно, на солнечной стороне избы нашей, там, где была глина, раньше всего вытаивало, всего раньше подсыхало. Я выбегал из избы и подолгу сидел на завалинке, на припеке, грел на солнце босые ноги...

7

За избой у нас был огород. Со двора туда вела отдельная калитка, которую до поры до времени, пока все не вырастет, не разрешали открывать.

Большую часть площади занимала, конечно, картошка. Грядка огурцов, грядка моркови-каротели, ну и, конечно, репа! Без репы уж просто не было бы никакого огорода. Какой же огород без репы! Наша мама к тому же, чтобы побаловать нас, обязательно по краю грядок сажала хотя бы несколько бубочек бобов и отдельный, в самом начале грядки, совсем уже маленький клинышек гороха, хотя бы несколько зеленых завивающихся плеточек, опять же чтобы побаловать нас, когда придет срок всему этому вырасти.

Я очень любил огород. После реки и леса для меня это было самое прекрасное, самое лучшее место на земле. В чем-то даже более интересное, чем река и лес.

Между грядок, в борозде, тут всегда найти можно было с прошлого года забытые, вытаявшие вдруг весной осколки разбитой посуды, краешек фаянсовой, в цветочках, чашки, ручку разбитого когда-то чайника, а то даже и какую-нибудь старую, давно забытую игрушку свою, тоже неожиданно вдруг вытаявшую. Все это необыкновенно волновало. Я даже не знаю, почему... Было странно видеть эти давно, казалось бы, утерянные, полузабытые, неизвестно вдруг откуда явившиеся на свет предметы.

8

Под огородом у нас была река, а за ней, сразу как перейти плотину, бор стоял. От берега, посреди спускающихся к нему сосенок, взбирались наверх натоптанные скотом, горячие, хорошо прогретые солнцем тропинки.

Бор начинался прямо от берега, от реки, и тянулся на много верст. Он весь порос сильно пахнущим можжевельником и голубикой. А еще за рекой там было много черемухи, мы набирали ее иногда по нескольку ведер. Черемуха была крупная, зрелая. Бывало и так, что ее просто свалили, подрубали ее топором и обирали на земле прямо, как обирают малину или смородину. Были в бору нашем и кедровые шишки, но кедровника у нас было мало, просто отдельные, случайные деревья...

Среди молодых сосен, растущих по склону, вдоль всего берега, ходил скот, и вечером слышно было, как позвякивало ботало какой-нибудь заблудившейся, не вернувшейся вовремя домой коровы или теленка. Звуки эти по вечерам были особенно хорошо слышны.

9

Большую часть дня я проводил на мельничной плотине или на берегу омута. В надежде выловить хоть какую-нибудь даже самую маленькую рыбку я с утра до вечера простаивал над рекой. Вставал очень рано, чуть свет, и до солнца еще, до того еще, как начинали сгонять скотину в стадо, с длинным удилищем, с банкой заранее накопанных червей по росе, по холодной тропе, с трудом продирая заспанные глаза, бежал к реке, к воде, чтобы не пропустить клева. Домой приходил только к вечеру с двумя мальками на шнурке, а то даже и с окунем или с чебаком. И, хотя этих моих рыбок мать всякий раз скармливала кошке, я все-таки на другой день рано с утра опять сидел на реке, где-нибудь на сваях, у мельничного колеса, выше или ниже плотины...

Я очень любил этот шум реки.

Река была полноводная, очень хорошая, очень светлая. Сразу за омутом она делала поворот и далее шла вокруг всей нашей деревни, пока не впадала в другую, но уже большую, тоже недалеко от деревни протекавшую реку — Туру, как потом оказалось...



Это было так неожиданно и так интересно — вытащить какую ни на есть, пусть даже самую крошечную, самую маленькую рыбку — из ниоткуда, из темноты, из мрака реки, из глубины ее, неизвестно даже откуда вроде бы, из того, что было до сих пор скрыто сверкающей поверхностью воды, нечто такое, что заставляло долго потом и учащенно биться сердце.

Удивительно ли, что я помню все места, где я удил рыбу, каждый бережок, каждое склонившееся к воде деревце, под которым я сидел...

10

Недалеко от мельницы и от омута, который был ниже ее, там, где река огибала деревню и берег полого спускался к реке, была у нас елань. Так называли у нас большую поляну. Трава там была какая-то особая, изумрудная, более яркая, чем везде, чем в других местах, изумрудно свежая, и по ней, по этой елани, ходили гуси, оставляя на берегу, на зелени этой, на траве, выпавшие из хвостов и крыльев длинные белые перья.

Может быть, потому тут и была такая трава, что тут ходили гуси, что гуси выщипывали траву, а может, от гусиного помета, я не знаю, почему, откуда была такая изумрудная трава, такая необыкновенная зелень...

Были у нас еще и другие елани по берегам той же реки, но я помню только эту.

11

Зима и лето смещаются...

Однажды утром я встал и увидел такую картину. По всей реке, прямо под окнами у нас шел лед. За рекой синел лес, огромные льдины неторопливо, медленно проплывали по реке, по середине ее, и со скрежетом налезали одна на другую. Я смотрел и слушал.

Река текла перед самыми окнами нашими. Я смотрел из окна.

В полдень, когда большие льдины, казалось бы, уже прошли, я увидел, что мельница плывет по середине реки...

Чья-то чужая мельница, сорвавшаяся сверху, шла по реке. Как она есть, вся целиком, белая вся и, видимо, недавно срубленная, она тоже медленно, плавно проплывала перед окнами у нас.

Река добралась в тот год до самых огородов. Много людей вышло на берег, так же, как и я, поглядеть на убежавшую мельницу.

Мельница шла так долго, так величественно. Мы замерли: она уже подходила к нашей мельнице. Что-то затрещало. Это мельница, та, беглая, дошла до нашей, ударила ее. Но мельница наша была крепкая, она устояла. Она только немного пошатнулась. Какое-то мгновение две эти мельницы стояли вместе, как бы не желая расставаться. Потом чужая мельница стала отходить, поворачиваться, нырнула под перекат и все так же спокойно пошла дальше, за деревню, мимо леса и мимо кузни — туда, куда поворачивала река.

12

Зашел однажды мужик в избу, зашел, как ходят мужики друг к другу, покурить, поговорить зашел к отцу. В избе у нас в это время топилась согнутая отцом железная печка, колено которой было выведено в стоящую посреди избы большую печь, в общий дымоход. Сел мужик на лавку, вытащил из-под лавки топор, взял одно из поленьев, что на полу тут, возле печки этой, лежали, и за два-три удара всего вырубил мне коня. Деревянную такую лошадку, может, и не очень совершенную, но похожую. Я даже не поверил, когда он мне ее отдал.

Посидел мужик еще немного, поговорил о чем-то с отцом и ушел, а лошадка осталась у меня, со мной осталась.

Был это очень хороший конь, самый первый мой друг. Такого у меня никогда не было. Как самая настоящая заправская лошадь, только ма-

ленькая. Я его очень любил, никогда не расставался с ним и всюду таскал его за собой. Я даже спал с ним вместе.

Так на печи, в избе, мы прожили с ним почти год.

И вдруг мой конь исчез.

Это вот как вышло. Я заигрался и оставил его на улице... Утром, когда я встал, я увидел, что все вокруг опять завалил снег, снова пришла зима. И мою горку, на которой я играл, тоже завалило, и огород, и грядки на огороде. Только река еще текла как ни в чем не бывало, черная, темная... Я хватился — а моего коня нигде не было. Как видно, я оставил его на улице, а может быть, и во дворе забыл где-нибудь.

Целую зиму я не переставал думать о моем коне и не переставал жалеть его. Я очень скучал по нему. Куда он девался, я не мог понять. И вот через год, весной опять же, когда зима была давно позади и от снега ничего не оставалось, я пришел на огород и увидел под ногами, как и в прошлую весну, какие-то стекляшки белые, осколки посуды битой и черепки всякие. Все это вновь явилось теперь на глаза и лежало на земле, между грядок, в той же борозде. Но, главное, был тут мой белый, березовый конь... Он тоже лежал в борозде этой, пролежал под снегом целую зиму.

Той же самой, как мне думается, весной, а может, уже и в следующую зиму, я плохо сейчас уже все это помню, из Большой — она так и называлась — деревни мы уехали в маленький лесной поселок — в Березовку. Не знаю, как это вышло, но, должно быть, за суетой, за сборами обычными, предотъездными я как-то совсем забыл о своем коне. Вспомнил о нем, когда мы уже были в дороге, далеко уже были и от деревни, и от реки.

Всю зиму, мне все-таки кажется, что мы уезжали зимой, я ни на минуту не переставал думать о нем, о чудном моем белом коне. Как же мог я забыть его, не взять его с собой! Я без конца думал о нем и все ждал, когда же мы снова поедем туда, в Большую деревню нашу, куда меня обещал взять с собой отец. Я все представлял себе, как я приеду туда и скорее всего на огороде где-нибудь опять, а может быть, и в избе у нас, на полатях где-нибудь или на печи, найду его, этого моего коня, и он опять, как прежде, будет со мной. Я очень тосковал по нему. И вот когда наконец все уже растаяло и весна опять началась, мы приехали с отцом на телеге, из Березовки в Большую деревню, приехали к родственникам нашим, в дом, в котором мы жили когда-то, на ту половину, в которой мы жили, я сразу кинулся его искать, искал по всем углам, а потом даже и на печку слазил, и под печку заглянул, и в сени — всюду, куда можно было, но нигде не мог его найти, нигде его не было. Не было и на огороде его, там, где я больше всего и рассчитывал его найти. И только потом тетка моя, когда я стал к ней приставать, стал расспрашивать ее и рассказывать ей, что это был за конь, призналась мне, что она сожгла его в печке.

## 13

Березовка стояла среди берез. Десяток изб посреди расчищенной от берез поляны. Небольшой такой кружок, пятачок среди леса и посреди него — несколько изб. Вот и вся наша Березовка.

Там, в Большой деревне, откуда мы приехали, были просторные крытые дворы и мощные заплоты, огораживающие весь остальной двор. Ничего этого в Березовке не было. Просто вокруг дома была изгородь в две-три жердочки, вот и вся ограда, все ограждение, какое было тут. Точно такая же оградка в несколько жердинок, чтобы скот не уходил в лес, с трех сторон окружала поселок. С четвертой стороны такой изгороди не требовалось, потому что там, позади изб сразу, раскопаны были огороды, и они у каждого хс яина были ограждены отдельно, такими же вот березовыми, ненадежными впрочем, жердочками...

Не было здесь ни мельницы, ни реки. Перед окнами простиралось тут небольшое, вытянутое в длину болотце, над которым летом поднимался туман. Через гнилое болотце это никто не ходил, там всегда было темно — только посередине, в глубине, росли черные больные осины, а у края — красный тальник... Болотце это называлось у нас «лягой».



Две дороги вели из Березовки. Одна вела в Большую деревню, откуда мы приехали, дорога эта шла через лесничество и через бор, другая — в деревню, которая имела несколько названий, одно из них, насколько я теперь понимаю, было наиболее старым... Ядрышкино — называлась эта деревня. Дорога, которая вела в Ядрышкино, тянулась по краю ляги. Тут, у выезда из ворот, вблизи околицы, было много берез и осин. Были тут и другие деревья, но мне больше всего запомнились березы и осины. В ветреный день осины очень сильно трепетали. Конечно, осины более или менее всегда трепещут, но здесь было такое место, где они всегда очень сильно кипели, листья у них принимались кипеть на ветру. Березы кипели послабее, а осины — как крутой кипяток.

## 14

Земли своей у нас здесь не было, ее еще надо было раскорчевывать, и в первую зиму, когда мы сюда приехали, отец с матерью уходили на целый день в лес пилить дрова для работавшей в той же соседней с нами деревне, в Ядрышкине, в которой я пока еще ни разу не был, паровой мельницы. Дров требовалось много, и многие семьи в нашем поселке, так же, как и отец с матерью, зарабатывали тем, что пилили дрова.

Мы оставались с сестрой одни и очень скучали, день нам казался бесконечно длинным. Мы сидели у окна и ждали их возвращения, а иногда не выдерживали, подбегали к печи и туда, в дымоход, в трубу, кричали им: «Папа, мама, приходите скорее!», надеясь, что они нас услышат.

В такие вот дни, когда заняться нам было совершенно нечем, а отец и мать не приходили, я начинал взрывать сучки в полу. Я находил в одной из половиц посреди избы какой-нибудь крепкий и смолистый сучок, брал в руки гвоздь и молоток и пробивал в сучке этом достаточно глубокую дырочку. После этого я брал несколько спичек, счищал, соскабливал с головок серу, селитру и начинял эту дырочку селитрой. Когда дырочка заполнялась до отказа, я брал гвоздь, вставлял его в дырочку и с силой ударял молотком по гвоздю. Раздавался сильный взрыв, сучок мой разрывало, и вся изба наполнялась дымом. Иногда даже и огонь оттуда выскакивал. Одним словом, самый настоящий взрыв получался.

Таким образом, я взорвал за одну эту зиму все сучки, какие только были в нашей избе, в полу...

## 15

Я не знаю, в чем тут дело, топили вроде бы хорошо, дров не жалели, но порог в избе у нас — может быть, дверь была плохо пригнана — всегда был обледенелый и по утрам всегда был заметен снегом. Натянет его оттуда, с улицы, так много, что потом только, когда уже у матери печь протопится, начнет этот снег понемногу стаивать. Но все равно обледенелый целый день и скользкий сильно, так что, когда на него станешь, надо получше за скобу держаться, чтобы не поскользнуться и не упасть... Проснувшись утром, я первым делом смотрел туда, вниз, на порог наш, чтобы видеть, как сильно заметен он. Ибо по тому, сколько снегу наметало и как этот снег был расположен, можно было судить о том, что там, на улице, делается и какая там погода на дворе, метет там или не метет.

А мело и задувало, конечно, очень сильно, да и снегопады у нас случались большие. Иной раз так начинало валить, что заметало по самую крышу. Утром встанешь, а тебя уже замело. Это и по окну, по стеклу окна, было видно, что замело. На дворе давно уже день, а в избе у нас темным-темно... Это хоть и редко, но тоже случалось иногда. Целый день потом отгребаемся...

## 16

В один из таких зимних дней, вскоре после того, как мы сюда переехали, я сидел у растопленной печи и глядел в огонь, как всегда почти это делал. Поднимаясь в одно время с матерью, я садился у огня, недалеко от чела нашей печи, чтобы не мешать матери управляться, и в то же вре-

мя настолько близко, чтобы видеть, как в глубине печи разгораются поленья и все более начинает полыхать огонь. Так вот, в один из таких дней, я думаю, когда на дворе было еще темно, а в печи вовсю бушевало пламя и начинали закипать чугуны, мать рассказала мне про ад, про то, как там, в аду этом, горят грешники, как они мучаются там и как их там поджаривают... Я не знаю, зачем она мне все это рассказала, для чего, но я был потрясен этим ее рассказом. Весь мир для меня в одно мгновение изменился, потемнел. Казалось, свет в окнах, рассветавших к тому времени, навсегда померк...

Потрясение было очень большое. Я плакал. Я бросился уговаривать маму, чтобы она сказала, что это неправда. Но она сказала, что это правда.

17

Горы́, с который мы могли бы кататься зимой, здесь не было. Взрослые парни катались здесь по слегам. Настилались такие, из ошкуренных молодых сосен, гладкие длинные слеги, один конец которых был поднят на козлы. Вот по ним, по этим слегам, и катались. Становились на слегу ногами и катились. Их, слеги эти, еще и водой обливали, чтобы они были еще более скользкими, более гладкими. Кататься по такой слеге лучше всего было в сапогах.

А еще для нас, для маленьких, устраивалась тут, посреди улицы, ледяная снежная горка. С нее хорошо было кататься на катушке. Катушка — это деревянная такая толстая доска с намороженной на нее снизу коровьей свежей лепешкой. Заляпанную такой вот свежей коровьей лепешкой катушку обливали водой и тоже выставляли на мороз, и она становилась звонкой, гладкой, словно бы только что отполированной. Поверх нее ставился еще высокий стульчик с перекладиной, нечто вроде кресла о двух ножках. Но это уже совсем была роскошь, и не все отцы делали своим детям такие богатые и такие удобные катушки. У нас такую катушку называли еще коньком. Ее хорошо было подталкивать сзади и кататься на ней с любой горки да и просто так толкать ее, изредка становиться ногой на запятки, а то и просто катиться по дороге, по снегу, отталкиваясь ногой.

Зима была длинная, долгая, но не настолько, чтобы накататься вволю.

18

Смутно помню, как в том же самом, я думаю, году мы всей семьей ездили в ближайший от нас город. В памяти осталось, как идем по улице, по деревянному, кое-где качающемуся под ногой тротуару. Все время поэтому приходится смотреть под ноги. Я, может быть, даже не понимал, что мы идем по городу, помню только этот деревянный, зыбкий, качающийся под ногой тротуар. Отец ведет меня за руку, а может быть, я и сам иду...

Мне запомнилось, как в темной, завешенной шторами комнате фотограф дает мне в руки какую-то книжечку и, перед тем как снять колпачок с объектива, говорит более сестре, наверно, которая меньше меня, что сейчас из окошечка, им открываемого, вылетит птичка...

От всего этого остался снимок, фотография осталась. Отец, мать, они совсем молодые, принаряженные, мы с сестрой. В руках у меня эта книжка, которую я крепко прижимаю к груди, в руке у сестры — бумажный цветок. На мне белая рубаха, сапоги, волосы у меня еще светлые, хотя и не такие, как у сестры, темнее.

По виду мне можно дать лет пять, но думаю я, что было мне намного меньше.

19

В тот же раз, скорее всего, когда мы были в городе, когда мы еще только подъезжали к нему, приближались к железнодорожному полотну, а может быть, и возле шлагбаума остановились, у переезда у самого,



я впервые увидел близко проходивший поезд. Мы стояли внизу, под заметенной снегом, запорошенной угольной пылью насыпью. Стояли здесь, ожидая, когда пройдет поезд. Отец держал коня нашего Егорку под уздцы, потому что с Егоркой нашим могло быть всякое, он мог испугаться. И вот наконец далеко в поле показался поезд, сначала еле видный, далеко растянувшийся состав. С каждой минутой он все ближе подходил к нам. И когда он почти уже поравнялся с нами, с Егоркой, переминающимся с ноги на ногу, и с нашим возом, подле которого я стоял, тянущий за собой вагоны паровоз то ли оттого, что тяжело было, или потому, что он приближался к станции, вместе со струей выпускаемого им пара вдруг издал сильный, раздирающий душу гудок — пронзительный такой, тем более сильный, что на морозе, — оглушающий, резкий свист. Для меня это было так неожиданно, что я, стоя тут у лошади, у саней, на снегу этом, вслед за гудком стал медленно приседать и стал тянуть эту взятую паровозом ноту, тянул и приседал, приседал и тянул. Очень испугался.

Такая вот вышла у меня встреча с поездом в первый раз...

20

По утрам вокруг избы нашей всегда было много заячьих следов. Зайцев у нас в поселке ловил Степан, сын соседа, совсем уже взрослый парень. Ловил он их петлями, стальными такими сверкающими на солнце, тонкими, как волос, почти невидимыми на снегу петлями. Он ставил эту петлю на протоптанной зайцем тропе, привязав ее к стволу дерева, к рядом стоящему кустику какому-нибудь, и пробегавший по тропе русак вскакивал в эту петлю и затягивал ее на своей шее.

Зайцы были очень крупные, очень большие, когда Степан тащил их из лесу, задние ноги у них волочились по земле. Я сам однажды видел возвращающегося из лесу Степана с этими выпутанными из петель, подвешенными к поясу зайцами, с тонкими, горящими на солнце, в кольцо скрученными на плече, за спиной у него, петлями...

Особенно много заячьих следов появлялось к утру на снежной целине, там, где у нас была ляга. Зайцы грызли здесь молодые осинки и бегали к зародам, в которых было сметано оставленное на зиму в лесу на покосах сено.

21

Может быть, в эту, а может, и в следующую зиму отец запряг Егорку в сани, посадил меня в передок и отправился за дровами. Мы жили в лесу и потому на зиму дров много не заготовляли. К тому же зимой по санному пути вывозить дрова было легче да и времени свободного было больше.

Выехали мы не рано, потому что лес у нас был близко, и, пока отец свалил несколько старых берез, распилил и раскрежевал их, а затем эти расколотые поленья сложил в сани, начало темнеть. Когда же мы выехали на дорогу, ведущую в наш поселок, тут совсем уже темно стало. Ночь была хотя и зимняя, снег вокруг глубокий лежал, но все-таки было темно, потому что в лесу, как известно, всегда намного темнее. И вот, когда мы выехали на дорогу, повернули к дому, отец увидел, что вслед за нами, за санями нашими, наскакивая друг на друга и вскидывая задами, стаей бегут волки. Бегут не отставая, но и не приближаясь слишком близко. Увидев это, отец принялся нахлестывать Егорку, в то время еще молодого, резвого. Да и сам Егорка наш, как видно, почуял за собой волков, потому что стал всхрапывать и по гладкой, скользкой дороге рванул что было силы вперед. Я сидел, как уже сказано, в передке саней, спиной к лошади, лицом к звездам, с головой, обвязанной шалью мамы, и видел перед собой только отца, нахлестывающего лошадь, и фигуры волков у него за спиной, там, во тьме, на дороге, за дровами, за санями за нашими, загривки волков, несущихся вскачь, обг  яющих друг друга. Как нагоняют они нас и почти вскакивают к нам в сани.

Только когда уже мы подъезжали к воротам нашим, к околице подъехали, они стали отставать от нас. Я понял это по тому, что отец вдруг стал придерживать уже дымившуюся лошадь.

Из всего, о чем я здесь рассказываю, я запомнил только сами эти фигуры волков, хорошо видные во тьме, то, как они бегут за нами, как сни почти уже нагоняют нас, а все остальное знаю больше со слов отца, который в тот же день, когда мы вернулись домой, рассказывал все это матери.

22

Каждую зиму, когда наступали морозы, прилетали к нам снегири. Я ловил их петлями из хвоста нашего Егорки, укрепленными на небольшой квадратной дощечке. Лучше всего, если предназначенный для такого случая волос был светлый, он был менее заметным. Я насыпал на эту дощечку льняного семени, которое снегири очень любили, и ставил ее во двор, перед окнами, где чаще всего и собирались у нас по утрам снегири. Они всегда собирались на одном и том же месте, где-нибудь в выбоинке возле ворот, а то и просто на разметанном снегу во дворе. Соорудив заранее этот не такой уж хитрый силок, я оставлял его на том месте, где они собирались, а потом, продышав глазок в затянутом льдом стекле, сидел и наблюдал за тем, что делалось во дворе, следил за моей усыпанной льняным семенем доской, ждал, когда наконец они прилетят. Иной раз приходилось ждать очень долго, но так или иначе они прилетали, всегда очень неожиданно, и тогда я, глянув в сверкающее от попавшего в него солнца окошечко, видел, как там, где только что была эта моя утонувшая в снегу дощечка, копошилась стайка красногрудых, горевших на солнце снегирей. Они обычно слетались все разом, все сколько их есть, садились на утыканную волосяными петлями дощечку, с жадностью набрасываясь на любимое ими льняное семя. Я еще некоторое время выжидал, чтобы снегири немного освоились, потоптавшись на дощечке, а потом, с силой хлопнув дверью, выскакивал из избы и со всех ног бежал к дощечке этой. Снегири рассыпались по сторонам, взлетали над дощечкой, но один или два снегиря обязательно застревали, запутывались лапками в моем силке.

Красные на белом снегу снегири были очень красивы.

Они прилетали обычно в солнечный день, в самый что ни на есть лютый мороз, когда, казалось, и носа нельзя было высунуть за дверь.

23

За избой, на задворках, была когда-то угольная яма. Теперь здесь росли чахлые березы да такие же тоненькие, кривые осинки. Место это всегда было сырое, глухое, темное, даже трава не росла тут никогда по-настоящему. Наверно, все потому же, что тут, на задворках, жгли уголь. С незапамятных времен сохранилось здесь несколько поленниц березовых, и вот именно здесь, недалеко от такой старой березовой поленницы, я увидел однажды змею, обыкновенную гадюку, я даже чуть не наступил на нее босой ногой. После чего она тотчас заползла в поленницу, и мы ее долго искали с ребятами, которых я позвал, среди них были и совсем уже взрослые, и скоро нашли ее в одной из таких полусгнивших поленниц, разобрав ее почти до самого основания. Кто-то из ребят этих расщепил тут же срубленную березку и защемил в ней эту змею, зажал ее поперек туловища, а потом те же ребята разожгли костер и, когда пламя костра стало разгораться, сунули в него змею. И вот что мне запомнилось больше всего. Когда защемленную таким образом змею поднесли к огню, она быстро метнула свою голову в огонь, она как бы ужалила само это пламя. Кто-то из этих опять же ребят, которые были с нами, сказал, что, должно быть, змея приняла пламя костра за коровье вымя, которое тут же и попыталась ужалить. И нам тогда это, я помню, показалось правдоподобным.

24

Я думаю, что мои новые товарищи, березовские ребятишки, вовсе не были такими уж большими хулиганами, но они были все-таки лесными, а я только что приехал из Большой деревни, с большой реки и был среди них не то чтобы робкий парнишка, но я был новичок, только-только что сюда приехавший.



В первый день, когда я еще плохо их знал, только познакомился, мы пошли в лес, отправились на те же самые наши задворки, о которых я уже рассказал. И, должно быть, из благодарности, что они так быстро приняли меня в свою компанию, я вслед за ними с ходу стал так же, как и они, произносить все те слова, которые у нас произносят, не вдаваясь в их смысл, и которые я к тому времени уже слышал не раз. Некоторые из этих слов, которые я произносил, были очень плохие и грязные. И в ту же минуту невдалеке от себя я увидел отца. Спокойно, как будто ничего и не случилось, он проходил мимо. Пришел он сюда, чтобы вырубить осиновые колья для ограды, и прошел в двух шагах от нас.

Долго я не возвращался домой в этот день, я был испуган. Я долго бродил по лесу и просил бога, чтобы он помог мне. Я впервые обращался к богу со словами мольбы. Мне казалось, что у меня просто не было другого выхода. «Я никогда больше не буду, никогда!» — говорил я себе и богу и просил бога, чтобы отец и мать никогда не узнали о том, как я ругался. Чтобы как-нибудь так случилось, чтобы отец как бы и не слышал того, что я там, в этом лесу, говорил.

Не было в мире человека, который был бы так же бесконечно несчастен, как я в тот день.

Я пришел домой, когда совсем уже стемнело, и долго не смел переступить порога избы, долго стоял в сенях. Я и во тьме прятал глаза и потом еще долго прятался. Но я переспал ночь, и ничего не случилось. Никто мне ничего не сказал и на другой день, как будто это и не я совсем там был.

25

Под окном тут тоже была такая же золотая, такая же зеленая поляна, хотя, может быть, и не такая утоптанная, как в Большой деревне, но зато огромная, тянувшаяся до самого болота, до этих кривых и темных осин, что стояли теперь в воде.

Поляна эта тянулась через весь поселок, от одной его околицы до другой. Здесь было просторно, было где поиграть и побегать, места хватало.

После пасхи, не помню уже на какой день, когда трава понемногу начинала прошивать землю, пробиваться наружу, мы катали крашеные яйца. Самая любимая в эти годы наша игра. Самоварную трубу клали на какое-нибудь возвышение, на полено какое-нибудь, и пускали в нее яичко. Каждый пускал свое. Выкатившееся из трубы яичко катилось еще некоторое время по земле, по траве, а потом останавливалось где-нибудь в ложбинке, в ямке, еле заметной глазу. После этого другой кто-нибудь пускал свое яичко в ту же самую трубу, и оно катилось по следам первого, а иногда и сворачивало далеко в сторону. Если оно, это пущенное вслед за первым яйцо, настигало то, которое было пущено ранее, касалось его, а то и разбивало, стукалось об него, то владелец только что выпущенного яичка забирал себе сбитое им. Так, один за другим, каждый пускал в трубу свое яйцо. Яички были разные по цвету, крашеные, у каждого был свой цвет, и легко было запомнить, кому принадлежит то или иное выкатившееся из трубы яйцо.

Были тут и радости, и слезы. Иной из нас, не выдержав вида разбитого товарищем яичка, начинал горько плакать.

К вечеру полянка перед нашей избой оказывалась засыпанной яичной скорлупой всех цветов и оттенков. Яички были самые разные: красные, синие, голубые или так называемые кубовые. Особенно хороши были те, что были покрашены отваром из луковой кожуры. У них был золотистый, коричневый цвет...

Были такие умельцы катать яйца, что приходили домой с раздутыми животами. Рубаха отвисала на животах у них от накатанных за день чужих яиц. Я всегда проигрывал. А потом шел к матери, просить, чтобы она мне дала еще, и она мне никогда не отказывала, хотя и ругалась, огорчалась моими проигрышами.

26

Каждую весну, едва только снег стаивал, а березы, совсем еще голые, только готовились еще выпустить почку, мы гнали березовый сок, или березовку, как мы этот сок называли. Для этого выбирали березу не молодую, а такую, которая была уже в возрасте, у которой была грубая, шершавая и очень толстая шкура, и делали надруб на ней — невысоко, на метр, на полметра от земли. И когда текущие там, под корой, в стволе дерева, в слоях его, проснувшиеся соки земли начинали понемногу стекать, сочиться, а иной раз даже и бежать струей, мы подставляли под эту струю кружку, или бутылку, или любую другую посудину, и скоро, через час какой-нибудь, через полчаса уже, она была полна сладкого, прозрачного, светлого, как слеза, березового сока, который мы тут же и выпивали а потом, когда еще и в другие бутылки набегало, приносили домой, ибо, повторяю я, не было ничего слаще этого березового сока, этой чистой, светлой и прозрачной водицы. Мы ходили со своими бутылками от одной березы к другой, расставляли их повсюду, берез было много. У каждой березы был свой сок, свой вкус сока, не было двух одинаковых берез, с одинаковым соком: у одной он был более сладкий, у другой менее... Утром, едва встав, мы спешили к нашим березам, к оставленным на ночь бутылкам, которые давно уже были полны березовкой.

Продолжалось это неделю какую-нибудь или две, и надо было не упустить этого срока. День ото дня березовка поступала все медленнее, все скупее и наконец и вовсе переставала течь... В первые дни она бежала ручьем, только успевай подставлять, успевай убирать посуду.

Мне кажется, если я приеду туда, в Березовку нашу, я непременно, как бы сильно они ни заросли, найду сделанные мной отметины на тех березах, из которых я гнал березовку...

27

Через эту поляну, которая была у нас не чем иным, как улицей, проходила дорога — две глубокие, заполненные пылью, оставленные колесами колеи. Между ними была еще одна, уже не столь глубокая, протоптанная лошадью. Между колеями и следом, который был проделан лошадью, росла трава. Называлась она метликой, или метлицей. Всякий раз, когда кому-нибудь приходилось ехать на телеге через поляну, по дороге, по колее этой, она, метлика эта, плотно навивалась на трубки колес, на тележную ось.

Здесь, в этой пыли, в этой колее, смешно потряхивая хвостом, всегда скакала серенькая, с белым брюшком и белой грудкой, с маленькой головкой птичка. Не знаю почему, но я долгое время считал про себя, что это ласточка. Она и в самом деле была, как я увидел потом, чем-то похожа на ласточку, такая же ладная и быстрая такая же, очень веселая, бесконечно помахивающая хвостом птичка. Я только потом, многие годы спустя, узнал, что это трясогузка, трясогузка, а не ласточка, как я думал вначале. Она и впрямь все время трясет своим хвостиком, бьет им по земле, по дороге, а чаще всего по пыли, потому что она любит садиться на дорогу, где есть теплая, нагревшаяся на солнце пыль.

Мне очень запомнилась эта купающаяся в пыли трясогузка. А ласточек у нас, в лесу этом, в тайге почти что, вдалеке от воды, и не было вовсе, совсем, я думаю, не было...

Я очень любил этих птичек, они мне очень нравились, я и сейчас не могу смотреть на них без волнения. Я даже думал одно время, что они водились только там, у нас, в нашей Березовке, на дороге, что проходит через Березовку.

28

Тут, посреди этой поросшей травой улицы, на поляне, лежащей перед окнами, всегда было много кузнечиков. В жаркий день, когда солнце пекло, а солнце пекло у нас летом очень сильно, они то и дело выскакивали из-под ног и, треща, взмывали в воздух. Сам кузнечик был черным, но, когда он поднимался в воздух, плащик у него распахивался, и он делался очень красным, очень ярким... Пока он летел, он все время оставался красным. Пролетев шагов пять, кузнечик садился. Когда он садился, он исчезал в траве, сливался с землей. Но если хорошо заметить, куда он сел, можно было, осторожно подкравшись, накрыть его ладошкой сверху и взять затем в руку. Зажав его в кулак, сказать ему тихо туда, в кулак: «Кузнец, кузнец, отпусти мне смолки. Не дашь мне смолки, я тебя убью!» И кузнец тот же час незамедлительно отпускал тебе на ладошку маленькую капельку коричнево-черной, пронизанной солнцем смолы.



В жаркий полдень на солнцепеке, на заросшей травой насквозь прокаленной стрекочущей поляне у нас их много прыгало из-под ног, этих красных кузнечиков.

29

На половине пути между Большой деревней и нашей Березовкой стоял у нас бор. Это был настоящий, красный, а может быть, даже черный бор, бор-беломошник. Снизу под ним был действительно белый мох, мохягельник... Никогда я потом ничего подобного не видел. Я думаю, что это было лучшее место на земле. Бор назывался Королевским. Впрочем, так назывался кордон, который стоял у дороги, на выезде из бора, на самом краю его. Был это высокий, весь просмоленный, потемневший от времени до звона сухой дом. Я всегда с какой-то тайной радостью, с нетерпением ждал, когда мы выедем из леса и я его увижу, этот дом. Мне казалось, что тут, на кордоне, в лесничестве этом, как и вообще в этом бору, живут и работают какие-то особые люди, не такие, как все, как те, что жили у нас, в Березовке нашей, и там, в Большой деревне, что они счастливее нас всех, счастливее других. Я и сейчас, признаться, так думаю, и отдал бы все, чтобы жить в этом бору, в этом доме на краю леса, рядом с дорогой в Березовку.

Я много раз ездил с отцом из Большой деревни в Березовку и из Березовки в Большую деревню. Сосны тут стояли одна к другой, без единого сучка, ровные, прямые, освещенные ярко с одной стороны солнцем. Под солнцем наверху там была только легкая, небольшая гривка хвои. Остро пахло разогретой смолой, чирикала какая-то птичка, бесшумно перескакивала с сука на сук осторожная желна, долбил свою корягу дятел. Бор стоял тихий, примолкший, чутко живущий своей собственной, скрытой от человека жизнью. Мы ехали с отцом в телеге, по самую ступицу увязающей в белом песке, и я отдавался очарованию тишины, вдыхал запахи смолы и черники. Черники тут и впрямь было много, и черники, и брусники, и всякой другой ягоды.

В одном месте тут к самой дороге подступали сосны, по стволам которых были нанесены оперенные сверху, довольно глубокие, вниз направленные стрелы. А внизу, под стрелой, был прибит крохотный такой, из оцинкованного железа сделанный козырек. Я не знал тогда, что это за стрелы. А это, оказывается, добывали смолу, живицу добывали. Называлось это подсочкой...

Нигде не было лучше этой дороги, этого пути через бор. Я сидел на телеге и был совсем один, потому что правивший лошадью отец сидел по другую сторону телеги, ноги мои свешивались с грядки, и я всю дорогу оставался один на один с лесом, слушал его звуки, вдыхал его запахи, разглядывал его во многом потаенную, скрытую от человеческих глаз жизнь.

Нигде больше не было столько грибов, как здесь, в этом чудном бору. Они, как назло, росли возле самой дороги, по другую сторону канавы, на возвышении, на обратном ее скате, и надо было только остановить лошадь, спрыгнуть с телеги и собрать, сорвать их. Это было чем-то вроде в полном смысле слова испытания; проезжать мимо, видеть в двух шагах от себя семейки нежных, насквозь просвечивающих на солнце маслят, огромные красные шапки красноголовиков, а то и белых грибов даже, словно бы нарочно на самом виду выстроившихся по кромке дороги, и не иметь возможности выскочить и срезать их. Отец в таких случаях принимался яростно нахлестывать лошадь. Во всех таких, подобного рода соблазни-

тельных местах он, не глядя по сторонам, словно боясь поддаться искушению, начинал усиленно хлестать лошадь, только чтобы быстрее проехать это место. И, наверное, он был по-своему прав, потому что, начни мы останавливаться, мы никогда не добрались бы до дому. Так эти грибы и оставались позади нас, на самом виду. И так они и сейчас стоят в моей памяти!

Такой она была, эта дорога через бор.

## 30

В Березовке у нас не было ни белых грибов, как в бору, ни красноголовиков, тут были одни только подберезовики, которые у нас назывались обабками. Это был гриб очень слабый, легко впитывающий влагу, наполовину состоящий из воды и в то же время очень приятный, очень чистый гриб. Рос он больше всего под березами, на покосе, после того как скашивали траву. Вот почему ближе к осени, когда сенокос кончался, когда дожди начинали идти, я шел на покосы, в поскотину нашу шел, потому что теперь там уже скот ходил. Тут теперь было светло, просторно. Деревья, березы те же, стояли, как в парке, столько воздуха было под ними. И трава такая мягкая, нежная отрастала после покоса. Хорошо было ходить по ней. Белые березы, и под ними эти подберезовики — на длинной, слегка искривленной ножке, с коричневыми темными шляпками и очень белые, пористые снизу, очень похожие на березу.

Из всех грибов я больше всего любил подберезовики.

## 31

В избе у нас стоял сепаратор. Это была новинка в те дни. Как я понимаю сейчас, он был куплен на общественные деньги, принадлежал всей деревне и только на время был поставлен у нас в избе, в углу возле двери стоял, и соседи наши приходили к нам перегонять молоко. После того как молоко перегоняли, пропускали его через сепаратор, мы в большом тазу мыли все эти многочисленные чашечки, вкладывающиеся одна в другую, помогали матери мыть их...

Однажды, когда я, как обычно, сидел у сепаратора, смотрел, как тоненькой струйкой льются из рожка сливки, а мать крутила ручку сепаратора, она, не знаю почему именно в этот момент, рассказала мне про войну, о которой я еще ничего не знал, не слышал; о том, как там, на войне, убивают, как люди идут друг на друга и в свалке начинают убивать друг друга...

И я опять плакал и просил мать сказать, что такого не бывает и не может быть, что она сказала неправду.

Так я в первый раз услышал про войну.

## 32

После я нашел у отца в сундуке вещи, привезенные с войны — широкий военный ремень и почему-то тельняшку. И еще я увидел снимок его. Он в форме, в гимнастерке, ворот толстой суконной рубахи подпирает подбородок. На голове у него надета фуражка с маленьким черным козырьком. Он стоит перед коляской, на коленях стоит. Оказалось, что это пулемет, он перед пулеметом на коленях стоит, держится за рукояти пулемета...

Отец мой был участником гражданской войны. Мне почему-то кажется даже, что он был не простым красноармейцем, а командиром, командиром пулеметной роты, потому что рядом, на том же снимке, его товарищи... Но, может быть, это и не так. Сейчас уже этого не проверишь, потому что отец погиб в Отечественную войну. Тоже в пулеметной роте был.

Мне только кажется, что в дни той, первой для него войны отец мой находился где-то в районе Саратова. Название этого города запало мне в память еще с тех детских лет потому опять же, что оно часто произносилось в нашей семье.

Возможно, что и зтот запомнившийся мне снимок был сделан в том же Саратове, о котором я не раз слышал в те годы от отца.



## 33

Я был еще, наверно, очень мал, когда отец впервые взял меня с собой на пашню, посадил меня все на того же Егорку нашего, и я впервые стал боронить, стал ездить туда и обратно по раскорчеванной отцом узенькой полоске земли, которая одним своим концом подходила к дороге, а другим упиралась в заросшее мелким кустарником болото, которых в этой стороне у нас было много... Сначала небольшим однолемешным плугом отец поднял, распахал весь этот раскорчеванный им участок земли, а потом, когда он закончил, я начал боронить.

Сидя на покойной, широкой, как печь, спине нашего Егорки, я бойко из конца в конец гонял по свежей пахоте и даже пытался что-то петь... Шутка ли, меня не только посадили на лошадь, но и доверили мне настоящую взрослую работу!

На первых порах я, правда, очень сильно криулял, как у нас говорилось, ездил неровно, вилял из стороны в сторону, отчего один след у меня не сходился с другим, но постепенно я приловчился, и дело у меня пошло на лад, стало получаться намного лучше, тем более что Егорку нашего не нужно было понукать, он сам все знал и все понимал, сам поворачивал в конце прогона, надо было только сидеть на нем и не падать, покрепче держаться за его холку.

Так я понемногу и изборонил в этот день весь испаханный отцом участок... С тех пор всегда было так, всегда отец пахал, а боронил всегда я.

## 34

Дорога в поле, которое я ездил с отцом боронить, шла мимо бурых, уже окислившихся на солнце побегов молодого ольшаника. Здесь, как у нас говорили, драли корьё. Это так и называлось: драть корьё. Корье у нас, как и всюду, наверно, использовалось для дубления овчин, с его помощью выделывали кожу. Я не знаю, известно ли мне это было тогда, но вид этих голых, снизу доверху ободранных стволов, молоденькой, только еще начинающей расти ольхи знаком мне был с тех самых лет, когда я впервые оказался на этой дороге. Я все время видел по сторонам дороги эти голые, ободранные, порыжевшие на солнце прутики молодой ольхи.

Корье заготовляли с лета. Вязанки хрупкого, черного, уже подсохшего на солнце корья до самой осени лежали там же, где их заготовляли, под кустиками ольхи, на земле прямо. Потом их увозили.

И еще у нас драли лыко. И это тоже так и называлось: драть лыко. Липу драли на веревки, на мочало. Липы у нас, надо сказать, было немного, но все-таки и она по той же дороге кое-где попадалась. Лапти здесь, правда, не носили, но лыко требовалось, без лыка никак нельзя было обойтись. Вся упряжь была из лыка, из мочала. Его много требовалось... Лыко вымачивали, а потом высушивали и вили из него веревки, сбрую. В сенях у каждого хозяина был собственный небольшой запас с лета надранного лыка... Так что и эти голые молодые липки мне тоже очень запомнились.

А еще по сторонам дороги тут было много костяники. Это такая ягода твердая, она и впрямь костяника. Ядро у нее белое и твердое, как кость. Целая гроздь таких ягод — твердых, крепких, на тоненькой такой высокой ножке. Они, эти ягодки, так расположены, как будто семечки в шляпке подсолнуха. Ягодка очень вкусная и очень кислая, мы помногу их ели.

## 35

На том конце поселка, где была поскотина, тоже были ворота, и там у нас были покосы. Самое, наверно, поэтическое место из всех, какие я видел. Березы тут стояли редко, одна от другой далеко и, казалось, кружились в хороводе.

Тут мы и косили. Сенокос, может быть, самая прекрасная, самая веселая пора. Во всяком случае, мне так запомнилось. Когда начинался по-

кос, люди надевали все самое лучшее — лучшую рубашку, лучшую кофту, самый лучший платок. Приберегали для этого все самое лучшее.

После того как скошенное сено высыхало, его на волокушах начинали свозить в одно какое-нибудь место. Волокуши — это две вырубленные для этого, связанные между собой молодые березки. В них запрягали лошадь. Перетянутое веревкой сухое сено свозили на открытое, хорошо проветриваемое место, на какой-нибудь пригорок... Самое что ни на есть опять же детское занятие — ходить за волокушами, подтаскивать высохшее сено к будущему стогу.

А еще веселее было, когда начинали метать сено. Кто-нибудь один снизу подавал вилами, а другой с граблями стоял наверху, на стогу, и укладывал, поднимаясь все выше и выше. У нас в семье наверх приходилось лезть всегда мне. Отец подавал вилами снизу, а я, стоя наверху с граблями, укладывал его. Трудно было только потом слезать с высоко выложенного стога, скатываться с него вниз.

В один из таких дней, когда убирали сено, я неожиданно на той же ляге нашей увидел журавля. Вечером, когда уже заходило солнце, отец мне показал его издали. Посреди заросшего меленьким осинником болотца было сооружено что-то вроде копны сена, и на ней стоял журавль. Может быть, потому, что все происходило в уже сгущающихся сумерках, журавль показался мне прямо-таки невероятно, неестественно огромным. Вытянув длинную шею, он стоял на своих длинных, тонких, как трости, ногах. Ноги и впрямь у него были на удивление длинные, тонкие, прямые. Он стоял на круглой, установленной на кочке копне, в гнезде своем, скосив голову куда-то в сторону, вбок...

Зрелище было необычайное. Я не в силах был оторвать от него глаз.

## 36

На той же дороге, что вела к бору, было у нас еще одно совсем уже маленькое поле. Вблизи дороги тут стояла береза, которую я почему-то очень запомнил. Она была кривая, склонившаяся низко над дорогой и рогатая, стволы у нее невысоко от земли расходились в стороны, и хорошо было забраться туда, в это седло, и сидеть там, свесив ноги над дорогой, и тут мы с матерью жали. Делянка эта была только за год перед тем раскорчевана, и рожь, которая здесь росла, была очень высокая, густая. Мама учила меня жать. Сама она очень хорошо жала — и жала, и косила. Во всем поселке не было никого, кто мог бы так хорошо жать и косить, как наша мама. Если она становилась в один ряд с мужиком, то за ней никто не мог угнаться. Так у нас говорили.

Мама показала мне, как и сколько надо захватывать, как подвести серп и как тянуть, как резать надо. Очень боялась, чтобы я не отрезал пальцы. Она показала мне, сколько я должен за этот день успеть сжать, чтобы мы могли пойти домой. Одним словом, дала мне «урок»...

Делянка у нас была хотя и маленькая, но спина у меня очень скоро заболела.

После того как я нажал целый сноп, мама стала учить меня вязать, свивать такой длинный жгут из той же ржи, перевясло у нас называется, и туго затягивать им сноп, так, чтобы он потом не рассыпался, не развязался, подтыкать концы его, этого перевясла, под связанный, под спеленутый сноп.

Надо сказать, что это была очень трудная наука...

Я долго потом не мог ни согнуться, ни разогнуться.

## 37

В ту же осень на том же самом поле, которое мы с матерью жали, я увидел корчевальную машину. Она стояла у дороги, по краю убранного и уже под озимь вспаханного к тому времени поля, возле окопанного и обрубленного со всех сторон гигантского пня. Пожалуй, всего больше это было похоже на барабан, на тот, что можно видеть теперь где-нибудь у дороги с намотанным на него белым, спрятанным в свинцовую трубку телефонным проводом. На барабан корчевальной машины был намотан толстый, сплетенный из многих нитей проволоки трос. Трос этот закреплялся, вернее было бы сказать, накидывался в виде петли на подкопанный уже, подрубленный со всех сторон сосновый, а у нас — чаще березовый пень. Два человека у меня на глазах принимались крутить привод, нечто вроде молотильного, шестеренки приводились в движение, и пень извлекался из земли, медленно, но верно выворачивался, вытягивался из земли, как вытягивается гнилой зуб.

Я помню, какое большое впечатление произвела на меня корчевальная машина... Она появилась у нас, я думаю, незадолго до колхоза и тоже была куплена в складчину.

Это была прямо-таки огромная сила, очень большая помощь. Совсем не то, что корчевать пни вручную. Чтобы вытащить такой пень вручную одному человеку, моему отцу, например, потребовалось бы по крайней мере несколько дней.

## 38

Пастухом у нас в поселке был Митрофан, а я у него — подпаском. Митрофан был тяжелобольной, страдающий эпилепсией человек. Вместо слов из его полуоткрытого рта вырывалось какое-то нечленораздельное, неразборчивое мычание. Лицо искажено было гримасой боли. Каждое слово доставалось ему с великим трудом.

Он был нашим соседом, жил с матерью, покорной и добрейшей старухой и, кажется, я уже это забыл, с сестрой. Думаю, что он был еще не старым человеком, может быть, даже молодым парнем, хотя и запомнился мне человеком в годах, настоящим мужиком. Думаю, что это болезнь его так исковеркала. По бороде его, по подбородку, вечно текла слюна.

Каждое утро, еще до рассвета, мать готовила мне пастушескую сумку, куда засовывала заткнутую тряпкой бутылку топленого молока и кусок хлеба.

Мы угоняли наше стадо, когда солнце еще только начинало вставать, и пасли целый день, гоняли далеко в лес, далеко за поселок гоняли, а когда траву выкашивали, то и на покосы, что были за поскотиной. Среди дня, когда коровы ложились отдыхать, мы с Митрофаном тоже устраивались где-нибудь в холодке, развязывали наши мешки и принимались за обед.

Особенно трудно было управляться с коровами в жару, в середине дня, когда небо раскалялось и начинали одолевать пауты. Коровы стервенели и лезли туда, где было поглуше, в самую тень, и невозможно было их никакими силами оттуда выдрать. Не помогал даже кнут Митрофана. Коровы только глубже залезали в самую что ни на есть глухую чащу леса, в холодок, где была тень. Митрофан в такие минуты терял самообладание, гонялся за коровами с кнутом, больно хлеща их по бокам. Кнут у Митрофана был длинный, метров на пять, я думаю, и надолго оставлял на теле коровы вспухший темный след, заставлявший больно сжиматься сердца хозяек, доверивших нам своих коров.

Один раз, это было в полдень, с Митрофаном случился припадок, один из обычных его припадков. Его долго ломало и корежило, и он долго не приходил в себя, и я очень испугался, наблюдая это, и не знал, как ему помочь. Когда Митрофан стал приходить в себя, открыл глаза, он долго не понимал, что с ним и где он находится. Потом он тяжело поднялся и, все так же мыча и дико поводя глазами, бросился собирать стадо, согнать разбредшихся далеко по лесу коров, пуще прежнего нахлестывая их своим кнутом...

Несколько молодых, годовалых телок удалось найти только на другой день.

## 39

Из лесу, скорее всего из поскотины той же, я принес однажды куст смородины, куст рябины выкопал и куст малины дикой и все это посадил перед окнами у нас, перед избой... Одним словом, разбил такой садик для себя.

Сад мой просуществовал недолго. Утром однажды я проснулся и увидел, что все мои деревья, и смородина эта моя, и кусты малины, которую я только что посадил, все было вырвано, выворочено с корнем из земли и разбросано по сторонам. Я даже глазам своим не поверил, глядя в окно, настолько невероятным, неправдоподобным показалось мне все то, что я увидел. Я даже заплакал от горя, от обиды... Откуда мне было знать тогда, что деревня всегда неприязненно, неодобрительно относилась к любого рода опытам, экспериментам, никогда никому ничего подобного не прощала. Под окнами тут, перед домами, никогда ничего не росло, и в поселке у нас тоже никто ничего не сажал. Никому и в голову не приходило сажать что-либо... Что, тебе в лесу деревьев мало, нововведением решил заниматься, порядки новые насаждать? Садовод какой выискался!.. Так, видимо, рассуждала деревня тех дней.

Но я теперь все это могу объяснить, а тогда для меня все это было очень тяжело, очень горько. Я никак не мог всего этого объяснить и долго плакал от обиды.

## 40

Сразу за околицей, за воротами, что выводили из поселка, был ток, или, как у нас говорили, гумно. Тут у нас молотили... Место веселое и хорошо отовсюду проветриваемое. Здесь стояла молотилка, которая приводилась в движение конным приводом. В привод впрягали двух лошадей, по лошади с каждой стороны привода. Гонять лошадей в приводе было делом самых маленьких, тех, кто не мог выполнять другую, более сложную работу.

Целый день (встаешь, когда еще глаза слипаются) ходишь и ходишь за приводом, гоняешь лошадей по кругу, выбитому впряженной в привод лошадью, вслед ей, один круг за другим, пока не обмолотят весь хлеб, все скирды, тут же в стороне стоящие, не пропустят все это через молотилку. Молотилка ревет, давится снопами, особенно если попадется сырой, непросушенный сноп или когда стоящий за молотилкой, на подаче, машинист, опытный человек, знающий, как обращаться с молотилкой, не рассчитав, сунет больше, чем она способна переработать, пропустить через себя. Бабы, босые, с подоткнутыми подолами, с платками, надвинутыми на самые глаза, подтаскивают снопы поближе к молотилке, граблями убирают летящую из-под нее солому, подгребают зерно поближе к веялке, грохочущей тут же неподалеку. Столб пыли стоит и над молотилкой и над веялкой. А по краю гумна растет гора чистого, уже провеянного, отсортированного зерна...

Ходишь и ходишь по кругу за лошадьми, за приводом, ходишь как привязанный, как заведенный, ни присесть и ни остановиться. Разве что слетит ремень и на мгновение остановится, начнет работать вхолостую молотилка, и тогда, пока его не наденут, можно, не отходя далеко, сесть на землю, тут же у привода, а то даже и побежать к стоящему под березой ведру, напиться теплой, нагревшейся за день воды. Но когда уже совсем невмоготу, и голова идет кругом, и ноги не держат, сядешь под хвост лошади, на привод этот, на бревно, за которым ходишь, проедешь так круг или два, пока тебя не сгонят, не заметят и не прикрикнут на тебя...

## 41

Наш Егорка был еще молодой конь, довольно спокойного нрава, сильный и добрый, на него, как говорили, можно было навалить сколько угодно, и он никогда не отказывался, вез. Он только, может быть, по молодости лет был нервный и пугливый и был способен понести, если чего-нибудь пугался. Испугается чего-нибудь и понесет. Он и меня так однажды понес ни с того ни с сего, и довольно крепко, я не знаю, как я уцелел, да и он мог поломать себе ноги. Все дело в том было, что мы с моим товарищем, во время молотьбы опять же, возвращались с тока и решили испытать наших коней на обгонки, кто кого обгонит. Я, желая обогнать своего товарища и не думая о последствиях, ударил нашего Егорку вожжой, чего раньше мы, по-видимому, никогда не делали. Егорка или обиделся, или испугался и рванул, что называется, изо всех сил, а потом уже не мог остановиться. Я сразу понял, что случилась беда, что Егорка понес и остановить его я не в силах, что он разобьет и меня, и телегу и поломает себе ноги, разобьется сам. Я уцепился за край телеги, за грядку, держался как мог, ничего другого мне не оставалось... Егорка промахнулся, не попал в ворота, наскочил на изгородь, ограждающую поселок от леса, который был у нас с этой стороны, и вынес изгородь на себе, довольно далеко ее вынес. После этого он сразу остановился, стоял как вкопанный, тяжело дышал.

Я видел много раз, как разносили лошади, знаю, как всегда это страшно бывает, но первый раз испытал это на себе...

Никогда потом я уже не стегал нашего Егорку.

## 42

Настал день, когда я пошел в школу. Это случилось как-то неожиданно для меня самого. Неожиданно потому, что, несмотря на то, что мне уже шел девятый год, ни о какой школе речи пока не заходило, о ней даже не заговаривали. Но однажды к нам заехал наш дядя Миша, брат моей мамы, живущий там, в Большой деревне, с младшим сыном своим, моим сверстником, мы с ним на одной неделе родились. Дядя Миша вез сына в школу — туда, в соседнее с нами Ядрышкино, о котором я уже говорил, где была школа. Я не захотел отставать и, к удивлению моих родителей, тут же начал укладываться, чтобы ехать вместе с ними. Мои родители, как видно, еще не собирались посылать меня в школу, считали, как видно, что мне еще рано...

Я влез в телегу, и мы поехали...

Отчетливей всего помню первый урок. Все ученики, все три класса, сидели в одной большой комнате. Парты так и стояли в три ряда, и учительница переходила от класса к классу, от одного ряда к другому, занималась по очереди то с одним, то с другим классом. Она была по-молодому полная, вся кругленькая, круглоголовая, совсем еще молоденькая девушка. Ее звали, я это хорошо помню, Ираидой Львовной... Я рад, что не забыл имя своей первой учительницы.

На первом уроке Ираида Львовна раздала нам тетрадки и сказала, чтобы каждый из нас нарисовал, что он захочет.

Я, мне помнится, нарисовал дом, из трубы которого валил густой дым... Все, что я мог нарисовать. Ничего другого нарисовать я не мог, поскольку ничего другого не видел, не знал.

Урок этот кончился для меня совершенно неожиданно. Взяв у меня тетрадь, учительница вышла с ней на середину класса и показала всем мой рисунок, сказала, что вот так, как я, надо рисовать всем. Такое было начало...

Потом мы, все это было скорее всего на другой день, но мне запомнилось, что в тот же, сразу вслед за первым уроком, отправились в очень красивый, стоящий недалеко от нашей школы, тут же за дорогой прямо, огороженный плотным белым забором небольшой лес или парк, в котором росли высокие тополя и осины, и березы, я думаю, тоже росли, но были тут, мне помнится, и лиственницы, и ели, тоже очень красивые, высокие. Земля под ногами у нас была густо усеяна листьями, падающими с деревьев, уже пожелтевшими. И учительница сказала нам, чтобы мы от каждого дерева взяли по листочку по одному. И мы ходили за ней в этом лесу, среди осыпающих листву деревьев и высоко задирали головы и собирали эти листики...

Таким он был, этот мой первый день в школе.

Мы жили тут же, при школе, в небольшой комнате, рядом с другой, в которой жила семья технички. Нас было всего несколько человек, только из нашей Березовки да из другого, такого же, тоже в лесу, за болотом расположенного поселка, из Пенькова. Но первые дни, пока еще было сухо и тепло, мы ходили домой через болото напрямик, километра три, я думаю, по тропинке, каждый день почти ходили, а когда зима пришла, оста-

вались ночевать при школе, в этом общежитии, брали из дому еду на несколько дней, на неделю. Родители привозили нам картошку, которую варила нам та же техничка, картошку и хлеб, да молока бутылку или две. Другой еды не было.

Так мы при школе тут и жили все время.

43

Наша школа была одноэтажная, крытая железом, рубленная из самых что ни на есть отборных, одно в одно, сосновых бревен. Позади нее метров на пятьдесят простиралось большое, круглое, блестевшее спокойной гладью озеро. С той, с другой его стороны, стоял молчаливый, всегда немножко хмурый сосновый лес. Тропа, ведущая от школы, от крыльца, подходила вплотную к озеру, к мосткам, здесь поставленным, к воде. Вокруг школы, во дворе, да и здесь, на берегу озера, тоже росла эта мягкая и такая нежная для босых ног гусиная травка, по ней и впрямь всегда было так радостно ступать босыми ногами. И действительно, тут, на берегу этого озера, всегда ходили и гоготали щипавшие эту траву гуси...

По берегу, по краю его, озеро густо зарастало тростником, или рогозом. Так, кажется, называется этот род тростника, плоды которого представляют собой черную, необыкновенно тугую, твердую шишку. У нас его еще называют чернопалочником. За этими черными палками приходилось лезть в самую глухую часть озера, где вода уже подступала к горлу и было много ила. Но больше всего этого чернопалочника было по другую сторону озера, у того его берега, где, озаренные солнцем, высились могучие сосны вплотную подошедшего к озеру бора. Но подобраться туда было не так легко. Однако каждый из нас мечтал достать себе такую вот черную шишку.

Такая черная палка, черная сверху и белая изнутри шишка тростника, когда она высыхала, была в состоянии запушить всю улицу, устелить ее всю белым пухом. Постепенно она, все более и более разматываясь, распускалась, как пряжа какая-нибудь.

Трудно даже представить было себе, что одна такая шишка могла произвести такое количество пуха...

Мы бегали с такой шишкой по улице, мотали ею во все стороны, и позади нас стлался хвост густого, все гуще и гуще разматывающегося пуха, как если бы это был не пух, а дым...

44

Мы ехали с отцом через бор на телеге. Я не знаю, куда мы в этот раз ездили с ним. Помню только, что бор наш в этот день весь насквозь пропитан был серой и козырьки были доверху полны смолы. Должно быть, тут был самый густой участок леса, потому что телега наша глубоко уходила в колею и высокие сосны стояли одна к другой. И тут я увидел за деревьями низко склонившегося, пробирающегося между деревьями человека. В руках он держал что-то, должно быть, очень тяжелое, все плотно перебинтованное, обмотанное белыми тряпками. В таком наклоне, как держат оружие. Видимо, он только что перебежал дорогу, когда я увидел его. Я показал отцу туда, на лес, на пробирающегося за деревьями человека. Но отец промолчал, то ли не видел, то ли не хотел ничего говорить.

Мы проехали еще немного, и вдруг навстречу нам раздался стук копыт, и в тот же миг с двух сторон, и слева и справа от нас, отец даже не успел отвернуть в сторону, подпрыгивая в седлах, обтекая нас, промчался большой отряд людей в военной зеленой форме и в таких же зеленых фуражках. Все были как один. И у каждого за спиной была винтовка, лошади у всех были как одна, одинаково коричневые, одинаково рыжие.

Всадники разом утонули, исчезли в песке и в пыли позади нас, ускакали.

С годами, когда я вырос, я соединил вместе и этого человека, пробирающегося между деревьями, и этих мчащихся по дороге всадников.



45

Дорога в школу туда, в Ядрышкино, шла через большое торфяное болото. С одной стороны болота была наша маленькая Березовка, а с другой — Ядрышкино, куда мы ходили через это болото. А вокруг болота была дорога, по которой ездили на лошадях. Но этот путь был намного длиннее, поэтому в школу мы ходили напрямик, через болото.

Мы через него ходили по узенькой, не всегда даже хорошо различимой тропе с одной девочкой из нашего поселка, дочкой соседа, который жил через несколько домов от нас. Звали ее Синкой. Я не знаю, откуда у нее было такое имя. Должно быть, Ефросинья.

Синка была немногословная, молчаливая девочка. Вся семья у нее была такая... Я приходил к ним однажды, зачем-то меня посылали к ним, и видел у них в избе, в переднем углу, большое количество икон в старинных, как бы золотых окладах. Я раньше никогда таких не видел. Вся стена почти в несколько рядов была заставлена иконами. Я впервые видел так много икон в одном месте. У нас в доме, в углу, всегда стояла одна небольшая иконка, мамина, доставшаяся ей от родителей, от ее мамы. Когда она, наша мама, выходила замуж, покидала родительский дом, ее этой иконкой благословляли...

Мы выходили из дому рано, иногда еще до рассвета. Выбравшись из ворот поселка, мы поворачивали затем направо, тут и было то самое место, где рожь молотили. Солома в скирды всегда тут была сложена. А уж потом шли все прямо и прямо, вплоть до самого до болота нашего, через пашни, которые не так давно были раскорчеваны здесь у нас, через березняк, подступавший к дороге, который чем ближе к болоту, тем мельче и мельче становился.

Рядом с тропой, по которой мы пробирались, было много «окон». Это ямы такие, в которых таилась прозеленевшая, подернутая ряской вода. Самая обыкновенная на вид лужица, но, как ступишь в нее, так и дна не достанешь! Они, эти «окна», даже и зимой не замерзают никогда. Мне еще дома сказали, чтобы я никуда не сворачивал, шел все время прямо, по тропе все время шел, иначе я утону.

Я так и шел, и следом за мной шла Синка, так же, как и я, обвязанная материнским платком. Через плечо на мне была тяжелая холщовая сумка. Такая же сумка была и на Синке.

Сразу за лесом и за болотом место сухое. Тут сразу и свет и место сухое... Потом еще немного пройдешь, и вытоптанное пастбище начнется, а на нем кряжистые, разросшиеся во все стороны березы. А там совсем уже немного остается. Еще немного пройдешь, и вот она, школа!

Здесь, за болотом, и сосны были, а там у нас, в Березовке, одни только березы, березы да осины. Место очень низкое было...

Так мы и ходили с этой девочкой изо дня в день, зиму и лето, по одной общей тропе.

В темноте только из школы было трудно идти. Зимой рано темнело.

Я плохо помню Синку в школе, в классе, вернее сказать, даже почти не помню. Я вижу ее только на этой плохо промерзающей зимой тропе, по которой мы ходили с ней в школу.

Я не знаю, как назвать то чувство, которое я испытывал к этой девочке. Наверно, это и есть то, что называется первой любовью.

Я не помню, как я ее увидел в первый раз, как все это было, как началось, все это теперь скрылось как бы во тьме. Помню только, что, когда она появлялась в нашем конце, шла по улице, одна или с другой девочкой, подружкой, я уже издали, из окна избы своей, высматривал, следил за ней. Один раз даже залез для этого на крышу. Вероятно, еще и потому, что мать моя сшила в этот день мне новую рубашку и я хотел, чтобы Синка ее видела.

46

В ту же зиму, я думаю, когда я пошел в школу, началась у нас коллективизация и одновременно ликвидация кулаков, которых, как тогда говорили, ликвидировали как класс. Я помню, в избе у нас, в Березовке, угол

один был оклеен газетой и на ней поверху крупно было написано: «Ликвидируем кулачество как класс».

Отец в ту зиму с утра уже прямо уходил на собрания. Возвращался он поздно, был озабочен и очень молчалив, почти не разговаривал. По ночам они с матерью подолгу шептались о чем-то, что-то такое решали, то и дело вздыхали, тяжело ворочаясь, решали и не могли решиться. Просыпаясь от этих разговоров, я долго не мог заснуть потом, пытаясь понять то, о чем они говорили. Я плохо понимал, что происходит, хотя, может быть, все-таки уже и понимал, не мог не понимать.

Как и все люди вóкруг нас, они, должно быть, очень смутно пока еще, очень приблизительно представляли себе новую жизнь. Говорили, что все будет общее, единое, будет принадлежать всем равно и никому одному...

Но, должно быть, не столь уж долго продолжались эти разговоры, и эти собрания тоже не столь уж долго шли. Настал такой день, когда увели со двора корову. Сначала лошадь, а потом и корову. Мама сама ее уводила. А потом даже и овец, и кур. Но кур, а потом и овец вернули. Впрочем, вскоре после этого вернули и коров.

Я думаю, что помещение для коров на первое время было где-то на другом конце поселка, у Бездомных скорее всего. У них, как мне кажется, был достаточно большой двор, во всяком случае, настолько, чтобы можно было поместить всех тех коров, которые были у нас в поселке, в колхозе. Я думаю, что их было не больше десяти.

В то же самое время, мне помнится, когда в поселке у нас шла коллективизация, создавался колхоз, в Ядрышкине, где была моя школа, проходило раскулачивание. В нашей Березовке никого не раскулачивали, никого не выселяли, тут жили люди, не имевшие прежде своей земли, только-только начинавшие заводить свое хозяйство, раскорчевывать землю. А в Ядрышкине, там, где я учился, где мужики были покрепче, посостоятельнее, там раскулачивали. Я очень хорошо помню тот короткий зимний день. Мы еще были на уроках, когда увозили первую семью. Вой стоял на всю улицу. Особенно плакала одна молодая девушка, дочка раскулаченного, высылаемого из деревни мужика. Она убивалась больше всех. В тот же день возле сельсовета при большом скоплении народа шли торги, распродавали вещи только что раскулаченной семьи, все, что было у них отобрано, реквизировано: одежду, домашнюю утварь, хомуты.

Родители мои тоже хотели что-то купить на этих торгах, какую-то шаль, кажется, теплую, отец хотел купить матери, а потом решили, что ничего не надо покупать, мать сказала, что нехорошо пользоваться чужой бедой. И отец послушался матери, не стал с ней спорить...

Отец был горячо за колхоз, он верил в новую жизнь, верил в то, что колхоз вытянет крестьянина из бедности, из нищеты. Он только, помнится мне, был против поспешности, с которой проводилась борьба с религией и религиозными предрассудками, считал, как видно, что до того, как будет создана новая нравственность, нельзя подрывать старой, что человек неверующий скорее совершит преступление... Мне очень запомнился этот его разговор с матерью. Хотя сам он, по-моему, в бога не верил. Во всяком случае, я никогда не видел, чтобы он молился или хоть как-то вспоминал о боге. Мать еще держала иконку в углу, поглядывала иной раз туда, хотя и тоже не молилась, не приходилось видеть, чтобы она молилась, а отец вел себя таким образом, словно бы этой иконки и вовсе не было.

## 47

Вспоминаю, как всей нашей школой на Октябрьский праздник, я думаю, да и на Первое мая тоже ходили мы на демонстрацию. Рано с утра позади школы, у входа в нее, мы строились в ряды, в колонну и, когда начиналась демонстрация, выходили на улицу и вслед за взрослыми шли к сельсовету, украшенному в этот день, так же как и наша школа, лозунгами, красными полотнищами, трепетавшими на ветру. Над головами у нас,



над колонной, развевался флаг. По дороге к сельсовету мы пели песни революции, песни борьбы, которые тогда знали все и которые мне памятны с тех пор. Здесь, на площади у сельсовета, происходил митинг, говорили речи. Мне запомнился, не знаю, кто он был, один оратор, черный, заметно лысеющий, в кожаной фуражке. Он говорил очень темпераментно, но в его выговоре было что-то нерусское, во всяком случае, одна его фраза мне очень запомнилась, она звучала так: «Оны добывалы свободы». Необъяснимо почему, фраза эта так полюбилась нам, влезла нам в голову. Мы без конца повторяли ее, как повторяют иной раз всякую необычную, поражающую детский слух фразу.

По другую сторону озера, если пройти по мосту, ближе к лесу, на зеленой полянке была оградка, далеко видимая,— ограждение, за которым было несколько могил с красными звездами над деревянными, той же красной краской покрашенными обелисками. Я не знаю, и тогда, может быть, не знал, что это были за могилы и кто там был похоронен, но в этот день, осенью, после митинга, тоже в колонне все шли сюда, к этому забранному штакетником клочку земли. И здесь, у этих могил, у этого, как называли его, памятника жертвам революции, тоже говорились речи.

На стене нашей школы, в самом классе нашем, внутри, высоко под потолком протянутый через всю стену висел лозунг — тоже такое же красное полотнище, на котором было крупно написано: «Мир хижинам, война дворцам!» Но я почему-то вижу этот лозунг со двора — так осталось в памяти,— через окно. Заглядываю через подоконник в это окно со двора. Во время перемены, должно быть...

## 48

В те дни, начав учиться, мы, помнится мне, как-то особенно яростно резались в бабки. Игра эта поглощала все наше время. Играли и на перемене, и после уроков играли. Бабки эти были не что иное, как бараньи косточки, суставчики такие белые, иногда еще и покрашенные, цветные. Строй, или, как еще говорили, кон бабок, выстраивали во дворе, подле забора где-нибудь, на поляне на той же. Каждый из играющих выставлял, как правило, по одной бабке. Большая бабка, которой разбивали кон, именовалась панкóм. Каждый игрок должен был играть своим панкóм. Панок этот чаще всего заливали свинцом, и он был очень тяжелым. Хороший панок ценился очень дорого, за него давали двадцать, а то даже и тридцать бабок. Хорошим панком можно было ударить так, что весь кон взлетал на воздух. Все зависело от удара, от собственной меткости. Были у нас большие мастера этого дела.

Бабки и покупали, и обменивали. Шесть бабок, насколько я помню, стоили одну копейку. У тех из нас, кому в игре везло больше, кто умел хорошо играть, собирались мешки этих бабок. А те, кто играть не умел и кому не везло, те выискивали все какие только есть способы, чтобы заработать копейку-другую, купить на них бабок и поиграть.

Странный у меня был отец! Однажды, когда он приехал на мельницу, а заодно и привез мне кой-какой еды, поглядев на то, как мы играем, оставил мне десять копеек на бабки.

Я их, должно быть, в тот же день проиграл, но мои друзья долго еще вспоминали об этом, завидовали мне, рассказывая друг другу, как отец оставил мне гривенник на бабки. Никто из них этого понять не мог, да я и сам не понимал, как это случилось. Обычно отец деньгами не разбрасывался, а тут вдруг взял и оставил мне целых десять копеек на бабки.

## 49

Здесь, в этом Ядрышкине, где мы учились, ближе к болоту, через которое мы ходили, была паровая мельница, которая в прежние времена, как ни странно это, была, как нам говорили, суконной фабрикой. И действительно, в отвалах, которые были недалеко от этой мельницы и от школы, на берегу заросшего тростником озера, то и дело находили мы кусочки красного и синего цветного сукна... Здесь, в отвалах, в рыхлой, пере-

мешанной с золой и спекшимся углем земле, постоянно копались мы после уроков, искали тут всякого рода железо, болты и гайки ржавые, любой другой металлический лом, и все это тащили на склад утильсырья, находившийся тут же, в одном из крыльев мельницы. Тогда все принимали, и тряпье, и стекло, и кастрюли старые медные, и, конечно, железо, железо в первую очередь. Стране был нужен металл, и мы, как все, его собирали. Вся страна собирала его, этот утиль. В тех же отвалах можно было найти и крупные кости, старые, случайно оказавшиеся здесь. Их тоже собирали и тоже сдавали на тот же склад утильсырья, и они даже ценились дороже, чем железо. Не знаю уж, на что они годились, эти кости...

Сразу после уроков мы отправлялись к отвалам и все, что находили в них, тащили туда, к складу этому. В самом здании мельницы, как видно, была кочегарка, потому что наружу из стены был выведен довольно широкий железный желоб, по которому лилась горячая, отдающая ржавчиной вода. Каждое утро мы бегали сюда умываться.

Возле мельницы всегда стояли подводы. Со всей округи сюда приезжали молоть зерно.

## 50

В то же, я думаю, время в соседнем поселке, в Пенькове, видел я в первый раз кино. Показывали его в чьей-то избе при завешенных одеялами окнах. Изба была до отказа забита людьми, желающими смотреть фильм, пришедшими не из одного Пенькова, наверно, и не из одной Березовки. Мы, те, кто поменьше, сидели на полу, в ногах у взрослых, и задирали головы вверх. Экран, висящий на глухой бревенчатой стене, был у нас перед самым носом.

Я даже помню то, что нам показывали. Как видно, это был фильм о 1905 годе, о 9-м января, о расстреле рабочих, идущих к Зимнему дворцу, к царю. Мы сидели в темноте и, не отрываясь, смотрели на экран, который только за минуту до этого был белым полотнищем, и вдруг все задвигалось, и без слов еще пока, без звука пока еще заговорили люди.

Я не все помню, помню только, что в фильме был показан поп Гапон, тот, что вел людей к Зимнему дворцу. Больше всего запомнилось, как потом, через какое-то время, рабочие, разыскав скрывающегося после 9-го января Гапона, душили его... Мне кажется, что я до сих пор помню испуганный взгляд этого человека.

Не знаю, что это была за картина.

Я и потом смотрел еще какие-то фильмы. Нас, ребят, пускали бесплатно. Мы должны были по очереди крутить ручку дающей свет динамо-машины. Каждый крутил свою часть. Одну часть покрутишь — и можешь смотреть все остальные. Это было для нас хотя и трудное, но привычное дело.

## 51

Летом, в следующем году уже, то распадавшийся, то создаваемый вновь колхоз наш окончательно уже на этот раз организовался, я увидел одного человека, должно быть, уполномоченного из района, или, как еще говорили у нас в те дни, партийца. Он стоял перед столом, поставленным прямо на землю, тут, возле избы, которая была у нас к тому времени выстроена на другой стороне улицы и отведена под правление колхоза. Единственная постройка, которая была у нас на той стороне. Он стоял перед поставленным перед окнами избы столом и, как видно, говорил речь. Рукава рубашки у него были закатаны. Рубашка на нем была белая, гладкая, с отложным, как мне кажется, воротом и заправлена была в штаны, перетянутые желтым и узким ремнем. Руки он держал в карманах. Человек этот произвел на меня очень большое впечатление. Я впервые увидел одетого таким образом человека. Мужики в деревне у нас носили в те годы длинные навыпуск рубахи, чаще всего кубового, тускло-синего цвета, подпоясанные в лучшем случае веревочкой или пояском таким белым. Белой рубахи я до того времени никогда не видел. А тут еще этот ремень желтый, кожаный, поверх штанов надетый, и заправленная в штаны рубаха!



Я долго потом вспоминал этого человека, он казался мне выходцем из какого-то другого, незнакомого мне мира. Да так это, наверно, и было...

Я пришел домой и тут же заправил рубаху таким же образом, хотя ремешка у меня не было да и белой рубахи тоже. Рубаха на мне была домотканая, холщовая. И, конечно, я был босым. Но мне казалось, что я очень похож на приезжавшего и говорившего речь уполномоченного.

## 52

Сейчас уже не помню где, но где-то не очень далеко от нас, от Большой деревни и от Березовки, в стороне от дорог в те же самые годы, я думаю, организовалась коммуна. И в ней, в этой коммуне, жил переехавший туда из Большой деревни наш дядя Миша, у которого там, в Большой деревне, своей земли тоже не было. У него была швейная машина, и он шил всякую одежду. Дядя Миша был мастеровой...

Коммуна эта, я теперь забыл ее название, начинала свою жизнь тоже на чистом месте, тоже в лесу, среди берез и сосен, на выселках, как у нас говорили. Мужики, выселившиеся сюда из Большой деревни и других близлежащих деревень, коммунары, как они себя называли, сами расчищали, распахивали и засевали раскорчеванную своими руками землю. Старший сын дяди Миши при всей его молодости, ему тогда и двадцати лет не было, был, как я понимаю, одним из главных организаторов этой коммуны. Он-то на несколько дней и привез меня туда, в эту только что образованную коммуну. Ездил, как видно, на станцию по каким-то своим делам, заехал к нам и увез меня, и я впервые увидел всю эту жизнь, построенную на совершенно новых для всех нас началах.

Я помню, что это было в начале весны... Вместе со всеми я, гость, приехав сюда, ходил в столовую, сидел за общим столом, и мне как гостю наложили полную миску горячей каши. Вся жизнь тут была общая, коллективная. Даже и на работу выходили вместе, в одно и то же время. Надо ли говорить, как все это было ново и удивительно для меня, мало что видевшего до того времени. И вот тут, в этом только что срубленном бараке, где они все, всей семьей жили, и дядя Миша наш, и жена дяди Миши, тетка моя, и их сыновья, я впервые услышал радио. Это было на другой день, утром, когда я только что проснулся. Мне дали в руки наушники — два черных эбонитовых кружочка, соединенных между собой железной дужкой, и я, как меня научили, надев их через голову, приладив их к ушам своим, услышал хотя и не очень громкие, но достаточно внятно произносимые слова. Мне сказали, что это Москва говорит.

Первый раз я надел наушники и первый раз услышал радио. Речь, как я уже сказал, была хотя и негромкая, но довольно внятная, разборчивая... Наушники эти включались прямо в стену — в розетку, в стене вделанную. Так что радио в полном смысле слова вошло в дом. Стоило воткнуть штепсель в розетку и надеть наушники на голову, чтобы услышать здесь, в лесу, в этом бараке, передачу из самой Москвы...

Я потом не раз вспоминал эту коммуну, и то, как я гостил там, у нашего дяди и у брата, и как там было удивительно и необычно все устроено.

Коммуна эта распалась вскоре, но мне там очень понравилось.

## 53

По вечерам в этом нашем общежитии при школе, когда уроки были сделаны, когда давно уже, может быть, надо было спать, мы начинали рассказывать сказки. Лежа на печи, на полатях, затаившись каждый в своем углу, в темноте, мы по десятому разу слушали одно и то же: и про Иванушку-дурачка, и про Василису Прекрасную, и про Серого волка, и про неизменно хитрую Лису... Это был свой, захватывающе живой, огромный мир, ничуть не менее реальный, чем тот, в котором мы жили сами. Давно уже надо было спать, а мы все слушали одну сказку за другой, и сердца наши то затаивались, то принимались неистово стучать...

Иные из нас знали бесконечно много сказок и были превосходными рассказчиками.

В доме у нас тоже рассказывали сказки, чаще всего мать моя рассказывала. Она была большая мастерица рассказывать сказки и знала их, мне кажется, великое множество. Хотя и некогда ей было особенно рассказывать, но все-таки больше всего сказок слышал я в ту пору от мамы... Мне особенно запомнилась одна, про медведя, у которого отрубили лапу. Как он, медведь этот, ходил вокруг избы, в которой сидели отрубившие ему, медведю, лапу старик со старухой, и как он пел, кружа вокруг избы на своей деревянной ноге: «Скрипи, скрипи, нога, скрипи, липовая... По селам спят, по деревням спят, одна баба не спит, на моей коже сидит. Мою шерстку прядет — не упрядывает, мою лапу варит — не уваривает».

Мне даже страшно становилось, когда в темноте на полатях, посреди избы, среди ночи, в который, впрочем, раз слушал я эту страшную песенку медведя, ковыляющего вокруг избы на своей деревянной ноге. Очень его жалко было...

Я все это очень ярко представлял себе: и избу, занесенную снегом, и старуху, которая сидит в избе там и прядет шерсть с лапы медведя, а саму эту лапу варит в горшке. Варит и не может сварить...

## 54

А еще, живя тут, в общежитии, мы примораживали к полу чугунок. Это был такой опыт или фокус, не знаю даже как назвать. Нам его показал сторож, что жил тут же, на кухне, вместе со своей женой, убиравшей школу, вечно сидел в своих валенках за перегородкой и дымил цигаркой. Оба они, как могли, заботились о нас, они нам и картошку варили и подкармливали нас, когда видели, что запасы взятой из дому еды, той же картошки хотя бы, подходили к концу... Вот он, чтобы позабавить нас, и научил нас примораживать чугунок к полу, показал нам, как это делается. Было это вечером однажды, когда мы опять же приготовили уже все свои уроки и уже даже поужинали. Взяли, как сказали нам, чугунок из-под картошки со стола и тут же за дверью набрали в него снегу. После этого поставили чугунок на пол, кинули в него горсть соли столовой и стали снег этот вместе с солью размешивать в чугунке. Мешали не очень долго, минуты две или три, я думаю, не больше. После этого сразу то один из нас, то другой пытался приподнять, сдвинуть как-нибудь этот чугунок, но ни у кого ничего не получалось. Он весь покрылся синим инеем и на глазах у нас до такой степени крепко приварился к полу, что отодрать его не было никакой возможности. Сколько мы ни пытались, сколько ни надсаживались, никто из нас не мог сдвинуть его с места. Такой вот холодильник-морозильник получился из нашего только что горячего чугунка, в котором мы варили картошку...

Я и до сих пор не знаю, в чем тут дело, почему брошенная в снег соль так прихватывала чугунок к полу, что при этом получалось, что происходило, но меня все это сильно занимало. Это было так здорово и так неожиданно, что я потом, когда возвращался домой, у себя в избе не раз проделывал этот опыт, примораживал и ведро и кастрюлю и другим показывал, как это делать...

Что-то было во всем этом от сказки, из тех сказок, которые мы, живя в этом общежитии нашем, долгими вечерами рассказывали друг другу перед сном.

## 55

Однажды, возвратясь из школы домой, я неожиданно для себя вдруг увидел на белом шнурочке висевшую под потолком у нас маленькую электрическую лампочку. Точно такую, я думаю, какую мне уже приходилось к тому времени видеть в том же Ядрышкине, на мельнице где-нибудь, а может быть, даже и в школе у нас. Те первые лампочки были еще прикрыты сверху белым таким, жестяным, светоотражающим колпачком.

Электрический свет у нас в доме! Это было удивительно и невероятно. Ни с того ни с сего, как говорится, среди бела дня... Я этому удивился и очень обрадовался.

Выключатель был вделан в самой лампочке, в ее белом фарфоровом патроне. Выключатель был черный. Надо было только повернуть его, чтобы свет загорелся. Действительно, когда стемнело, лампочка загорелась, вспыхнул очень яркий, непривычно сильный свет, озаривший вдруг всю нашу маленькую избу, все ее глухие закутки...



Не помню, сколько горела у нас эта лампочка, должно быть, недолго, может быть, всего несколько дней, а может, неделю или месяц, я не знаю уже, забыл... Должно быть, свет шел от какого-нибудь движка, от аккумулятора, установленного, может быть, у кого-нибудь из соседей. Точно так, как у нас установлен был общий для всех сепаратор. Может быть, кто-нибудь крутил его, этот движок, так же как это делали мы в те дни, когда показывали кино... Кто все это придумал, кто был инициатором этого дела, я тоже не знаю и тогда, наверно, не знал этого. Так или иначе лампочка горела у нас в доме, в нашей избе. Отец, помню, был очень рад да и все мы тоже.

Надолго осталась у меня в памяти эта электрическая лампочка, горевшая под потолком у нас...

## 56

В Березовке у меня была собачка, которую я звал Комариком. Была это маленькая, рыженькая, на длинных, тонких, словно бы еще не совсем окрепших ножках собачка. И впрямь больше похожая на недавно выведшегося, слабого и рахитичного комарика. «Комарик, Комарик!» — говорил я и носился за ним следом по деревне, по поселку нашему, так же, как и он носился за мной.

Я совершенно не помню, куда он потом девался. Должно быть, наш дядя Миша забрал его к себе, увез его в Большую деревню, а затем и в коммуну. Он ему очень нравился, этот Комарик мой.

У дяди Миши была еще и своя — большая собака, которую мы звали Во́ликом, наверное, потому, что она была похожа на волка, такая же большая и серая. Это был необычайно сильный и необыкновенно добрый, терпеливый волк, позволявший с собой делать все, что мы захотим...

Дядя Миша приезжал к нам время от времени в Березовку из Большой деревни своей, где он сначала жил, а затем и из коммуны, куда впоследствии он переселился, и всегда прихватывал с собой Волка, неотступно бежавшего за телегой, и мы всегда были рады ему, Волку нашему, рады были повидаться с ним. Это была в полном смысле слова родная душа.

И вот утром однажды во время урока я вдруг почувствовал, что возле моих ног кто-то улегся. Я взглянул туда, под парту к себе, и увидел Волка, молча глядевшего на меня. Я обрадовался ему и в то же время испугался. Мыслимое ли дело, чтобы собака во время урока появлялась в классе!

Он, видимо, потихоньку открыл дверь, а может быть, она и сама была немного приоткрыта, и он только слегка сунул в нее нос, чтобы она открылась еще больше, и незаметно прошмыгнул в класс, разыскал меня, среди многих других нашел мои ноги и лег у меня под партой, возле моих ног. И все это так тихо, что никто, в том числе и учительница наша, не заметил ни этой вдруг открывшейся посреди урока двери, ни пролезающей под партами собаки. Я еле дождался конца урока, сидел как на иголках, незаметно поглаживал моего Волика рукой, чтобы он лежал тихо и не выдавал себя. Но он так и вел себя.

Едва прозвенел звонок, как я на глазах у всех выбежал вместе с Воликом из класса. Я уже сообразил, что дядя где-то здесь, в Ядрышкине где-то, привез, должно быть, на мельницу зерно, потому Волик и прибежал ко мне, нашел меня в классе. Дядя действительно стоял возле своей подводы, дожидался своей очереди.

## 57

Я уже оканчивал третий класс, когда отец решил вернуться к себе на родину, в вятскую деревню. Не прижился он, как видно, все-таки в не столь уж просторных, как оказалось, сибирских краях. Я уже не помню,

как все это было, не помню почему-то и того, как мы ехали. Хорошо помню только, как мы со своими узлами (вещи у нас были завязаны в постель, в матрац из-под постели, и получались огромные кули) сидели на станции в ожидании поезда, сначала в вокзале, а потом и на перроне.

И вот еще что почему-то осталось в памяти. Когда мы в ожидании поезда уже стояли с этими своими узлами на перроне, какой-то человек соскочил с подножки замедлившего здесь ход железнодорожного состава и расшибся, разбился, как мне кажется, насмерть. Самого его я даже, кажется, почти не видел, но знал об этом, потому что его отпаивали, пытались поить из нашей кружки, из той, которую взяли у мамы, которая была у нашей мамы с собой.

Всего остального, как ни странно, не помню. Вижу себя уже только по приезде в тогдашнюю Вятку, в сам город этот. Отцу, как видно, все-таки не хотелось возвращаться в деревню к себе, и он пытался найти какую-то зацепку здесь, в городе, который, как я думаю, он мало знал. Мы остановились тут же, на станции, недалеко от железнодорожного переезда, жили у каких-то, как я теперь понимаю, знакомых отца, в маленьком, низеньком, покривившемся домике с калиткой, выводившей на улицу, к железной дороге прямо, прямо к железнодорожным путям, на которых все время маневрировали поезда и свистели паровозы. С самого утра отец уходил куда-то на целый день, что-то разыскивал, узнавал, а мы ждали его. Мы прожили тут, в этом доме, несколько дней, с неделю, я думаю, прожили, не больше.

Я боялся отходить далеко от дома, хоть и большой уже парень был. Выходил за ворота, а потом все время оглядывался, чтобы видеть, далеко ли я ушел, чтобы не потерять из виду и эти ворота, из которых я вышел, и дом, в котором мы остановились. Все время боялся, что уйду и не вернусь.

Совсем еще дикарь был, ничего еще, кроме леса, не видел.

## 58

День или два спустя после того, как мы сюда приехали, деньги у нас кончились, и мать послала меня продать десяток яичек — из тех, которые она взяла из дому. Для того скорее всего и взяла их с собой, чтобы продать, когда деньги кончатся. На этот раз я отошел немного подальше, как видно, успел уже немного освоиться, но не очень далеко и тут же на насыпи, возле тропы у железной дороги сел с этими яичками. Помню, что я очень боялся, что у меня отберут их городские ребятишки, которые, по моим тогдашним понятиям, все сплошь должны были быть отчаянными хулиганами и головорезами... Но ничего этого не случилось, никто меня и пальцем не тронул, и никто ничего у меня не отобрал.

Они, эти ребятишки, кстати сказать, играли тут же, недалеко от меня, на той же траве, хорошо уже прогретой, в какую-то незнакомую мне игру, втыкали в землю маленький перочинный ножичек. Игра эта, как я потом узнал, называлась «зубарик», или «зубарики». Вероятно, потому, что проигравшего заставляли зубами тащить из земли коротенький такой, нарочно для этого выструганный колышек, который забивали несколькими ударами того же самого ножичка, которым играли... Игра очень хитрая и сложная. Я потом не раз в нее играл и не раз тянул этот зубарик.

Я распродал все яички, весь десяток распродал, их у меня, как оказалось, быстро разобрали, и благополучно вернулся домой.

На другой день отец нашел какую-то подводу, погрузил нас на нее, и мы приехали в довольно большую деревню, которая к тому же одним длинным концом упиралась в село. Село расположено было за мостом. Это и была родина отца, деревня, в которой он родился, в которой жили его родные, наш дед, деревня, о существовании которой я до тех пор ничего не знал и даже не догадывался, что она существует на свете. Сюда мы и приехали.

## 59

Итак, мы вернулись в деревню, из которой уехали в голодный двадцать первый год, в тот самый год, в который я как раз и родился. Деревню, в которой я родился и которую только теперь увидел. Считалось, что мы приехали в Россию. Там, где мы только что жили, была Сибирь, а теперь мы приехали к себе на родину, в Россию приехали.



Нелегко, я думаю, было отцу возвращаться в дом, из которого он когда-то, как он, наверно, считал, уехал навсегда, и из дома этого и из деревни своей, в далекую для него, в неизвестную ему самому даль. Нас было у матери к тому времени четверо. Я из всех был самым старшим. Мы поселились в доме, фактическим хозяином в котором был теперь шурин наш, принятый, как здесь говорили, в дом человек, муж сестры моего отца, у которого тоже уже была своя семья.

Когда мы приехали, дед уже болел, был в постели, не вставал, сильно кашлял. Мне кажется, что уже через неделю после того, как мы приехали, он умер. Подготовленный им для себя самого гроб стоял в холодной и темной клети, в той половине избы, что выходила во двор. Я на него наткнулся, когда зашел в эту клеть, не помню теперь зачем. Я очень испугался, увидев во тьме посреди клети неожиданно так на двух табуретах длинный некрашеный гроб.

Помню, как я писал имя деда на белом, поставленном стоймя высоком кресте, когда крест был еще во дворе, а дед уже лежал на кладбище. Двор, в котором стоял этот прислоненный к стенке крест, был крытый, темный, а крест был белый.

Помню бабушку возле печи, темнолицую, неулыбчивую, может быть, и просто молчаливую, двигавшую ухватом в печи большие, тяжелые чугуны.

## 60

Первое лето, когда мы еще жили в доме деда, когда мы только-только еще сюда приехали, я в кладовке, которая находилась во дворе, но которая дверью своей выходила на улицу, в бабушкином коробе, среди разного рода старой рухляди, обнаружил совсем небольшую, в черном переплете с начертанным на ней крестом книжечку, и это оказалось не что иное, как Евангелие, о котором я к тому времени совершенно ничего не знал, не слышал. Я потихоньку унес его в дом и, прячась, тайно от всех, не знаю, откуда у меня было такое чувство, как будто я делаю что-то нехорошее, опять-таки больше на полатях, на печи, не все понимая, но и не отрываясь, читал эту новую для меня, сильно поразившую мое воображение книжку. Так я впервые узнал о жизни Христа, о его смерти на кресте.

## 61

Я думаю, что мы приехали сюда в начале лета, когда давно уже сеяли, давно уже шли полевые работы. Занятия в школе уже тоже закончились, и мне, как всем, пора было идти в поле, садиться на лошадь. Наравне с другими моими товарищами, которых я пока еще и в глаза не видел, я должен был идти прикатывать овес. Так называлась эта обычная для нас в то время в колхозе работа.

Я хорошо помню день, когда сестра моего отца, маленькая веселая женщина, принесла мне лапти, как оказалось, уже сплетенные кем-то для меня. Должен сказать, что я ходил до той минуты в чиненых-перечиненных сапогах, а лаптей и в глаза не видел, не знал, что это за лапти такие. Там, в Сибири, откуда мы приехали, лаптей не носили. Она принесла мне пару новеньких, только что сплетенных лаптей и стала обувать меня, стала показывать мне, как с ними обращаться надо, как наматывать портянки, онучами называемые, как затягивать веревки, такие бечевки, обкручивать ими эти самые онучи, икры ног... Когда все это было наконец проделано и я попытался встать на мои обутые в лапти ноги, мне показалось, что я сейчас упаду, что я и шагу ступить не смогу. Мне показалось, что, как только я сделаю первый шаг, я упаду... Я посмотрел на свои перетянутые бечевками ноги, на эти лапти и заплакал, представив себя на деревенской, еще незнакомой мне улице. Это было такое унижение, что я, стоя посреди избы — веревки больно врезались мне в икры, — горько и бе-

сутешно заплакал, зарыдал. Мне показалось, что жизнь моя кончилась, что все самое лучшее, что у меня было, уже позади, там, на Туре, в моем лесу, в моей Березовке...

Долго еще потом смеялись надо мной, тетка моя смеялась, она любила посмеяться, долго, не жалея меня, вспоминала потом, как я плакал, в первый раз надев лапти, и как я, по ее словам, говорил: «Не буду я их носить, эти лапти, как я в них буду ходить!»

Ей странным казалось, что человек, пусть даже ребенок, никогда прежде не носив лаптей, выросши в другом краю, надев лапти, может так горько заплакать, прийти в такое отчаяние.

Так или иначе какая-то часть моего детства, бесспорно, кончилась в тот день, когда я, обутый в лапти, которых я до той поры никогда не носил, вышел за ворота, навстречу моим товарищам и с огорода, с забора полез на лошадь, отправился прикатывать овес, который к тому времени еще не взошел...

62

Там, в Большой деревне, где начиналась моя жизнь, я не успел научиться плавать, потому что был еще очень мал, а в Березовке, куда мы потом переехали, реки у нас не было. Поэтому здесь, где была река, и даже очень хорошая, я с большой для себя горечью увидел, что, может быть, я единственный во всей этой деревне, кто не умеет плавать. Даже малыши тут хорошо плавали. Я, надо сказать, очень больно это переживал.

Мы купались на выгоне за деревней, там, где у нас была кузница. Берег тут был хорошо утрамбованный, выбитый ходившей здесь скотиной, и вода здесь всегда хорошо прогревалась, всегда была под солнцем. Тут была отмель и был намыт мелкий песочек, очень мягкий и нежный, и такая же ласковая и нежная была вода. Здесь мы все и собирались, здесь и купались, здесь и играли в те же самые, кстати сказать, уже знакомые мне «зубарики».

Разумеется, я очень хотел научиться плавать, но это оказалось не так-то просто. Как и всякий, не умеющий плавать, я усиленно колотил руками и ногами, но мне это все мало помогало, вода не хотела меня держать. В то время, в тот момент, когда я работал руками, ноги мои забывали делать то, что они должны были делать, и я скорее, чем ожидал, касался ногами дна. Место, правда, тут было неглубокое, самое большее — по пояс, особенно если не забираться далеко... Я старался как мог, но из моих попыток ничего не выходило, ноги мои тянули меня вниз при первом же гребке. За все это лето, как я ни стремился, я и с места не мог стронуться, ни на метр не смог продвинуться вперед. Я очень страдал от этого и очень огорчался, что я такой неспособный.

Интересно, что потом, через год, когда опять настало лето, я, к моему удивлению и к моей радости, уже плыл. Это было совершенно невероятно, но это было так.

Оказывается, хотя в течение зимы я и не плавал, но, как всегда это бывает, я все это время тем не менее учился плавать.

63

На поляне на этой, на этом прогретом солнцем бережку, мы не только купались сами, но и купали лошадей. Обыкновенно мы их купали вечером, после работы чаще всего, после бороньбы, например, когда лошади становились особенно грязными от налезшей, набившейся в их шерсть пыли. Ведя за собой в поводу лошадь, заходили в воду, сначала неглубоко, у берега у самого, и здесь из ладоней плескали на нее, чтобы смыть с нее пыль и насохшую, въевшуюся в нее за день грязь, а иногда и мылом терли, кусочком черного мыла, которым потом мылись сами. Затем, усевшись на нее, загоняли ее в воду. Когда она заплывала достаточно глубоко, приходилось сползать со спины и плыть с ней рядом, держась за повод. Но большой глубины у нас нигде не было, разве что только у противоположного берега, там были довольно глубокие омута́...



Лошадь после купания лоснилась, светилась вся, была такая чистая, как будто стеклянная. Хорошо было проскакать на ней по этой зеленой луговине.

Тут же, на берегу, только чуть подальше от берега, где было повыше и посуше, была поставлена кузница, в которой ковали лошадей. Предварительно лошадь заводили в сделанный для этого станок. Четыре врытых в землю столба с двумя перекладинами, с двумя буквами «П». Вот что представлял собой этот станок... Лошадь ставили между столбами, заводили в этот станок, из которого ей некуда было деваться. Тут ее и ковали. Когда приваривали подковы к копытам, копыто горело и подковы дымились...

64

В первые дни, когда мы сюда приехали, собирал я пестики, о которых я там, где мы жили раньше, ничего не знал, не знал даже, что такие существуют. Это были, как я узнал после, такие хвощи полевые, которые здесь называли пестиками. И в самом деле, как мне казалось, похожие на пестики, которыми у нас толкут крупу. Остроконечные такие, твердые. Вырастали они на старой стерне, в канавах где-нибудь, где почва была вязкая, не совсем еще просохшая. Остренький, твердый пестик вылезал из затопленной глиной земли, и его можно было выдернуть вместе с его стеблем из глубоко спрятанной в земле сумки. Со временем он превращался в маленькую зеленую елочку, но в течение недели-другой, пока земля была еще холодная, до того, как он распускался, он вполне годился в пищу и вообще, как оказалось, был очень вкусным. Его можно было поджаривать, особенно если с яйцом, и из него можно было сварить суп. Тоже получалось очень вкусно. В ту первую весну, когда мы только приехали сюда, да и потом, в последующие годы, мы всегда ходили за этими пестиками на дальний конец деревни, на поле, где они в основном и росли.

В Сибири у нас этого лакомства не знали, а здесь его было очень много и его очень любили.

Местность здесь была сильно пересеченная, изрезанная глубокими, заросшими темной елью оврагами, которые тут назывались логами. В такой овраг, как правило, легко было спуститься, но выбраться из него было очень трудно. По дну такого оврага протекал иногда небольшой какой-нибудь ручей, но большинство оврагов были сухими. Только внизу, на самом дне оврага, трава была зеленая, свежая. Глинистая, разъезженная дорога спускалась на дно оврага...

Я нигде не видел потом такой изрезанной оврагами местности.

65

Это было, я думаю, в первый же год, здесь, на этом же зеленом берегу реки, я встретил очень запомнившегося мне человека, на котором была такая рубашка, «сетка» такая белая, что-то вроде майки, никогда мной до того не виданная и очень понравившаяся мне. Это был прекрасно сложенный, очень красивый, физически сильный человек. Он, как видно, только что искупался, голова у него была мокрая, и он стоял, причесывался. Я впервые видел такого красивого человека... Как видно, он приехал из города, где, может быть, учился или работал; его семья, жена, как я узнал после, жили здесь же, в селе у нас.

Через много лет, после войны уже, приехав сюда снова, я опять увидел его. Не то, чтобы узнал его, но понял, что это он. Ничего уже не оставалось от того, встреченного мной когда-то, но все-таки я узнал его. Он говорил мне, что голова у него устроена как приемник, что по ночам он слышит стоны истязаемых в подземельях Ватикана.

Почему Ватикана — объяснить, конечно, было совершенно невозможно.

Это был уже вконец разрушенный безумием человек.

Он сидел. Посадили его еще, как мне говорили, до войны. Но затем выпустили, должно быть, как человека, раз и навсегда потерявшего разум.

Одно из очень сильных потрясений в моей жизни.

66

По приезде сюда мы жили сначала в доме деда, потому что деваться нам было некуда, но ближе к осени отец стал работать конюхом в колхозе, и мы перешли жить на конный двор — в дом, в котором на одной половине было правление колхоза заодно с бухгалтерией, а на другой, за перегородкой, жили мы.

Первое время после того, как мы сюда переехали, я возил воду на маленькой, пегой, чрезвычайно низкорослой и очень сильной лошади. Звали ее Самоедкой, и это удивительно шло к ней. Это была очень злая, тоже раз и навсегда несправедливо обиженная кем-то лошадь, с которой не было возможности управиться, и недаром на ней возили воду.

Не такое простое это было дело — возить воду с реки, как возил ее в те дни я. Надо было навозить по крайней мере бочек двадцать, чтобы залить все чаны и все колоды, стоящие на конном дворе, и напоить всех лошадей. Чтобы набрать бочку воды, надо было заехать в реку как можно глубже и черпать воду черпаком, заливать ее в бочку через такое квадратное окошечко, которое было проделано по верху лежащей на боку бочки. Я все время был мокрым, с ног до головы залитым водой, потому что черпак, которым я черпал воду, был тяжелым, железным, и, пока я наполнял бочку, я весь обливался. Да к тому же, когда я поднимался в гору, на высокий берег реки, вода из бочки (я стоял позади бочки и правил лошадью) выплескивалась через это отверстие, через окошечко, и захлестывала меня... А тут еще эта Самоедка с ее вредным характером! Постояв немного в воде, в реке, она вдруг ни с того ни с сего, когда я еще и половины бочки не наливал, выгнув спину и вся напрягшись, как струна, срывалась с места и пулей выскакивала наверх, на берег. Вода переплескивалась через край, деревянная затычка, которой была заткнута бочка внизу, у моих ног, именуемая у нас чопом, не выдерживала напора воды, выскакивала, вылетала из бочки, и меня опять обдавало с головы до ног. Самоедка выбиралась на дорогу и упрямо тянула до самого двора, до конюшни самой. Никакими силами нельзя ее было ни остановить, ни повернуть назад.

Но чаще всего ее нельзя было сдвинуть, и она подолгу стояла на одном месте, где-нибудь на полдороге от реки до конюшни, стояла как вкопанная, и ничего нельзя было с нею поделать. Можно было сколько угодно и чем угодно ее колотить, все было бесполезно. Ее скорее можно было убить, но ее нельзя было заставить сдвинуться с места. Никакой кнут не в силах был на нее подействовать.

Я еще долго работал на этой лошаденке, на Самоедке этой проклятой, и плакал, конечно, не раз. Много она мне крови попортила. Пока не начались какие-то другие работы... И воду поставили возить одну женщину, какую-то бабу, и она с ней справлялась еще хуже моего.

67

На довольно, как мне кажется, обшарпанном конном дворе нашем стояли все лошади, какие только были у нас в колхозе, и молодые, и старые — и те, которых запрягали и в сани, и в плуг, и еще не объезженные, которых еще предстояло вводить в упряжку. Мы, деревенские, колхозные ребята, знали всех лошадей, какие у нас были, знали не только по кличкам, но и то, какой был у каждой из лошадей характер. И тем более знал все это я, живя здесь, на конном дворе. Мы знали даже всю упряжь, всю сбрую, какая у нас была, и тем более все хомуты, какие только были тут. Потому что у каждой лошади был свой хомут, который подходил для одной только этой лошади. Хомуты висели на длинных штырях, на гвоздях, в проходе, за дверями, а зимой — в той половине избы, в которой жили мы, тоже возле дверей, на стене. На каждом хомуте химическим карандашом была выведена кличка лошади, которой принадлежал тот или иной хомут. Все они, эти клички, и на стойлах, и на хомутах были написаны моей рукой. Но и без надписей этих, по одному виду хомута мы знали, какой хомут на какую лошадь подходит, какой хомут какой лошади принадлежит.



68

Под горой, под огородами, что сбегали вниз, текла здесь еще одна речка, совсем уже небольшая, прямо-таки крохотная, однако же вырывшая себе в этой долине достаточно глубокое ложе. Обтекая деревню, она долго и затейливо петляла, кружила по жирной и низкой луговине, выделывая на своем пути запутанные витки и петли, становясь при этом то шире, то уже, хотя ни разу нигде не разливалась особенно широко и в самых глубоких местах, я думаю, была не глубже, как до колена. Именно в таких ее тихих омутках купались самые маленькие. Она так хитро петляла, что я даже не знал, где она впадала в другую, большую реку, в ту, где мы купались и купали лошадей.

Вода в этой маленькой речке была на редкость прозрачная, чистая. Большие рыбы — ни щуки, ни окуни, хотя и не в изобилии, но водившиеся в реке, с которой она была соединена, — не заходили в нашу маленькую речку. В ней водились такие же маленькие рыбки, как она сама. В дни, когда светило солнышко, она весело играла, серебрилась на перекатах, в ней были видны крохотные мальки, плывущие строем против течения, иногда даже на самой быстрине стоящие на одном месте... Погружаясь в ее ил, на дне, притаясь, дышали пескарики. Это были маленькие, скользкие рыбки, серые, темные такие, как сам ил, как затянутый илом песок, в котором они лежали. Мы ловили их руками под берегом, под нависающими глыбами дерна, куда они прятались от жары. А еще в этой речке было много раков.

В первый же день, когда мы сюда приехали, я по тропинке, проложенной по огороду, мимо бани, внизу тут, у воды стоящей, спустился к реке, чтобы посмотреть, что тут делается вокруг, под этой горой. Когда я взошел на мостик, который был перекинут тут, лазивший здесь паренек, которого я еще не знал, не видел еще до этого, показал мне оттуда, из-под моста, только что выловленного им рака, сунул, можно сказать, мне его под нос. Я никогда прежде не видел рака, потому что ни в Большой деревне, ни тем более в Березовке раков не было. Я очень испугался. Шевелящий клешнями, живой, черный рак показался мне очень страшным.

69

Здесь тоже была гора, но в отличие от той, что была в Березовке, зимой ее не надо было ни поливать, ни насыпать. Гора здесь была естественная: деревня, особенно та часть ее, на которой жили мы, была расположена на горе, на крутом спуске к реке, и кататься можно было прямо по улице, с одного конца деревни в другой, вплоть до моста до самого, до реки. Вернувшись из школы, мы забрасывали в дальний угол сумки с надоевшими нам книжками, учебниками, и отправлялись на нашу гору, на улицу, и проводили там целый день. Затянуть нас домой было невозможно.

Катались на самодельных, не всегда опоясанных железом салазках. Да это было и не так важно. Гора была очень крутая и очень ровная, прямая, хорошо было катиться с нее во весь опор... Таща за собой санки, надо было подняться чуть ли не до середины деревни, а уж потом, усевшись на санки, свергаться вниз, мимо окон своего же дома, лететь с сумасшедшей скоростью вдоль всей деревни, вплоть до реки, до самого последнего дома, до моста через реку, а когда и гора, и улица, и деревня оставались позади, свернуть под мост — туда, где была тропинка, ведущая к проруби, — тут был самый крутой спуск — и съехать вниз, на лед. На этом и заканчивался путь. После этого надо было снова тянуть санки наверх, по улице, на противоположный конец деревни, на гору, и так до самого вечера.

Катались дотемна. Возвращались домой поздно, до нитки промокшие, обледенелые, обмерзшие, как сосульки, с плохо повинующимися руками и ногами и сразу забирались на печку, тотчас засыпали, даже не поужинав...

На той же горе мы не только на санках катались, но и на коньках тоже. Коньки тоже были у нас такие же деревянные, самодельные, привязывали мы их к ногам веревками. Чтобы они лучше скользили, на полозок снизу набивалась проволочка.

70

Сколько я себя помню, на полке в сенях всегда стоял у нас противень с выставленными на мороз пельменями, потому что пельменей у нас всегда впрок, на целую зиму вперед заготавливали. Вечерами, после работы, всей семьей собирались вокруг стола и лепили пельмени. Сначала мясо железной сечкой мелко рубили в деревянном корыте, а потом очень тонко, деревянной тоже скалкой, раскатывали тесто. Тесто всегда раскатывала мать, а все остальное делали мы с сестрой, и пельмени лепили и тоненькие кружочки теста нарезали стаканом. Слепленные, обсыпанные мукой пельмени обязательно выставляли на мороз. Считалось, что выставленные на мороз пельмени вкуснее. Даже если их только что слепили, к приезду гостей, например, то их все равно, хотя бы на короткое время, но выставляли на мороз.

Дядя Миша однажды, когда мы еще в Березовке жили, рассказывал нам. Когда он молодым парнем только учился еще своему портновскому ремеслу, первую зиму, когда он еще только начинал заниматься этим, они с товарищем ходили по деревням, заходили в каждую избу, спрашивали, не нужно ли чего пошить, но нигде, сколько они ни ходили и сколько ни спрашивали, их не брали, всюду их заворачивали обратно. А они были уже очень голодными, давно уже, по его словам, ничего не ели. И тогда в одном доме, откуда их вот так завернули, они в сенях подхватили висевший на гвозде, над головой у них, мешок с такими вот выставленными на мороз пельменями и унесли его...

Бывало так, что в сенях стоял не один мешок с пельменями, потому что, как уже сказано, пельменей заготавливали на целую зиму вперед.

71

Осенью, но всего чаще перед пасхой, а то даже и на масленицу, в избе у нас, на печи, где мы чаще всего и спали, вырастал этакий небольшой курганчик зерна, проращиваемой ржи. Его со всех сторон тщательно укутывали одеялами, укрывали подушками, и он через некоторое время, через неделю или через две, начинал гореть изнутри, раскалялся так, что, если случалось во сне протянуть ногу и наткнуться на него нечаянно, въехать ногой в раскаленную эту массу, было больно. Скоро эта смачиваемая водой, сложенная в гору рожь прорастала, пускала белые длинные нити, а внутри, в середине, нагревалась так, что становилась черной, горячей, как уголь, и очень мягкой, нежной, даже жидкой внутри. После чего всю эту груду зерна разбирали, разламывали, складывали на противни, в корыта складывали и ставили в печь сушиться. Когда эта проросшая черная рожь высыхала, ее мололи. Получался солод, коричневая, кофейного цвета мука, из которой и пиво, и брагу варили. И квас, надо сказать, тоже делали из солода, из такой вот запаренной и перемолотой муки. Самый лучший квас получался как раз из солода. И еще из него варили к лагу, густую и тоже коричневого цвета болтушку, похожую больше всего на подливку. Тоже была очень вкусная еда.

Сидя на печи, в темноте мы незаметно, чтобы не видели родители, проколупывали пальцем дырку в этом курганчике и, обжигаясь, вытаскивали сладкую, перепревшую уже, перегоревшую рожь. Она была такой сладкой, как шоколад, хотя я еще не знал тогда, что такое шоколад, не пробовал его никогда.



72

А еще каждую зиму, особенно когда подходили праздники, у нас всегда делали мороженое молоко. Делалось оно так. В деревянное, липовое чаще всего, корыто наливали свежего молока и выставляли его на ночь на мороз, в те же сени выставляли. За ночь молоко замерзало, застывало и превращалось в сплошной такой белый лед. После этого его выбивали, выколачивали его оттуда, из корыта, выскабливали ножом, а то и топором вырубали. Затем это замороженное молоко в том же корыте, а то даже и в ступке деревянной растирали деревянной толкушкой, пестиком таким деревянным, долго его взбивали, долго толкли. Молоко постепенно превращалось в холодную пенящуюся массу, в очень вкусную пену белую. Пока не растает совсем, оно очень вкусное. Чем больше его толкли, тем оно пенистее и маслянистее становилось и тем вкусней было.

Его так и называли у нас: мороженое молоко. Ни один праздник зимний не обходился без мороженого молока. С блинами уж обязательно мороженое молоко полагалось подавать. Без этого, что называется, ни блинов, ни праздника не было.

73

Каждую субботу по-над рекой тут курились бани. У каждой семьи на каждом огороде была своя баня. Некоторые топились еще по-черному, без трубы, дым выходил в дверь. Считалось, что настоящая парная баня может быть только по-черному.

Чем бы ни была покрыта баня, соломой или тесом, на ней все-таки обязательно росла трава. Странно было видеть эту зеленую густую траву на крыше каждой старой бани.

В бане мылись, а обмываться бегали к реке. Зимой ныряли в глубокий снег, а летом — в реку.

На углу каждого дома, каждой избы были набиты здесь небольшие квадратные дощечки, и на каждой такой дощечке было нарисовано ведро, топор или лопата, и я первое время, так случилось, даже не знал, что это такое, что означают эти рисунки и эти таблички. Оказалось, что хозяин избы, на дощечке у которого было изображено ведро, в случае возникновения пожара должен был бежать на место пожара с ведром, а тот, у кого на табличке был багор, — с багром. Если же на дощечке у кого была нарисована бочка, то он должен был скакать к месту пожара с бочкой воды.

На доме нашего деда тоже была набита такая дощечка. На ней был нарисован багор с ведром. Это означало, что ведро и багор должны были быть всегда наготове. И впрямь, багор висел у нас на стене, с боковой стороны избы, на вбитых в стену крюках. Тут же висело и ведро...

Пожары в деревне случались часто... Я помню один такой пожар, случившийся среди лета, когда стояла страшная сушь и дождя давно не было. Горел дом в нижнем, то есть как раз в нашем конце деревни, чуть дальше дома Маркеловны. Так называли у нас двухэтажный дом, первый этаж которого был известково-белым, каменным. Говорили, что это бывший дом помещицы, но едва ли это так. Помещиков в нашей округе, как мне кажется, не было, земли у нас были бедные, глинистые, помещик тут бы не продержался...

Горела невзрачная, крытая соломой изба. Все трещало, огонь бушевал со страшной силой, даже и близко нельзя было подойти к месту пожара. Нечего было и думать о том, чтобы потушить его, спасти объятую пламенем избу, надо было думать только о том, чтобы огонь не перекинулся на соседние, рядом стоящие постройки. Поэтому тушили не избу, которая горела, а обливали водой крыши близстоящих изб, чаще всего тоже соломенные, поливали их из брандспойтов. На этот раз крыша рядом стоящей избы все-таки загорелась.

Вся деревня была тут. Мы наравне со взрослыми таскали воду ведрами с реки или качали пожарную машину, помпу качали, маленькую, слабую, шланг которой был опущен в быстро опустошаемую бочку.

Сваленный посреди улицы скарб, летящие во все стороны искры, плач хозяйки, шипение обдаваемого водой огня, нахлестывающий лошадь мужик в телеге — с бочкой, из которой плескалась вода. Все в памяти.

### 74

Возле речки, отделявшей деревню от села, подле моста самого, в нижнем этаже двухэтажного дома был магазин, в котором продавали водку. Его у нас с давних лет называли «казенкой». Тут всегда было много подвод, много лошадей, распряженных, привязанных к телегам или к саням в зависимости от времени года, простаивавших за отсутствием своих, толпящихся в магазине хозяев иногда довольно долго.

Особенно много подвод было вечером, с наступлением темноты, и тем более зимой, когда день был коротким. Мужики, приехавшие по разным делам из ближайших деревень сюда, в село, закончившие свои дела, поскорее подворачивали к дверям магазина, к «казенке», чтобы, едва за дверь выйдя, хватить прямо из горлышка, чтобы веселее было ехать домой в зимнюю ночь...

Иногда возле «казенки» можно было найти кинутую в снег бутылку. Но это редко бывало. Чаще всего мы искали на этом пятачке перед магазином, возле крыльца, пробки от бутылок. Их тоже сдавали. За каждую сданную пробку, если только она была целая, неполоманная, неиспорченная, нам давали пять копеек, потому что пробки были настоящие и стоили дорого. Они стоили чуть ли не столько же, сколько стоила бутылка, может быть, только немного меньше. Я уже не скажу сейчас, сколько стоила в то время бутылка. Пять копеек — были тогда хорошие деньги, на которые можно было купить и карандаш, и тетрадку... Пробки же чаще всего были целыми, необломанными, потому что знающий дело мужик не пользовался никакими приспособлениями, а откупоривал бутылку с умом — ударом ладони под донышко. Пробка в этом случае летела далеко и выскакивала из бутылки со звуком выстрела. Тем паче на морозе, когда бутылка была холодная, а водка в ней ледяная.

Ранним утром по дороге в школу, пробегая мимо «казенки», мы находили на затоптанном снегу, а то и в сугробе, за канавой где-нибудь, эти выбитые из бутылок пробки, а иной раз, как я уже сказал, и сами бутылки и тут же сдавали их, забежав в магазин.

Таким образом, мужики пили, а пробки от бутылок доставались нам, ребятишкам.

### 75

Каждый год, когда наступала зима, мужики из деревни у нас уходили работать на сторону, или в извоз, как еще говорили. В извоз — это когда с лошадью. Не со своей, конечно, потому что откуда же возьмется у колхозника своя лошадь, а с колхозной, выданной ему правлением колхоза. Колхозу иной раз выгодно было отправить мужика на сторону, потому что таким образом он мог и сам прокормиться и лошадь колхозную в течение всей зимы прокормить. На лесозаготовки уходили, на лесоразработки, как еще говорили у нас. Что было, как правило, где-нибудь поблизости, в своей же области, но бывало, что и на Урал забирались, на стройки уральские уезжали.

Но был и еще один вид извоза — местный. Для своего же села, для сельпо, возили возами водку из города. Зимой опять же, по санному пути. Укладывали ее высокими штабелями, одна бутылка на другую, а сверху накрывали брезентом и затягивали веревками.

Может быть, возить водку из города и не было таким уж трудным делом, если бы каждый раз не случалось какого-нибудь несчастья, не раскатывало на скользкой дороге или, что еще хуже, не опрокидывало сани. Если же это случалось, если сани опрокидывались, заваливались на сторону, в канаву, мужик рисковал вместо водки привезти, как говорится, один «бой». Но и это не все еще. Случалось, что водка почему-либо не выдерживала сильного мороза, то ли оттого, что в ней недоставало необходимой крепости, то ли еще почему, но водка замерзала, и тогда ее, тут же в санях, в штабелях этих, разрывало. Это уже была настоящая беда. Хорошо еще, если мужику по возвращении списывали те бутылки, что лопались, не выдерживая мороза, составляли на все это акт, но чаще все-таки приходилось платить из своего кармана...



Бабы всегда волновались, когда мужик уезжал в город за водкой. Да и было с чего волноваться. Ведь по дороге от города до места, до села нашего, приходилось проезжать не одну деревню, не одну ночь ночевать в пути. В каждой деревне, на любом постое, у мужика непременно просили развязать воз и продать бутылку водки. Надо было иметь крепкий характер, чтобы отказать своему брату-мужику...

Оставшиеся дома бабы всегда боялись, чтобы мужики не напились.

### 76

По воскресным дням, а уж тем более по большим праздникам, в селе нашем устраивались базары. Вся площадь вокруг церкви в такие дни была заставлена возами, подводами. В иной день, в праздники, ярмарка была такая большая, что места в селе для нее не хватало и она перекидывалась через мост, перехлестывала через реку, заползала в деревню к нам, и тогда во всех дворах стояли возы с туго увязанной поклажей, а во всех домах, в избах, останавливались на ночлег еще с вечера приехавшие на ярмарку мужики.

Чего только не было и чем только не торговали тут, на этой площади! Все, что могла дать эта скупая, скудная, слабо родящая земля, было на этих возах, на этой площади. Продавали очень много гигантски разросшейся, жирной и сладкой репы, а также ка́леги. Так именовали у нас желтую и тоже достаточно сладкую, сочную брюкву, которая делалась еще более сладкой, когда ее запаривали. Но особенно много было огурцов. Целыми днями ходили мы между возами и хрустели огурцами. Редкая мать не давала своему ребенку хотя бы несколько копеек, чтобы тот мог купить себе огурец. Как я теперь понимаю, огурцы были здесь чем-то вроде яблок. Мне помнится, что яблоки тоже были здесь, что их тоже привозили к нам, не знаю откуда, но, во-первых, они были дорогие, а главное, я думаю, все-таки не в этом, главное было в том, что огурцы были слаще. Зеленый, с белыми подпалинами там, где он лежал на земле, с темными острыми пупырышками у хвоста, огурец наш не мог идти ни в какое сравнение с кислым, как казалось нам, чуждым нашему вкусу яблоком.

Но все это летом. А зимой с тех же возов, с саней продавали деревянную и глиняную посуду, и горшки, и корчаги, и кадушки легкие, белые, липовые, и ложки расписные, лаковые. И клюкву, и те же огурцы, но уже соленые, и капусту, но уже рубленую, в тех же кадушках привезенную, белую, рассыпчатую. И опять-таки деревянные, пестро раскрашенные, из той же липы резанные, из глины обожженной лепленные игрушки, свистульки всяческие.

Свист стоял над всей площадью.

К вечеру площадь пустела, ярмарка заканчивалась, от нее оставались только охапки сена да конский навоз — там, где стояли лошади...

И, конечно, мороженое молоко у нас тоже продавали с возов, с саней прямо. Белые кружки́ мороженого молока.

Это все-таки была северная деревня. Солнце даже в большие морозы пылало здесь ослепительно ярко, так что глазам было больно. А летом здесь была такая сумеречность странная, словно бы тени какие бродили по полям, по окрестным серым полям нашим, по холмам, окружающим нашу деревню... Вечерний свет разлит был во всей природе, в окружающем нас мире, да и солнце словно бы через пелену, через дымку, какую-нибудь пробивалось...

Летом тут очень па́рило, было очень жарко, очень знойно.

77

Школа здесь стояла на самом лучшем, самом высоком месте, какое только было в селе. Сразу за школой, за забором, начиналось хлебное поле. Через забор, который окружал школу с трех сторон, свешивались ветки акации и еще какие-то другие, небольшие, невысокие деревья, что были когда-то посажены по-над этим забором. Я каждую перемену бегал сюда и, пока не прозвенит звонок, лежал на траве, на земле, которая должна была бы уже остывать, но которая была еще теплой. В лучах солнца, скользящих над селом, давно уже чувствовалась некоторая желтизна, но они еще очень хорошо и очень ласково грели.

Я лежал на животе на траве и выбирал, выклевывал из нее мелкие зерна акации, которые хотя и были слегка горьковатыми, но мне нравились. И еще, ползая тут, я находил плотные и, как крылышки, легкие, оперенные семена липы, раскусывал их, и мягкое ядрышко это тоже казалось мне очень вкусным. Я люблю его с тех пор. Я очень любил эти зерна и само это место тоже любил, и осень с ее косыми лучами солнца, и первые дни занятий в школе и всегда, каждую перемену, бегал сюда.

78

В памяти у меня один необыкновенный день у залитой солнцем реки в начале лета, когда вода в реке еще не отстоялась... Я сидел на берегу крохотного полуостровка, далеко уйдя от дома и от деревни, в окружении только что распустившейся, молодой, свежей, остро пахнущей зелени и читал какую-то книгу. Ива, под которой я сидел, уже расцвела, крупные, покрытые желтой пыльцой сережки усыпали ее, а листва на ней только-только еще начинала пробиваться. Я не помню сейчас, что это была за книга, которую я читал, сидя под этой цветущей ивой, на уже высыхающем песке, на припеке, против солнца, сторожа мои удочки и мои поплавки. Я думаю, что скорее всего это был сборник каких-нибудь переводных рассказов. И в нем был рассказ, который, я не знаю почему, произвел на меня такое впечатление, что я и потом, много лет спустя, не мог забыть его. В нем, в этом рассказе, двое молодых людей по чертежу, который очутился у них в руках, пытались определить расстояние от одного дерева до другого, чтобы узнать место, где был зарыт клад. Наибольшее впечатление, как я теперь понимаю, оставила во мне вся эта хитрая кабалистика, все эти таинственные числа, то, как вычислялось расстояние от одной точки до другой.

Я только потом, спустя годы, узнал, что рассказ, который я читал в тот день, был «Золотой жук» Эдгара По.

При чем тут жук, я уже не помню...

Мало что, как я убеждаюсь, осталось в памяти, но все-таки и теперь, сквозь дымку лет, как говорят, когда уже и глаза мои видят плохо, передо мной тот берег реки, весь этот залитый светом весны день, желтые распустившиеся сережки ивы, склонившейся надо мной, над берегом...

79

Ничего особенного вроде бы не произошло, однако тоже осталось в памяти... Шел урок. Мы слушали учительницу, которая что-то писала на доске. Вдруг в классе сделалось темно, мы не увидели ни доски, ни учительницы. И тотчас же раздался оглушительной силы грохот. Я даже не сразу понял, что произошло, что случилось. Будто железнодорожный состав на всей своей скорости влетел в тоннель.

Это с крыши стал скатываться снег. Мы сидели, примолкнув, испуганные, а слежавшийся снег тяжело скатывался с крыши, падал перед окнами, пластами заслоняя свет.

Это продолжалось довольно долго, потом разом посветлело.

80

Я очень хорошо помню тот день, когда в деревне у нас появился первый трактор. Его привел к нам в деревню из города, за полтораста километров от нас, наш дядя Сан, как мы все звали его. Тот, что был женат на нашей тетке и жил в доме нашего деда, там, где первое время по приезде сюда жили мы. Это был самый настоящий батрак, пролетарий, всю жизнь работавший за кусок хлеба по чужим дворам и потому пришедший в дом жены, когда настало время жениться. То, что именно он, никогда не имевший своей лошади, сумел освоить такую все-таки сложную технику, как трактор, сесть за руль машины, которой он раньше не то что никогда не видел в глаза, но, я думаю, и на картинке не видел, было не то чтобы удивительно, но до сих пор не укладывается у меня в голове. Как он это сумел, непонятно. Иначе, как талантом, я думаю, этого не назовешь.



Когда маленький красный «Фордзон», за рулем которого сидел дядя Сан, подпрыгивая на ухабах, на неровностях дороги, появился на виду деревни, следом за ним бежали взрослые и дети. Трактор встретили еще за селом, далеко в поле, но я этого не видел, не знал, должно быть, и увидел только тогда, когда он спускался от ближайшей деревни, стоящей на высокой горе. Вслед ему, что-то крича, бежали ребятишки, а люди стояли по сторонам, над рекой, возбужденно размахивали руками. Так встречали трактор и сидевшего на нем дядю Сана в каждой деревне, через которую этот трактор проходил.

Дядя Сан потом еще долго работал и на этом тракторе, и на других, появившихся к тому времени, пока с ним не случилась беда, случавшаяся в те годы со многими людьми. По той же дороге, по которой он привел в деревню трактор, он потом отправился по этапу — под конвоем. Год спустя он вернулся, освобожден был и жил еще какое-то время в своей деревне, но здоровье его было уже сильно подорвано выпавшим на его долю испытанием. Так он потом уже и не оправился.

81

Думаю, что вскоре после того, как дядя Сан привел к нам первый трактор, и уж, во всяком случае, в том же году, где-то здесь же, под горой, за безымянной речкой нашей, на цветном, тянущемся до самого леса лугу, пострекотав перед тем немного в воздухе, сел маленький, если смотреть теперешними глазами, двукрылый белый, как бабочка, самолет. Всей деревней мы побежали туда, на этот пестрый цветной луг и, окружив со всех сторон, долго и удивленно разглядывали его. Чуть накренившись на сторону, маленький, легонький, как кузнечик, хочется сказать, странно недвижный, сидел он на этом лугу теперь, будто и не летел только что над нашими головами, над тем же лугом. Сидел, готовый в любую минуту взлететь, исчезнуть так же неожиданно, как и появился...

Таким было первое появление самолета в наших местах, тогдашнего «У-2», я думаю...

Я не могу сейчас сказать с определенностью, видел я или нет до того времени пролетающий в воздухе, в небе, самолет или я сразу увидел его на этом пестром от цветов лугу, за деревней у нас.

82

Все это, как ни странно, проводилось на глазах у всего села, в присутствии всех желающих, и мы, ребятишки, тут тоже толкались, как толкались мы на всех подобного рода собраниях. Насколько я помню, нас никогда ни с каких собраний не гнали. Происходило это вечером, в темноте, во дворе той же школы, под березами. Вечер был теплый, летний. За столом, накрытым красной материей и освещенным керосиновой лампой, сидело несколько человек, как я теперь понимаю, членов комиссии, а перед ними спиной к людям, в темноте под березами толпящимся, стоял человек, проходивший чистку. Кто он был, какую исполнял должность в нашем селе, этого я сейчас уже не знаю, да, может быть, не знал и тогда, поскольку, еще раз повторю, он стоял спиной к нам и в темноте этой я даже не видел его лица. Мне только запомнился его рассказ, рассказ о себе, о том, как он, это было в годы гражданской войны, лишился своего партийного билета и, как можно было понять, выбыл на какое-то время из партии. Должно быть, в его деле все это было записано, и теперь его обо всем этом расспрашивали, и он давал комиссии по этому поводу свои объяснения, рассказывал, как было дело, как все это произошло... Вот этот-то рассказ человека, проходившего чистку, и запом-

нился мне больше всего. По словам его выходило, что он спрятал партийный билет свой в лесу, в котором он вместе со своими товарищами был окружен, или его там, в лесу этом, настигли, и не просто спрятал, а утопил его в ручье, в лесу в том же, потому что другого выхода у него, как он говорил, не было. Очень подробно рассказывал, как это все было и почему он сделал это.

Мне кажется сейчас, что все присутствовавшие, и те, что были скрыты темнотой, и те, что сидели за столом, без всякого сочувствия слушали стоящего перед ними человека, его, насколько я могу судить теперь, совершенно откровенный и правдивый рассказ. Слушали скорее с возмущением, я бы даже сказал, с нескрываемым негодованием.

Так мне все это запомнилось...

Человек этот, все время стоящий спиной к нам, лица которого я так и не смог увидеть, после короткого совещания комиссии был исключен из партии.

## 83

Два года, два лета подряд был я учетчиком в колхозе, чем-то вроде помощника бригадира был, ходил с саженью по полям. Бригадиром у нас всегда и все годы был один и тот же человек — дядя Игнат. Был это очень тихий, очень стеснительный человек. Его сыновья учились со мной вместе в школе, на два или на три класса младше меня. Жили они на другом конце деревни.

Изо дня в день ходил я с саженью дяди Игната по полям, с той, с которой из года в год ходил он сам. Сажень напоминала собой букву «А», в ней было два метра длины, и посередине она имела перекладину. Сажень была такая высокая, что я с трудом дотягивался до ее ручки, до верху ее. Я думаю, что она была по крайней мере раза в полтора выше меня.

Я шел вдоль поля, по краю дороги, с трудом переставляя сажень, замерял и пахоту, и бороньбу, и уборку, и любую другую работу, которая могла быть сделана летом в поле.

Однако я не только ходил и замерял, я еще и с помощью дяди Игната начислял, или, как говорили у нас еще, выводил трудодни. Сначала все записывалось в карточки, на отдельном листе бумаги записывалось, а потом заносилось в трудовые книжки с указанием того, за какую именно работу и сколько соток начислено. Иной раз начисляли трудодень, а иногда и половину трудодня, а то даже и двадцать и тридцать соток,— в зависимости от того, какая работа была сделана. Все надо было разнести по графам, все записать, ничего не забыть и не упустить. Сами трудовые книжки находились тут же, в правлении, за стеной той комнаты, в которой мы жили,—на новом, более просторном конном дворе, выстроенном к тому времени за деревней, ближе к полям на этот раз. Книжки, как формуляры в библиотеке, хранились в длинном и узком выдвижном ящике, и этот ящик всегда стоял на столе, под рукой, и в конце рабочего дня, а в крайнем случае утром рано на другой день я вносил тетке Дарье ее трудодень в ее трудовую книжку и все выработанные ею за лето трудодни. И тетка Дарья всегда могла меня проверить, поглядеть, сколько она заработала, за что и сколько ей начислено, а иногда и спросить меня, почему ей начислено столько-то, а не больше...

Изо дня в день ходил я с моей саженью по полям.

## 84

На всю деревню у нас был один очеп. Можно сказать, что это такое кольцо, которое ввертывают в матицу, и в него просовывают гибкую, чаще всего вересовую, палку, жердь такую тонкую, к длинному концу которой подвешивается, деревянная опять-таки, зыбка, как у нас зовут, люлька такая, куда кладут ребенка.

На том, который был у нас, была вынянчена вся наша деревня, несколько, можно сказать, поколений мужиков. И меня на том же очепе качали, когда я здесь, в этой деревне, родился, и моих братьев, и сестер моих. Нас у матери было девять детей, выжило, правда, только четверо.

Очеп в деревне у нас переносили из дома в дом, из одной избы в другую, по мере того как рождался ребенок. И даже не сам очеп, не палку эту вересовую, а вот это, как я уже сказал, кольцо железное, которое ввинчивалось в потолок. В одной избе ребенка выкачивали и очеп переносили в другую, туда, где ждали ребенка. И так из года в год, из одного времени в другое.



Можно сказать, что всех нас на одном и том же очепе выкачали...

Я вынянчил сестру, сестра вынянчила брата, этот брат вынянчил другого брата. Так мы все нянчили друг друга.

## 85

Я всегда, сколько я себя помню, что-нибудь мастерил, что-нибудь вытачивал, склеивал... Одним из самых главных моих увлечений той поры были авиамодели. Ничего особенного не требовалось для того, чтобы самому сделать летающую модель самолета, никаких таких особенных материалов не требовалось. Для этого надо было иметь кусочек легкого и твердого дерева—бамбука, но, поскольку в селе у нас достать его было попросту невозможно, то я вполне обходился и без него—брал обыкновенную сосновую или березовую лучинку, обстругивал ее как надо, и фюзеляж у меня был готов. Из таких же точно, только еще более тонких лучинок связывал я крыло, а потом и киль, и стабилизатор. Все это я оклеивал прозрачной, чуть ли не папиросной, совсем тонкой бумагой, и самолет мой был почти готов. Теперь оставалось сделать самое, может быть, трудное из всего—пропеллер, который выстругивался из березы, потому что это была наиболее сложная, наиболее тонкая часть всего этого сооружения. Сделать пропеллер надо было особенно точно, по всем правилам, чтобы он хорошо ввинчивался в воздух и тянул за собой всю конструкцию. Пропеллер насаживался на крючок, который пропускался в своего рода подшипник, вырезанный из кусочка жести, достаточно прочной, чтобы она выдерживала натяжение резиномотора и не гнулась. Теперь оставалось между хвостом модели и пропеллером, под фюзеляжем натянуть резину, лучше всего несколько тоненьких в пучок собранных резиновых нитей, накрутить, навить пропеллер, так, чтобы резина эта при раскручивании привела в движение, закрутила, завертела пропеллер и модель можно было запускать. С такой законченной, готовой к запуску моделью, на постройку которой, как правило, уходило несколько дней, я бежал на наш огород, на высоту и, заведя модель, накрутив пропеллер, пускал ее вниз туда, к реке этой маленькой нашей. Случалось иной раз, что модель моя летела довольно далеко, и через реку, случалось, перелетала, но это бывало редко. Для хорошей, правильно построенной и отрегулированной модели с хорошо поставленным крылом нужен был хороший резиномотор, а хорошей, подходящей резины у меня не было, мне всего чаще приходилось обдирать край какой-нибудь старой, перепрелой галоши...

Все же мои модели летали и иной раз очень далеко, особенно после того, как мне однажды прислали в посылке из города, с детской технической станции, как видно способствовавшей развитию авиамоделизма, неожиданно толстый кусок бамбука, из которого можно было сделать не только фюзеляж, но все эти поперечные и продольные реечки, и для хвоста, и для крыльев, а потом даже и моток тонко нарезанной резины прислали.

Теперь я думаю, столь простенькую и несложную модель, которую я в те годы делал, в любом нашем «Детском мире» можно было бы купить...

Я строил авиамодели несколько лет и очень увлекался этим.

## 86

Еще одним моим увлечением были кролики. Я уж не помню, как появился у меня первый кролик,—или я купил его где-нибудь, или мне его подарили. Надо сказать, что в те годы разведением кроликов занимались очень охотно и очень многие, но больше всего, конечно, дети. Как писали в то время в газетах, каждый пионер должен был вырастить своего кролика. Начал я этим делом увлекаться, когда мы еще жили на конном дворе. Я держал здесь кроликов на чердаке—под крышей конюшни, куда было сметано сено, но больше всего клевер, которого с началом колхозов сеяли на наших землях очень много. Весь этот огромный, длинный сеновал под самую крышу был забит скопившимся за много лет черным, жестким, плот-

но слежавшимся, издающим тяжелый дух клевером. Мои кролики проделывали в нем глубокие, сквозные, часто очень сложные ходы. Нелегко было разыскать их тут. Я безрезультатно лазил по забитому клевером чердаку конюшни, как по холмам или по сугробам. Оставалось только ждать, пока какой-нибудь из них, никогда мной невиденный прежде, случайно, может быть, из любопытства, не вылезал на свет из своей норы. Но поймать его было нелегко.

Кролики были черные и белые. Я никогда не знал, сколько их всего на этом сеновале. Они тут, в этом клевере, размножались очень быстро: еще сегодня только их было два, а завтра уже четыре.

Позднее я стал держать моих кроликов в клетке, которую я для них сделал, приткнув ее к сараю соседа, на огород к нам выходившему. Передняя стенка клетки была у меня обтянута проволочной сеткой, так что кролики были все на виду. Я кормил их травой, которую рвал тут же, на огороде, на задах избы или вдоль заборов, ограждающих все наши огороды от выгона для скота. Помню, что я даже какую-то поилку соорудил для них. Одним словом, хлопот было много.

Все было бы хорошо, если бы только кролики не прогрызали моих клеток. Зубы у них были острые, и они быстро сокрушали, прорезали ими доски пола, вылезали наружу, на свободу, разбегаясь по всей деревне, по соседним дворам и огородам, не признавая никаких заборов, никаких ограждений. Выйдя за порог, я всякий раз мог видеть, как они, вскидывая задами, мелькали среди грядок или где-нибудь среди картофельной ботвы. Поймать и водворить их на место не было решительно никакой возможности.

Так было до наступления зимы. Когда же наступала зима, кроликов переводили в избу, оставляя на развод одну или две пары, и держали их в небольшой клетке, как держат кур, а то даже и просто под полом. Но на следующее лето они снова носились по огородам, забегая далеко к соседям, ибо, как уже сказано, никаких границ для них не существовало.

## 87

Однажды у меня появилась сплетенная из лозы рыболовная снасть. В разных местах ее называют по-разному, где вершами, где вентелями или вентерями, а у нас их называют мордушками, а то даже и мордами, я не знаю почему. Это было нехитрое сооружение, очень похожее на бутылку, иногда бóльшего, иногда меньшего размера. Хвост у него, у этого снаряда, там, где должна быть горловина, перевязывали шнурком, бечевкой, а днище проседало глубоко внутрь и было полым. Туда и заходила рыба. Одним словом, и впрямь бутылка. Такая вот похожая на бутылку снасть, только очень маленькая, появилась и у меня.

За дальним концом деревни, за большим, распаханным полем, версты за две от деревни лежал глубокий, заросший всякой всячиной, но больше всего ветлами, ивами, а кое-где, поверху, по краю поля, и елями овраг, по дну которого протекал такой крохотный, но быстрый, кое-где даже бурный ручей, с затонами и заводями под корягами, на глубоких местах. В одном месте через этот ручей был даже переброшен мостик, может быть, и свалившееся дерево, какое-нибудь облезлое бревно. Место это было уединенное, редко кто сюда заходил, потому что оно было далеко от дорог да и от деревни тоже.

Проходя однажды по этому мостику, я заметил играющую на перекатах стайку крупных красноперых мальков, которых у нас называли красноперикамн. Плавники у них были красные. Я тотчас поставил сюда свою снасть, эту свою из лозы свитую мордушку, положив в нее, как всегда, немножко хлеба.

На другой день, когда я пришел сюда, моя маленькая, лишь немногим больше литровой бутылки, мордушка была тяжела от рыбы. Я ее еле поднял, еле вытащил из воды. Она была доверху наполнена цветущей в это время года, в начале лета, рыбой, этими краснопериками. Они ее забили до отказа.

Я развязал мордушку, вывалил из нее всю рыбу и поставил опять в том же ручье, рассчитывая на то, что завтра моя морда будет такой же полной. Но, когда я назавтра пришел проведать свою снасть, в ней не было ни одной рыбки. Я не поверил и поставил снова, но и на этот раз ни одна рыбка не заскочила ко мне. Должно быть, весь косяк, который здесь водился, всю стаю этих красноперикoв я выловил в один прием, онн сразу все зашли в мою снасть.



## 88

Мы с мамой шли из села к себе в деревню. По-видимому, я возвращался из школы, а мама была в селе, ходила туда зачем-то, и мы на горе, по дороге к дому, встретились с ней. Вместе с нами был мой товарищ, учившийся в одном классе со мной, Коля Васильев, тот, что потом без ноги вернулся с войны. В ту зиму Коля жил у нашего деда в избе, вместе с нами на квартире стоял. И вот я, не знаю уж почему, то ли мы играли, то ли поссорились или другая какая причина, но скорее всего из-за одного озорства только, единственно, может быть, по глупости моей и нечуткости, толкнул этого Колю, столкнул его с изгороди, которая была у нас тут, возле дороги, за канавой, и по которой он шел в это время, шел по жердочке, качаясь во все стороны, как часто ходят ребята, чтобы не идти по дороге. Я, сказать по правде, его очень сильно толкнул. Толкнул, повторяю, без всякого повода, совсем не следовало мне его толкать. Кажется, я и сам почувствовал всю неуместность и необдуманность своего поступка, его неоправданность, впрочем, может быть, это и не так, может, мне только сейчас кажется, что почувствовал. Помню только, как шедшая рядом мама, наблюдавшая все это, стала очень сильно стыдить меня, резко мне стала выговаривать за то, что я так грубо, ни за что ни про что, как она видела, толкнул своего товарища. Да при этом, говорила она, такого, который жил у нас и который, может быть, уже поэтому не мог мне ответить тем же, стукнуть меня как следует. Еще потому, считала она, не мог ответить мне, что рядом со мной шла она, моя мама.

Я помню, что очень остро почувствовал свою вину, то, как я нехорошо и некрасиво поступил, шел, опустив голову, понимая, насколько права мама и как я отвратительно и подло вел себя.

Долго потом еще оставалось во мне это сознание вины, и сейчас вот, я вижу, еще не прошло, не забылось до сей поры и чувство вины, и урок, который мне дала мама.

## 89

Отца нашего неожиданно для всех нас и для него самого, я думаю тоже, послали в тот год председателем, избрали председателем колхоза в деревне, что была километрах в пяти или шести от нас. На зимние каникулы я приехал на недельку к отцу. Он жил тут на квартире, в доме, как оказалось потом, бывшего здешнего попа. Самого попа я уже не застал, его, как видно, уже не было в живых. Хозяйкой в доме была его молодая колхозница-дочь. (Церковь в деревне была деревянная, она стояла на спуске с горы, над рекой, и с улицы, из деревни, был виден лишь самый верх ее, острый конус с крестом.)

Я не знаю, почему я так запомнил эти дни в непривычном для меня — горница и кухня! — доме попа. Дом и в самом деле был очень хороший, добротный, с высокими потолками и просторными, тоже высокими полатями, каких у нас в деревне не было. Я свободно перемещался на них. На целый день оставшись в доме один, я по большей части сидел на полатях, на печи, путешествовал с печи на полати и обратно и много читал. Как вижу теперь, именно книгами-то мне больше всего и запомнился этот дом и эта зима.

Хозяйка сказала мне, что в клети у нее осталось от отца много книг. Я тотчас же отправился туда, в эту холодную и промерзшую клеть.

Книги всё были духовного содержания, главным образом, как мне помнится, жития святых. Был тут и молитвенник, и уже знакомое мне Евангелие тут было, но больше всего — жития святых. Всю неделю читал я эту житийную литературу, на которую я так нечаянно наткнулся и о которой до тех пор не имел, конечно, никакого представления. Не думаю, чтобы я был очень подготовлен для чтения такого рода литературы.

А еще в этом доме попа я читал в тот год газеты. Они, эти газеты, скорее всего приходили в правление колхоза, но отец приносил их на

квартиру к себе, и я тоже впервые читал по-настоящему все эти взрослые газеты, среди которых были и центральные.

Газеты в те дни были полны новостей, очень непростых и важных событий, таких, которые, я думаю, волновали всех. Из номера в номер печатались в них отчеты о проходящем в Лейпциге процессе о поджоге рейхстага. Вполне возможно, что я не все понимал из того, что я читал в этих газетах, но понял только, что судили коммунистов, судили болгарина Димитрова и его товарищей и еще какого-то Ван-дер-Люббе, который, как можно понять было, и поджег рейхстаг... Само здание рейхстага тоже изображено было на одном из напечатанных в газете снимков. Это было большое здание с очень высоким, огромным куполом и такими же огромными колоннами на переднем плане. Между колоннами и из-под самого купола тянулись клубы дыма. Там что-то горело...

Все это происходило где-то в Германии. В Германии, откуда возвращались из плена наши деды, но которой не знали мы. Потому что, как уже сказано, даже отец мой был еще молод, не воевал на германской, а застал только гражданскую.

Отсюда, из этой деревни, через окружающие деревню овраги всю следующую зиму, весь год следующий ходил я в школу в наше село — частью через поле, частью по берегу реки. Из лога в лог, из оврага в овраг...

## 90

Деревня эта, в которой наш отец был председателем колхоза, стояла на той же реке, на бугре тоже. Мы теперь жили все здесь и жили при школе, так как другого жилья не было. Тут была своя начальная школа. Во второй половине дома, через сени, был класс, рядом с которым жила учительница, совсем еще девчушка, только-только начинавшая учить, первый год работавшая. Случилось так, что однажды, летом, в каникулы летние, я принес домой очень много земляники, собранной по полям, по оврагам, густо заросшим все тем же темным ельником оврагам. Земляники в то лето было много, она росла на опушках, чаще всего между пашней и краем оврага, и была очень крупной. Когда я пришел домой с ту́есом, полным земляники, мать отсыпала половину в большое блюдо и сказала, чтобы я отнес эту землянику учительнице, которая жила у нас за стеной и которой я почти не знал. Она все время сидела в своей комнате. Я очень смутился, впервые посылали меня с этим, но все же с блюдом в руках пошел через сени, несмело постучал в дверь. Учительница открыла мне, встав передо мной в дверях. Протягивая блюдо земляники, я сказал ей, что это мама прислала. Она, как видно, тоже растерялась немного. Я хотел уже было уйти, но она сказала, чтобы я подождал, и кинулась к стоявшему в углу столику, где у нее были какие-то книжки, может быть, и тетрадки ученические, взяла лежащую сверху большую, как мне показалось, толстую книгу и дала ее мне, хотя я и отказывался, боясь, что мама меня заругает. Но учительница сказала, чтобы я взял, и подтолкнула меня к двери. Растерянный, я вернулся к себе в избу, в ту половину, в которой мы жили. Мама, я помню, была очень удивлена, когда я виновато показал ей эту неожиданно полученную мной книгу.

Это была первая настоящая книга, прочитанная мной в том году. Я читал ее день за днем, читал ее все это длинное лето, а потом читал и зимой. Она произвела на меня очень большое впечатление. Вместе с ее героем я лазил по арзамасским садам, на дряхлом расползающемся плоту плавал по заводям гнилой Теши, встречал вернувшегося с фронта отца, а потом и сам, как говорили тогда, ушел биться за светлое царство всех людей...

Это была совершенно замечательная, совершенно необыкновенная книга. Много дней провел я наедине с этой книгой. Мне памятен даже ее внешний вид, то, как она была издана. Она была в черном, темном коленкоре, и на ней серебром был оттиснут всадник, скачущий с поднятой над головой шашкой, и такое же серебром тиснутое название.

Потом, через много лет, вспоминая об этой книге, которую подарила мне жившая у нас за стеной учительница, я все хотел разыскать ее, хотел поглядеть, как она выглядит, какая она была, но так и не увидел, не встретил...



## 91

Это была одна и та же, я мог бы даже сказать — все та же, кружащая, как и все ее сестры, по каким-то своим законам река. И та, что протекала за селом у нас, и та, что была в этой деревне, где мы теперь жили. Но здесь, казалось бы, всего в нескольких километрах от села, она была совсем другая — и шире, и глубже, и полноводнее. Все эти лежащие в разные стороны от нас деревни так или иначе сбегались к ее берегам, были нанизаны на нее, как на ниточку... Она их всех соединяла между собой.

Здесь тоже была своя мельница, и я и здесь тоже подолгу сидел под ней со своей удочкой. А еще чаще — под плотиной, на самой сла́ни сидел. Сдерживаемая запрудой вода, падая с высоты, тут сильно ревела. Там, куда она падала, была осклизлая, настланная из жердей и хвороста слань. Там, с этой сла́ни, я чаще всего и рыбачил, на ней и сидел со своим удилищем. Однажды я пришел сюда так рано, что солнце только-только еще начинало подниматься, выбираться из-за горы, и, сидя в тени плотины, на этом настиле, на почерневших от влаги жердях, увидел в просвете, в щели между бревен, ходящих там, на глубине, очень крупных окуней... Поскольку солнце туда, под эту слань, не попадало, мне хорошо их было видно в тени. Насадив червяка, я опустил в щель леску — одну только леску, без удилища. Едва я ее опустил, как червяка моего схватило, и я вытащил здорового окуня, у которого были красивые, цветущие тоже плавники. Едва ссадив с крючка первого окуня, я насадил нового червяка и снова опустил свою леску туда, в узкую щель эту между жердей, и ее тут же проворно схватили, и я, еще не опомнившись, снова вытащил такого же крупного окуня, каких я никогда не ловил прежде. Так я таскал их одного за другим, пока некоторое время спустя сразу, в один раз, не перестало клевать. Как отрезало! То ли клев окончился, то ли я за одно это утро всех до одного выловил их, этих окуней, которые ходили за моим червяком под этой сланью, под мельницей здешней.

Домой на этот раз я пришел очень рано с ведром, полным окуней. Мать еще стояла у печи, а за столом сидел гость, знакомый отца, приехавший по каким-то делам, то ли уполномоченный из района, то ли какой-то другой начальник. Мать тут же поджарила этих моих окуней в сметане, целую большую сковороду приготовила.

Отец был очень доволен.

## 92

Впервые в то лето я не работал в колхозе, а ходил по берегу реки, по логам, которыми была окружена деревня, и рубил еловую «лапку». Так называли тут еловые ветки. Я уж не знаю, куда они шли, на что они годились, эти колючие, эти еловые ветви, что из них вырабатывалось. Мне говорили, что на скипидар, но я не знаю, так ли это. Вооружившись очень удобным маленьким топориком, какие как раз появились к тому времени в нашем сельпо, я взлезал на ель и, искалывая руки и обдирая штаны, одну за другой обрубал у нее все ветки. Лазать приходилось высоко, потому что росшие по берегу реки ели были все какие-то тонкоствольные, чахлые и голые, как правило: внизу ветки у них быстро отсыхали, отваливались, а зеленые, покрытые темной хвоей, оставались лишь на самых вершинках...

Вырубленную «лапку» надо было еще вытащить к дороге и сложить в невысокий такой, на метр высоты, завал, в своего рода поленницу. «Лапку» принимали на кубические метры: метр в высоту, метр в ширину. Довольно много, надо сказать, ее уходило на один кубический метр. Она очень плотно укладывалась. Помню, как я считал, что нарубил уже очень много, а когда стали подсчитывать, замерять, то оказалось, что я нарубил очень мало.

И все-таки я, как видно, что-то заработал за то лето, потому что осенью, когда я начал учиться, мне сшили серые так называемые бумазейные штаны, до того времени я носил только холщовые, домотканые, и еще мне купили ботинки, а вернее сказать, туфли, но они были с ремешками, девчоночьи, должно быть. Может быть, родители не знали этого, но скорее всего потому, что других не было.

На следующее лето, когда отец перестал быть председателем и мы

опять на некоторое время вернулись в свою деревню, я собирал пихтовую серу, живицу. На гладкой атласной коре пихты бывают такие бугорки, подкожные такие пузырьки, в которых, как в капсуле какой, скапливается эта самая живица, жидкая в горячий день смола. Найдя такой бугорок, надо ткнуть в него горлышком, краем бутылки. Когда его, этот бугорок, проткнешь, смола сама стекает в бутылку.

Я целое лето собирал живицу, ходил с бутылкой в руках по берегу нашей реки опять же, где и росли у нас эти с выступающими кое-где на стволах смолянистыми бугорками пихты. Пихт у нас, правда, было немного, только вот тут, за рекой, они и росли, на другом ее, поднимающемся круто в гору берегу.

Я набрал почти целую четверть этой смолы, живицы. Были тогда такие высокие бутыли емкостью в четверть ведра. Целое лето ходил от одной пихты к другой. Живица, когда она загустевала, была чуть желтоватая, светлая, можно сказать, даже белая, как мед или воск. Стояла она у меня, эта четверть, в подполье.

Отец все обещал мне отвезти ее в город и сдать ее, но так и не собрался, не сделал этого. Так что, когда, через год, наверно, мы покидали деревню и уезжали, четверть эта все еще стояла в подполье. Так она и осталась там.

Все труды мои за целое лето так на этот раз и пропали даром!

## 93

Мне кажется, что до того времени я не видел близко фотоаппарата, не знал, что это такое, как он устроен. Все началось, я думаю, с того, что у меня появилось увеличительное стекло, сильно затертое, поцарапанное, выщербленное с одного краю. Не знаю, откуда оно у меня взялось... Но, может быть, дело еще в том, что неожиданная находка эта совпала с началом работы в нашей школе технического кружка, который вел у нас наш учитель физики. Звали его Василий Иванович. В этом кружке нашем мы делали всякого рода модели, например, маленькие кораблики из оцинкованной жести, которые двигались сами по себе в тазу с водой от струйки пара, вылетающей из трубочки. Василий Иванович всему учил нас, он все умел. Удивительно разносторонним был этот талантливый человек, жизнь которого вскоре после этого трагически оборвалась. Я думаю, что он недолго пробыл там, где он оказался, здоровье у него было слабое... Но, может быть, думаю я теперь, была какая-нибудь статья в газете, в тех же «Дружных ребятах», которые я получал, или во «Всходах коммуны», так, кажется, называлась газета, выпускавшаяся в те дни в нашем областном центре. Там тоже могла быть напечатана какая-нибудь заметка о том, как самому сделать фотоаппарат... Может быть, и так было. Но скорее всего все это совпало по времени: и кружок этот наш, вызвавший у меня интерес к фотографии, и статья в газете, если она была, и эта без дела валявшаяся у меня до той поры старая линза. Как бы там ни было, но в ту зиму я сам, своими руками соорудил самый настоящий, хотя, конечно, очень примитивный, небольшой такой фотоаппарат. Я сделал его из обыкновенной фанеры, которую тоже не знаю где взял, потому что по тем временам и фанеру не так легко было достать в нашем глухом селе,— два соединенных друг с другом, оклеенных черной бумагой ящичка. Один ящик выдвигался из другого. В стенку маленького, выдвигающегося вперед ящичка была вставлена эта моя порядочно уже исцарапанная линза. Все остальное я сделал из той же фанеры — кассету, например, куда помещалась пластинка тоже с выдвигающейся и тоже фанерной крышкой.

Как и все, наверно, изобретатели, я провел много бессонных ночей, пока собрал свой фотоаппарат, пока продумывал, как сделать ту или иную деталь во всей этой нехитрой конструкции. Иной раз я не спал до утра. То были трудные, маетные, очень радостные и тревожные ночи... Фотопринадлежности я выписал из города, по почте, они вскоре пришли, еще до того, как у меня все было готово. В небольшой, компактно уложенной и запакованной посылке оказались две или три коробки пластинок размером шесть на девять, а также несколько пачек фотобумаги, проявитель и закрепитель, словом, все то, что нужно было для того, чтобы начать мне наконец фотографировать. Я думаю сейчас, что, может быть, мне и фанеру прислали тоже вот так, в посылке, по выписке из города, потому что фанера нужна была особая, она должна была быть тонкая.



Первый же снимок, который я сделал, к большому моему удивлению, получился. Я снял отца, сидящего на табуретке, в его больших серых, так называемых фабричных, с широкими голенищами валенках. Он сидел на этой табуретке, положив ногу на ногу...

Можно только удивляться, что снимок на таком фотоаппарате мог получиться... Я потом снимал и сестру, и братьев, всю семью нашу, но первым я снял отца. Снимок был, конечно, слабым, не совсем четким, сереньким каким-то, но, согласитесь, это удивительно, что он все-таки получился.

Мне даже стало казаться потом, что сделать фотоаппарат не так уж сложно, что ничего особенно трудного в этом нет, что вся суть в одних только этих соединенных в одно, перекрещивающихся в отверстии лучах, откладывающих изображение на разлагающейся от света бромосеребряной пластинке. Но я и этого тогда не знал. Мне в то время казалось даже, что можно снимать и без линзы даже, без увеличительного стекла, просто в дырочку в стенке моего ящичка. Была бы, что называется, эта круглая дырочка, эта темная, не пропускающая посторонних лучей камера.

Я долго его хранил, этот мой фанерный, оклеенный черной бумагой аппарат...

Занятие фотографией сделалось на какое-то время страстью, и мне даже кажется, что отец мой благосклонно относился к моему увлечению... Я снимал и соседей наших, и своих товарищей, но, конечно, клееным этим, с поцарапанной линзой фанерным ящиком не многое можно было снять. О настоящем, хотя бы даже и детском, фотоаппарате я мог тогда только мечтать.

## 94

Зима в этот день явно поворотила на весну. Я сидел на постоянном своем месте у окна, которое было залито слегка припекающим мартовским солнцем, и читал книгу, которую мне дали на один день и которую, я думаю, в те дни читали многие. Не в силах дождаться конца уроков я читал ее через дырочку в парте. В парте у меня был когда-то сучок, который потом выскочил, выкололся, и через эту дырочку я, строчка за строчкой, читал эту книгу, держа ее внутри парты, так что учительница не видела, не могла ничего видеть. Один урок сменял другой, а я все читал ее, эту книгу, не в силах от нее оторваться, более всего боясь, что я не успею ее дочитать до конца. Я ничего не видел и ничего не слышал из того, что происходило вокруг меня, какой был урок и что говорила учительница. Я даже не заметил, как кончились уроки и надо было идти домой.

Я, повторяю, ничего не видел и не слышал, я был как в тумане, читая эту книгу об украинском комсомольце, бойце Конной армии, который в свои неправдоподобно, казалось бы, молодые годы с большой, красной, далеко видной звездой на шлеме и шашкой наголо скакал по пыльным дорогам Украины. Сколько было в ней, в этой книге, порыва и устремленности в близкое, хотя и никому пока неведомое будущее...

Чтение это удивительным образом совпало с другим, тоже памятным для меня событием — сбрасыванием колоколов с нашей церкви, мы это видели, потому что окна школы были как раз напротив церкви. Отрываясь на минуту от книги, которую я читал через дырочку, я видел в окно, возле которого я сидел, как с церкви летели колокола, сначала те, что были поменьше, а потом и самый большой, главный колокол, у которого был такой глухой, далеко слышный, тягучий звук. Я не могу сказать сейчас, откуда мы знали, что в этот день будут сбрасывать колокола с церкви, но когда самый главный колокол стал рушиться вниз, мы все бросились к окнам. Свергаясь оттуда, с высоты, он обрушил по пути карнизы, проломил в одном месте крышу над алтарем и, наконец, свалившись на землю, разбился на несколько частей...

Все это, как ни странно, происходило в один день, и сбрасывание колоколов с церкви, и чтение книги. Отрываясь на какой-то миг от спрятанной в парте книги, я видел, как летели сверху оттуда один колокол за другим.

95

Маленькое, в будни всегда очень тихое село наше в один прекрасный день было преобразовано в райцентр, и это повлекло за собой очень многие перемены в его жизни. Для вновь создаваемых районных организаций потребовались новые стены, новые, более просторные помещения, и в селе нашем на глазах у нас начали строить большое, двухэтажное, хотя и деревянное тоже, здание райсовета, а вслед за тем и новую, тоже двухэтажную, хотя и тоже деревянную, теперь уже десятилетнюю школу.

Надо сказать, что и само село тоже стало быстро менять свой облик, на его улицах появились автомашины, которых раньше не было у нас, и люди с портфелями, которых я до этого вообще не видел.

Сказалось это и на деревне, в которой мы жили. Летом однажды, это было как в сказке прямо-таки, когда я проснулся, я увидел в окно, что нашу деревенскую улицу, эту нашу гору, с которой зимой так хорошо было скатываться сверху вниз, принялись мостить, взялись укладывать ее коротенькими такими, на торец поставленными чурбаками. Чурбаки были березовые и еловые. Один на торец поставленный чурбак подгонялся к другому, и образовывалась дорога, высокая и прочная, какой у нас никогда не было в деревне. Я не знаю, делалось ли это где-нибудь еще или это было местное изобретение. Никогда потом я нигде не видел такой улицы и такой дороги.

Так она у нас и называлась, эта дорога — «торцовкой».

За короткое время, я думаю, за месяц или два, нашу вечно грязную и пыльную улицу, эту дорогу нельзя было узнать, она превратилась в звонкую, в очень удобную мостовую, по которой хорошо было и ходить и ездить. Телеги только — в первое время, когда она была новая, — сильно гремели по ней...

Я даже думал, что дорога эта вечная, что отныне наша улица всегда будет такой ровной и такой гладкой, и было странно, когда через несколько лет от этой дороги не осталось и следа.

96

В это последнее лето, которое мы тут жили, у нас было солнечное затмение и я его наблюдал. Хотя затмение солнца и не было у нас полным, оно произвело на меня очень большое впечатление... Не знаю, откуда я знал, что такое затмение будет происходить, но я заранее закоптил на лампе маленькое стеклышко и задолго до начала еще выбежал на другой конец деревни, где у нас была высокая гора, а под ней — длинный овраг, переходивший в долину, далеко тянущуюся... Место открытое, отсюда далеко и хорошо было видно. Здесь я и занял позицию. Затмение было, мне помнится, рано, в первой половине дня еще, когда солнце стояло высоко, почти в зените. Ничто не мешало мне наблюдать за тем, что происходило в этот день с солнцем. Через закопченное мое стеклышко я видел, как все это было, как началось, как солнце, постепенно пригасая, стало затеняться чем-то посторонним, невидимо чем. На него что-то такое медленно надвигалось, налезало. Я сидел на горе, приложив к глазам мою стекляшку, и очень волновался. Мне было хорошо видно наползавшую на солнце тень, как покрывалось оно чем-то темным и как все вокруг, и гора, и поля вдали, и особенно лежавший передо мной овраг, все сделалось сумрачным, подернулось сумеречным, вечерним светом, а в овраге совсем уже темно сделалось. Стало очень тревожно, непривычно, темно.

Помню, как испуганно заметались и заблеяли овцы, бродившие по склону оврага, и как за моей спиной замычала не выпущенная почему-то в этот день, запертая в стайке корова...

97

Перестав быть председателем, воротясь в деревню к себе, отец решил строиться. Надоело ему мотаться, жить без своих стен, без дома своего... Нам дали место в одном ряду со всеми, тут же, на горе, дома через два от двора нашего деда, только немного повыше. Я теперь не могу понять уже, как случилось, что тут оказалось свободное, незастроенное место. Всегда это было так или кто-нибудь уехал и место освободилось? Мы строились все лето, начав строиться еще с зимы. Сруб у отца был плохонький, и я опять же не знаю теперь, где он его взял, должно быть, купил какой-нибудь сарай разобранный. Бревна были вовсе тоненькие, слабые, которые годились разве что на коровник, или, как говорили у нас, на стайку. Отец пытался поставить что-то вроде пятистенка, так, чтобы за печью там был отдельный небольшой закуток. Мы все уже подрастали, учился не только я, но и сестра, и нужен был еще один, пусть даже самый маленький угол. Купленные отцом бревна были короткие, их приходилось составлять, притыкать одно бревно к другому. Изба от этого получалась как бы кривобокая, распадавшаяся как бы надвое. Снаружи это было тем более заметно. Отец сам сложил, а может быть, даже сбил, потому что складывают из кирпича, а он складывал из глины большую, занявшую, может быть, главную часть избы печь, пристроив к ней еще каминку маленькую, настелил полы, потолок, покрыл тесом крышу. Не знаю, как он вытянул все это. Сеней (сенцев, говорили мы) первое время у нас вообще не было, на это не хватило ни средств, ни заготовленного материала. Так что в избу входили, можно сказать, прямо со двора. Для этого к дверям была приставлена небольшая, в две-три ступеньки лесенка.



Я старался помогать отцу во всем, постоянно что-нибудь пилил, строгал, приколачивал. Мне вообще хотелось, чтобы все было как можно лучше, хотелось, чтобы дом наш был не хуже, чем у других, но не все и не всегда у меня получалось так, как мне хотелось. Иногда я говорил что-то под руку, а делать этого не надо было, не следовало, протягивал, например, какой-нибудь совершенно ненужный в данную минуту инструмент... Все оттого, что мне, как всю жизнь, впрочем, хотелось помочь, хотелось, чтобы все было как можно лучше, и не всегда у меня это выходило впопад. Случалось иной раз, что отец ругал меня крепко. Нервы у него тоже были напряжены.

Так или иначе осенью мы перебрались в свою избу, которая была еще даже не проконопачена как следует, мох еще лез из всех пазов. Но теперь у меня было свое место для занятий, свой, хотя и шаткий, столик в переднем углу, а с началом зимы я даже — в одном из углов, ближе к печи — сделал нечто вроде фотолаборатории, небольшую темную, оклеенную бумагой фотокабину. В ней было маленькое, остекленное красным стеклом окошечко с полочкой снаружи, на которую ставилась лампа.

Была это наша последняя зима в родной деревне.

98

Эта последняя зима, которую мы жили у себя дома, была особенно тяжела для нас. На трудодни в тот год в колхозе нашем почти ничего не досталось. Отец, чтобы прокормить семью, уехал с зимы на заработки, на лесоразработки, пробыл там всю зиму, а перед весной привез домой мешок черного, промерзшего, как булыжник, хлеба, буханок, я думаю, пятнадцать, а то и больше привез. Буханки были городские, формованные, и мы их рубили топором. Но, как ни старалась мать делить этот хлеб на порции, надолго нам хватить его, конечно, не могло. Нас все-таки к тому времени было пятеро голодных, ежеминутно требующих еды ртов. Не прошло, как мне кажется, и месяца одного, как от привезенных отцом буханок не осталось ни крошки.

Вот тогда-то и родилась у отца мысль ехать на Кубань. Кто-то нам сказал, что там, на Кубани этой, живут какие-то наши даже не родственники, а знакомые — знакомые наших знакомых, может, даже и не из нашей деревни, а из соседней. Все тянулись друг за другом! Мы без этого никогда, конечно, не тронулись бы в такую даль, неизвестно куда и зачем!

Отец мой не был, я думаю, перекати-полем, но время было такое... Вся Россия словно бы сдвинулась в тот год с места, была в пути, на колесах. Люди уходили на стройки, уезжали в большие города, перебирались из одного края земли на другой. Уезжали, возвращались и снова уезжали. Кого не мотала тогда жизнь по стране! Так что отец мой не был исключением, он был лишь подтверждением этого правила.

Мы приехали в одну не очень большую, как я потом понял, станицу, в пятидесяти километрах от Краснодара, на реке Кубани.

Помню только первые дни нашей жизни на новом месте. Мы поселились тут в доме недалеко от реки, на ее высоком берегу. Из деревни уезжали еще по зиме, еще на санях, а когда приехали в станицу, снегу не было уже и в помине. Улицы были черными от грязи, и на полях давно уже шел сев... Приткнулись в холодных сенях, в пристройке у двух одинаково беспомощных стариков, у старика и старухи, тоже приехавших откуда-то. Пол в доме был земляной, его время от времени приходилось подмазывать свежерастворенной глиной, и это было очень непривычно для нас. Железную печку надо было топить соломой, кукурузными и подсолнуховыми будыльями. Для нас это было тоже странно и непривычно, потому что там, у себя дома, в Вятке нашей, у нас у всех было тепло, дров хватало. А тут топили чем придется: и соломой, и будылками теми, и жаркими, как уголь, кизяками, с лета еще приготовленными. Но считалось, что кизяки очень дорогое топливо, и не у всех, не у каждого оно было. Мы топили соломой и поэтому очень страдали от холода и от сырости. Так начиналась наша жизнь здесь, в станице этой.

Кубань, река Кубань текла внизу, под горой, дома через два — через три от нас. Река была очень быстрая, мутная, глинистая. На другом берегу ее, насколько хватит глаз, тянулась низкая, заросшая лесом пойма. В одном месте, где-то среди леса этого, проглядывало озеро.

Спуск к реке был крутой, размытый дождями, глинистый. Слева, где высокий берег отстоял подальше от реки, виден был кружок кудрявого леса, довольно сильно заболоченный. По его краю был намыт песок, и тут обычно и купались, потому что Кубань всюду была глубокая, а тут было помельче, не так глубоко.

Там, за Кубанью, была Адыгея. Сразу от берега, через этот кудрявый, плавающий на воде лес вела дорога, которая шла до Майкопа. Так говорили нам, но ничего этого первое время я не знал.

### 99

Дня, я думаю, через два я пришел в школу. Школа тут находилась недалеко от железнодорожной линии, на живописной поляне. Окна в школе были большие, сложена она была из красного кирпича. Здесь тоже все было непривычно для меня. Прежде всего я увидел, что мои одноклассники, те, с кем я сидел за одной партой, были очень хорошо, как казалось мне, по-городскому одеты. Да и говорили они совсем не так, как говорили у нас в деревне, в Вятке нашей, не так, как говорил я.

Но не это было самое важное... В первый же день на первом же уроке, который был уроком немецкого языка, выяснилось, что я ничего не знаю; что я не то чтобы безнадежно отстал, но нас, по-видимому, плохо учили. Учитель немецкого языка, человек с многодневной жесткой щетиной, спрашивал о чем-то сидящих рядом со мной учеников, и те ему, как казалось мне, свободно, без запинки отвечали. Я же просто ни слова не понимал из того, о чем они говорили: ни того, что спрашивал учитель, ни того, что ему отвечал тот, кого спрашивали. Очень скоро, заметив в классе у себя новое для него лицо, учитель показал на меня и на немецком тоже задал мне какой-то вопрос. Увидев, что я не могу в ответ образовать ни одной сколько-нибудь внятной фразы, учитель с удивлением посмотрел на меня, недоумевая, должно быть, как это я оказался у него в классе. Я понял, что мне надо бежать, что из школы у меня ничего не вышло, не получилось. Нечего даже было и думать о том, чтобы как-то исправить положение. Это был уже седьмой класс, и год уже кончался.

Еще через несколько дней я отправился в степь, ничего другого мне не оставалось делать...

Мы уехали в табор, так назывался здесь полевой стан, вернее сказать, барак, где жила полеводческая бригада. Это была вросшая в землю саманная мазанка, крытая тростником, с нарами в два яруса, застеленными прелой соломой. Здесь жила вся бригада. Мы какое-то время ютились тут, пока не перебрались в другую, совсем уже разбитую мазанку в километре от этого стана. Здесь мы и стали жить...

Вскоре после того, как мы перебрались всей семьей в степь, нас поставили на прополку. Солнце уже шпарило вовсю, и все быстро шло



в рост, мы не успели оглядеться, как пустила всходы уже и сахарная свекла, бурак по-здешнему, и кукуруза, а за ней и подсолнечники, семечки, как говорили тут, и клещевина, и фасоль, и все остальное.

Помню день, когда нас вывели на прополку. У каждого в руках была цапка, или тяпка — мотыга, лучше сказать. Мы вышли к дороге, и мама, и отец, и я... Сестра еще была маленькая. Каждый получил свой ряд, каждый встал в начале своего ряда. Надо было поднять землю возле каждого ростка, каждого листика, но так, чтобы не затронуть, не повредить самого всхода, выполоть все, что этот росточек окружало, всю траву, все сорняки и все лишние, мешающие стебли... Так — один росточек за другим. Скоро, однако, я заметил, что наши соседи, которые встали в ряд вместе с нами, далеко ушли вперед, в то время как мы все еще были в начале ряда, совсем еще недалеко ушли от шоссе. Не такая простая она оказалась, эта цаповка... Когда мы к полдню дошли до конца этого бесконечного, до другой дороги и до другого поля растянувшегося ряда, начинавшие вместе с нами станичники заходили уже на четвертый. Оглядываясь назад, на свой рядок, я видел, что совсем не образцовой была моя работа, кое-где оставалась и пропущенная трава, и не столь глубоко, как нужно было бы, взрыхлена была земля. Да и сами стебли отстояли далеко не на равном расстоянии друг от друга. Это заметил и бригадир, строгий казак, поглядевший на нашу работу; взял у меня цапку и стал яростно рубить землю, взрыхлять ее, убирать лишнее...

Вечером в тот день, когда мы возвращались к себе, шли по пыльному шоссе, у меня под ногами все еще — по колено — была трава. Я наклонялся пониже, к самой дороге, но под ногами была одна только пыль, никакой травы не было. Но когда я поднимался, в глазах у меня опять вставала трава, все та же трава.

Это продолжалось и ночью. Едва только я закрывал глаза, трава снова обступала меня, и я рубил ее, рубил этой моей цапкой, но она со всех сторон опять и опять обступала меня.

### 100

Я думал, что эта цаповка, прополка эта, никогда не кончится, что вечно я буду прикован к моей цапке, к мотыге моей, но в один прекрасный день все это кончилось. Я начал работать на быках, на волах, стал учиться запрягать волов в ярмо и погонять их, что оказалось тоже очень нелегкой и очень хитрой наукой. Надо было уметь с ними обращаться, а для этого недостаточно было усвоить, что «цоб» — это когда надо повернуть влево, а «цобе» — направо... Много я пережил и много перенес, случалось даже и плакать тайком, пока научился управляться с ними и пока быки хотя бы мало-мальски стали меня слушаться.

Отсюда, из этой бескрайней, бесконечной степи, в которой работали мы все лето, были видны снежные горы на горизонте. Говорили, что это — Эльбрус. Так это было или нет, не знаю, но в хорошую погоду и впрямь высоко над горизонтом, в облаках, становились вдруг видны снежные вершины...

Жара, с которой началась весна, сменилась упорно дующими, не прекращавшимися ни на один день холодными ветрами. Такого яростного ветра, такой непрерывной холодной волны я никогда до того времени не знал. Дул он по крайней мере недели две. Я уж думал, что он никогда не кончится, этот ветер. С большим трудом я добирался в конце дня до своего барака.

### 101

Хлеб уже убирали и даже уже молотили, но до первой выдачи на трудодни было еще далеко, аванса все еще не выдавали, и мы тянулись из последнего, занимали где можно, но взять было не у кого, знакомых у нас тут не было, а наши хорошо обжившиеся здесь земляки были не такие люди, чтобы делиться с ближним, и вот настал такой страшный, такой черный день для нас, для всей нашей семьи, когда мама наша, наша стеснительная, застенчивая мама повесила мешок за спину и пошла по хуторам просить для своих детей. Потому что у нас уже ничего не было, маленьких кормить было совсем нечем.

Когда она вернулась к вечеру с несколькими кусочками в торбе, она была вся черная, ее нельзя было узнать.

Только к концу лета уже, когда мы выработали достаточное количество трудодней, нам выписали первый аванс, и мы получили немного зерна. Мне кажется, около пуда пшеницы получили.

Пока мы увидели собственный, белый, пышный кубанский каравай, прошло еще много дней, нам пришлось еще долго ждать и много тяжелого испытать.

Такое это было лето для нас.

## 102

В том же таборе, в той же степи в то же самое лето я познакомился с дедом Соколом. Я думаю, что фамилия у него была Соколов, а дедом он был только потому, наверное, что у него была борода.

Дед Соколов был с Волги, из Камышина, кажется мне, но он давно уже жил здесь, в этой станице на Кубани.

В таборе у нас — было это между прополкой и вывозкой хлеба — надо было переложить несколько печек, и меня поставили к нему помощником. Дед Сокол был печником. В деревянном большом корыте, в сбитом нами для этого ящике, я месил для него глину, топтал ее ногами. Это было намного легче, чем цапать кукурузу или управляться с непослушными, упрямыми быками. К тому же дед Сокол был очень хороший старик, жалеющий меня, хорошо ко мне относившийся. Он ни разу, насколько я помню, не накричал на меня...

Однажды, я уж не знаю, как это получилось, когда мы месили глину и готовили раствор, дед стал рассказывать мне о том, что тут было задолго до того, как мы сюда приехали. Я не знаю, почему вдруг стал он мне об этом рассказывать... Как видно, он тоже искал собеседника.

Мы, надо сказать, и раньше слышали кое-что о том, что тут было до нас. Особенно, конечно, не распространялись, не такое было время. Но те, что приехали сюда раньше нас, говорили, что в садах тут, в заброшенных колодцах, в бассейнах для сбора воды находили трупы.

Теперь я услышал обо всем этом от деда Сокола, взявшего меня к себе в подручные...

— Дед, а что, разве хлеб не уродил? — спрашивал я деда. И дед Сокол, простая душа, — для него это было так недавно, — снова и снова рассказывал мне, как все было... Сначала забрали весь хлеб, потом кукурузу, потом все, что еще оставалось. Первое время, правда, еще оставляли «на едока», но потом и это отобрали. Рассказывал, как умели найти и то, что, казалось бы, было хорошо запрятано. Даже если закладывали кирпичами в печи где-нибудь, все равно находили и отбирали.

— Но почему, дед? — спрашивал я.

Но дед Сокол с его уже чуть проглядывающей сединой в широкой бороде и сам ничего не мог мне объяснить. Но когда я очень уж сильно приставал к нему, он, сердясь, говорил: «Да якобы за саботаж. Излишки, значит, изымались...»

Я во всем искал разумный смысл и спрашивал у деда, просил его разъяснить мне, что же это такое было, как же все это могло быть, но дед рассказывал только то, что знал сам. Каждый день, по его словам, чтобы не началась холера, ходила по улицам мажара, это телега такая высокая, и возчик стучал кнутовищем по плетням и кричал: «Выноси!»...

— Дед, а как вы? — спрашивал я, совершенно убитый его рассказом.

Они с бабкой выжили. Когда забрали все, и осталась только одна фасоль, и дед уже понимал, что заберут и это, он оттащил два мешка на чердак, на горище, как у них тут называют, высыпал там, перемешал с землей и граблями разровнял. И каждое утро бабка, старуха деда Сокола, лезла на горище, поднималась по лесенке с горшочком и, разрывая руками сухую, перемешанную с золой и куриным пометом землю, набирала горсть фасоли и варила суп.

Так и выжили...

Там же, в степи, в то лето, в обед, нам в бригаду привозили газеты и, разворачивая их на меже, посреди поля, можно было прочесть, как шел суд, процесс над оппозицией и какие признания делали эти люди... Все удивлялись, что они так наговаривали на себя. Что-то было во всем этом зловещее, страшное.



Такое было лето.

## 103

Не сказал еще, что, когда началась уборка, когда стали вывозить хлеб, я отсюда, из степи, из бригады нашей, сопровождал зерно на элеватор. Его прямо из-под молотилки в большом таком ящике, в прицепе, возили трактором в станицу. Должен сказать, что это была очень приятная работа — сопровождать зерно на элеватор, ездить туда и обратно по засыпанным зерном проселкам. Потому что, как ни старались и ни следили, а зерно все-таки рассыпали... Дорога в станицу была гладкая, ровная, будто утрамбованная. Одним словом, как раз такая, какая бывает на степном черноземе. Я лежал на тяжелом, приятно холодящем живот зерне и всю дорогу, все эти десять километров от табора до станицы пел. Мне было хорошо отсюда сверху, с горы, разглядывать весь этот мир, массивы цветущих подсолнухов, сахарного тростника и кукурузы, подступающие к самой дороге, к бортам кузова. Но однажды случилось несчастье... Как видно, я слишком понадеялся на себя, слишком много смотрел по сторонам, считал ворон, что называется, а может быть, и задумался о чем-то своем. От тряски, а еще больше оттого, что зерно своей тяжестью распирало кузов, давило на него, устройство, запирающее борта, задвижка эта железная вылезла из гнезда, и в образовавшуюся щель зерно стало просачиваться, стало сыпаться на дорогу. Заметив это, я очень испугался и принялся кричать сидящему за рулем трактора человеку, чтобы он остановился, но за тарахтением мотора крика моего не было слышно. Я попытался своими силами закрыть борт, поставить ее, эту задвижку, на место, но ничего у меня не выходило. Зерно по-прежнему сильно давило на борт и распирало кузов. Тогда, не зная, как быть, что делать, я стащил с себя рубаху и затолкал ее в прорванный зерном угол, и зерно постепенно перестало течь. Так с грехом пополам мы и доехали до станции, до элеватора.

Испуг мой был велик.

Надо сказать, что именно тут, в этих рейсах от табора до элеватора, я впервые сел на трактор, первый раз подержал в своих руках руль. Это было уже потом, когда мы уже бураки возили. Бураки не зерно, тут можно не бояться, что борт откроется и я, сопровождая бураки, сидел не в прицепе, как полагалось, а на тракторе, на запасном сиденье, рядом с трактористом. Однажды, когда мы вот так ехали, по прямой этой, хорошо накатанной и совершенно пустынной дороге, он, уступив моим просьбам, посадил меня на свое место за рулем, и я проехал, не знаю, километра, может быть, два или три. Довольно долго ехал. Я сам правил трактором, сам ехал по этой прямой, ровной дороге, на которой ни одна машина не попадалась навстречу. Не буду пытаться передать здесь ощущение, которое испытывает человек, впервые садящийся за руль. Вцепясь руками в баранку, я сидел на жестком, на тряском сиденье и ехал, а за мной двигался прицеп с бураками, и послушный мне трактор пыхтел мотором. Мы уже проехали плантацию сахарного тростника, и начались подсолнухи, а я все ехал, все не выпускал из рук штурвала. Спустя некоторое время тракторист, решив, что я уже достаточно долго еду, достаточно удовлетворил свою охоту, занял свое место, а я перебрался туда, в забитый бураками кузов.

Может, я и не очень долго ехал, но радость, испытанная мною в тот день, сам факт, что я один, без чьей-либо помощи, управлял трактором, сидел за рулем, была велика и, как я вижу, не забылась мною и до сих пор еще.

Я еще много лет после этого мечтал водить машину, сидеть за рулем трактора...

## 104

Так шло это лето.

В станицу я попал только осенью, незадолго до начала занятий в школе. На трудодни нам выдали первое зерно и кукурузу выдали, и подсолнечные семечки, и фасоль. Всего понемногу. Ссыпáли все это тут же в

хатах, прямо на пол. У наших соседей, живущих за стеной у нас, за дверью, тоже все было доверху засыпано и зерном и кукурузой.

Я снова начал учиться, и, странно, немец, из-за которого весной я ушел из школы, уже не казался мне таким грозным, таким страшным, хотя на его уроках мне все еще было трудно. К тому же я, как в свое время с Василием Ивановичем, здесь тоже подружился с учителем физики. Произошло это на почве моего увлечения фотографией. Я даже у него дома бывал.

Все вроде бы было позади, и хлеб уже был свой, заработанный с таким трудом, и мне даже купили ботинки и собирались купить фотоаппарат, о котором я только мечтал когда-то...

Все вроде бы было для нас позади, как вдруг заболела наша мама. Видимо, она очень вымоталась, ослабела. Год этот совсем ее доконал... Сначала это, как видно, была малярия, пришлось ее уложить в больницу в районном центре, в соседней с нами станице. Что с ней потом случилось, не знаю, кажется, начался брюшной тиф. Скорее всего там же, в больнице, и заразилась. Я ходил к ней в больницу, носил ей что-то, но видел ее только через окно уже, она уже вроде и не вставала. Потом нам сказали, что она умерла.

Помню эту ночь, когда я просыпался и видел мать, лежавшую на столе, повязанную белым платком, и отца, строгавшего доски, делавшего гроб, много курившего, а потом всех нас над могилой, младших братьев, сестру, потерявшего голову отца.

Отец с ребятишками уехал, вернулся домой, в деревню к себе, я остался заканчивать школу, доучиваться остался. Когда учебный год закончился, я уехал на Урал, на угольную шахту уехал. Работал здесь все лето, пилил крепежную стойку, а осенью поступил в культпросветшколу, откуда довольно скоро призван был в армию, служил в танковом полку на западной границе, где меня и застала война.

### *Вместо эпилога*

Так вот она, эта маленькая, затерянная в лесах таежная станция, с которой мы уезжали в тот год. Неужели же так много промчалось лет? Мне кажется даже, что я узнаю ее...

Мы недолго искали машину. Она стояла недалеко от чайной, я только не сразу ее рассмотрел, небольшая, крытая брезентом, какие на фронте называли «козликами», и шофер, парень белозубый, молодой, согласился нас довезти, не сказав нам сначала, куда он едет и откуда он сам. Мы сели, и не успел я оглянуться, как началась та памятная мне дорога с достающей до осей травой, метликой, или метлицей, знакомые поляны и даже, что уж совсем, казалось бы, невероятно, те же березы, кривые, раскидистые... И что это, погоди-ка — я опять оглянуться не успел, — так ведь это же Пеньково... Оно самое! А вот и совсем уже заросшая, навсегда затянутая травой колея, ведущая в Березовку, которая тут, рядом, рукой подать, но которой, я знаю, давно уже нет на земле. Еще несколько минут пути, и — как близко все оказалось! — вот он, наш кордон Королевский! Да, это он, все тот же, потемневший от времени и от дождей, из лучших сосен срубленный, с проступающей по стенам смолой. Но что это? Неужели я не заметил, как мы проскочили весь этот бор наш? Да, видно, это так, потому что вот же она, мельница наша, я увидел ее раньше всего остального, и река, и мельница на ней. Я уже слышу шум реки, шум падающей воды. Да вот же, вот она, моя Большая деревня, откуда все начиналось!

Взять бы да разуться, да, как в детстве было когда-то, пройти босиком по этой траве, по этой земле, почувствовать ее опять босыми ногами...

Загремели колеса. Мы въехали на мост.

●

Леонид ФРОЛОВ

# Украденная невеста

## РАССКАЗ

### 1

Телеграмму принесли ночью. Вера Васильевна, открывая дверь, думала, что встречает невестку, потому что только Настя, возвращаясь домой поздно, не пользовалась, как все, звонком, а кошечкой скреблась о косяк: поскребется, постучит, прислушается, не прошаркают ли в прихожей шаги, и опять начинает скрестись. Вера Васильевна долго не могла взять в толк, почему Настя не хочет звонить, а потом разгадала тайную пружину невесткиных мыслей: старики услышат и шорох за дверью, а муженек Виталий лучше бы никогда и не просыпался. Хотя ему, Виталию, кажется, все равно: пришла жена сразу после работы или задержалась где-нибудь до утра. Это старики маются предрассудками, а нынешняя семья свободна от всяких условностей.

Однажды Настя сказала Вере Васильевне:

— Человек должен делать то, что ему хочется.

Вера Васильевна задохнулась от возмущения:

— Да как же так? Как это делать то, что хочется? У тебя же семья! У тебя же должны быть перед нею обязанности. Если каждый станет подчиняться бездумным порывам, на земле наступит светопреставление.

— Да, да,— неуступчиво повторила Настя,— что хочется.— И, выделяя каждое слово, добавила: — Е с л и  т ы  с м е л ы й  ч е л о в е к. А трус пусть довольствуется объедками.

Веру Васильевну испугала невестка. У них в роду никогда не возносился культ силы. Всегда считались друг с другом и старались поддержать того, кому трудно.

Вера Васильевна упавшим голосом спросила:

— А если тебе понравится ожерелье на моей шее? Ты его что, сорвешь?

Невестка не обиделась, хотя — по разумению Веры Васильевны — и могла бы.

— Ну зачем так? — усмехнулась она.— Купила бы.

— А на какие шиши?

— Ну вот, вы опять за свое.— Невестка недовольно повела плечами.— Тогда, извините за откровенность, нашелся бы тот, кто мне купил бы его.

Вера Васильевна упала духом.

— Торговать, что ли, пошла бы собой?

Она понимала, что говорит лишнее, но уже не могла остановиться, ее понесло, как сани, в раскат.

Невестка опять приняла ее слова без обиды:

— Мама, я бы стала делать то, что мне хочется.

Уж лучше бы и не называла мамой. Только больнее сделала.

Вера Васильевна обессиленно поняла, что спора не выиграть: стыда у невестки нет. А рассчитывать в таких разговорах на поддержку Виталия не приходилось: сын и сам был отпетый. Кому бы, как не ему, приструнить жену, а он, если заявится домой раньше Насти, посидит у телевизора и завалится спать. Вере Васильевне глаз не сомкнуть, дожидаючись невестки, а Виталий головой подушки коснулся — и храпит.

— Мама,— ответил он на укоры матери,— тебе современных отношений не понять.

Да, уж таких отношений Вере Васильевне, естественно, не понять: они противны ее природе. Он-то как их терпит? Мужик называется...

— Мама, ты читала французские романы? — спросил сын.

— Современные не читала,— отрезала она, делая ударение на любимом слове Виталия — «современные».

— Ну, и в старых хватало этого: у каждой женщины было по нескольку поклонников.

— Витя, так ведь поклонников, а не любовников!

Сын усмехнулся:

— А тут границы размыты: сегодня поклонник, завтра...— Он, гримасничая, щелкнул языком и засмеялся.

Есть чему радоваться... Жена наверняка рога ему наставляет, а он ведет счет ее поклонникам. Конечно, Виталий и сам жох хороший, своего не упустит. Но на мужские шалости принято смотреть проще. И Вера Васильевна, не поощряя сына за вольности, все же не осуждала его, была уверена: при хорошей жене муж не загуляет. А Виталий тем более находился дома больше жены. «Да, мать,— укорила она себя,— не уследила ты, когда у детей началась такая свободная жизнь: каждый делает, что ему хочется. Смелые люди...»

С лестничной площадки постучали в косяк.

Вера Васильевна, не посмотрев в глазок, распахнула дверь: перед ней стоял немолодой высокий мужчина.

— Однако смелая вы, хозяйка,— сказал он осуждающе, доставая из сумки телеграмму.— Распишитесь в получении. Время проставьте: ноль часов тридцать пять минут... Смелая вы...

А уж какая смелая? Руки и ноги онемели, когда увидела на пороге незнакомого человека.

— Надо было звонить, как положено,— повысила она голос.— А то скребетесь, как кошка...

Почтальон возмутился:

— Да я не скребся. Я извещение о телеграмме в дверную щель просовывал... Телеграмма не срочная, не хотел беспокоить...

Он дождался, когда она распишется на квитанции, не вызывая лифта, стал спускаться по лестнице.

Почтальон, конечно же, прав. Безрассудно распахивать дверь среди ночи, когда в квартире сидишь одна. Сын спит, невестка где-то шляется, а муж, как обычно, в командировке, мотается по своим лесопунктам. Вера Васильевна взглянула на бланк: телеграмма была из Березовки, от родни: опять едет кто-то, либо просят чего-то купить... Уж до того надоели все эти просьбы, мочи нет. В Костроме жили, было куда спокойнее.

Она захлопнула дверь. «Ноль часов тридцать пять минут...» А Насти все нет. Не распечатывая телеграммы, Вера Васильевна вышла на балкон: послышался вроде бы Настин смех.

Хлопнула в подъезде дверь. Почтальон появился на тротуаре. Сверху он показался низеньким и забавным: тень от него, быстро удалявшегося, росла быстрее, чем он шел, но перед очередным фонарем вдруг резко отскочила назад, вытянувшись до скамейки, стоявшей у подъезда.

Вера Васильевна услышала цокоток каблуков и невольно отпрянула от балконных перил: по тротуару шла Настя, шла одна, без провожатого.

«На отворотке простились»,— подумала Вера Васильевна, не уверенная, правда, что это именно так. С Насти станется ринуться по ночному городу и одной. Настя — коренная москвичка, для нее в городе каждая улица, как для Веры Васильевны, выросшей в деревне, любая тропка в поле или в лесу, приведет к дому да еще за время дороги сколько воспоминаний разбудит, и чем длиннее путь — тем приятнее, тем радостнее, о чем только и не передумаешь.

Внизу хлопнула дверь лифта.

Вера Васильевна распечатала телеграмму.

Телеграмма была от сестры. Катя выдавала дочь замуж, приглашала москвичей на свадьбу. Свадьба намечалась на субботу, выходит, через пять дней.



Настя уже скреблась в дверь. Наверно, с улицы еще обратила внимание, что в окнах свет, и недоумевала, почему так долго не легли спать.

Вера Васильевна пропустила невестку, пропахшую табаком.

— Витя дома? — настороженно спросила Настя.

— А тебя разве это волнует?

— Ну все-таки муж...

— Муж... объелся груш,— сказала Вера Васильевна недовольно.

Настя заметила в ее руке телеграмму.

— Что-то случилось? — испуганно спросила она. Испуг был неподдельный, и это примирило Веру Васильевну с невесткой.— С Николаем Антоновичем?

Со свекром у нее были менее натянутые отношения, чем со свекровью, с ним Настя старалась ладить: Николай Антонович был для нее не просто главой семьи, а «нужным человеком», с большими связями, от которых перепадало и молодым. Он нередко ездил по заграницам, и Настя без зазрения совести делала ему заказы, Николай же Антонович стеснялся ей отказать. Скорее просьбу жены не выполнит, чем невестки. Вера Васильевна всегда удивлялась, как муж с таким-то стеснительным характером смог выбиться в большое начальство. Ведь родился в деревне, не было у него так называемой мохнатой руки: сам, без поддержки со стороны поступил в институт и по распределению не в городе остался, а попал в далекий таежный лесопункт, где начал карьеру со скромной должности технорука. Потому, наверное, что совестливо относился к работе, любил все доводить до конца, и пошел Николай Антонович в гору: начальник лесопункта, замдиректора леспромхоза, директор, начальник областного управления лесной промышленности,— и Вера Васильевна не заметила, как залетели в Москву, да на такую высоту, что и вниз смотреть боязно: не сорваться бы. Вера Васильевна сновала за ним как нитка за иголкой и везде работала в одной должности — учительницей. О московской школе раньше думала, что вряд ли с новой работой справится. А оказалась и тут на лучшем счету: и ученики ее слушались и уважали, и учителя не чурались, а приглядевшись, за советом шли.

Не было лишь устойчивости в семье. Николаю Антоновичу, тому легче — весь в большом деле, головы не видать. Из командировок не вылезает: не в тайге, так в Финляндии или в Канаде. И домом вынуждена была править она. «Правление царицы Веры Первой»,— подтрунивал сын. А у «царицы» никакой власти, одни обязанности: свари, постирай, накорми, приберись... Молодые, как квартиранты, живут. С той лишь разницей, что за квартиру не платят да тянут с родителей чего ни вздумают.

Вот Настя сейчас испугалась телеграммы не оттого, что на этом маленьком лоскутке бумаги и в самом деле могли оказаться печальные слова, она оторопела, опасаясь, что эти слова способны ударить и ее: случись что с Николаем Антоновичем, ей пришлось бы урезать свои расходы обратно пропорционально потребностям.

Настя пытливо заглянула в глаза Веры Васильевны:

— Мама, на тебе лица нет...

— А я уж не помню, когда оно и было на мне,— устало призналась Вера Васильевна.

— Да что случилось, мама? — Настя, вытаращив глаза, кинулась в комнату, где спал Виталий. Это, видимо, успокоило ее, она вернулась в прихожую и, встав перед зеркалом, придирчиво себя оглядела.— Не хотите со мной поделиться известием? А? — Переход на «вы» свидетельствовал о том, что Настя настраивала себя на обычный в такой ситуации обмен колкостями.— Не хотите — не надо,— заключила она и неожиданно для Веры Васильевны не стала задираться.— Тогда будем ложиться спать.

— Из Березовки телеграмма,— пересилив себя, сказала Вера Васильевна.— От сестры.

— А-а, из лесу,— томно потянулась Настя, все еще не отходя от зеркала.

Вере Васильевне послышалось в ее голосе пренебрежение.

— Да, из лесу,— сказала она вызывающе.

Настя внимательно изучила отражение одной своей щеки, потом, повернувшись, принялась разглядывать другую.

— Ну, и что они пишут? — не обращая внимания на вызывающий тон Веры Васильевны, спросила Настя.

— Приглашают на свадьбу.
— Ах, это так интересно! — наигранно восхитилась Настя.— Свадьба... в лесу...
Веру Васильевну задела ее ирония.
— А ты думала, женятся только в Москве? — раздраженно бросила она.— И в лесу живут люди почище тебя!
Настя была невозмутима:
— Позвольте мне в этом усомниться, мама...
И тут уж Вера Васильевна дала волю накопившейся за вечер обиде, не смогла перебороть в себе бабью неприязнь к невестке:
— Посмотрите на нее, какая чистюля выискалась! Приходит домой в ночь-заполночь. Муж уже спит, как ребенок, а от нее табачищем несет, как из курилки. Меня не стыдишься, так хоть бы его постеснялась...
— А как его стесняться, если он спит?
— Ну ведь спросит завтра, где была, с кем гуляла...
— Каждый делает, что хочет.
Ничего не скажешь, удобная формула! Оправдает любой безнравственный поступок. Веру Васильевну поражало, что Виталий соглашался с женой. Ну так ведь два сапога — пара. И он живет сам по себе. То задержится, в баньку, говорит, с друзьями ходил, то мальчишник у него, то в шахматы играл. Знает она эти шахматы, от них почему-то французскими духами пахнет...
Надо бы им завести дитя... Ребенок магнитом держал бы обоих дома. А дитя в то же время — какая ответственность!.. Может, и хорошо, что нет его, ребенку-то за что маяться у беспутных родителей?
Сознавая бессмысленность перепалки, Вера Васильевна все же не хотела, чтобы последнее слово осталось за невесткой, но и продолжать спор на ночь глядя было бессмысленно, и потому миролюбиво закончила:
— С мужем бы вместе гуляли... Посмотри-ка, ведь оба красивые. Какая бы пара...
— Муж ленив и нелюбопытен! — отрезала Настя, не принимая перемирия.
— Так развелись бы...
— А нас обоих устраивает такой союз.
Да, их устраивает, а каково родителям смотреть на непутевую жизнь детей!
Виталий недавно сразил Веру Васильевну своей наивностью.
— Мама, да ничего ты не понимаешь! — загорячился он.— Не гуляет Настя, а самоусовершенствуется.
— Это как так... самоусовершенствуется?... По ночам-то?
— Ну, мама, театры, салоны...
— Чего-чего? — опешила Вера Васильевна.— Салоны мадам Шерер?
— Да нет, другая мадам,— усмехнулся сын,— жена архитектора.
— И что же там? Танцы? Выпивка?
— Балдеют от разговоров. Я раза три сходил, больше меня туда не затащишь.
— Ну, конечно, тебе неинтересно, раз выпивки нет.
— Ма-а-ма,— обиделся Виталий.— Да я у тебя пьяница, что ли?
— Ему неинтересно,— корила она Виталия.— Вот так и проворонишь жену... С разговоров, Витенька, и начинается все.
Виталий беспечно махнул рукой:
— У меня, мама, своя программа!
— Вот и плохо, что у каждого своя,— подвела Вера Васильевна черту под разговором.
Программу Виталия Вера Васильевна более или менее представляла. Вернется воровато, и, как у кота, лицо маслится, глаза плывут:
— Настя дома?
— Спросил бы о чем-нибудь другом...
Виталия ничуть не встревожит ответ, проскользнет мимо матери в свою комнату, и на Веру Васильевну напахнет волной тонких духов, будто прошла рядом женщина. «Кобель, кобель»,— пугалась Вера Васильевна, но и как бранить сына, если ему не повезло с женой? Виталий садился по-быстрому бриться, а потом долго брызгал на себя одеколоном.
Вера Васильевна недоумевала: нормальные люди бреются по утрам, а этот с вечера. К приходу жены, что ли, готовится? А потом сообразила: да он же одеколоном перебивает запах духов...



Нет, это не жизнь... Уж действительно разводились бы, пока ничем не связаны. Ребенок появится — разводиться поздно...
Вера Васильевна посмотрела на Настю. Стройна-а-а... Как артистка. Ей бы в кино сниматься, а она в инженеры пошла. «В кино...— Вера Васильевна спохватилась: — Тогда бы и вообще дома не видели. Инженером и то в салон забрела...»
— Вот вы, мама, о разводе в последнее время заговорили,— презрительно поморщилась Настя.— А мы не разведемся.
«Ну так разве тебя выгонишь?» — подумала Вера Васильевна.
— Вы на это и не рассчитывайте. Мы с Виталием любим друг друга.
«Да не Виталия ты любишь, а достаток в доме Виталия».
— У нас все построено на доверии.
Вера Васильевна не удержалась:
— Не знаю, на чем у вас все построено... Только стройка ваша расщелялась давно... Это разве стройка: жена приходит ночью домой? Муж спит...
Настя, не нагибаясь, сбросила с ног туфельки. На каблуках и подошве налипла грязь.
«Помыла бы, а то ведь так и насохнет...»
Настя подняла туфли:
— Вот именно, спит,— сказала она.— А то бы туфли помыл.
Вера Васильевна всплеснула руками:
— Да и сама ведь не переломишься!
Настя захохотала:
— Что, жалко сына? — Она направилась в ванную и уже оттуда, журча под краном водой, спросила: — А разве плохо, когда муж за женой ухаживает? Или вы хотите наоборот: жена за мужем? — Лодочками надев туфли на руки, вышла из ванной, кинув на свекровь короткий взгляд.
Вера Васильевна промолчала.
Настя поставила туфли в прихожей и вздохнула:
— Ох, мама, и когда у вас каникулы кончатся? В учебное время устаете: я прихожу — вы спите. Вам хорошо — и мне спокойно.
— Значит, я во всем виновата?
Настя кивнула.
— Ну, а вы как думаете?
— Она где-то гуляет, а я виновата? — поперхнулась обидой Вера Васильевна.— Вот уж верно замечено: легко тому жить, у кого совесть потеряна.
Настя остановила ее:
— Мама, не изводите себя: я на вас все равно не обижусь. Я терпеливая: я уже давно философски смотрю на наши взаимоотношения. И не преувеличиваю: хорошо понимаю вас. Хоть вы и учительница, а старомодная. Деревней пропитаны все ваши поры. Вам не переделать себя. Деревня...
— Не трогай деревню!
— Ну хорошо, не буду,— согласилась Настя спокойно.— Молчу. Понимаю: раз вам не переделать себя — значит, окружающие должны терпеть вас такой, какая вы есть.
— А я и не хочу себя переделывать!
— Ну вот,— подловила Веру Васильевну Настя.— Значит, и вы живете так, как вам хочется. Сильный человек.
Она удовлетворенно хмыкнула и ушла в спальню раздеваться.
Вера Васильевна не могла не признать, что потерпела поражение, и это еще сильнее взвинтило ее. Ей, Вере Васильевне, себя переделывать? А с какой стати? Она живет правильно. Мужа холит. По работе у нее замечаний нет. И весь дом на себе тянет. Не финтифлюшка же эта по магазинам бегает за картошкой, не она стоит в очередях, таскает с провизией сумки. Посмотрела бы Вера Васильевна на нее, если б молодые жили отдельно, какие бы песни пела тогда невестка!
Бог с ним, с хозяйством. Вера Васильевна готова держать его на своих плечах, пока есть силы. Но было бы ради кого убиваться...
Вера Васильевна только теперь обратила внимание, что все еще ходит с телеграммой в руках.

«Таня выходит замуж. Свадьба субботу. Очень ждем. Катя»,— машинально перечитала текст Вера Васильевна.

Она приготовила себе постель, проверила, на все ли замки закрыта дверь, и, выключив свет, легла.

Да, надо из этого бедлама уехать. Пусть сами во всем разбираются, как хотят. Бегают по магазинам, жарят картошку.

Ее почему-то больше всего занимало, как невестка с сыном станут готовить еду: ни тот, ни другой ничего не умеют. Хорошо, что Коля в командировке, а то ему бы на шею сели.

Вера Васильевна прикинула, когда Николай Антонович может вернуться, и облегченно вздохнула: она, пожалуй, управится быстрее, чем он. Вера Васильевна понимала, что злорадствовать ей не пристало, но не могла сдержать удовлетворения, когда рисовала в воображении неумеху Настю с кухонным ножом в руках: «Вот и узнаете, каково без матери-то». Она даже подумала, что не оставит им денег: оба на зарплатах, должно хватить,— но тут же укорно обмякла: а ну, не хватит, не у соседей же им занимать...

Мысли ее, дотоле хаотичные, раздерганные, как металлические опилки, попавшие в магнитное поле, подчинились цементирующей невидимой силе и выстроились теперь в одном направлении: надо ехать на свадьбу. В ней, в свадьбе, она чувствовала для себя отдушину. Хоть неделю, но поживет нормальной жизнью среди нормальных людей.

О деревне у нее сохранились самые светлые чувства. И сейчас, отдаленная от святой поры юности годами и годами, Вера Васильевна представляла свою деревню Раменье заселенной не людьми, а небожителями. Все дурное забылось, память удержала лишь ощущение радости.

Вера Васильевна видела сейчас Раменье от первого дома до последнего, будто стояла на холме и деревня разлеглась перед ней, как на ладони. Дом сестры Катерины упрятался за черемухами, отяжелевшими от ягод. А рядом стояла изба Николая, Николая Антоновича. Уж так у нее вышло, у Веры Васильевны, что жених отыскался в своей же деревне, сосед. А жить выпало незнамо где — то в лесопункте, то в райцентре, то в области, донесло до самой Москвы. И если б теперь судьба предоставила ей такую возможность: повторить жизнь заново и выбрать на все эти годы одно и только одно место жительства, она остановила бы указующий перст на этой неказистой деревенской избе. Уж в Раменье-то они не проморгали бы сына. А сейчас Вера Васильевна положа руку на сердце вынуждена была признать, что Виталий вырос у них не таким, о каком они с Николаем мечтали. Он жил с ними, но давно уже был не их. Вскормили его они, но воспитали другие люди, напичкав дурными взглядами и замашками. Вот, говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Но Вера Васильевна не находила в сыне ни одной из добрых черт Николая Антоновича: работать сын не любил, над отцовским пониманием чести и совести смеялся и, не скрывая презрения, иронизировал, что отец из вымерших мамонтов: даже оттого, что положено ему по службе, отказывается, будто может этим исправить покосившийся мир, усовестить его.

В деревне сын был бы у них под постоянным приглядом. Вера Васильевна, сопоставляя деревенскую жизнь с городской, отдавала предпочтение Раменью еще и по этой причине. Ведь и сама она, и Николай Антонович выросли нормальными людьми не оттого только, что были как раз теми яблоками, которые упали неподалеку от здоровых и крепких яблонь, а и оттого прежде всего, что деревня поднимала их: родители идут на сенокос — и их, ребятишек, за собой тянут, родители в поле — и дети с ними. С отца, с матери берется наглядный пример.

С кого брали пример Виталий и Настя, Вера Васильевна и понятия не имеет. Ясно только, что не с нее. Они были предоставлены улице, и улица подыскивала для малолеток свои авторитеты. Вера Васильевна была с утра до вечера занята школой, Николай Антонович не знал свободной минуты, даже не каждый день успевал пообедать, один Витька — сам себе король, делал, что хотел. Вот и вырос с чужим нутром. В родовой избе Николая Антоновича с Витькой этого бы не произошло и не Настю выбрал бы он себе в жены.

Изба Николая Антоновича давно раскатана на дрова. Вера Васильевна, приезжая к сестре погостить, видела на ее месте приземистый пятистенок, в котором размещался медпункт. Но вот ведь свойство человеческой памяти — Вера Васильевна не могла сейчас представить медпункта: какой он, с которой стороны вход, сколько окон на улицу? А старое Раменье видела как наяву; память не распростилась ни с колхозным амбаром, которого уже нет лет тридцать, ни с развалюхой-баней, снесенной, когда Вера еще училась в институте, ни с сепараторным пунктом, на месте которого кто-то недавно построился, Вера Васильевна не запомнила кто. Новое Раменье выпадало из памяти.

За деревенскими огородами сверкала река. Вера Васильевна и сейчас видела каждый ее изгиб. Над омутом, который стал для раменских ребят купалищем, с той, лесной, стороны нависали березы. Их отражение расплывалось в воде зелеными густыми чернилами, и от этого вода казалась до дна зеленой.

Вера Васильевна с трудом освободилась от воспоминаний. Надо было обдумать, что брать с собой, что подарить молодым на свадьбу.



## 2

Сестра Катерина сидела за столом у окошка, чистила рыбу. Она не удивилась появлению Веры Васильевны, но не выказала и особой радости.

— А я уж думала, никто не приедет,— тусклым голосом сказала она и стала обтирать руки о фартук.— С автобусом, что ли, вохомским?

— Да нет, на попутной.

Сестра подняла взгляд на заборку, где висели оставшиеся еще от матери часы-ходики с усатым генералом Скобелевым на циферблате.

— Ну да, вохомский давно прошел.

Было два часа пополудни.

— Проголодалась или самовара дождешься?

— А-а, ничего не хочу... Воды вот из колодца напьюсь...

Сестра снова села за стол и принялась за прежнее дело. Она вела себя так, будто они расстались вчера, хотя Вера Васильевна не бывала в родном доме восемь лет. Танька, дочь Катерины, была тогда босоногой девчушкой, а теперь уж невеста.

— Где Татьяна-то? — спросила Вера Васильевна.

Катерина подняла руку с ножом, облепленным чешуей:

— Леший знает где...

Вера Васильевна почувствовала, что сестра не в духе.

— Договаривай, перед своими не таись,— попросила она.

— А чего мне таиться? — Катерина бросила нож в блюдо с рыбой и устрашающе подняла руки.— Ее свадьба, надо на столы готовить, а она палец о палец не ударила. Матке больше всех надо... Матка одна валандайся, она и домой не кажется...

— Да где хоть она? — испугалась Вера Васильевна, не зная, что и подумать.

— Где? Где? В КБО своем!

Пришлось переспрашивать, пока не выяснила, что КБО — это комбинат бытового обслуживания в Березовке и что Татьяна работает там швеей, домой приезжает на выходные, а в будни — когда вздумается или когда из еды ничего не останется, все дружкам или подружкам скормит.

— Ну, у нее же работа,— попробовала успокоить сестру Вера Васильевна и только хуже сделала: Катерина упала головой на столешницу, и плечи ее затряслись.

— Да ты что, Катя? — Вера Васильевна бросилась к сестре, но их разделял стол, завоженный рыбьими потрохами и чешуей. Вера Васильевна села у стола на табуретку.

По голове сестры ползла муха. Вера Васильевна смахнула ее рукой. Муха, покружив над рыбьими потрохами, назойливо опустилась на голову Катерины. Вера Васильевна снова отогнала ее.

— Ну будет тебе, будет, Катя,— говорила необязательные слова Вера Васильевна, утешая сестру.

Катерина оторвала лицо от столешницы. Оно было сухое, без слез, и это еще сильнее встревожило Веру Васильевну: видно уж, сестра выплакала все слезы. Хуже всего, когда женщины ревут с сухими глазами.

— Нет больше мочи, Вера,— призналась сестра. Она выбралась из-за

стола и пошла к умывальнику. Наверное, ей-то казалось, что под глазами у нее мокро и лицо все в грязных потеках.

Катерина долго умывалась. Холодная вода освежила ее и успокоила. Сестра разрумянилась даже и, пробегая мимо встревоженной Веры Васильевны на кухню, махнула рукой:

— Ой, совсем из ума выжила: гостья приехала, а я сижу и реву.

Катерина загремела на кухне самоваром, зашуршала углем.

Вера Васильевна, обеспокоенная настроением сестры, не знала, подходить ли ей к Катерине. Подойдешь, а та опять разрыдается, повиснет у тебя на плече. Пускай уж лучше окончательно придет в себя.

Но Катерина крикнула ей:

— А ты чего там притихла? Иди сюда!

Руки у нее были выпачканы углем. Она держала их, как мокрые, на весу, изредка приподнимая жестяную трубу самовара и заглядывая в конфорку.

— Думала, и ты не приедешь,— вернулась она мыслями к первым минутам встречи.— Три дочери и сын у меня, а никто из них не захотел к сестре на свадьбу приехать. Все телеграммами отделались...

Вера Васильевна, чувствуя, что разговор опять может скатиться к слезам, остановила Катерину:

— Ну, мало ли как складывается по работе. Не все летом свободны, как я.

— Да будет тебе... Заступница...

Катерина, о чем-то задумавшись, замолчала. Помолчала недолго.

— Хоть бы на похороны мои собрались,— вздохнула она.

— Ну, ну, раскудахталась,— осудила ее Вера Васильевна.

— А что, Вера, не соберутся ведь,— сказала Катерина горестно.— Таких воспитала...

Вера Васильевна ожидала нового взрыва отчаяния, но сестра совладала с собой и только пожаловалась:

— Сердчишко, Вера, у меня барахлит... Забыла название болезни... В общем, все время как обрывается. И рентген делали — сильное расширение.

— Ну, мы еще с тобой поживем, сестра. Ты только не расслабляйся,— наигранно забодрилась Вера Васильевна, сама чувствуя фальшь в голосе и стыдясь этой фальши.

— Да, мы поживем,— тускло согласилась сестра.— Если нам детки век не укоротят.

— А что детки? Детки большие, пусть живут, как хотят.

— Да ведь они-то хотят жить хорошо, но делают все, чтобы жить плохо.— Катерина прислушалась к загудевшему самовару, посмотрела на вымазанные углем руки, но к умывальнику не пошла, а взяла кухонную тряпку и обтерла ею ладони.— Я вот жаловалась, что ни брат, ни одна из сестер не приедут к Таньке на свадьбу... А может, и хорошо, что не приедут. Теперь ведь по столь раз женятся, на каждую свадьбу не наездишься... У меня и Галька уже два раза замужем побывала...

И Вера Васильевна вспомнила сейчас то, о чем не однажды раздумывала в Москве: не надо детей далеко от себя отпускать. Она вспомнила это в укор сестре, но тут же поймала себя на мысли, что не совсем права. Сама-то она никуда от себя Виталия не отпускала, под крылом, как у курицы цыпленок, рос, обласкан, изнежен, а чужой.

— Свой ум, Катя, ни в кого не вложишь,— сказала она.— Ни в сына, ни в дочку, каждый по-своему хочет жить.

— Это так,— согласилась Катерина, думая о своем.

И все-таки, утешая сестру, Вера Васильевна полагала, что Катеринино положение иное, нежели ее, Веры Васильевны. В деревне за детьми можно уследить. И Катерина сама виновата, если они выросли не такими, какими хотелось ей. Побольше бы за собой на работу водила. Поменьше жалела бы...

Сестра сидела на табуретке, облокотившись о колени, глядела в угол. Самовар, краснея поддоном, тянул заунывную песню.

— Так ты чего все же расстроилась-то? — чувствуя, что пришло время узнать, почему у сестры не свадебное настроение, спросила Вера Васильевна.— Жених, что ли, у Татьяны не больно хорош?



— А где они, хорошие-то? — вздохнула сестра и объяснила свою тревогу: — Гербованный он.

— Какой, какой? — не поняла Вера Васильевна.

— Да гербованный. Незнамо откуда и завезли... Их там целая бригада приехала в лесопункт...

И Вера Васильевна сообразила, что сестра имеет в виду вербованных.

— А я и говорю, что гербованные,— подтвердила ее догадку Катерина.— Он сначала-то в Шайме работал, а теперь в леспромхоз выдвинулся.

— Ну, вот видишь... Плохого не выдвинули бы.

— Ой, Вера... Да он ведь, может, за подметалу у них. Теперь инженеров полно, а подметал не хватает... Танька мне про него не сказывает. Говорит: мама, не это главное, кто кем работает, лишь бы человек был.

— Ну, и правильно говорит.

Катерина несогласно покружила головой:

— Да я-то разве за должностями, Вера, гонюсь? И Танька у меня не артистка. Я али не понимаю?

— Ну так о чем же горюешь?

Катерина, потускнев, призналась:

— Вера, он ведь цыганских кровей.

У Веры Васильевны отлегло от сердца:

— Господи, чепуха какая! Из-за этого и расстраиваешься?

Сестра выдохнула свою боль:

— Непостоянный он... Его уж одна в Березовке за измену серной кислотой обливала, да паразиту только полушубок сожгла, а сам вывернулся.

Вера Васильевна представила картину, как цыган бежит с выгоревшей полой полушубка, а за ним гонится обезумевшая березовская девица.

— Дикость какая-то,— поежилась она от одрога.— Разлюбил, так чего гоняться?

— А горы золотые сулил! — зло возразила сестра.

— Не развешивай уши.

— Вера, обманывать-то зачем? — не унималась Катерина.— Неужели по-честному нельзя?

Вера Васильевна, наконец, поняла, к чему клонит сестра.

— Так она что, забеременела от него?

— В том-то и дело... А Танька за такого идет...

Вера Васильевна все равно не видела повода для особой тревоги. И раньше сколько было таких кобелей. За примерами далеко ходить не надо. Возьми панковского Василия Ильича, почтальонке Нюре двоих дочек сорудил, а женился совсем на другой, и хорошо живут.

— Вера-а,— всплеснула руками Катерина,— он ведь половину березовских девок перебрал, цыган-то наш, и бабами не брезговал. У секретаря райкома комсомола жену чуть не отбил.

— Ну и ну! — засмеялась Вера Васильевна.

Конечно, сестре не позавидуешь. Кто из родителей не мечтает об устойчивом счастье для своих детей? А тут Татьяна будто нарочно подбирала себе такого мужа, с которым счастье обморочно и ненадежно.

— Ну что это за жизнь будет такая? — спросила Катерина и сама же ответила: — Мука, а не жизнь, каждый день в страхе.

— Да почему в страхе-то? — неуверенно возразила ей Вера Васильевна.— Перебесился в молодости, в семейной жизни образумится. Сколько таких примеров!

— Отучишь кота воровать, дожидайся...

— Но ведь он ни одной жениться не предлагал, а тут женится... Значит, Танька чем-то сумела его завлечь.

— Ой, и не говори! — Сестра махнула рукой.— Она ведь караулит его там, потому и домой не едет... Я вот готовлюсь, а ведь не уверена, будет ли свадьба-то...

Вера Васильевна представила тревогу, которой жила сестра. Конечно, позора от соседей не оберешься, если свадьба сорвется. Тогда не надо было и затевать ее. Собрались бы скромно за семейным столом, посидели бы после Загса. Может, и не узнал бы никто.

— Что ты? — возразила Катерина.— Совсем голову потеряла девка. Всем объявила. Бегает сама не своя.

— Значит, любит.

— Он-то любит ли, вот в чем вопрос. Погодили бы немного жениться-то, пригляделись бы друг к дружке, а то скрутили за месяц, будто не жизнь рассчитывают вместе прожить, а на вечерку сходить.

Катерина рассказывала Вере Васильевне о Таньке, о ее женихе, а сама то вздыхала, то охала. Легкость, с какой дочь решилась на опрометчивый шаг, угнетала ее. Но и вставать у дочери поперек дороги она не могла. Да и встань попробуй... Столкнет с дороги и не оглянется, что там с матерью. По правде сказать, кто нынче послушается родителей? Не зря замечено: чему бывать, того не миновать.

И Катерина приготовилась душой к судному дню.

Вот муж ее, Александр, тот как отрезал:

— Вы уж тут разбирайтесь без меня, как хотите! Я потворствовать вам не буду! — и уехал к сестре в гости.

И все-таки это Таньку не остановило. Разослала всем приглашения на свадьбу.

Вера Васильевна осудила и Александра:

— Ох, мужики, им бы только перевалить заботу на чьи-нибудь плечи.

Но Катерина заступилась за мужа:

— Ой, Вера, поверишь или нет, а и я хотела с ним вместе уехать.

— Да вы что, с ума посходили?

— А вот такое настроение нашло. Мы же видим, что она по краю идет...

Самовар зафырчал, зашипел, поднимая паром крышку.

— И тебя, окаянного, не углядела! — встрепенулась Катерина и кинулась наводить порядок.

### 3

Народ собрался в основном незнакомый Вере Васильевне. Из родни никого не было. За сдвинутыми впритык столами, накрытыми домоткаными скатертями, сидели одни молодяшки, Татьянины подружки да дружки. Их привезли из Березовки машиной, они высыпали из кузова под окнами дома Катерины, как горох, и тут же пустились в пляс. Усадили своего гармониста на завалинку, две девчонки стали рядом и принялись обмахивать его лицо ветками — от комаров. Гармонист закрывал глаза, весь отдаваясь игре: пальцы сновали по перламутровым пуговицам гармони.

Деревня мгновенно ожила, в домах пооткрывались окна, на каждом подоконнике зависло не по одному любопытствующему. Еще бы! Свадьба гуляет.

Катерина почему-то стеснялась этого интереса соседей и, подхватив под руки молодых, поспешила увести их в дом. Однако на лужайке не заметили этого и продолжали плясать: первым-то надо было уводить гармониста.

Катерина зазывала гостей в дом, а они, еще и не зная, кто она такая, не обращали на нее внимания, продолжали плясать.

Вера Васильевна бросилась сестре на выручку, отстранила плечом стоявшую около гармониста девчонку, подхватила парня под руку, тот легко поднялся и, продолжая играть, пошел за Верой Васильевной. Пляшущий, гикающий круг потянулся за ними.

Гости в доме утихли и без суматохи расселись за столами. У Веры Васильевны создалось впечатление, что каждый заранее знал свое место и привык к нему, будто они с одной свадьбы переехали на другую.

Был у них и свой тамада, он постучал ложкой о графин с квасом, требуя тишины, и встал, чтобы говорить. Застолье сразу угомонилось, и Вера Васильевна подумала, что они с Катериной напрасно расстраивались, ломая головы, кто будет править свадьбой. По их раскладу выходило, что, кроме Веры Васильевны, некому. А раз объявляются самозванцы, так и куда с добром, пусть ведут это хлопотное дело привычным руслом.

Тамада был молод, он сидел по правую руку от жениха и чем-то походил на него. Уж не брат ли? Вере Васильевне не терпелось выяснить это, но спросить было не у кого: с одной стороны жалась к ней плечом Катерина, с другой — сидела Катеринина подруга Васса, они обе никого не знали из молодежи. «Спроси у девок»,— шепнула Вера Васильевна Катерине, но сестра делать этого не стала.

Жених Вере Васильевне приглянулся сразу. Цыганского в нем, кроме смолисто-жгучих кудрей, ничего не было, и даже в смуглости кожи он уступал невесте. Вот уж Татьяна, та — да! — выглядела чистокровной цыганкой: лицо загорелое, глаза темные, бесоватые, зубы, как сахар. Монисто на шею — и хоть сейчас в табор.



Пара была что надо. Вера Васильевна заметила, как они переглядываются, как улыбаются друг другу, и это ее все больше располагало к ним.

Тамада между тем говорил о большой любви. В его руке пенился шапкой бокал шампанского, тамада косил на него взглядом, вытягивал руку над столом, показывая всем, как шапка, оседая, стекает по хрустальному стеклу горячими струйками, и сравнивая любовь с взбунтовавшимся в бокале вином.

Тамада говорил долго и витиевато. Вера Васильевна из его речи поняла, что тамада живет в Березовке третий год и жалеет, что сдружился с женихом только нынешним летом. Значит, не брат Георгию. Это ее несколько огорчило, выходит, со стороны жениха никого не было из родни. Правда, она уже знала, что мать и отец у Георгия живут в Сибири. Это не из Березовки, в одночасье не соберешься. Но все равно без родни на свадьбе жених не жених и невеста не невеста. Кто-то должен присутствовать, представлять свой род. Хотя на этой свадьбе все было не так, как положено. Катерине надо бы сидеть рядом с дочерью, а она пристроилась на другой стороне стола, как чужая.

Тамада закричал «горько», хоть делать это, по разумению Веры Васильевны, было рано. Но гости поддержали распорядителя. Жених охотно поднялся и потянул невесту за руку. Она зарделась, встала и, как тростиночка, припала к нему. Застолье рукоплескало.

Вера Васильевна почувствовала локтем, как сжалась Катерина.

— Ну, чего ты? Все хорошо,— успокаивая сестру, шепнула она.

Катерина поперхнулась вином, хотя и сделала-то из бокала всего полглотка — не выпила, а лишь пригубила, и то не впрок пошло.

Георгий метнул в ее сторону острый взгляд: в таком гаме он не мог услышать, что теща закашлялась, значит, почувствовал неладное. Тут же наклонился к Татьянину уху, сказал ей что-то, Татьяна испуганно зыркнула глазами на мать, но Катерина уже оправилась, отодвинула бокал от себя и чинно сложила руки на коленях. Испуг растаял в глазах Татьяны, она подмигнула матери и, не скрывая радости, потянулась к плечу Георгия. Тот ответил ей встречным движением.

«Ну и ладно, ну и хорошо»,— подумала Вера Васильевна, уже твердо уверовав, что страхи Катерины сильно преувеличены.

Свадьба входила в положенный ей азарт. Уже выискались добровольцы и песню спеть, и станцевать.

Песни пели новые, Вера Васильевна многих не знала и не могла подтянуть. Катерина тем более была безучастна к веселью и только следила за столом: если где-то освобождалась под закусками тарелка, она хватала ее и бежала на кухню за новой.

Танцевали несколько пар, и все одни девки, без парней.

Места в избе немного, поэтому на танцевальный пятачок всем желающим было не выйти. Посчастливилось прежде всего тем, кто сидел с краю, а не забрался на почетные места поближе к жениху и невесте, парни-то как раз и затесались туда.

С тоской поглядывал на танцующих тамада. Рядом с ним ерзал на стуле рыжий парень, он даже поднимал скатерть, прикидывая, видимо, нельзя ли пролезть к танцующим под столом, жениху, зажатому с обеих сторон, тоже хотелось поплясать. Он вскидывал руки над головой, подрагивал плечами, задорно посматривал на Татьяну. И когда Вера Васильевна увидела эту его лихость, огневой блеск глаз и плечи, как бы живущие в азартном танце, решила: «Цыган». Плечи его тосковали по воле, они рассказывали о чем-то своем, сокровенном.

За столом рядом с Татьяной сидела яркая, броская на вид деваха. Она жадно ловила взгляды Георгия, взвизгивала, вскакивала: ей тоже не сиделось на месте.

— Гена, сыграй «Эй, вы там, наверху»! — крикнула она гармонисту.

— Зоя, только для вас...

Гармонист закрыл глаза и подобрал на пуговках баяна знакомую и Вере Васильевне крикливую песню.

— Эй, вы там, наверху! — запела Зоя. Голоса у нее не было, но для этой песни он и не требовался.

Танцующие сменили ритм, приспособились к песне.

Вера Васильевна не могла бы объяснить, что ей не понравилось, она сидела как на иголках, пережидая, когда Зоя наконец замолчит. Но у той оказался богатый набор современных песен. Она опустилась на стул, тут же опять вскочила:

— Гена, «Синюю птицу»!

Свадьба сворачивала на непроторенный путь. Вера Васильевна не знала, что ее перестало устраивать в течении перекроенного на новый лад старого обряда. Уж, конечно, не то, что гости стали хозяевами, а хозяева превратились в гостей. Это Веру Васильевну даже радовало. Она не представляла, как стала бы управлять этой оравой молодых незнакомых людей. Но тамада тоже отпустил вожжи, и выходило, что каждый действовал сам по себе: кто горластее, тот и менял погоду. Но если бы менял по-разумному... Вера Васильевна ждала от свадьбы величанья жениха и невесты: это было в обряде извечным. И пока тамада говорил о большой любви, пока собравшиеся кричали молодым «горько», она была спокойна душой. Но Танькина подруга повернула реку на себя.

Вера Васильевна не могла с этим смириться. Она не знала старого свадебного обряда да и не была сторонницей его возрождения. Что умерло, того не воротишь. Но в ее крови независимо от сознания бродило передавшееся по наследству ожидание игры. Она ждала спектакля, где главные роли отводились невесте и жениху, а их сейчас оттеснили на задний план.

Улучив все же момент, когда Зоя смолкла, Вера Васильевна поднялась и, задорно поглядывая на жениха, крикнула:

— Вы-ы-куп!

Он удивленно посмотрел на нее, не сразу сообразив, чего она хочет.

— Вы-ы-куп! — повторила Вера Васильевна.— У нас невеста-то, видишь, какая пригожая. Выкуп давай!

И застолье поддержало ее:

— Выкуп, Георгий! Выкуп!

Жених полез в потайной карман пиджака, достал портмоне. Денег у него там было немало, вытащил все, до последнего рублика, и по-купечески бросил на блюдце, которое тянула к нему Вера Васильевна.

«Цыган!» — еще увереннее заключила Вера Васильевна.

Застолье возбужденно ахнуло. Кто-то потребовал, чтобы Вера Васильевна пересчитала деньги. Но Вера Васильевна остудила горячие головы:

— Дареному коню в зубы не смотрят,— и подала блюдце сестре.

Катерина, зардевшись и не зная, что делать с деньгами, отодвинула блюдце от себя.

— Выкуп же за дочку, нельзя не брать,— укорила ее Вера Васильевна.

— Мама, пусть и кошелек идет в выкуп,— сказал Георгий, протягивая теще портмоне.

— Нет, мне кошелек не нужен,— увереннее, как бы вступая в игру, сказала Катерина.— С кошельком-то сразу видно, что деньги не мои.

За столом поощряюще захохотали.

Жених поддержал общий смех:

— Да чего уж там! Теперь все наше, моего ничего нет. Пусть и кошелек будет у вас.

— Ну, уж нет! — воспротивилась Катерина.— Заработаешь новые — в кошельке опять принесешь.

Ай да Катерина! И она, видно, оттаяла, а то сидела бука букой.

Вера Васильевна взглянула на сестру: смеется.

— Так что кошелек твой, а денежки мои,— заявила Катерина.

Жених спрятал отощавшее портмоне в тот же карман, из которого и достал.

— Значит, теперь вечный кузнец? — спросил он у тещи.

— Куй, куй, да рублями, а не полтинниками,— поддержала Катерина его шутку.

Вера Васильевна видела, что эта перепалка роднит и сближает стол. Танцоры потянулись к своим местам. Зоя, сидевшая рядом с Татьяной, присмирела и больше не пыталась затмить невесту.

Вот это уже походило на свадьбу! Кто-то снова закричал «горько». Теперь это было в самую пору.

Разгоряченная Вера Васильевна выскочила из-за стола. Какая сила ее подмывала, она не знала, но усидеть на месте не могла.



— Вот какие песни-то надо на свадьбе петь! — возвестила она и, вытащив из кармана носовой платок, подняла его над головой:

Ты идешь, подруга, замуж,
Не жалей гуляночек.
Тебе дролечка достался,
Как садовый яблочек.

Она бросила на жениха быстролетный взгляд. Он подался всем корпусом вперед, оглянулся на Татьяну, подмигнул ей: знай, мол, наших! Конечно, почувствовал, что его в этом доме признали за своего. А переживал, волновался наверняка, когда ехал сюда. Не может быть, чтобы Татьяна не предупредила, что родня опасается его. Конечно, предупредила: у любящих секретов друг от друга нет.

Вера Васильевна рассыпала каблуками по полу дробь, посмотрела на повеселевшую Катерину, на уже прислонившегося к Татьяне Георгия и призналась:

У подружки под окошком
Протекла канавушка.
Было времечко, за милого
Ругала матушка.

Георгий прижал Татьяну к себе и чего-то возбужденно стал наговаривать ей на ухо. Она смеялась, не сводя с него глаз.

Катерина делала вид, что частушка ее не касается, но все-таки, когда они с Верой Васильевной встречались взглядами, хмурилась и показывала, что не одобряет сестру. Но Вера Васильевна покрепче притопнула каблуком и, приплясывая, подплыла к молодым.

Я любила три, четыре,
Тебя, Гоша, пятого,—

еще притопнула, задорно подморгнула Георгию, кивнув на Татьяну: от ее имени, мол, пою. Он понял, ответил тоже кивком, тогда Вера Васильевна отошла от стола и взмахнула платочком:

Никого так не любила,
Как тебя, проклятого.

Все засмеялись, смеялась и Татьяна.

Георгий поднялся, глаза его горели. Он прихлопнул руками и, выждав, когда Вера Васильевна остановилась, повернулся к Татьяне:

Я люблю тебя, сударушка,
И каюся тебе:

Татьяна настороженно затихла: в чем же еще таком он будет ей каяться? Катерина заперебирала на своих руках, упрятанных в колени, пальцы. Георгий, загораясь, вызывающе окинул застолье взглядом и завершил признание:

Ты одна у меня на сердце,
Одна и на уме.

«Не цыган»,— окончательно решила Вера Васильевна и крикнула:

— А ну, дайте жениху сплясать! Освободите проход.

Гости задвигались, будто без подсказки не могли сообразить, что у жениха затекли ноги.

Георгий вышел к Вере Васильевне:

— Ну, так что, родственница, посоревнуемся? — и посмотрел лукаво, сам стройный, высокий, глаза бездонные: неспроста Танька в них утонула.

— Да где мне цыгана переплясать.— Вере Васильевне подвернулся удобный момент, чтобы вызвать жениха на откровенность.

Он засмеялся:

— У вас что, кто черноволосый, тот и цыган?

— Нет, у нас таких и своих много,— поддержала она шутку.— Кто кудрявый да черный,— и, подумав, добавила: — и красивый, конечно,— тот и цыган.

Он довольно тряхнул смолисто-вьющимся чубом.

— Да я ж первостатейный русак, из Сибири.

Будто в подтверждение его слов гармонь рванула плясовую. Георгий, отбивая дробь каблуками, вышел в центр горницы и замер, повернувшись к невесте. Гармонь притихла, словно прислушалась к тому, что творилось в избе. Георгий гикнул:

— И-и-эх! — И запел, голос был несильный, но приятный:

У сударушки на празднике
Спою да и спляшу.
Ты не думай, дорогая,
Никого не насмешу,—

пообещал он.

Плясать он оказался мастак. Выделывал такие коленца, что Вера Васильевна удивлялась, как удерживался на ногах. Но больше всего ее поражало, откуда Георгий знает столько частушек. Ведь любого из молодяшек сейчас подними, одну-две частушки припомнит, а на третью уже и не хватит форсу. Георгий же вытаскивал их будто из короба, набитого ими до отвала, и ведь каждая пелась к месту.

Он, словно чувствуя, что Вера Васильевна устала, и как бы заканчивая состязание, обратился к невесте:

Да что это за речонка:
Рыбочка за рыбочкой!
Да что это за девчонка
Завсегда с улыбочкой?

Он стрельнул взглядом на Татьяну, подмигнул теще, которая сидела за столом настороженная и то растерянно улыбалась, то поджимала губы и суровела.

Ничуточки не стыдясь своего проигрыша в состязании с Георгием — годы есть годы, молодых уже не перепляшешь,— Вера Васильевна в последний раз вышла на круг. Да и то больше стояла на месте, только не отдала свою очередь на частушку:

Во лесочке две кукушки
Куковали до утра,
Все частушки я пропела,
Отдохнуть и мне пора.

Георгий засмеялся, взял ее под руку и повел к столу. Устало смолкла и гармошка.

— И где это ты такую науку прошел? — хваля Георгия, спросила Вера Васильевна.— Нынче ведь частушки только со сцены услышишь.

— А я для сцены их и готовлю... В художественной самодеятельности выступаю.

Признание, конечно, умалило восторг Веры Васильевны. Куда впечатляющей было бы, если б он жил с этим богатством не для показа, а, как жили раньше ее ровесники, для услаждения души. За сечом в луга отправляются — поют частушки, за дровами едут — опять ими тешат себя, а уж праздник настанет — так частушечный перестрел идет, как из ружей пальба при открытии охоты. Но и самодеятельность, конечно, неплохо.

— Артист, значит? — шутливо спросила Вера Васильевна.

— Местного масштаба,— так же шуткой ответил он.

— Ну так что, родственничек,— сказала Вера Васильевна.— Приезжай в Москву, еще в Москве спляшем.

Георгий кивнул и, улыбаясь, стал пробираться к Татьяне.

— Жить — не плясать,— тихо заметила Катерина.

— Да будет тебе! — остановила ее Вера Васильевна.— Хороший парень.

— Поживем — увидим,— осторожно возразила сестра. Что-то, видимо, ее тревожило.

Георгий уже пробрался к Татьяне. Она вытащила из рукава носовой платок и старательно обтерла пот с его лба. Георгий поцеловал ее в щеку.

— Голубок и голубка,— сказала Вера Васильевна.

Сестра промолчала.

Свадьба ехала уже на четырех колесах, и все же ей не хватало заводилы, который бы знал, что за чем должно следовать. Без него свадьба в самый неподходящий момент могла угодить в кювет. Вера Васильевна укоряла себя, что не взяла из библиотеки какую-нибудь старую книгу: ведь сколько их написано о русской свадьбе, сейчас бы только заимствуй да предлагай играть сцену за сценой — веками люди придумывали, как и чем обставить этот поворот в судьбе человека, чтобы он запомнился на всю жизнь, а ведь сколько в старом обряде разных колен, деталей, которых никто сегодня не знает. И ряженые, кажется, ходили. И невесту у жениха воровали...



А вот бы и Таньку у Гоши украсть!

Вера Васильевна загорелась новой затеей и бросила на жениха торжествующий взгляд: подожди, устроим тебе еще одно испытание.

Георгий не ожидал подвоха, сидел взбудораженный пляской и время от времени наклонялся к уху Татьяны, шептал ей что-то. Она, чтоб не расхохотаться, зажимала ладошкой рот.

Вера Васильевна погрозила Георгию пальцем:

— Весели, весели, женишок, невесту, а утром мы ее у тебя украдем. Посмотрим, насколь ты находчивый...

Георгий вопрошающе посмотрел на Татьяну. Она пожала плечами.

— Так что, милый, новый выкуп готовь,— пояснила Вера Васильевна ничего не понимавшим в свадебном обряде молодым.

— А я гол как сокол,— покаялся Георгий, доставая портмоне.

И Татьяна зарделась, бросилась на защиту жениха:

— Он и так уже все отдал.

Но гости, возбужденные пляской и частушечным перепевом, поддержали Веру Васильевну:

— Украдем! Украдем!

Катерина недовольно покосилась на сестру:

— Чего еще такое выдумала? Не воруют невесту...

Ну и пусть не воруют! А мы украдем! Ей запало в голову, что в свадебном обряде все же есть такое колено — воруют невесту. Может, она малость и перепутала. Не воруют, а прячут, кажется, во время девичника. Или переодевают, а жених должен узнать свою суженую среди одинаково накрытых фатами девушек. Узнал — отдадут, а перепутал — заплатишь выкуп.

Вере Васильевне загорелось устроить новый спектакль.

— Так что, миленький, ждет тебя еще одно испытание,— пригрозила она жениху.— Посмотрим, дорого ли ты нашу Татьяну ценишь.

Георгий, показалось Вере Васильевне, растерялся. Он закрутил шеей, озирался по сторонам. «Вот были бы родственники-то,— подумала Вера Васильевна,— поддержали бы... Какая без родни свадьба?»

Гости стали подсказывать жениху выход:

— Привяжи ее к кровати.

— Найми тамаду в сторожа, а то он не оправдал доверия.

— А я согласен,— не противился тамада.— Покараулю.

— Ну да,— возражали гости.— Кот мясо ухранит. Не доверяй, Гоша, никому.

— Чего вы расстраиваетесь? Он за ночь накует больше того, чем отдал,— загоготал кто-то.

Георгий включился в игру:

— Да не гогочите, я у тещи займу.

— Э-э, нет, у нас так не пляшут.

Но теща и сама пошла на выручку зятю:

— Не трусь, Георгий. Найдем выход. Не зря утро вечера мудренее...

Вера Васильевна отдыхала душой и думала: как хорошо, что она вырвалась из домашнего ада.

## 4

На ночлег всех гостей в одном доме было не разместить. Молодых определили на сеновал. Кого устроили на веранде, кого в сенях, а человек десять развели по соседям. Вера Васильевна пошла к Марии Томиловой.

Мария была ровесницей ее матери. Бывало, на сенокос ли отправятся, рожь ли жать — они всегда вместе. Матери уже нет на свете восемь годов... А Мария, сестра рассказывала, еще и теперь как молодая, лен трепать ходит.

В избе у Марии горел свет. Она сидела на кровати и за веревку качала

подвешенную к потолку зыбку, затянутую от мух марлевым пологом. Ребенок в зыбке заходился в плаче.
Вера Васильевна поздоровалась. Мария близоруко прищурилась.
— Еще от Сидоровых? — спросила она.— Не знаю, куда и положить тебя... Веранду заняли и поветь тоже...
Перед Верой Васильевной сидела непохожая на Марию Томилову чужая старуха, которую она не решилась, чтобы не ошибиться, назвать по имени.
— Да я на лавке пристроюсь,— кивнула она на широкую, вполкровати, скамью, вытянутую вдоль стены.
— Э-э, милая, здесь не уснешь,— возразила старуха.— Он ведь до утра не стихнет, у него зубы режутся...
Старуха отбросила веревку, которой качала зыбку и, помогая себе руками, оперлась о кровать и встала. Над нею взлетел рой мух.
— Придется, милая, и тебе на веранду.
Она повернулась, чтобы взять с кровати подушку, и Вера Васильевна в профиль узнала ее: в профиль она не выглядела такой старой.
— Мария,— позвала ее Вера Васильевна.
Мария нагнулась над подушкой да так и замерла.
— Чего, милая?
— Не узнаешь меня?
Мария выпрямилась, опять вприщур посмотрела на Веру Васильевну:
— Никак Верка...
Вера Васильевна засмеялась.
— А я думала, не узнаешь.
— Да не узнала бы, кабы не сказали, что ты здесь.
Ребенок надрывался в плаче, и Вера Васильевна инстинктивно качнула зыбку, с полога поднялся рой мух.
— Ты, вишь, как высоко взлетела,— сказала Мария без зависти.— А моя-то так на скотном дворе и помрет.
Людмила, дочка Марии, лежала в больнице (это Вере Васильевне сестра успела сказать), а внучка, день отвеселившись на свадьбе, легла спать.
Ребенок был внучкин, нагулянный. Вера Васильевна очень удивилась и тому, что нагулянный, и тому, что Мария нянчится с ним. Уж строже Марии на Раменье Вера Васильевна не знала баб, если не брать в расчет родную матушку: покойница тоже была сурова.
Вера Васильевна вспомнила сейчас одну историю, стоившую ей большой нервотрепки. Она заканчивала тогда школу, готовилась к экзаменам за десятый класс. Как раз входил в моду загар. А уж тут времени для этого вволюшку: бери учебник, беги в луга или в огород и подставляй бока солнышку. Вера Васильевна запамятовала сейчас, с кем она ушла на реку. Много их, девчонок, было, и мальчишки, конечно, с ними. Разделись, обмотали головы полотенцами. Каждый на своей подстилке лежит, в книжки уткнулись, не разговаривают. Вера Васильевна и сейчас содрогнулась, вспомнила, как тогда, почувствовав на себе тяжелый взгляд, она подняла голову. Мария Томилова, уперев руки в бока, смотрела на нее и ехидно щурилась.
— Ну-ну...— сказала она и побежала в гору, к деревне.
Не прошло и десяти минут, как с криком с горы скатилась Веркина мать. За ней семенила Мария Томилова.
— Вот, Федосья, смотри,— торжествующе указала она на загорающих.
— Бессовестная! — кричала мать.— Я тебя сейчас научу уму-разуму! И ведь ухватила Веру за косу, поволокла от реки.
— Мама, за что? Мама, отпусти!
— Растелешилась перед парнями... Стыд потеряла!
Мария кивала.
— Мама, мы загораем... Мама, отпусти...
— Позоришь меня перед всей деревней! Я тебе устрою загар!
Мария стояла, будто прокурор, и смотрела, как собирают свои манатки остальные загоравшие.
— Мама, я не одна... Мама, мы всем классом...
Мать не слушала объяснений, утащила ее домой. Потом девчонки принесли подстилку, на которой она лежала, и полотенце, которым обматывала голову. А Вера до отъезда в институт стыдилась из дому выйти, глаза знакомым парням показать: так Мария Томилова преподавала уроки нравственности...



— Ну дак иди на веранду к внучке,— сказала Мария.— Я бы тебя на кровать положила, да мухи покою не дадут, и ребенок орет.
Ребенок как раз затих, зачмокал губами. Мария прислушалась, как он причмокивает, вздохнула:
— Сморился... А вот свет выключу — сразу проснется. Не знаю, что за хитрун... Так и маюсь всю ночь напролет: свет выключу — он орет, включу — мухи тучей летят на меня. Жалятся, злые уж стали...
Она подала Вере Васильевне подушку, стянула с кровати одеяло.
— Пойдем провожу.
Свету на веранде не было. Мария крикнула в темноту:
— Зойка, ты тута?
— Тута, тута,— передразнил Марию знакомый Вере Васильевне хрипловатый голос.
— Подвинься, к тебе гостья идет,— Мария подтолкнула Веру Васильевну.— Иди, там кровать.
— Да у меня уж занято,— смеясь отозвалась Зойка.
— Дак сама уступи,— посоветовала Мария.
Зойка всхохотнула.
— Чего ржешь-то? — осудила ее Мария.— Человек из Москвы, не на полу же ей спать.
— Дак она старая, чтобы ей уступать.
Из всех четырех углов веранды грохнул хохот, и Вера Васильевна сообразила, что народу тут набралось немало.
— На-ко, лешой, опять не одна,— сказала Мария.— Дак пристрой гденибудь. У нес одеяло есть и подушка.
Кто-то из темноты потянул Веру Васильевну за руку.
— Сюда, сюда. Здесь есть место...— позвал ее женский, не Зойкин, голос.
Мария постояла, послушала, как укладывают Веру Васильевну, и сказала:
— Ну, дак спите.— В избе, было слышно, захныкал ребенок. Она повторила: — Ну, дак спите,— и пошла в дом.
Вера Васильевна нащупала рукой туго набитый соломенник, уже согретый чьим-то теплом.
— Да как же так? — воспротивилась она.— Я вас сгоняю.
— Ну, что вы, здесь и двоим места хватит. Ложитесь.
— Она не хочет с тобой,— засмеялась Зойка.— Она...
На нее зашикали.
— Ладно, ладно, молчу...
И Вера Васильевна узнала ее. Да это же та самая яркая деваха, что сидела на свадьбе рядом с Татьяной. На мать свою, на Людмилу, Зойка ни капельки не была похожа. Людмила умела держать себя скромно.
Вера Васильевна смежила веки. День был тяжелый, гудели ноги. Вера Васильевна уже заметила за собой, что если не ляжет в положенный час, ноги не дадут ей уснуть. Надо будет вставать, разминать их, и это продлится до утра.

Тишина стояла такая, какую не зря окрестили звонкой. От нее звенело в ушах. Вера Васильевна уже успела отвыкнуть и даже забыть, что такое возможно. Лишь иногда по крыше прошуршит опавший с дерева лист, взлает в чьем-то дворе собака, пискнет под полом пробежавшая мышь... Вера Васильевна снова попала в детство.

Не заметила, как провалилась в сон. Сколько спала — минуту, час, полтора,— Вера Васильевна не могла бы определить даже приблизительно. Она услышала гневливый мужской полушепот:

— Ну замолчишь ли ты наконец? Противно слушать!

Вера Васильевна открыла глаза. Было темно, и поэтому можно было предположить, что до утра еще далеко. Тишина давила виски, и Вера Васильевна решила,что шепот ей просто приснился...
Но в углу, на кровати, зажурчал новый смешок. Кто-то кому-то зажал рот. Смех булькающе прорвался через ладонь:
— За-дду-шишь... м-мед-ве-едь...
Гневливый полушепот из другого угла, от дверей, перелетел через Веру Васильевну:

— Зойка, ну как не совестно! Нас не стесняешься, так чужих людей постыдись!

— А она спит...

Вера Васильевна не хотела притворяться спящей, кашлянула.

Зойка тогда накалила голос:

— Подумаешь, и посмеяться нельзя.

Голос от дверей тоже налился твердостью:

— Шли бы тогда отсюда! Вы ж не одни...

— Ах-ах, теоретик большой любви,— ерничая, сказала Зойка,— а я, между прочим, дома: зачем мне уходить?

— А если дома, так можно все себе позволять? — зло спросил от дверей все тот же парень.

Вера Васильевна наконец-то признала в нем тамаду и поняла, что на кровати лежит гармонист. Она припомнила гармониста склонившимся над гармонью, с зажмуренными глазами и почему-то подумала, что так закрывает глаза свинья, когда ее чешут за ухом.

Вера Васильевна не находила ничего предосудительного в том, что парни и девки лежали на полу вперемежку. Такое нередко случалось на сенокосе, когда с ночевкой выезжали всей деревней на дальние угодья, приходилось мириться с этим и на лесоповале: где отыщется свободное место, туда и сунешься, не разбирая, кто храпит рядом. Бывало, и шутки ребята удумают, затеют возню, но границы дозволенного не нарушались.

Вера Васильевна поняла, что сна не будет. Она вздохнула и поднялась. На веранде затихли.

Вера Васильевна, нащупывая ногой проход меж соломенников, пошла к дверям.

— Да куда же вы? — остановил ее тамада.

— Воровать невесту! — хихикнула Зойка.

— Душно мне, ребята,— сказала Вера Васильевна, оправдываясь.— Выйду на улицу.

Зойка заскрипела кроватью:

— Да лежите уж, ладно,— заворчала она.— Если я вам так неприятна, то уйду.

— Во-во, чище воздух будет,— сказал тамада.

Даже гармонист не удерживал Зойку.

Вера Васильевна вышла на крыльцо и уже оттуда услышала, как Зойка хлопнула дверью веранды.

— Чего хочу, то и делаю! — зло бросила она в темноту и прошлепала босыми ногами в избу.

На крыльце было промозгло. У Веры Васильевны покалывало сердце. Тишина звенела в ушах.

## 5

Утро выдалось росное. И поля, и луга дымили. Даже крыльцо, на котором Вера Васильевна стояла, за ночь осклизшее, подсыхая под набирающим силу солнцем, испускало парок. Дышалось легко и свободно.

Все-таки что значит воздух: Вера Васильевна, и не выспавшаяся, чувствовала себя бодро.

В доме у Томиловых было тихо. Угомонился к утру ребенок. Забылась крепким сном и переполненная гостями веранда.

Вчера — или это было уже сегодня? — за Верой Васильевной выскочили двое девчушек и увели ее под руки на веранду. Она, не раздеваясь, легла на постель, но не могла бы с точностью утверждать, заснула или не заснула. Полудрема охватила ее, и она пребывала в таком состоянии до утра, до петушиной переклички. Вера Васильевна окончательно проснулась, когда по деревне гнали коров. Коровы взмыкивали, покрикивал, щелкая о землю кнутом, пастух. Вера Васильевна встала и на цыпочках, чтобы не потревожить умаявшихся гостей, вышла на улицу.

От уходившего стада остался запах парного молока и, несмотря на росу, зависшая над дорогой пыль.

Деревня уже жила своей жизнью. За огородами, захлебываясь от напряжения, звенела пилорама. Кто-то невдалеке отбивал косу, намереваясь, видимо, пока не подсохла роса, подвалить отавы. Стучал молоток, тюкал топор, тарахтел мотором мотоцикл.



Все шло по извечному кругу. Кто остановит это движение? Никто.

Вера Васильевна пожалела Марию, а потом неожиданно поругала себя за то, что близко к сердцу принимала все происходившее на веранде. Ее ли это дело — осуждать Зойку? Не маленькая, сама за себя ответит.

А, собственно, за что отвечать? Если б она от мужа гуляла или девкой была, тогда другое дело. Ей терять нечего. Может, урывками улыбается бабе счастье. А молодая еще, кто ей судья?

Девчушки и то не боятся ни черта, ни дьявола. Как потом перед молодыми мужьями будут держать ответ?

— Да ты что, мама? — поднял ее однажды на смех сын Виталий.— Нынче на это не обращают внимания.

— Как это «не обращают»?

— А вот так, предрассудки все, а жизнь у человека одна.

— Торопитесь вы, сынок, жить,— осудила его Вера Васильевна.

— Мама, да мы же отстаем от всех европейских стран,— то ли смехом, то ли всерьез заметил он и стал рассказывать, будто у какого-то народа есть обычай: если невеста окажется девушкой, то жених места себе найти не может, вроде униженного себя чувствует — подобрал то, что было никому не нужно. Один дурак отыскался, так и тот, оказалось, он сам.

— Ну уж, придумаешь тоже,— не поверила Вера Васильевна.

Сын, смеясь, перекрестился. И то, что сын смеялся, успокоило Веру Васильевну: шутит, конечно.

Но сам Виталий вел себя так, что было похоже: жил среди того народа. Жена возвращается домой в ночь-заполночь, а он будто радуется, что она кому-то и кроме него нужна.

Вера Васильевна не замечала, что мысли ее ходили по кругу, на одной стороне которого было горячо, на другой — холодно. В зависимости от того, куда они, кружась, попадали, Вера Васильевна и судила Зойку. В общем-то ее суд был однозначен, холод она создавала искусственно, пытаясь противу воли подыскать оправдание Зойке. И, как ни изворачивала ум, возвращалась к тому же, с чего начинала: как только земля-матушка держит на себе таких людей, не проваливается под ними от позора! Уж лучше бы было, если бы не держала.

Вера Васильевна посмотрела на родную деревню. Многие дома были ей незнакомы, других же, запавших ей в память, уже не было. Вера Васильевна приглядела к новым, они ей были чужими. В них не тянуло зайти, казалось, что в новых живут неизвестные ей, приезжие люди. В старые она вглядывалась с нетерпением: вот сейчас, сию минуту, кто-то, увидев ее, откроет окошко и крикнет: «Верка, чего не заходишь? Зазналась в своей Москве!»

Она дожидалась этого зова, ей не терпелось отогреть в разговорах со старыми подругами душу.

Все-таки хорошо жить!

Вера Васильевна спустилась с крыльца. Было уже пора «воровать» невесту. У нее в душе закипала праздничная радость.

Как хорошо жить!

Она, не заходя в дом Катерины, направилась к сеновалу, по приставной лестнице из ограды поднялась наверх. Молодые спали в пологе. Полог просвечивал марлей, и они, проснувшись, увидели бы всякого, кто подкрадывался к ним. Но Вера Васильевна не собиралась таиться. Воровство предполагалось условным. Игра есть игра. Вера Васильевна намеревалась увести Татьяну в дом, а потом, по стечении гостей, вывести из горницы несколько ряженых девушек — у всех лица закрыты платками. Которая тут твоя молодая жена, угадай, муженек! Игра скрасит свадьбу. Не просто за столом посидели и перепились. А веселились! Будет хоть что, радея сердцем, вспомнить потом Татьяне и Георгию о своей свадьбе.

Вера Васильевна от дверей подала голос:

— Молодые!

Они, видно, спали. Ноги выбились из-под полога.

— Кто рано встает, тому бог подает,— полностью настроилась на игру Вера Васильевна.

Георгий недовольно замычал.

Вера Васильевна, из деликатности оставаясь у дверей, продолжала побудку:

— Татьяна, пора вставать! Корова стоит недоена, печь нетоплена, ребята некормлены, а ты все спишь. Такую ленивую и мужик не будет любить.

Георгий, совсем проснувшись, веселым голосом спросил:

— Воровать, что ли, пришли?

— Во-о-ровать,— призналась Вера Васильевна.

— Дак ее уж украли давно!

Вере Васильевне понравилось, что муж защищает жену. Но игра есть игра.

— Как это украли, если я вижу две пары ног,— засмеялась Вера Васильевна и наладилась пощекотать Танькину пятку.

Полог откинулся, одеяло мелькнуло перед лицом ошеломленной Веры Васильевны, и ей показалось, что из брачной постели выскользнула не Танька, а какая-то другая девка. Эта была одетой. В полумраке сеновала Вера Васильевна не разглядела цвет ее платья. Девка молча — Вера Васильевна узнала бы Татьяну по голосу — юркнула в дыру, оставленную у изголовья, и спрыгнула вниз, в коровьи ясли,— ясли расшатанно скрипнули.

— Вот до чего пристыдили — корову доить побежала! — засмеялся Георгий. Он смеялся спокойно, и это обескураживало Веру Васильевну. «Из ума выживаешь,— укорила она себя.— Выдумываешь бог знает чего...»

Георгий откинул полог:

— Не выходит с воровством-то, родственница,— сказал он торжествующе.— Нынешние невесты не хотят, чтобы их воровали. За кошелек мужа боятся... Им же хуже будет, если кошелек отощает.

— Да, невесты нынче умные стали,— сказала Вера Васильевна, все еще не придя в себя.

Она попятилась к дверям сеновала и молча спустилась по лестнице в ограду. Ноги отказывались идти. Вера Васильевна села на нижнюю ступеньку. Лоб был мокрым от пота.

«Эко чего удумала! — осудила она себя.— Мерещится уж.— Она ладонью отерла со лба пот и увидела, что двери во двор растворены нараспашку.— Скотина чужая набьется во двор».

Крестьянская озабоченность подняла ее с места. Вера Васильевна закрыла двери во двор и, все еще не веря окончательно в то, что с сеновала прыгала Татьяна, заставила себя заглянуть в ясли: ведь если в них совсем нет сена, можно было угодить ногами в расщелину между досок, а тогда неизвестно, чем бы все кончилось. Сена и в самом деле не было. Да, баловство до добра не доводит.

Вера Васильевна увидела зацепившийся на стояке яслей носовой платок. «Вот уж я Татьяну прижучу».— Она сняла платок, а сама еще больше засомневалась: Татьянин ли?

Она вышла из ограды, собираясь зайти в дом.

Солнце уже поднялось совсем высоко, роса высохла. В небе летала паутина.

Вера Васильевна глянула вдаль и обомлела: от их огорода полем бежала девка. Ветер растрепал ее волосы. «Она!» — кольнуло у Веры Васильевны сердце. Девка не была такой стройной, как Татьяна. Она убегала к ельничку и, достигнув его, спряталась за деревцом, потом переметнулась к другому, перескочила к третьему. «Вот и петляй, как заяц»,— с ожесточением подумала Вера Васильевна.

Ясно было, что это бежала не Татьяна.

Девка пробиралась к выселковской дороге, чтобы с нее свернуть в выгороженный для скота прогон и появиться в деревне с другого конца. Вера Васильевна разгадала ее замысел, потому что с детства знала все тропки в округе: девка, выходит, тоже была из местных.

Вера Васильевна могла бы встретить ее у прогона, но поднимать шум было не в ее правилах, да и что из этого шума вышло бы? Никому не нужный скандал. Нет уж, лучше помалкивать и делать вид, что она ни о чем не догадывается.

Вера Васильевна отворила дверь в избу.

Катерина накрывала столы. Ей помогала Татьяна. Она бегала по избе вприпрыжку разрумянившаяся, веселая и, хохоча, что-то рассказывала матери. Катерина отмахивалась от нее:



— Да будет тебе, коза!

— Нет, мама, правда!

Они заметили вошедшую Веру Васильевну и замолчали. Конечно, у матери с дочкой свои секреты.

Вера Васильевна поздоровалась, боясь встретиться с ними взглядом. Глаза выдали бы ее.

Татьяна затанцевала с тарелкой в руках.

— Ой, тетя Вера, я такая счастливая!

— Ну и хорошо,— срывающимся голосом сказала Вера Васильевна.

Татьяна поставила тарелку на стол и подскочила к Вере Васильевне, обняла ее.

— Ой, тетя Вера, мне так хорошо!

Вера Васильевна увидела на ее руке подоткнутый под ремешок часов носовой платок.

— Допрыгаешься, украдут жениха-то,— все же не удержалась, чтобы не остудить пыл племянницы, Вера Васильевна.

— Да что вы, тетя Вера,— давясь смехом, подпрыгивала Татьяна.— Ведь не жениха, а невесту воруют.

И она, кружась мотыльком и смеясь, рассказала, как девчонки сегодня утром уворовали ее от Гоши. Он еще спал, а она лежала с открытыми глазами, когда они пробрались на сеновал и стащили ее с постели за ноги. Зойка — вот до чего неосторожная? — оступилась в дыру и чуть было не угодила на рога корове. Но, слава богу, удержалась, ухватилась за Гошину подушку, чтобы не ухнуть вниз. Он в это время проснулся. Но у них с Татьяной был уговор, что он, и проснувшись, станет делать вид, что спит. Ее украдут, а он ее, переодетую, все равно узнает, потому что Татьяна в левой руке будет держать носовой платок.

— Вот так, тетя Вера, буду.— Она вытащила из-под ремешка платок и зажала его в кулачке.— Накрывайте меня хоть чем... Я ему в левой руке покажу.

— Допрыгаешься — потеряешь,— сказала Вера Васильевна.

— Да что вы, из-под ремешка не выпадет.

Катерина смеялась вместе с дочкой.

— Я же вчера вам говорила, что утро вечера мудренее.

Вера Васильевна, не поднимая глаз, сказала:

— Это, милая, не по правилам.

— Зато он меня сразу найдет,— упорствовала Татьяна. Ей не терпелось быстрее накрыть столы, созвать гостей и выйти перед ними перенаряженной, с кем-нибудь из подруг, хоть с той же Зойкой, с Алисой, с Надей. Вот то-то все будут удивлены, когда Гоша под любым покрывалом, под любой фатой узнает ее!

Вера Васильевна, сославшись на то, что недоспала и что у нее болит голова, пошла было на улицу, но в дверях столкнулась с Георгием. В глазах у него промелькнул испуг.

Вера Васильевна остановилась. Георгий поздоровался то ли с ней, то ли с тещей, то ли с обеими вместе — разобрать было трудно.

Татьяна метнулась к нему:

— Тебе нельзя сюда! Ты иди-иди... Я украденная. Тебя потом позовут.

Она ласково вытолкала его за порог. Он привлек ее к себе, и она опять, как тростиночка, едва не переламываясь, приникла к нему.

— Любит она тебя,— сказала ему Вера Васильевна, когда Татьяна закрыла за ними дверь.

— Я тоже ее люблю,— не задумываясь, ответил он.

Вера Васильевна промолчала. Он, видимо, разгадал смысл ее молчания и сердито сказал:

— Ничего вы не понимаете!

— Устарела я понимать вас.

— Может, и устарели,— сказал он.

Веру Васильевну поражало, что ему было не стыдно.

— Может, может,— вздохнула она, почему-то думая уже не о нем, а о своем сыне Виталии. До боли представилось, как ему сейчас трудно без нее. «Пропадут они без меня,— думала она о Виталии с Настей.— Надо ехать домой... Спасать...»

Георгий, жестикулируя, что-то ей объяснял. Она попробовала сосредоточиться и вникнуть в смысл того, что он ей говорил.

— Конечно, Татьяне лучше не знать... Хотя это все предрассудки...

Надо ехать домой... Ей уже казалось, что без нее может произойти обвал, катастрофа. Какой обвал? Что она имела в виду, Вера Васильевна и сама не представляла и все твердила, как молитву: «Надо ехать домой».

— Ну, посудите сами,— нехорошо засмеялся Георгий,— в руки плывет, так неужели отталкивать?

— Да, ты своего не упустишь...

— И чужого не упущу. Но лучше, если вы ей не скажете... Хотя я в общем-то не боюсь...

Георгий повернул к сеновалу, поднялся на ступеньку лестницы и обернулся:

— Договорились, родственница?

Зачем он туда полез? Ах да, у него украли невесту, и его должны позвать в дом, когда невесту переоденут.Она вспомнила о носовом платке, который Татьяна будет держать в левой руке. Ах да, платок! Вера Васильевна ходила все это время с чужим платком, скомканным в кулаке. Она разжала ладонь, ветер подхватил лоскут ткани, но не понес его далеко, а забил в разросшуюся вдоль изгороди крапиву. И Вере Васильевне показалось, что рука у нее, как парализованная, обвисла плетью. Она испугалась, подняла руку, пошевелила пальцами — нет, все нормально, только очень уж потная...

Не осознавая, куда идет, Вера Васильевна пришла на берег реки. Как и раньше, в детстве, над омутом, с той лесной стороны нависали березы. Они по-прежнему были зелеными, и их отражение зелеными кронами упиралось в опрокинутый в воде купол неба.

Вера Васильевна сняла туфли, села на вкопанную в берег половицу, с которой раменские ребятишки ныряют в омут. Половица была, как в избе, теплая.

Надо ехать домой...

6

Вагон мотало из стороны в сторону. Соседи по купе спали, а Вера Васильевна прикрыла глаза и, как во сне, увидела знакомый с детства омут. Над ним стояли буйно зеленеющие березы, в реке они почему-то уже отражались желтыми. И опавшие жухлые листья плавали по свинцовой воде.

Вера Васильевна, приподняв, чтобы не замочить, подол юбки, ходила по дну омута, удивляясь, что даже на глубине, где ее в детстве скрывало «с ручками», было только по колено. Она собирала опавшие листья, которые оживали в ее руках, и уже зелеными наживляла их на деревья.



И. Е. ВОРОЖЕЙКИН

# Труд и слово

Изучая историю соревнования от седой древности до наших дней, я постоянно обращался к фольклору и художественной литературе. Для меня, историка, важно обнаружить в устном народном творчестве, литературных произведениях складывавшиеся веками взгляды на труд и соревнование.

Эти заметки не имеют литературоведческого значения, они рассчитаны в первую очередь на то, чтобы возбудить, поддержать интерес к многовековому опыту соревнования, доказать, основываясь на литературных аргументах, его историческую необходимость и пользу. Сегодня на марше перестройки и ускорения социально-экономического развития Советской страны верные представления о возвышающей и вдохновляющей силе соревнования весьма важны.

1

Труд поднял, вскормил и возвысил человека. Во все эпохи всемирной истории трудовая деятельность была и остается главным источником общественного богатства. При этом у труда всегда двоякое предназначение: как средства существования людей, удовлетворения их насущных потребностей и как способа развития человеческой личности, ее социального бытия.

Каждый большой отрезок пути, уже пройденного человечеством, подтверждает прогрессивную роль кооперации труда и порождаемой ею состязательности. Но любой исторический период придает им своеобразие, специфические формы. Изначальными в этой многозвенной цепи были родовая община, первообытнообщинный строй.

Наукой доказано, что кооперация труда в своем простейшем виде сложилась на начальных ступенях человеческой культуры. Уже в ту эпоху, отдаленную от нас сотнями тысяч лет, трудовая кооперация обеспечивала минимально потребный уровень организованности, дисциплины, слаженности совместных действий. Возникшая тогда же состязательность не была следствием инстинкта, не сводилась и к волевому акту—побуждалась лишь контактом, отношениями между людьми в процессе совместного труда. Она, несомненно, стимулировала усовершенствование орудий труда, накопление положительного опыта в добывании пищи, устройстве жилищ, сохранении огня. Как бы узкие рамки родовой общины с ее жестко регламентированными отношениями, уравнительностью, множеством запретов ни ограничивали проявления индивидуальности, все же у человека оставалась реальная возможность выделиться среди сородичей либо физической силой и ловкостью, либо усердием и смекалкой.

Наверное, и без оговорок понятно, что зарождение в недрах первобытности соревновательных отношений приходится констатировать, конечно, умозрительно, теоретически. Вот здесь-то историкам, чтобы получить в свое распоряжение какие-либо сведения, хотя бы косвенно объясняющие то, что происходило в глубинах веков, помогает обращение к смежным наукам — таким прежде всего, как археология, этнография, мифология и фольклористика.

В родовых преданиях и мифах, трудовых и обрядовых песнях глубокой древности, сказках и заклинаниях отразились те природные и хозяйственные условия, в которых жили и трудились наши предки. Подчас в фантастической форме через демонов и духов представлялись борьба человека с природной стихией, перемены в родовом строе, занятиях людей, их чувствах и мыслях. А. М. Горький с полным основанием утверждал: «Когда-то, в древности, устное художественное творчество трудящихся служило единственным организатором их опыта, воплощением идей в образах и возбудителем трудовой энергии коллектива».

Истоки народных сказок восходят к глубочайшей древности. Например, сказки о животных создавались еще тогда, когда охота занимала преобладающее место в людских занятиях, а многие животные почитались священными. Волшебно-фантастические сказки связаны с древнейшими мифами. Они, как правило, прославляют смелость, благородство, трудолюбие.

В сказках часто говорится о состязании в силе, ловкости, сообразительности. Примечателен в этом отношении короткий поэтический рассказ о Вазузе и

Волге. Эти две реки долго спорили, кто из них умнее, сильнее и достойнее, и затем решились испытать себя на деле. В подобных сказках практически невозможно отделить то, что сложено в далекие времена, от добавленного потом, но в них четко отражен соревновательный момент.

Не одни сказки, но и древнейшие мифы, народные песни, пословицы и поговорки дошли до нас в значительно переработанном виде. Вычленение содержащихся в них исторических сведений сложно. И все же фольклор в конечном счете помогает восстановлению общей картины трудовых отношений в условиях первобытнообщинного строя. Успех такой реконструкции чаще достигается вместе с этнографией, точнее, ее древнейшим разделом — палеоэтнографией, которая исследует остатки, хотя и сильно трансформированные, первобытных форм, сохранившиеся до наших дней у отставших в своем развитии племен и народов. Блистательный пример показали выдающиеся русские этнографы, и прежде всего С. П. Крашенинников, автор «Описания земли Камчатки», относящегося к первой половине XVIII века, и Н. Н. Миклухо-Маклай, особенно полно и обстоятельно исследовавший хозяйство и повседневный уклад жизни папуасов в 70-х годах прошлого столетия.

С. П. Крашенинников наблюдал ительменов и других жителей Камчатки, когда они находились еще на уровне каменного века, первобытного хозяйства и культуры. Он обратил внимание, в частности, на то, как складывался обычай выделять лучших, наиболее удачливых охотников: «У камчадалов медведя убить так важно, что промышленник должен звать для того гостей и потчевать медвежьим мясом, а головную кость и лядвен вешают они для чести под своими балаганами». Исключительно почетным считался промысел сивучей — «морских львов»: «Те за героев почитаются, которые их больше промышляли. Чего ради многие к промыслу не токмо для сладкого их мяса, но и для славы побуждаются, невзирая ни на какие опасности...» Этнограф заметил также, что у ительменов «старые и удалые люди имели в каждом острожке преимущество, которое, однако ж, только в том состояло, что их советы предпочитались».

Н. Н. Миклухо-Маклай общался с папуасами Новой Гвинеи в то время, когда те еще во многом сохраняли приметы неолитической эпохи. Его восхищало, как эти люди с помощью простейших орудий — обточенных камней, раковин и заостренных на конце костей, палок различной величины и толщины — умели строить прочные и удобные жилища, отделывать и украшать лодки, хорошо обрабатывать землю. «Главное и весьма простое орудие, которым папуасы выдалбливают свои пироги и делают оружие,— писал он,— это каменный топор. Рассматривая их постройки, пироги, утварь и оружие и убеждаясь, что все это сделано каменным топором и осколками кремня и раковин, нельзя не поразиться терпением и ловкостью этих дикарей...»

Описание земледельческого хозяйства папуасов раскрывает трудовую кооперацию людей новокаменного века, их отношение к конкретному делу. Среди дневниковых записей путешественника есть такая: «Мы прошли вдоль забора обширной плантации, расположенной на скате холма. Можно было подивиться предприимчивости и трудолюбию туземцев, взглянув на величину ее и тщательную обработку земли». В предварительной подготовке места под плантацию — в вырубке кустарника и деревьев, сжигании их, возведении изгороди — участвовали все жители деревни. В дальнейшей же обработке земли — только члены той семьи или группы семей, для которых плантация предназначалась. Сам огород делился на участки, распределяемые между членами семейства: каждый обязан был смотреть за своим участком, возделывать на нем землю и собирать для себя плоды. В этих условиях, должно быть, с большей силой проявлялось стремление содержать свой участок в лучшем виде, вырастить хороший урожай, чтобы не только обеспечить себя нужными продуктами, но и избежать осуждения сородичей за нерадивость.

Этнографические материалы, археологические и фольклорные источники проливают свет на существенные элементы первобытности, в том числе на характер трудовых отношений. К. Маркс и Ф. Энгельс, критически воспринимая фактический материал и выводы опубликованного в 1877 году этнографического исследования Льюиса Г. Моргана «Древнее общество» о жизни североамериканских индейцев, использовали их при характеристике начальных ступеней истории человечества. То же следует сказать о Г. В. Плеханове, который при выяснении в 90-х годах прошлого века путей развития искусства у первобытных народов обращался за фактами в первую очередь к современной ему этнографической литературе. Он отмечал важное значение общественного труда в жизни первобытных людей, то, что всем строем жизни естественно и неизбежно определялся характер человека.

Дикарь часто украшал себя шкурой, когтями и зубами убитых им животных. Подобные предметы, отмечал Г. В. Плеханов, обобщая наблюдения этнографов, свидетельствовали о храбрости, ловкости и силе того, кто их носил. Любопытно, что к такому же выводу приходит М. Домогацких в своей книге «Ожерелье экватора». Побывав уже в наши дни на индонезийских островах Ментавай, где можно встретить племена, не вышедшие еще из каменного века, он сообщает, что жилище местного охотника, увешанное черепами кабанов и оленей,— гордость и главное богатство хозяина. «Украшения из кабаньих или оленьих зубов,— пишет



автор,— в глазах их обладателей имеют вполне весомую ценность. Они дают право на уважение соплеменников...» Далее сообщает, что у папуасов западной части Новой Гвинеи (индонезийская провинция Западный Ириан) мощные и острые клыки дикого кабана — также самое дорогое и любимое украшение, «символ мужества и героизма».

Несомненно, что в родовой общине при всех ее детерминантах человек мог проявить себя, участвуя в общей деятельности, утверждая свою социальную сущность. В его характере и поведении исподволь складывались такие черты, как трудолюбие, смышленость, упорство в достижении цели. Этому помогало и соревнование, которое от этапа к этапу первобытной истории вместе с развитием трудовой кооперации набирало силу.

## 2

При всей скудости дошедших до нас сведений, относящихся к первым рабовладельческим обществам, мы знаем, однако, что в них развивались иные, чем при первобытности, формы организации труда. Регулярно предпринимались крупные работы с привлечением одновременно значительной массы людей (до нескольких десятков тысяч человек), как это было, скажем, при возведении гигантских пирамид в Египте, создании разветвленных ирригационных систем в Месопотамии, постройке кносского дворца на Крите и монументальной цитадели у реки Раздан на Кавказе.

Классические формы рабство обрело в античном мире. Именно здесь рабовладельческий способ производства достиг своего апогея. Ценнейшим, можно даже сказать, уникальным по значимости источником информации о разложении в Древней Греции родового строя и становлении новых социально-экономических отношений (конец второго и начало первого тысячелетия до нашей эры) служат, по единодушному признанию исследователей, «Илиада» и «Одиссея» — поэмы легендарного Гомера. Эти величайшие произведения не только античной, но и мировой литературы, не будучи историческими документами в строгом смысле, содержат вместе с тем немало сведений о жизни и быте греческих племен той далекой эпохи. Особенный интерес для нас представляют строки о трудовых состязаниях.

Так, в «Илиаде» описывается щит, сработанный Гефестом для Ахиллеса. Говорится, что искусный мастер «сделал на нем и широкое поле, тучную пашню, рыхлый, три раза распаханный пар; на нем земледельцы гонят яремных волов, и назад и вперед обращаясь; и всегда, как обратно к концу приближаются нивы, каждому в руки им кубок вина, веселящего сердце, муж подает; и они, по своим полосам обращаясь, вновь поспешают дойти до конца глубобраздного пара».

А вот что ответил Одиссей своему обидчику Эвримаху, усомнившемуся в его трудолюбии: «Если б с тобой, Эвримах, привелось мне поспорить работой, если б весною, когда продолжительней быть начинают дни, по косе одинаково острой обоим нам дали в руки, чтоб, вместе работая с самого раннего утра вплоть до вечерней зари, мы траву луговую косили, или, когда бы, запрягши нам в плуг двух быков круторогих, огненных, рослых, откормленных тучной травою, могучей силою равных, равно молодых, равно работящих, дали четыре нам поля вспахать для посева, тогда бы сам ты увидел, как быстро бы в длинные борозды плуг мой поле изрезал...»

Обращает на себя внимание то, что в соревновании участвовали свободные, равные в своем положении люди. И это не случайно. Состязательность между теми, кому выпал «тягостный жребий печального рабства», если и имела место, то уже в ту полупатриархальную пору проявлялась в извращенном виде: чаще всего — в притворном усердии, заискивании перед господином, в соперничестве между невольниками в расчете на хозяйскую благосклонность. «Раб нерадив; не принудь господин повелением строгим к делу его, за работу он сам не возьмется с охотой»—столь жесткой формуле следовали хозяева-рабовладельцы. Но среди рабов они различали — разумеется, по своим, господским, меркам — «худых и порочных от добрых и честных». Невольничье усердие тем или иным способом поощрялось. И все-таки рабам редко выпадала милость хозяев. Им чаще приходилось опасаться наказания.

Бытописателем того периода в истории Греции, который последовал за гомеровской эпохой, стал Гесиод — поэт, снискавший еще в древности широкую популярность. Созданная им на рубеже VIII—VII веков до нашей эры поэма «Работы и дни» отражает социально-экономическую жизнь земледельцев Беотии — соседней с Афинами области. Большое внимание в ней уделено повседневным заботам сельских тружеников, испытывавших притеснения от земледельческой аристократии. Ее хищнические повадки поэт изобразил в известной басне о соловье и ястребе.

Гесиод, как сын своего времени, не жалует труд, считает его карой и мучением. Но это вовсе не означает общего презрения к труду. Поэт, пожалуй, больше склонен рассматривать труд, особенно земледельческий, как признак здорового образа жизни. Он понимает, что «вечным законом бессмертных положено людям работать», что «нет никакого позора в работе: позорно безделье». Он советует брату, занятому земледелием: «Так полюби же дела свои вовремя делать и с рвеньем. Будут ломиться тогда у тебя от запасов амбары. Труд человеку стада добывает и всякий достаток, если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее вечным богам, как и людям: бездельники всякому мерзки».

Именно Гесиод представил Эриду — богиню вражды и раздора по греческой мифологии — еще и в другом качестве — как покровительницу соревнования, состязательности. Если одна Эрида, отмечал он, порождает распри, то «эта способна понудить к труду и ленивого даже; видит ленивец, что рядом другой близ него богатеет, станет и сам торопиться с насадками, с севом, с устройством дома. Сосед соревнует соседу, который к богатству сердцем стремится. Вот эта Эрида для смертных полезна». Поэт рекомендует: «Не поддавайся Эриде злорадной, душою от дела не отвращайся...»

На рубеже старой и новой эры центр рабовладения переместился в Рим. От греков римляне унаследовали многое, в том числе и опыт ведения рабовладельческого хозяйства. Наивысшее развитие его в древней Италии историки относят к периоду, охватывающему второй век до нашей эры—первый век нашей эры. О тогдашнем, уже достаточно сложном и разноукладном хозяйстве, соответствующих ему формах организации труда повествуют сочинения Катона, Варрона и Колумеллы. Их своеобразно дополняют произведения знаменитых римских поэтов — Вергилия и Горация, творивших в первом веке до нашей эры.

Одно из главных произведений Вергилия — «Георгики» — состоит, как известно, из четырех частей, посвященных соответственно хлебопашеству, виноградарству, скотоводству и пчеловодству. В нем сквозит уважение к земле, к сельскому труженику. «Всех лучше,— утверждает поэт, хорошо знавший жизнь мелких земледельцев, их повседневные заботы,— с рыхлою почвой поля; на пользу им изморозь, ветер и здоровяк земледел, перепахивать землю охочий». Его симпатии вызывают «те из хозяев, кому не чужда никакая забота». Воспевая «труд неустанный», он поддерживает стремление к соревновательности: «Если усердно рыхлить не потрудишься граблями почву, шумом отпугивать птиц и листву, затенявшую ниву, острым серпом прорезать, мольбами дождь призывая, будешь ты видеть, увы, что полны закрома у соседа, голод же свой утолять по лесам, дубы сотрясая».

Труд рабов у Вергилия не упоминается вовсе. Это потому, что он, по происхождению истый римлянин, не замечал тех, кого люди его круга относили к бессловесной вещи. Гораций же «как сын раба, получившего волю», писал и о рабском труде. Со знанием дела поэт передавал мечты рабовладельца: «И как отрадно наблюдать за ужином овец, бегущих с пастбища, волов усталых с плугом перевернутым, за ними волочащимся, и к ужину рабов, как рой, собравшихся». Он, приверженный мере и умеренности во всем, осуждал алчность и нездоровое соперничество: «Подобно скупому, редкий доволен судьбой, считая счастливцем другого! Если чужая коза нагуляет полней себе вымя, то уж и тут человек от зависти сохнет и чахнет. Все он глядит не на тех, кто бедней, а на тех, кто богаче, хочет сравняться с одним, с другим, а с третьим не может!»

Вся организация хозяйства в античном мире, будь то земледельческая или скотоводческая ферма, ремесленная мастерская, каменоломня, рудник, требовала единовременных совместных усилий многих людей. В этих условиях соревнование, вне сомнения, получило большее, чем на предыдущих этапах человеческой истории, распространение. Читая поэмы Гомера и Гесиода, а также сочинения древнеримских авторов, мы видим, что оно стало заметным, но еще не осознанным элементом трудовых отношений. Однако трудовая состязательность главным образом из-за классового расслоения общества была в те времена весьма ограниченной. Рабы, низведенные до положения рабочего скота, другие люди, попавшие в оковы зависимого положения, практически не имели побудительной основы для инициативы и даже простого интереса к выполняемой работе. Труд из-под палки, атмосфера насилия глушили любое соревнование.

Почти то же самое происходило в средневековье (примерно с конца V до середины XVII века), ибо и феодальное хозяйство держалось по преимуществу на подневольном труде. Склонность человека-труженика к соревнованию, его инициатива и предприимчивость гасились отсталостью тогдашней экономики, рутинным состоянием техники, крепостным правом и ничем не обузданным произволом господ-феодалов, открыто грабивших зависимых от них людей. Споровистость в делах — и то не всегда — крестьянин либо ремесленник проявлял только на своем участке земли или в крошечной мастерской, когда работалось вроде бы на себя. Чаще здесь, да иногда на общинных работах, как говорится, на миру, проявлялась человеческая индивидуальность.

Главным занятием труженика в феодальную эпоху оставалось хлебопашество. Вся жизнь, включая иерархию господ, покоилась на повседневном труде земледельца. Недаром русский былинный эпос славит наряду с ратной доблестью труд на земле.

Обратимся к широко известной былине «Вольга и Микула». С огромной любовью изображен в ней богатырь-оратай, яркими красками рисуется тяжелая, но так необходимая работа — пахота: «Как орет в поле оратай посвистывает, а бороздочки он да пометывает, а пеньѐ, коренья вывертывает, а большие-то каменья в борозду валит. У оратая кобыла соловая, гужики у нее да шелковые, сошка у оратая кленовая, омешики на сошки булатнии, присошечек у сошки серебряный, а рогачик-то у сошки красна золота».

Феодальные порядки не могли полностью исключить здоровое соперничество. Былинный Микула Селянинович задумал: «Как бы сошку из земельки повыдернути, из омешиков бы земельку повытряхнути, да бросить сошку за ракитов куст». Ни пятеро, ни все двадцать девять молодцов из княжеской дружины не справились с богатырской сошкой, оратай же смог это сделать, одержав, таким образом, верх над князем и его свитой.

Вряд ли можно усомниться в том, что крестьяне и ремесленники средневековья располагали несравненно большей самостоятельностью, чем античные рабы. Труд их, несмотря на крепостнический гнет, ограниченность размеров хозяйства, убогую технику, оказывался производительнее рабского труда. И все же работа по принуждению выполнялась ими, как правило, с неохотой, без инициативы.

Блестяще описал бесправие, бедственное положение тружеников в крепостнической деревне России конца XVIII века А. Н. Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит». Поэтому земледелец, лишь по принуждению отбывавший барщину и другие повинности, работал в своем, лично ему принадлежавшем хозяйстве куда с большим рвением. Автор «Путешествия», встретив работающего крестьянина, безошибочно определил, что занят тот не на господском, а на своем поле, потому как пашет с великим тщанием и соху поворачивает с удивительною легкостью. Пока одна лошадь у него в борозде, другая отдыхает — дело-то и споро. Сравнивая отношение к труду на чужой и своей ниве, А. Н. Радищев писал:

«Человек в начинаниях своих двигаемый корыстью, предприемлет то, что ему служить может на пользу, ближайшую или дальную, и удаляется того, в чем он не обретает пользы, ближайшей или дальновидной. Следуя сему естественному побуждению, все начинаемое для себя, все, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, все то, на что несвободно подвизаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво».

В другом радищевском произведении — «Описании моего владения» — воспроизводится типичная картина помещичьей деревни, крестьянского земледельческого хозяйства. Селяне весь год не разгибают спины, заняты тяжелым трудом, исполняя череду неотложных работ: яровой сев, обработка парового поля, сенокос, жатва, озимый сев, молотьба... Со всем этим они управлялись при слабосильных лошадях и простыми орудиями в виде сохи, деревянной бороны, зубья которой оплетались для прочности прутьями, а также косы, серпа и граблей. Проклятое рабство довлело над крестьянином постоянно, омрачая всю его жизнь. Об этом приходилось помнить даже в случаях, когда работа выполнялась сообща, всем миром. Вот как, например, А. Н. Радищев живописует начало в деревне уборочной страды:

«Настал день жатвы. И се при востечении денного светила зрится в селитьбах мирная тревога. Селяне оставляют дома свои и вышед, яко сильное ополчение, из-за оград жилищ своих, распространяются по нивам своим, где согбенны до земли и в поте лица своего подсекают волнующуюся жатву; несут ее воедино и возводят из нее, да сохранится от стихий и непогоды, син готического Зодчества здания, сии завостренные конусы, скоро разрушиться долженствующие на продолжение жития нашего или воскошенные на утешение житейских скорбей и печали. Уже радостные раздаются по нивам клики. Жители, паки собрашася вкупе, возвращаются; торжественные гласы песни, победили убо скупую, но равно и милующую Природу, и надежные в прокормлении своем, восприемлют, возвратяся в дома, птенцов своих на лоно свое. Блаженны, блаженны, если бы весь плод трудов ваших был ваш. Но, о горестное напоминовение! Ниву селянин возделывал чуждую и сам, сам чужд есть, увы!»

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля, увидевшем свет вскоре после отмены в России крепостного права, слово «соревновать» сопоставляется со словами «состязаться», «соперничать», «сонскивать», «совместничать», то есть стараться не отстать и перегнать в чем-то; ревностно стремиться за другими, тягаться, стараться осилить, опередить; силиться захватить преимущество, идя к одной цели; стараться оттеснить другого, взяв перевес. В этом толковании «соревнование» означает старание, ревностное отношение к результатам других, стремление не отстать, а быть впереди.

## 3

Капитализм, сменяя феодальный строй, ориентировался на свободного от прямого принуждения рабочего, на использование рабочей силы по найму. Даже простая кооперация такого труда имела свои преимущества по сравнению с единоличным ремесленным производством и отдельным крестьянским хозяйством. Доказательства тому дает история любой страны, в том числе и России.

Можно вспомнить «Письма из деревни» А. Н. Энгельгардта — смоленского помещика, вводившего в своем хозяйстве капиталистические начала. Он пишет: «Мои батраки, конечно, работают не так старательно, как работают крестьяне на себя, но так как они работают артелью, то во многих случаях, например, при уборке сена, хлеба, молотьбе и т. п., сделают более, чем такое же количество крестьян, работающих поодиночке на себя...»

Основанная не на принудительном, а наемном труде кооперация совместных усилий создавала ситуацию, более благо-

приятствующую соревнованию. Вместе с тем капиталистические порядки сводили состязательность к прямому соперничеству, конкуренции. Тот же А. Н. Энгельгардт описывает артельную работу крестьян на молотьбе, вывозке навоза. Конкуренция между артельщиками сводится к тому, чтобы не сделать больше другого, избежать равной оплаты для тех, кто разнится в силе, ловкости, старательности. Крестьяне, как правило, неохотно соглашаются на такую работу сообща. В то же время они легко входят в артели, например, землекопов, где работа делится и каждый получает вознаграждение за сделанное им.

Конкуренция на раннем этапе развития капитализма, указывал В. И. Ленин, обладает возможностью «воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина». Стимулирующая роль конкуренции относилась и к капиталистам и к рабочим. В. В. Берви-Флеровский в своей ставшей популярной книге «Положение рабочего класса в России», впервые изданной в 1869 году, отмечал: «Между трудящимися чем более соревнования, тем более развивается ума, деятельности и энергии». Наблюдая, например, уральских рабочих, он приходил к выводу, что даже в тяжелых условиях мастера своего дела проявляют высокую сметливость и ловкость. Умелость рабочего человека сказывалась на скорости и тщательности выполнения им трудовых операций, что, безусловно, свидетельствовало о его высоком профессиональном мастерстве.

Вспоминается в связи с этим и Н. С. Лесков, его «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе». Великий писатель прославляет профессиональную удаль, бесподобное умение мастера, идет от народной поговорки: «Англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали».

И все же конкурентная борьба диктовала свои правила соревнования: вперед вырывался не обязательно тот, кто достигал наилучших результатов в работе, а тот, кто обеспечивал себе выгодное положение на рынке. Это особенно стало заметно с переходом к главной стадии развития капитализма — к фабрике, крупной индустрии, ускорившей превращение рабочего в придаток машины. Такой труд лишен привлекательности. У рабочих развивается отвращение, своеобразная «аллергия» к труду. Но капитализм делает шаг вперед в том смысле, что владелец капитала, стремясь к максимальной прибыли, перевооружая производство, невольно содействует профессиональному совершенствованию рабочих, проявлению интереса с их стороны к работе, связанной в первую очередь с новой техникой. У принужденного к прибавочному труду человека развивается чувство удовлетворенности конкретным делом. Объяснение в общем-то простое: конечный результат труда, да и всего капиталистического производства чужд рабочему, безразличен ему; но, как истинный труженик, человек не может быть равнодушен к конкретной цели своего труда, он испытывает естественное удовлетворение содержанием работы.

По-своему выражено понимание творческой значимости труда в широко известной повести М. Горького «Фома Гордеев». Главному герою, купцу-промышленнику, нанятые им работники говорят: «Работа, ежели в охоту кому,— дело приятное». А вот примечательное рассуждение еще одного персонажа повести: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд — даже самый грубый — возвышается до творчества... Стул, сделанный с любовью, всегда будет хороший, красивый и прочный стул...»

Привязанность к конкретному труду закреплялась и тем, что при капиталистическом способе производства совместность действий, коллективность усилий людей были более ощутимыми, чем при рабстве или феодализме. Кооперация труда при капитализме чаще высекала искры живой состязательности.

В той же горьковской повести «Фома Гордеев» дана рельефная картина дружного труда. Прислонясь спиной к мачте, владелец барж наблюдал, как все вокруг были охвачены пылом спешного дела: поднимали затонувшую с грузом баржу. Он любовался работой, шум, движение вокруг вызывали в нем желание включиться в дело, «заставить всех обратить на себя внимание и показать всем свою силу, ловкость, живую душу в себе». По мере того как трудовое напряжение нарастало, это желание усиливалось. «Фомой овладело странное волнение: ему страстно захотелось влиться в этот возбужденный рев рабочих, широкий и могучий, как река, в раздражающий скрип, визг, лязг железа и буйный плеск волн». Оторвавшись от мачты, Фома «большими прыжками бросился к вороту... Что-то горячее лилось в грудь ему, заступая место тех усилий, которые он тратил, ворочая рычаг. Невыразимая радость бушевала в нем и рвалась наружу возбужденным криком. Ему казалось, что он один, только своей силой ворочает рычаг, поднимая тяжесть, и что сила его все растет... Голова у него кружилась, глаза налились кровью, он ничего не видел и лишь чувствовал, что ему уступают, что он одолеет, что вот сейчас он опрокинет силой своей что-то огромное, заступающее ему путь,— опрокинет, победит и тогда вздохнет легко и свободно, полный гордой радости».

«Свободная» конкуренция по мере развития капитализма во все большей, возрастающей степени обнаруживает обострение противоречий буржуазного общества, углубление в нем социального неравенства, ужесточение эксплуатации трудящихся. Банкротство ее особенно оголенным выходит наружу с распространением монополий, прибирающих к своим рукам значительную часть производства и сбыта тех или иных товаров. В лучших произведениях Максима Горького, Эмиля



Золя, Теодора Драйзера и ряда других писателей рубежа XIX и XX веков с большой силой изображается социальный трагизм стяжательства, «успеха» любой ценой, реалистично показана картина того, как конкуренция, разжигая тягу к личной наживе и безудержному обогащению, ведет в тупик безнравственности, деформирует отношение к труду и подавляет созидательную энергию человека.

В последующие десятилетия методы капиталистической организации труда продолжали «обогащаться». Монополисты довольно быстро сориентировались в воздействии научно-технической революции на процесс производства, взялись за применение компьютеров, роботов, роторно-конвейерных линий, гибких автоматизированных систем и прочих новшеств. Но это ничуть не меняет эксплуататорской сущности организации труда при капитализме — она была и остается утонченной системой выжимания пота.

Апологетами буржуазного строя предпринимаются попытки «облагородить» конкуренцию, представить ее «эффективной», «разумной», «осуществимой» в сочетании с монополией. Но, как ни приукрашивай конкуренцию, она остается острым соперничеством частных собственников в наиболее выгодной реализации своих экономических интересов. В. И. Ленин утверждал, что конкуренция при всесилии монополий «означает неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина м а с с ы населения, гигантского большинства его, девяноста девяти сотых трудящихся, означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом, прислужничеством на верху социальной лестницы». Нарастающее углубление общего кризиса капитализма неотвратимо сужает сферу его господства, делает все более явственной историческую обреченность капиталистического строя, а с ним и конкуренции.

## 4

Великий Октябрь, круто изменив ход мировых событий, открыл в самой России невиданный ранее простор для инициативы и творчества трудящихся. С переходом к новому строю, в котором основные средства производства обращаются из частной в общественную собственность, устраняются эксплуатация человека человеком и подневольная работа, исчезает конкуренция, получает развитие социалистическая кооперация труда. Создаются условия для подлинного соревнования, суть которого выражают прежде всего отношения товарищеского сотрудничества и взаимопомощи, творческая устремленность «работы на себя», труда на общее благо.

...Пожалуй, будет уместным сделать краткий экскурс в историю передовой общественной мысли. Что в ней мы можем найти о соревновании?

«Утопия» Т. Мора и «Город Солнца» Т. Кампанеллы — сочинения, относящиеся к XVI и XVII векам. В них даны, по точному определению Ф. Энгельса, «утопические изображения идеального общественного строя». При таком строе нет частной собственности, отношения между людьми основаны на сотрудничестве и взаимосодействии, материальные блага распределяются по потребностям. И хотя эти представления в то время еще не имели реальных корней в жизни и носили умозрительный, фантастический характер, они отразили, однако, многое из опыта человечества и его мечты о лучшем будущем.

Выдающиеся мыслители-гуманисты, указывая на высокое предназначение коллективного труда, не могли не обратить внимания и на присущую ему состязательность. Ими отмечено, что соревнование в труде связано со стремлением каждого человека не отстать в работе от других, проявить себя, не упустить возможности выйти вперед. В условиях того общественного устройства, где нет частной собственности, где преобладают равенство и свободный труд, соревнование не исключает, а предполагает дружеское сотрудничество в полезных делах, помощь менее удачливым и способным. Тех, кто проявляет больше усердия, сограждане удостаивают почестей и наград, их всячески поощряют, ставя в пример остальным.

Красивы и богаты плодами сады в Амауроте — главном городе Утопии: «Рвение утопийцев в этом отношении разжигает не только само удовольствие, но и состязание одного квартала с другим: кто лучше ухаживает за своим садом».

Важную роль отводили труду, надлежащим условиям для проявления прилежания и рвения в работе социалисты-утописты. В произведениях, созданных ими в начале XIX века, когда по всей Европе происходило стремительное утверждение капитализма и с очевидностью обнажились язвы буржуазного строя, в своих мечтах «об образцовом обществе будущего» они ратовали за здоровую состязательность и доброе участие в делах друг друга. Так, Сен-Симон и его последователи утверждали: «В самом деле, что такое осуществленная на практике конкуренция, как не беспрерывное продолжение — в новой форме — убийственной войны между индивидом и индивидом, между нацией и нацией... А между тем люди призваны не к тому, чтобы вечно воевать между собою, а к тому, чтобы жить в мире, не к тому, чтобы вредить, а к тому, чтобы помогать друг другу». В свою очередь, Ш. Фурье указывал на необходимость заботиться о возбуждении всех импульсов трудового, созидательного энтузиазма, считая, что соревнование «поднимает всякий продукт на наивысшую ступень по качеству и количеству», представляет собою «средство удовлетворить каждого в его стремлении к похвалам, к поддержке, к продвижению».

Р. Оуэн высказывался еще определеннее в пользу открытого, честного соревнования, помогающего «каждодневному напряжению высших человеческих способностей до их крайнего нормального предела» — одного из тех могущественных стимулов, которые побуждают к деятельности не ради наживы и личной выгоды, а во имя всеобщей пользы.

«Добрые и умные люди написали много книг о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо...» — говорится в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?», созданном в начале 60-х годов прошлого столетия. В этом произведении, вышедшем из-под пера видного представителя утопического социализма в России, сочными красками набросаны картины будущего общества, свободного труда, доставляющего человеку наслаждение и радость. Увлекательно рассказано о многолетней работе швейных мастерских, устроенных героиней романа: свободный труд, труд на себя создает такую нравственную атмосферу, в которой швеи, одинаково заинтересованные в общем успехе, преодолевают былую разобщенность, работают усерднее и результативнее.

Несмотря на иллюзорность, наивный характер своих воззрений, социалисты-утописты внесли определенный вклад в создание исходного для социалистической теории материала. По достоинству оценивая заслуги своих предшественников, основоположники научного социализма впервые дали обстоятельное объяснение феномена соревнования. Они доказали, что социализм не утопия, а необходимый результат общественного развития, его корни лежат глубоко в материальном производстве, непрестанном росте производительных сил общества. Те же вопросы, которых касались социалисты-утописты в связи с состязательностью и соперничеством при совместной деятельности людей, получили научное раскрытие в марксизме.

Стремление к соревнованию, присущее человеку, имеет четко выраженную общественную природу, всецело диктуется отношениями людей друг к другу. Ведь человек, писал К. Маркс, познает себя лишь тогда, когда «смотрится, как в зеркало, в другого человека». Как и характер труда, характер соревнования меняется в зависимости от общественных условий, в которых протекает совместная деятельность людей. Конкуренция сходит со сцены вместе со сменой капитализма новым общественным строем. Это, предполагали К. Маркс и Ф. Энгельс, даст свободу соревнованию, присущему человеческой природе...

Так что у В. И. Ленина были все основания утверждать: социалисты не отрицают значение соревнования, их нападки «никогда не направлялись на соревнование как таковое, а только на конкуренцию»; уничтожение конкуренции не означает искоренения соревнования, как пытаются представить дело критики социализма,— напротив, отсутствие конкуренции «откроет дорогу возможности организовать соревнование в его не зверских, а человеческих формах». В своей знаменитой статье «Как организовать соревнование?», написанной через два месяца после Великого Октября, В. И. Ленин, научно обобщая первый практический опыт революционных преобразований в Советской республике, констатировал, что социализм создает реальную возможность применить соревнование действительно широко, в массовом масштабе; этот общественный строй освобождает трудящихся от подневольной работы, от тяжкого труда на эксплуататоров, выводит их на дорогу самостоятельного творчества новой жизни, открывает простор для того, чтобы рабочий человек мог развернуть свои способности, обнаружить таланты, проявить инициативу и смелый почин.

В первые годы Советского государства передовые рабочие и крестьяне-труженики, ведомые коммунистами, приложили героические усилия, чтобы отстоять народную власть. Они выдержали натиск контрреволюции и иностранных интервентов, победили голод, холод, разруху.

Успех по всему фронту хозяйственного строительства не мог решаться одной ударностью, беззаветной преданностью идеалам социализма и самоотверженностью рабоче-крестьянского авангарда. Поэтому В. И. Ленин прозорливо предупреждал: новое общество строится не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете. Побуждение к труду на общую пользу с учетом интересов самого человека стало лейтмотивом той гигантской работы, которая велась по восстановлению народного хозяйства, индустриализации Страны Советов, по преобразованию социального облика людей труда.

Пафос первых пятилеток воплотился в ударничестве, ставшем массовым явлением, ведущей формой социалистического соревнования. Славились ударники крупнейших индустриальных строек, среди которых масштабом и значимостью особо впечатляли Магнитка и Кузнецкстрой — металлургическая база Урало-Кузбасса.

Примечательно, что в разгар социалистического переустройства народного хозяйства возникла идея создания истории заводов и фабрик — «энциклопедии нашего строительства», как определял ее А. М. Горький в статье, опубликованной 7 сентября 1931 года в «Правде» и «Известиях». Он писал: «Нам необходимо изучать нашу действительность во всем ее объеме, нам нужно знать в лицо все наши заводы и фабрики, все предприятия, все работы по строительству государства». И далее: «Рабочий народ должен знать все, что он делает,— он должен знать свою историю». Развернулась большая работа. Предполагалось



также показать, как изменились рабочий человек, ударничество и соревнование. Вскоре при активном участии писателей вышли книги о людях Высокогорского рудника на Урале, о строительстве и первых шагах тракторного завода на Волге, о других старых и новых предприятиях.

Энергия социалистического соревнования продолжала нарастать. Стахановские рекорды вызвали мощное движение новаторов производства. Н. К. Крупская справедливо отмечала: «Нельзя никоим образом отождествлять стахановское движение с простым повышением трудового напряжения, с трудовой горячкой. Это — начало новой, социалистической культуры труда, основанной на понимании массами самой сути такой организации труда, при которой каждый шаг продуман, организован и которая благодаря этому дает громадные результаты, поднимает чрезвычайно производительность труда».

Движение стахановцев отчетливо проявило новое отношение людей к труду. Это, по образному выражению А. М. Горького,— «огненный взрыв массовой энергии, взрыв, вызванный колоссальными успехами труда, сознанием его культурного значения, его силы, освобождающей трудовое человечество из-под гнета прошлого». Внимательно всматривавшийся в социалистическую действительность А. С. Макаренко с удовлетворением указывал: «Стахановское движение, захватившее миллионы трудящихся, есть не только движение за новые нормы и за новую технику, это вместе с тем есть движение и за новые творческие позиции человечества».

Традиции стахановского движения, вдохновенный порыв героев индустриализации, технической реконструкции народного хозяйства сыграли мобилизующую роль в Великой Отечественной войне, придавали силы в борьбе за возрождение и новый подъем экономики в послевоенный период.

Но с течением времени в развитии нашей страны скапливались негативные тенденции, вызывавшие определенные сложности и трудности. Литература не осталась безучастной к ним. В очерках В. Овечкина «Районные будни», трилогии Ф. Абрамова «Пряслины», пьесе А. Гельмана «Протокол одного заседания», ряде других произведений резко осуждены планирование от достигнутого, валовой подход к хозяйству, невнимание к людским запросам, забвение материальных и моральных стимулов честного труда. Распространилась «игра» в соревнование, живое дело покрылось ржавчиной формализма. Даже многообещающее движение за коммунистическое отношение к труду оказалось потопленным в бумажной круговерти, почти загубленным показухой, погоней за пресловутым «охватом».

Чтобы преодолеть застойные, чуждые социализму явления, повернуть дело к лучшему, партия определила линию на ускорение социально-экономического развития страны, глубинную перестройку всех сторон жизни советского общества. Надо по-новому организовать соревнование, придать ему вдохновение, истинную состязательность.

Труд, только труд дарит людям крылья и силу, делает человека всемогущим, служит мерилом достоинств личности. «Общественно полезный труд и его результаты,— гласит статья 14 Конституции СССР,— определяют положение человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека».

Ныне в СССР созидательная сила соревнования на социалистических началах — один из основных резервов решения стратегической задачи ускорения социально-экономического развития страны, достижения на этой основе качественно нового состояния советского общества.

Понимание объективной необходимости соревнования предполагает возможность и обязательность в условиях социализма его осознанной, лучшей организации. Совершенствовать организацию и повышать действенность соревнования, изживать формализм и шаблон, развивать дух товарищеского сотрудничества и взаимопомощи — таково требование, вытекающее из наших программных целей. Нынешние формы организации соревнования должны всемерно содействовать преодолению социальной инертности и углублению демократизма, благоприятствовать воспитанию всесторонне развитой и общественно активной личности, укреплению начал коммунистического отношения к труду.

Реализация многогранных функций трудового соревнования, рост его практической отдачи, надо полагать, и впредь будут предметом пристального внимания нашей общественности, найдут верное и объемное отражение в прозе, драматургии, поэзии, а также в изустном народном творчестве.

*В восьмой книжке нашего журнала за прошлый год была опубликована статья Михаила Антонова «Так что же с нами происходит?», получившая большой общественный резонанс. Редакция журнала и автор искренне благодарят всех читателей, приславших свои отклики.*

*Естественно, все опубликовать невозможно. Поэтому предлагаем вашему вниманию подборку читательских писем. На наш взгляд, они отражают различные мнения — отношение людей к процессу перестройки, демократизации всех сторон нашей жизни, политике гласности.*

*В статье «Так что же с нами происходит?», в частности, был дан критический анализ работы Министерства путей сообщения СССР. Читатели сообщили в редакцию, что Главное техническое управление МПС и ЦНИИТЭИ в ноябре 1987 года направило начальникам железных дорог письмо, в котором говорилось: «В связи с развернувшейся на страницах журналов «Новый мир» и «Октябрь» необоснованной критикой принципиальных концепций технической политики Министерства путей сообщения... Главное техническое управление МПС и ЦНИИТЭИ считают необходимым дать должный отпор этим незрелым и неквалифицированным выступлениям, в частности, т. Антонова М. Ф.». И далее: «Организовать публикации на страницах журналов «Новый мир» и «Октябрь» ведущих ученых и экономистов железнодорожного транспорта, а также писем железнодорожников...» Учитывая пожелание работников министерства, мы решили дать возможность высказаться в первую очередь именно железнодорожникам.*

*Из-за экономии места все письма даются с сокращениями.*

Начальнику Главного технического управления МПС тов. Харлановичу И. В.

Уважаемый товарищ Харланович!

Случайно ознакомился с Вашим письмом № 651/19 от 05.11.87 г., адресованным всем начальникам железных дорог. Оно меня удивило: критику надо опровергать делом, а не демагогией и игрой нарядных фраз вроде «внедрение интенсивных технологий», «выход на передовые позиции в мире» и т. д.

Не кажется ли Вам, что в угоду министру Вы организовали самую настоящую травлю авторов критических статей по поводу работы железнодорожного транспорта (М. Антонова, В. Селюнина и Г. Ханина)?

Злоупотребляя своей властью, Вы в приказном порядке обязываете начальников железных дорог «дать должный отпор» М. Ф. Антонову. Иными словами, заставляете хвалить то, что порочно, и хвалить только потому, что оно исходит не от кого-нибудь, а от самого министра...

Техническая безграмотность и некомпетентность в вопросах, которыми Вы ведаете, отрицательно сказываются на работе железнодорожного транспорта. Участившиеся крушения с человеческими жертвами — это тоже результат неспособности и бездеятельности в организации разработок и внедрения уже существующих технических и психологических мер и средств борьбы со сном локомотивных бригад в процессе ведения поезда.

Из-за некомпетентности и безграмотности в технических вопросах миллионы рублей государственных денег летят на ветер (пример — САУТ), и это в условиях перехода железных дорог на самофинансирование и полный хозрасчет. По Вашей милости, министр, сам того не подозревая, «едет» на технически безграмотных инструкциях, определяющих не хозяйственную деятельность, а условия обеспечения безопасности движения поездов...

Вот уж по этому поводу действительно надо бы проводить встречи за «круглыми» и «квадратными» столами, а не по поводу зажима справедливых критических выступлений журналов «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь».

Сегодня, 22 декабря 1987 года, «Гудок» пишет о каких-то обнадеживающих темпах выполнения плана перевозок. И сегодня же, 22 декабря 1987 года, на первой полосе газета «Известия» под рубрикой «Острый сигнал» пишет об обстановке, сложившейся на Чусовском отделении Свердловской дороги: «С начала года нам недодано было 760 вагонов, и все наши старания (пишут лесники) потеряли смысл. На сегодня эта цифра возросла до 1147 вагонов... Неритмичная работа в течение года, гибнущие на глазах результаты труда расхолаживают коллектив... Склады перегружены».

Это только один из многочисленных примеров. Такое же творится не только в лесном хозяйстве, но и на других промышленных предприятиях, и не только на Свердловской железной дороге, но и на всех дорогах сети. А Вы, товарищ Харланович, в своем письме в это самое время обязываете начальников железных дорог «оказывать всемерную помощь





журналистам в подготовке... тематических публикаций, теле- и радиопередач», которые бы восхваляли министра и работу железнодорожного транспорта.

М. Антонов, В. Селюнин и Г. Ханин, как в зеркале, отразили действительное положение дел на железнодорожном транспорте, работающем на износ и выполняющем отдельные показатели всякими правдами и неправдами... И не случайно Политбюро ЦК КПСС (17 декабря 1987 года) сделало ставку не на пресловутые супертяжеловесы и не на повышенную, сверх технически обоснованных норм, статнагрузку вагонов (что привело к ухудшению технического состояния пути, подвижного состава, перерасходу топлива и электроэнергии, сбоям в движении, разрывам поездов, созданию благоприятной почвы для очковтирательства и другим бедам, я уже не упоминаю о тяжелых крушениях по этим же причинам), а на коренное техническое перевооружение железных дорог СССР.

Что же касается белорусского метода, его изуродовали на отдельных дорогах до неузнаваемости. И должен Вам сказать, что печально знаменитое каменское крушение, в котором погибло 106 человек (не считая тех, которые остались калеками на всю жизнь),— это тоже результат бездумного внедрения белорусского метода там, где он не проходит.

Неплохо, если бы процесс внедрения белорусского метода хотя бы на Свердловской дороге и результаты его были бы проверены Комитетом народного контроля. Сколько за период внедрения этого метода было уволено, а затем вновь принято, кто от этого имеет материальную выгоду — рабочие или штат АУР, который остался почти в прежнем составе?..

Не думаю, товарищ Харланович, чтобы Вы не знали, что зажим критики в наше время карается законом, а тем более организованный зажим, да еще в приказном порядке, да еще с требованием выполнения его в точно установленный срок.

*Б. Зверев, ветеран труда, инженер, почетный железнодорожник*

*г. Свердловск*

Послушаешь наших руководителей, у них никаких проблем: железнодорожники успешно справляются с планом, хотя порой он выполняется 32-го числа. Долг отрасли за 1987 год составил 2,2 миллиарда рублей. Как же работать на хозрасчете?

Главной причиной всех наших бед является крайне нездоровая нравственная атмосфера, глубоко проникшая во все сферы деятельности железнодорожников. И если в низах начинается, хоть и медленное, пробуждение, осмысливание и некоторое очищение от нравственных недугов, то чем выше, тем эта болезнь труднее излечима...

Сейчас масштабы приписок в отрасли таковы, что некоторые показатели «улучшены» в несколько раз. Отсюда можно сделать вывод, что планы перевозок выполняются только на бумаге и наша отрасль извлекает у государства многомиллионные нетрудовые доходы. Мне лично приходилось сталкиваться со случаями, когда в одном вагоне была приписана 41 тонна несуществующего груза. Об этом писал на страницах «Гудка» в конце 1986 года заместитель секретаря Даугавпилсского узлового парткома товарищ Холявчук. В той же газете за 27 января этого года показан размах приписок на Чимкентском отделении дороги. Да, такие порядки процветают от Калининграда до Владивостока.

Для «улучшения» показателей создаются необходимые инструкции. Например, в прошлом году МПС издало приказ № 39-У, который гласит: «Разрешить соединение двух и трех электровозов серии ВЛ23, которые после этого именовать электровозами 2ВЛ23 и 3ВЛ23, и учитывать их за одну тяговую единицу. Расформирование электровозов запретить». Таким способом была «повышена» производительность электровозов в два раза.

Аналогичная картина со средним весом поезда, технологическим резервом и т. д.— все направлено на достижение показателей любой ценой. Получается парадоксальное явление — тысячи вагонов стоят в технологическом резерве, а грузить не во что...

В тяжелейших условиях работают локомотивные бригады, допускается до 100 часов сверхурочных в месяц, масса нарушений режима работы, когда бригада непрерывно работает 12—20 часов. В какой отрасли еще так попирается трудовое законодательство?..

До сих пор не определено и настоящее место ревизоров по безопасности. Пока идут затянувшиеся эксперименты и разговоры, ревизоры превращены в очковтирателей и служат удобной ширмой, за которую при случае можно спрятаться. А о том, как поднимается роль ревизоров, свидетельствует такой пример: если до декабря 1986 года главных ревизоров отделений дорог назначал министр, то теперь это делает начальник дороги, соответственно и снимает он — так проще рассчитаться со строптивыми и принципиальными.

Газета «Известия» 5 февраля прошлого года писала: «Убеждены: пришло время пересмотреть по аналогии с госприемкой роль и положение института ревизоров по безопасности движения на транспорте». И, наверное, не только ревизоров по безопасности, но и по учету, контролю и т. д. Ведомственный контроль порядка не наведет, ему быстро подрежут крылья: ведь нет разницы в том, что приписывается,— невыращенные тонны хлопка, непогруженные тонны или неотправленные вагоны. Руководство же нашего министерства боится госприемки, гласности, демократизации и ни за что не согласится с тем, чтобы контроль сде-

лать вневедомственным, — тогда обнажатся все негативные явления и где-то, возможно, придется даже останавливать движение. Но что важнее: жизнь людей или движение любой ценой? Надо задуматься над тем, какие опасные грузы мы возим и что может случиться, если вагон с таким грузом разобьется. Неужели Чернобыль ничему не научил?

Так что я полностью разделяю и поддерживаю (да и ко мне присоединятся многие) высказывания М. Антонова. Активная позиция литераторов поможет навести порядок на железнодорожном транспорте, который сейчас находится в предынфарктном состоянии. Необходимо провести широкий опрос общественного мнения: народ поставит точный диагноз и подскажет, что надо делать. Подписываюсь, как теперь положено, полным именем во избежание недоразумений:

*Л. Пашкевич, главный ревизор по безопасности движения Даугавпилсского отделения Прибалтийской железной дороги*

*г. Даугавпилс*

23 декабря прошлого года во время одной телепередачи министр путей сообщения Н. С. Конарев задал вопрос директору Всесоюзного научно-исследовательского института ж.-д. т. кандидату технических наук А. С. Лисицыну: «Когда будет новый прибор безопасности?» Он спокойно ответил, что к 1990 году. А что еще за этот период произойдет, товарища Лисицына, видимо, мало волнует. В своем выступлении зам. министра товарищ Бевзенко на вопрос корреспондента о принимаемых профилактических мерах по предупреждению таких трагических случаев, как каменское крушение, не смог дать полного ответа.

Простой народ, даже не связанный с работой транспорта, это выступление понял по-своему. «Ваш большой начальник, выступая по телевидению, рассказывал про крушение. Он сказал, кого и за что наказали, кого сняли. Но ведь нам от этого не легче. Почему же он не сказал корреспонденту, что же сделано, чтобы мы не боялись садиться в поезд? К тому, что нас привозят с опозданием, мы уже привыкли, но как свыкнуться с мыслью, что могут и на тот свет отправить? Он сказал, что многих сняли. А что они будут делать, когда всех снимут? А может, они не тех снимают?» — вот примерно так рассуждают обычные люди.

Вы хотите, чтобы о работе транспорта говорили только похвальные речи, а мы их не заслужили. Не надо ставить все с ног на голову, что во всех наших недостатках, получается, виноват М. Антонов, потому что он их вскрывает.

Мне неоднократно приходилось бывать на Белорусской железной дороге в составе комиссии МПС, участвовать в проведении технической ревизии. Последняя проверка комиссией МПС производилась в условиях нового экономического эксперимента.

Когда МПС приняло решение о переходе других дорог на белорусский метод, то о нем даже Белорусская железная дорога знала пока теоретически. Проводилось не внедрение, а простой механический перенос эксперимента с Белорусской на другие дороги, притом по указанию сверху.

Перед руководителями хозединиц ставилась одна задача — сокращайте согласно разнарядке. Кто этого не выполнял, говорили: «Мало сократили, нужно сократить до установленной нормы», — и сокращали. А как организовать работу после этого, с тем чтобы выполнить ту же работу, а может, и большую?

Переход на белорусский метод завершен, и вскоре на сети дорог образовалась масса проблем. Назову некоторые из них. Проведено неправильное распределение высвободившихся от сокращения средств. В основном они пошли на увеличение заработной платы всем работникам управления отделения дороги, притом прибавка к заработной плате оказалась весьма весомой, если ее сравнивать с прибавкой рабочему классу, в частности монтерам пути, осмотрщикам вагонов, товарным и билетным кассирам и т. д. Исчисляется эта разница примерно один к десяти.

Полностью нарушен принцип материальной заинтересованности ряда работников. Например, из 45 уборщиц в пассажирском отделе (на станциях) сокращено 18, а добавки к их заработной плате составили 7 рублей; из 99 станционных рабочих сокращено 29, а добавка оказалась в 10 рублей. Такое же положение и с билетными кассирами. Сокращение работников отделения и управления не производилось. На ряде железнодорожных станций билетные кассы работают в одну смену — выручка от продажи билетов сократилась в два раза, кроме того, созданы «льготные условия» для безбилетного проезда в пригородных поездах.

При сокращении локомотивных бригад уволили машинистов-пенсионеров, состояние здоровья позволяло им работать, но их вынуждены были сократить. Затруднений в эксплуатационной работе на сети долго не пришлось ждать, и вскоре МПС вынуждено было издать указание № 14362 от 22 июня 1987 года, где уже говорилось другое: «Отменить ограничения на прием машинистов и помощников машинистов. Установить задание на июль — сентябрь с. г. каждому депо, где это необходимо, по восполнению контингента бригад за счет практикантов учебных заведений, выпускников СПТУ, машинистов-пенсионеров, обеспечить его неукоснительное выполнение...» Разве можно так работать с людьми?

Сокращение проводилось без учета конкретных условий работы дорог и отделения. Если Белорусская железная дорога в локомотивном хозяйстве сокращение произвела в основном за счет



проводников электропоездов и помощников машинистов, работающих на маневровых тепловозах, то на Октябрьской ж. д., в частности на Ленинград — Витебском отделении и ряде других, проводники электропоездов и помощники машинистов в маневровом движении сокращены двадцать лет назад...

Состояние путевого хозяйства на сегодня вызывает всеобщую тревогу. Общее число негодных шпал в 1986 году составило 46,3 миллиона штук, или 12 процентов, что в 3,6 раза превышает допустимые нормы. Еще хуже положение с переводными брусьями, количество негодных достигло 16 процентов от общего числа... Путевое хозяйство не обеспечено даже костылями...

В 1982 году из-за сна работников локомотивных бригад при ведении поездов было допущено 57 процентов крушений. А в анализе МПС состояния безопасности в локомотивном хозяйстве за 1985 год на сети железных дорог говорилось, что сон локомотивных бригад является основной причиной проездов запрещающих сигналов в грузовом движении. Подавляющее большинство — 90,3 процента — проездов произошло в условиях, когда имелись грубые нарушения трудового законодательства. «Рекордным» является ТУ Хашури Закавказской железной дороги, где машинист имел более 2000 часов сверхурочной работы за год... На протяжении ряда лет не решаются социальные вопросы, особенно обеспечение жильем. Как ни странно, только на нашем отделении свыше пятисот остро нуждающихся работников, в том числе и из локомотивных бригад...

В приказе МПС по крушению на станции Каменская обнаружены все негативные стороны, а вот почему они стали возможными, такого ответа нет. Замечательно, что при этом указано, кто ответственный за выполнение приказа. Возможно, где-то что-то уже и сделано согласно этому пункту, но мы на своем отделении этого пока не ощущаем. И так до следующего приказа...

*В. Шмакалов, ревизор по безопасности движения*

*г. Ленинград.*

Хотя сила «кавалеристов» в экономике далеко не сломлена, их сопротивление на научном и публицистическом фронтах уже явно слабее напора «купцов» — и в части теоретической основательности, и в части журналистского таланта. И хотя борьбу свою «купцам», думаю, оставлять рано, принципиальную победу они уже одержали.

И вот тут у «купцов» возникает новый оппонент — те, кого Ю. Апенченко в журнале «Знамя» назвал «морализаторами». Самый яркий на сегодняшний день их манифест — статья М. Антонова в «Октябре». Вот именно спор «купцов» и «морализаторов» представляется мне перспективным направлением экономической полемики.

Главная мысль М. Антонова заключается в том, что все беды наши от бескультурья, что без повышения культурного уровня и управляющих, и простых рабочих никакие реформы не принесут радикальных результатов. Но при этом Антонов признает частичную правоту «купцов», а вот «купец» Апенченко походя отмахивается от идей «морализаторов», как от анахронизма. И на мой взгляд, зря...

Не мешают ли друг другу действия, направленные на экономические и общекультурные цели, в условиях ограниченности ресурсов — финансовых, временных, интеллектуальных и т. д.? Мешают, мы это постоянно видим, и нельзя тут все списать на чье-то головотяпство. Налицо, говоря математическим языком, двухкритериальная задача оптимизации. В такой задаче нельзя придумать никакого объективного способа согласовать критерии. Любое действие имеет зачастую противоречивые последствия внутри экономики или внутри культуры. Банальный пример: развитие личной инициативы усиливает эгоцентризм, но зато искореняет экономическую инфантильность. Короче говоря, хоть противоречия и возникают, радикальное их решение в ту или иную сторону было бы неправильно.

Но могу указать один сильный аргумент «купцов». Культурный прогресс требует очень большого времени, порядка десятилетий при хорошем ходе дел, а состояние нашей экономики не позволяет столько ждать. Переход к полному хозрасчету, кооперативам, личной инициативе и т. д. безотлагателен. И тем самым приоритетнее, чем программа «морализаторов».

В «утешение» последним могу добавить следующее: у нас экономическая культура в широком смысле почти отсутствует — и у управляющих, и у рабочих, и у инженеров, и у ученых. Это результат некультурного хозяйствования в течение полувека, может быть, отчасти и наследие общей дореволюционной отсталости. Не заполняя этот пробел, нельзя основательно изменить общекультурный уровень. В частности, без устранения деморализующего влияния современной экономики нельзя и мечтать о прогрессе нравственности. Причем специфика экономических отношений заключается в том, что здесь объективные условия значат больше, чем воспитание и... обучение. Над этим следовало бы серьезно задуматься сейчас «морализаторам».

*А. Верховский*

*г. Москва*

Как и многие «болельщики» перестройки, увлекаюсь современной публицистикой, статьями по экономике. Статья «Так что же с нами происходит?» — лучшее, что приходилось читать на эту тему. И Н. Шмелев, и Ю. Черниченко, и

А. Стреляный, и Г. Лисичкин, и Г. Попов, в общем, добросовестно разрабатывают свою тематику, в особенности в той части, где нужно убедить читателя в тяжести кризисных и застойных явлений. Затем, не мудрствуя лукаво, предлагают выйти из кризиса, используя разного рода экономические рычаги. Г. Попов даже впадает в прекраснодушные мечтания: вот если бы и моральные наши качества как-то научиться материально стимулировать. И сожалеет, что пока не знает, как этого достичь.

Я полагаю, что работа М. Антонова отличается от этих пусть страстных, искренних, но, увы, недальновидных разработок, как, скажем, роман «Тихий Дон» от газетных сводок с фронтов гражданской войны...

Человек есть мера всех вещей. Это аксиома гуманизма, а сейчас, когда моральная, духовная деградация общества зашла так далеко, возможно ли, используя, в общем, примитивную систему наказания-поощрения рублем, восполнить все понесенные потери и создать человеку душевный комфорт? Немыслимо! Экономические рычаги — это расцвет делячества. Но какова альтернатива? Идеалы, конечно, обладают колоссальной двигательной силой, но время, когда они могли всколыхнуть массы, безнадежно упущено, лозунги дискредитированы... Были лишь вопросы. Ответов, увы, не было. Ответов не было ни у А. Аганбегяна, ни у Т. Заславской. То есть они, конечно, были, но не те, которые может принять мыслящий человек. И вдруг...

Благословенна будь 39-я страница журнала «Октябрь», № 8, где впервые прозвучало слово артель! Снова и снова возвращаюсь к ней. Конечно, о ней говорили и писали раньше другие авторы, но хочется думать, что это все же Ваше открытие, поскольку оно является частью концепции и фрагментом, и именно тем фрагментом, который скрепляет и держит в целости все строение.

Как будет выглядеть экономическая модель социализма с артельным способом производства? Этот вопрос нужно тщательно проработать, и мне представляется, что решение его где-то близко, во всяком случае, ближе, чем у «купцов», а тем паче «кавалеристов»...

Хочу выразить надежду, что Ваши взгляды получат широкую огласку и лягут в основу происходящих сейчас преобразований. Но чтобы не получилось так, что мы идем туда, неведомо куда, и строим то, неведомо что, всему этому должна предшествовать разработка основных идей политической экономии социализма...

*Т. Выхрестюк, инженер-радиофизик*
*г. Киев.*

Был в жизни нашей страны в середине 70-х годов один эпизод, когда идея создания трудовых коллективов кооперативного типа уже пережила яркую вспышку. Это случилось в период подготовки и всенародного обсуждения проекта Конституции 1977 года. Тогда многие тысячи трудящихся, как говорится, «вдруг», без подсказки, заявили в конституционную комиссию о своем желании быть и жить в трудовых коллективах.

Результатом этого стало то, что статья 16 проекта Конституции превратилась в статью 8 Конституции («Трудовые коллективы»), которая была сформулирована в расчете на подкрепление ее специальным Законом. Закон этот писался с великим скрипом, и, когда он наконец родился (через пять лет, 1 августа 1983 года), вид его был нелеп и жалок. Всерьез его, конечно, никто не принял, все поняли, что большое дело свелось к очередным бюрократическим играм. Сейчас он тихо доживает свои дни в пыльных папках, и, чтобы не позориться на весь мир, его надо отменить установленным порядком за полной ненадобностью. Этот эпизод нашей жизни я посчитал нужным вспомнить, чтобы он не повторился в связи с законом «О кооперации».

*В. Курочкин, ветеран войны*
*г. Тольятти*

В. И. Ленин был пунктуально демократичным человеком (даже в общении с такими профанами экономики, как Троцкий, Бухарин и др.), к нему же относились отнюдь не демократически, порой даже не слушали и навязывали ЦК свои «теории», обещая: вот увидите! Но время шло (драгоценное время становления), а теории Троцкого и других лопались одна за другой. Конечно, можно сетовать на непомерную терпимость В. И. Ленина к своим полуграмотным оппонентам — ведь он временно даже снял с обсуждения свою разработанную еще в предоктябрьские годы теорию социалистической экономики, завуалированно и схематически изложенную в его работе «Империализм, как высшая стадия капитализма», вышедшей в условиях цензуры военного времени в 1915 году. Но обвинять В. И. Ленина в том, что он якобы призывал к социалистической революции, не имея никакого плана социалистического развития,— это наглая ложь эклектиков. Изложение мыслей «О кооперации» номинально относится к 1923 году, но они являются продолжением его предреволюционного замысла государственного капитализма.

Нет, к сожалению, у Вас (как и у Н. Н. Моисеева) понимания того, что кооператив у Ленина (первоначально «синдикат», а вместо «кооперирования» первоначально «синдицирование») — это не «любое» объединение людей или предприятий, а лишь такое объединение, в котором осуществляется полный замкнутый экономический цикл: добыча сырья, производство, транспортировка, продажа (или доставка на дом). Например, овощные базы, будучи выдернутыми из производственного цикла своей принципиально иждивенческой организацией, не могут быть экономически состоятельными, даже если их «сделать» кооперативами. Те, кого в СССР называют «кооператорами», на самом деле ничего не производят, а только перекупают у государства продукты и продают по своим ценам, то есть это легальные спекулянты, узаконенные правовым кодексом. В действительности они лишь дискредитируют идею кооперации, но именно в борьбе с этой идеей они получают все большую поддержку.



Причин этому две. Первая — в засилье экономического бескультурья (вот «что с нами происходит»!). Экономической науки все еще у нас нет, в нашей стране господствует ее подобие — экономистика. Заражены экономистикой и Вы сами, о чем говорит Ваше экономическое отождествление сторонников товарно-денежных отношений с «купцами». «Культурный» хозяйственный расчет не сводится к перекупке-перепродаже, он предполагает главное — производство, весь замыкающий его экономический цикл. В. И. Ленин даже в статье «О кооперации» старается не поучать и потому чрезмерно лаконичен. Он пишет о решающем условии быть поголовно «культурными торгашами», что не только означает разбираться в экономике, но и предполагает быть не просто «купцами» (как, например, цыгане), но производителями! В отношении крестьянства это очевидно, а крестьянская масса тогда была преобладающей, так что никто не обратил внимания на буквальную поголовность этого условия (В. И. Ленин специально этого не растолковал в отношении пролетариата и других классов).

Вторая причина — в политической безграмотности. Несмотря на значительный процент людей с высшим образованием, никто не отдает себе отчета в том, что и сталинизм, и эпоха застоя политически основаны на одной идейной платформе — платформе Троцкого. И в деревне, и в городе — социализм без кооперации. «Естественно», сами взгляды и теории Троцкого гласности не предаются, они просто воплощаются и действуют вот уже много лет. Политическая темнота масс выгодна троцкиствующим политиканам, они предлагают любую перестройку, но лишь при фактическом сохранении своего положения...

Еще В. И. Ленин указывал, что пытаться обойтись одними только экономическими реформами, избегая политических, являющихся их концентрированным выражением, «значит забывать азбуку марксизма»...

*Г. Плешаков*
*г. Саратов*

Мне как специалисту научно-технической информации особенно четко видны несовершенства многих исследовательских работ, не говоря уже о внедренческой стороне дела. На одной из конференций ВОИР и НТО прямо было сказано, что из ста предлагаемых к внедрению изобретений и рацпредложений внедряется лишь... восемь. И это при том, что наша самая большая уязвимость в соревновании с капстранами (как отмечалось на последнем заседании стран — участниц СЭВ) как раз заключается в слабой информированности друг друга о новейших достижениях, что приводит к издержкам времени и вторичному изобретению велосипеда...

Автор правильно обосновал великое значение «человеческого фактора». Я сразу провел параллель: японцы заставляют нас задуматься над простым вопросом: почему японский трудящийся, получая самую низкую в мире зарплату, делает самые лучшие в мире вещи? Вот вам и значение нового мышления в эпоху перестройки. Пока человек не переделает свое сознание и отношение к труду, пока не поставит главенствующим звеном рост качества, а не рост зарплаты, до тех пор мы будем только желать, чтобы продукция наша была самой конкурентоспособной.

*А. Сидоров, ст. научный сотрудник УкрНИИНТИ Госплана УССР*
*г. Киев*

Увидел в статье подтверждение собственным выводам и чаяниям, которые возникли у меня под влиянием идей общественного развития, выдвинутых Петром Алексеевичем Кропоткиным, пламенным революционером и гениальным ученым. Его идея кооперативного общества, как видите, опередила свое время на несколько десятков лет. Это (может быть, независимо от П. А. Кропоткина) прямо-таки пророческое его прозрение Вы и подтвердили в новых исторических условиях. Убежден, что иного пути к коммунизму, кроме как через общество культурных кооператоров, нет и быть не может. Убежден также и в том, что такой путь общественного развития является еще и русским путем к моральному лидерству, к тому назначению нашего народа, во имя которого он и существует на планете. Именно мы, думаю, должны показать миру путь, не ведущий ни в казарму, ни на биржу, а в царство свободного творческого труда, всечеловеческого согласия и благосостояния для любого из рода человеческого существа.

Когда я раньше высказывал сходные взгляды, то на это смотрели как на некоторое вполне простительное чудачество технического специалиста, в своем деле разбирающегося, но вот что касается общественных наук... Меня даже предупреждали, чтобы я подобных взглядов не проповедовал, что времена анархокоммунизма прошли и т. д. На мои возражения, подкрепленные словами В. И. Ленина о строе цивилизованных, культурных кооператоров, смотрели как на демагогию. Все затмевало пугало анархокоммунизма. Люди никак не хотели понять,

что кем бы ни называл себя П. А. Кропоткин, но если он высказывал верные мысли, то их стоит понять и развить, а не считать проявлением отброшенной идеологии...

*Б. Пьянков*

*г. Ростов-на-Дону*

В статье увидал по меньшей мере странную критику великого ученого Норберта Винера. Абсурдны высказывания М. Антонова о «кибернетике Н. Винера»: на него автором возложена вина за неработоспособность наших АСУ на железнодорожном транспорте. Смею вас уверить, великий математик не виноват! Мог ли Винер в своих трудах или высказываниях ошибаться в каком-либо вопросе? Это могло быть. Известно, например, что даже гениальный А. Эйнштейн до конца жизни не мог принять того, что «Бог играет с нами в кости». Однако, чтобы опровергнуть какие-либо работы Винера, надо провести научные исследования. С опровержением следует выступить в специальной литературе, но не в журнале «Октябрь». В статье никакие ссылки на работы академиков не помогают некорректным нападкам автора.

От заявлений Михаила Антонова, таких, например, как об «огромной саморекламе» великого ученого, дурно пахнет самой грязной лысенковщиной...

*В. Стальский*

*г. Ленинград*

С 1972 по 1981 год я работал в системе Томского университета, участвовал в разработке АСУ трудовыми ресурсами Томской области. Приходилось мне применять методы математического моделирования, прогнозирования. Однако все это время меня не покидало ощущение: что-то не то и не так. И лишь недавно, года два назад, я пришел к выводам, во многом (хотя и не во всем) совпадающим с теми, которые Вы излагаете в статье. Мне удалось показать, что необходимость низового коллектива нового типа («артели», по вашей терминологии) вытекает из потребности в соизмерении конкретного и абстрактного труда, какова (потребность) является важнейшей особенностью социалистической системы хозяйствования. Свои идеи я пытаюсь сейчас внедрять на разрезах Кузбасса.

Я, конечно, понимал, что не могу быть единственным в стране противником «кавалеристов» и «купцов», но опасался, что голос разума утонет в шумных криках рыночной дискуссии. Рад, что этого не произошло.

*С. Энтин*

*г. Кемерово*

Перестройка буксует, трудно идет. Не потому ли, что народ окончательно обижен? Осадки в душе от многих трагедий не растворяются. Наши главные губители — иллюзия и восторг. Например, может ли вообще перестроиться палач? Смыл с рук кровь, улыбнулся и сказал: «Я — ваш!» Кто же ему поверит? Палачом я называю любого человека, который хотя бы чуть-чуть пытается сделать другому больно. Современный человек — палач, он потерял идеал.

Я не верующий, никогда им не был. В мировоззрении — материалист. Но мне кажется, мы слишком поспешно разрушили Христа, духовный идеал народа. Я знаю, что никакого бога нет, но духовный идеал, перед которым стыдно, перед которым каешься, которого молишь простить, должен быть. Правда, сами церковники превратили этот идеал в печной горшок. Сегодня человека н е ч е м стыдить. Отсюда вседозволенность, глобальная болезнь—эгоцентризм. Потому созидаем не себя, а разрушительные силы. Поэт не ошибался:

> В белом венчике из роз
> Впереди — Исус Христос.

Его фактически нет, но он есть всегда «впереди», это сам Человек в бесконечном развитии. Человек сам себе не нужен, потому он стремится разрушаться, уничтожаться. Он нужен только своему образу — будущему, и в стремлении к нему он и живет.

Сегодня человек не живет, а имитирует жизнь. Долго ли он еще будет этим заниматься? Сейчас правительство и народ вместе должны разрабатывать новые (с учетом опыта человечества) моральные устои. Экономическая перестройка («на потребу») ничего не дает. Тут ввести артель, там кооператив — дело само пойдет. Всем миром нам надо проповедовать новую мораль Человека.

*Р. Назмутдинов*

*Таджикская ССР,*
*г. Колхозабад*

...Каждый здравомыслящий человек понимает, что именно наша ущербная экономика явилась причиной нравственного упадка нашего общества. М. Антонов ставит эту зависимость вверх ногами: причина неудачи в экономике—порча морали. Что же он предлагает, чтобы превратить людей в ангелов? А вот: «Если мы осознали свои существенные упущения в духовно-нравственной сфере, то нам осталось осмыслить, что не удастся изменить в лучшую сторону в экономике, если не изменимся в лучшую сторону мы сами». Вот и все средства: «осознать» и «осмыслить». «Мнения правят миром», как говорили французские философы двести лет назад. Не сл шком современны эти идеи для публициста конца XX века.

М. Антонов — железнодорожник, и о железных дорогах он говорит со знанием дела. Но даже здесь он не сумел назвать главную причину развала нашей железнодорожной системы — то обстоятельство, что мы по нашим железным дорогам, составляющим 11 процентов мировой железнодорожной сети, перевозим 51 процент мирового грузооборота. Положение это создавалось десятилетиями уродливой технической политики...

Автор пишет: давно уже известно, что наемный труд малопроизводителен. Малопроизводителен — по сравнению с каким? В развитом обществе почти всякий труд наемный. Так с каким ненаемным трудом сравнивать наемный труд сталевара, механика локомотива, программиста, ткачихи, конструктора? И в разных странах производительность наемного труда очень разная: у нас — одна, в Японии — другая. И дай бог нашим наемным и ненаемным рабочим достичь производительности японского наемного рабочего...

*С. Рубинштейн*

*г. Нижний Тагил*

Призывать просто укреплять свою нравственность, самосовершенствоваться — это сейчас, наверное, слишком сладенькая водичка, а, главное, кого призывать? Ведь в основном народ нравствен, и я совершенно не согласен с Вашим сомнением по поводу тезиса В. Шукшина, что «народ всегда прав».

Пожалуй, самое страшное, что мы имеем сейчас,— это сильный дефицит веры. Всегда наш народ был силен верой: кто-то верил в бога, большинство — в светлое будущее, молодежь — в величие завтрашнего дня и, безусловно, в свою приоритетную роль в его достижении. Сейчас этот сложный, неоднозначный конгломерат всех и всяких вер в нашем обществе истаял, как весенний снеговик. Причина общеизвестна: это и культ, это и волюнтаризм, это и застой, а за всеми за ними один главный негатив — ложь! Она и отравила всех, и продолжает отравлять, ведь могучий клан бюрократов существует и действует...

Самосовершенствоваться надо прежде всего представителям этого непрошибаемого клана, срывать с себя гнойники лжи и дьявольского равнодушия, вызывающего у людей ощущение безысходности, отчаяния и обманутости. Ведь в людях бытует твердая уверенность, что у самих-то бюрократов, у элиты, есть все, а народ мытарят, издеваясь над ним.

Вот сейчас прошли новогодние праздники, и разве, к примеру, километровые очереди в винные лавки не разновидность лжи? Что, это надо для эффективной борьбы с алкоголизмом, за здоровье народа? Нет, так змия не победишь, и не надо снова решать за народ, как его очищать от той же пьянки. Он сам очистится, если будет верить! В справедливость устройства жизни, в справедливость распределения всех благ сверху донизу, в то, что без его добросовестного и качественного ежедневного труда общество может приостановиться в движении вперед.

*Н. Шутов*

*г. Ленинград*

Не могу понять, с какой целью вы пропустили материал М. Антонова. Если отбросить его железнодорожные примеры, то с его выводами, что мы «дичаем», очень трудно согласиться. Но даже если это так, то где выход, как спасти «одичавшее» поколение? Если автор не знает, то редакция могла бы дать свой комментарий, свою точку зрения о путях преодоления «одичания» нашего народа. Иначе эта статья вносит только беспокойство и сумятицу в умы читателей.

*В. Павлычев, библиотекарь*

*Карельская АССР*

Больше всего мне понравился оригинальный критический тезис об «одичании» нашего общества. Действительно, оно имеет место, и одну из важных причин его Вы назвали точно — это некий кризис представлений об общественных ценностях...

Не будучи профессиональным философом или социологом (но ведь на то и гласность, чтобы о судьбах общества задумались не только профессионалы), все же рискну поделиться своими взглядами.

Основная мысль, проникающая через все разделы Вашей статьи, такова: перестройка должна быть не только экономической, но и моральной; более того, в первую очередь моральной, а затем уж экономической... Между строк у Вас читается, что наш трудящийся народ хуже, эгоистичнее, ленивее, разболтаннее, чем в сопредельных странах. Но неужели он действительно хуже? У меня иное мнение. Там, где возможно и где это сулит хоть какой-то прибыток, народ работает очень старательно (например, на индивидуальных садовых участках). В основных же сферах нашей жизни и производства давно уже возникло ощущение «связанных рук».

Скажем, в большом НИИ (а их часто делают притчей во языцех) современного оборудования и дорогостоящих реактивов хватает человек на десять — самых пробивных, хотя бы даже и талантливых, остальные 250 сотрудников сидят в истинной научной бедности, без всяких надежд на мировой уровень и «выдают» научную серятину. Развяжите руки, и работа пойдет, и выяснится, что любовь к науке, ремеслу, вообще к труду у многих есть и сейчас.

Ваши тезисы о любви и вере напомнили мне пьесу Б. Шоу «Майор Барбара», которая у нас не была поставлена. Барбара, девушка из буржуазной семьи, исходя из принципиальных соображений, становится майором Армии спасения. Под знаменем Христа она идет к обездоленным людям и терпит крах: оказывается, Армия спасения существует на подачки пушечного короля и виноторговца. Сначала наладим жизнь, а уж потом призывайте любить ближнего — вот что приблизительно проповедует великий шутник Шоу. В пьесе фабрикант оружия Андершафт, вышедший из низов, грубовато за-

являет Барбаре: «Самый страшный грех — бедность». И глядя на аморальное в научном смысле положение вышеупомянутых 250 сотрудников НИИ, я готов с этим согласиться.

Выбираться из бедности и беспорядка при помощи любви и веры мы уже пробовали. Это была, например, любовь к товарищу Сталину, вера в коммунистическое завтра и наше мессианское предназначение — мы должны освободить все народы и всех трудящихся. Любовь к человеку и вера в него также неоднократно провозглашались нашей пропагандой, но на практике это всегда оказывался какой-то абстрактный, не наш человек, потому что нашему вовсе не доверяли, а значит, и не любили его. (Замечу, что вообще любовь, как очень сильное чувство, туманит разум, а выбраться из нынешней ситуации мы можем только с ясным умом и трезвым точным расчетом.)

Наш век неоднократно демонстрировал страшное крушение культур, разрушение общественных и моральных ценностей под влиянием политических потрясений. Любовь в этом случае никого не спасала! Куда, например, подевались классическая немецкая культура, цивилизованность и буржуазная мораль после 1933 года в Германии? Куда исчезло культурное наследие Китая, разнесенное хунвэйбинами? Вы, по-видимому, хотите сказать, что в нашей стране таких перепадов быть не может, что мы уже сознательно способны управлять нашей историей, развивая свою нравственность и интеллект. Но если бы могли, то как же мы дошли до жизни такой, что пройдет еще лет 15 — и конец рекам, лесам, земле? Вы ведь сами об этом пишете...

В качестве очень важной цели Вы ставите не усовершенствование общества или человека, а усовершенствование мира. Вот как это выражено в статье: «Лишь такая страна может стать примером всему миру, указать человечеству выход из тех тупиков, в которые завела его буржуазная цивилизация». «Так и только так может и должно окончиться без единого выстрела всемирно-историческое соревнование двух социальных систем».

Тезисы о «соревновании социальных систем», о «тупиках буржуазной цивилизации» для нас традиционны. Вот и получается, что мы помещаем главную цель нашего развития в о в н е нашей страны. Эта цель — доказать преимущества социалистического строя, но они не всегда очевидны, и нам приходится тратить огромные средства на зарубежные цели, словно бы жить напоказ, а это всегда убыточно, а в иных случаях аморально...

Мы провозглашаем тезис «всестороннего развития личности», а деньги тратим на развитие или политическое преобразование отдаленных стран; мы говорим: «все для человека», а человек этот может прилично одеться только в результате заграничного вояжа; говорим: «экономические преимущества социализма», а сами потихоньку бегаем учиться экономике у японцев... Наша молодежь, да и старшее поколение, отлично все понимает, и лозунгом мировой революции вряд ли удастся нынче вдохновить людей на моральные или экономические преобразования в стране.

Какова же может быть цель перестройки, что может вдохновить наших сограждан на трудовые и духовные свершения? Знаете, это очень трудно выразить, но вот был в прошлом веке высказан (помоему, Достоевским) горький афоризм: «Русскому человеку честь — только лишняя обуза». К сожалению, его и сейчас приходится вспоминать. Давайте возьмем наудачу то, что приходит на память: скверный уход за детьми в родильных домах; голод, холод, кулачное право в армейских казармах; избиения в милиции, беспомощное положение людей в больницах. Можно добавить кое-какие мелочи из более знакомой «интеллигентной» жизни — массовое использование научных работников на различных непрестижных, подсобных работах; нищенское положение (и соответствующее поведение) наших командированных в «загранке», унизительные мучения командированных в отечественных гостиницах. А вот из «восточной» жизни — использование детей на сборе хлопка, засыпанного ядохимикатами; столь интенсивная эксплуатация «освобожденных» женщин, что они, пожалуй, и по чадре соскучились.

Так вот, я полагаю, что высокой целью любой перестройки в нашей стране является возвращение людям чувства собственного достоинства, которого они в значительной степени лишились из-за нашего привычного крохоборства и очень слабо развитого в обществе правосознания. Конечно, такой процесс связан с неудобствами: если граждане научатся защищать свое достоинство, будет сложнее «просто так» задерживать частные машины, везущие фрукты на рынок, или посылать врача на расчистку городской помойки (это я из личного опыта знаю), но ведь общество в целом выиграет, не так ли?

Бывают на свете и гордость нищего, и достоинство голодных людей, но нам-то нужно иное. Исключительно важна Ваша мысль о том, что теории «кавалеристов» и «купцов» устарели, потому что «и те, и другие хотят сохранить свое привилегированное положение, и чтобы рабочие при этом оставались в зависимости от них». Иначе говоря, Вы относите администраторов и рабочих к различным общественным группам: что выгодно одним — невыгодно для других. У Вас часто встречается в статье выражение «чиновничий гнет». «Худенко добился полной хозяйственной самостоятельности, которая была словно бельмо на глазу для чиновников вышестоящих организаций», «засилье во многих звеньях государственного аппарата некомпетентных, но чванливых чиновников». Значит, дело не в том, что чиновники плохи (они плохи!), а в том, что они — деталь административного механизма, управляющего (то есть имитирующего централизованное управление) экономикой. Они (и весь механизм) естественные враги хозяйственной самостоятельности на любом уровне. В Вашей статье, таким образом, косвенно заложено определение внутреннего противника перестройки — сильного, удерживающего сейчас в руках все «тяги» управления, огромного бюрократического аппарата.

Из форм хозяйственной самодеятельности, в которой очень нуждается наша страна, Вы избираете хозяйственную кооперацию, убедительно описываете преимущества (моральные и экономические) старой деревенской и артельной кооперации. Почти полностью соглашаясь с Вами («почти» потому, что при дележе земли иногда и убийства происходили), все же не могу себе представить, кто же у нас займется подобной кооперацией в настоящее время? Крестьяне? Но Вы отмечаете, критикуя телефильм «Архангельский мужик», что совхозы отменить невозможно, значит, не они. Артельный народ, эти «вольные стрелки» нашего общества? Им это не нужно: в кооперативе они должны платить налоги, а в «незаконной» артели могут лихоимствовать безо всяких налогов. Пенсионеры, студенты, отпускники? Пожалуй, но много ли толку от их кооперации? Можем ли мы установить законом новый статус гражданина — не рабочий, не крестьянин, а кооператор? Главное же, я полагаю, заключается в том, что кооперативные методы хозяйствования потому и были вытеснены капиталистическими, что последние более эффективны. Это положение требует хорошего анализа, который я дать не могу, но... не сохранилась же первобытная община, несмотря на всю ее демократичность и несомненное отсутствие в ней безработицы...

Хотел бы обратить Ваше внимание на события последних месяцев. В стране появились смешанные общества — предприятия, организуемые зарубежными капиталистами. Мы надеемся, что они нас выручат высокой технологией и хорошей организацией труда (но не бесплатно!). То есть мы приняли к исполнению коечто из практики старой полуколониальной страны. Это хорошо — какой-то все же выход. Ну а своего-то капиталиста мы не могли бы вырастить? Если без него никак уж не получается? Вспомним нэп. Может быть, это было бы эффективнее кооперации?..

На полемику не обижайтесь — все мы по ней соскучились.

*В. А. Ляшенко*

*г. Москва*

Статья навела меня вот на какие размышления. Не опошляются ли наши субботники тем обстоятельством, что еще до начала этих «праздников» уже была произведена негодная продукция? Нельзя даже вообразить, что на к о м м у н и с т и ч е с к и х субботниках делают брак. Но что продукция может осесть на складах, то есть оказаться никому не нужной, — это вполне возможно. На субботниках выпущены устаревшие станки, устаревшей моды обувь, плохой расцветки ткань, спилены сверхплановые деревья, из которых потом мы ничего не получим... А ведь люди это знают и все-таки регулярно выходят на эти праздники безвозмездного труда...

М. Антонов упоминает о работе Карасукского отделения железной дороги. Наша станция Сузун относится к этому отделению. Дом, где я живу, стоит рядом с полотном двухпутки, и живем мы, как на вулкане. Постоянный, круглосуточный шум — дом сотрясается от проходящих тяжелых поездов. Лет семь назад я писала на БАМ, чтобы там не строили дома рядом с железной дорогой, я просто жалела будущих жителей бамовских поселков.

*В. Замосковцева*

*р. п. Сузун Новосибирской обл.*

С нами действительно все время что-то происходит, и не самое хорошее. Красота уходит из нашего бытия. Начинает как бы существовать автономно, независимо, в ином измерении с человеком. Убогие, прямо чахоточные в эстетическом отношении жилые массивы и грандиозные, дорогие, не всегда шедевры, архитектурно-мемориальные комплексы — это две стороны одной медали. Такое странное проявление заботы о людях сказывается не только на облике городов. Коль скоро бытие определяет сознание, мы в конечном итоге приходим к «железобетонному» восприятию мира. Не пора ли в таком случае стать до конца последовательными и вообще «очистить» наши города от «разрозненных красот» и сосредоточить их где-нибудь в одном месте?! С иных городов, правда, много не возьмешь, а в Ленинграде, думаю, надо бы навести порядок; львы тебе, понимаешь, кони, атланты, в Летнем саду тоже бесхозяйственность... В некоторых городах много деревьев, в других — цветов. Мешают, отвлекают от наглядностей, заслоняют призывы. В лесопарковую зону их, там и места побольше и народу поменьше... И популярно объяснить всем, что делается это для нашего с вами гармонического развития... Извините, что не сумел совладать с эмоциями.

*В. Дмитренко*

*г. Киев*

Автор статьи не заметил один интересный аспект нашего бытия, который сам по себе вышел на страницы журнала. Это существование в крупных библиотеках «спецхрана», где от советского человека спрятаны многие иностранные книги и журналы. В статье упоминается книга Д. Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей», использую-

мая, по словам М. Антонова, «в качестве учебного пособия при подготовке управленцев». И тут я подумал: быть может, эта книга стала наконец доступной широким кругам наших читателей? Увы, как и прежде, я получил в Государственной библиотеке СССР им В. И. Ленина отказ с пометкой на требовании «СХ», то есть спецхранение. Выходит, что даже читатели зала № 1 (доктора наук и профессора) без допуска эту книгу прочитать не могут. Убежден, что подавляющее большинство управленцев в нашей стране эту книгу не читали: обстановка в учреждениях вовсе не предрасполагает настаивать на допуске в спецхран иностранной литературы, да и не знают управленцы порядок получения этих разрешений (я тоже не знаю и пишу это не в упрек управленцам).

*В. Коньшев*

*г. Москва*

Недавно мой муж ездил в командировку в Харьков. В вагоне заговорили о том, «что же с нами происходит?» И одна дама (сотрудница Укртелерадио) заявила: «Евреи церкви превратили в склады!»

И когда автор приводит высказывания Перчика, Южуса и легкоузнаваемого Кагановича, ратовавших за разрушение старой Москвы, не льет ли он этим воду на мельницу таких дам?..

А статья интереснейшая. Я прочла ее раз, потом второй и прочла бы и в третий, но у меня забрали журнал.

*А. Глик*

*г. Казань*

Реальная жизнь проста и груба. Надо есть, часами стоять в очередях за далеко не доброкачественными продуктами, защищаться от хамства и нечестной обслуги наших торговых работников, кроме этого, домашние однообразные заботы. Право, все это далеко не обогащает душу. Хорошо еще, если семья материально сносно обеспечена, а если бюджет ограничен до минимума — совсем скверно.

Вы упомянули о молодых специалистах, получающих 120—130 рублей в месяц. Но есть зарплаты техников и других работников, и часто немолодых, получающих 80—90—100 рублей в месяц. Как им сводить концы с концами? Как выкроить из этих грошей, если вдруг представится счастливая возможность(!) пойти в театр, купить книгу, журнал, поехать в туристическую поездку? А одежда, которая стоит так дорого и которую так трудно достать? В малообеспеченных семьях тоже случаются дети, а ведь им многое надо! Цены же на все детское высоки...

О пенсионерах Вы вообще не упомянули, но они ведь тоже люди, и многие получают 60—70 рублей в месяц. Или они уже в счет не идут? Жизнь от невысокой зарплаты и пенсии до следующей — штука скучная, опустошающая и изнуряющая душу...

Вы ратуете за высокую духовность и культуру, за совестливость и благородство, за общество личностей. Однако все, кто имеет возможность ввоза из-за рубежа и приобретения в Союзе, ввозят и приобретают все, что дает им материальную обеспеченность, и не чувствуют себя «голыми и нищими духом», а как раз наоборот.

Жить обеспеченно — хорошо и приятно, жить малообеспеченно — плохо и трудно, так что Вы напрасно пожалели бизнесмена из США. И почему Вы решили, что он, наживая капитал, не заботился о духе своем, не приобщался к культурным ценностям, пользуясь теми возможностями и благами, которые дает материальная обеспеченность?..

Все, к чему вы призываете, прекрасно! Но слова, даже крылатые, всего лишь слова, а жизнь, жестокая и грубая, диктует свое.

Россию я люблю всем сердцем. Но не люблю многое, что вижу и что вызывает во мне боль и возмущение.

*М. Щукина*

*г. Москва*



Ст. РАССАДИН

# Почитаем Пушкина

*ПОЧИТАТЬ[1] — читая, ознакомиться до некоторой степени с содержанием чего-либо.*
*ПОЧИТАТЬ[2] — относиться к кому-, чему-либо с уважением, почтением; чтить.*

*Словарь русского языка.*

Есть интереснейшая статья Ю. М. Лотмана «Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века» («Ученые записки Тартуского университета», выпуск 365, 1975) — название ее, суховато-некраткое, тем не менее соблазнительно, ибо сулит нам необходимый комментарий к целому перечню замечательных произведений замечательного периода. Благодарно настаиваю: комментарий, а не уверенную разгадку, не настойчивую концепцию, не попытку очередного толкования той или иной книги, ничто из того, чем мы уже и так... Однако об этом позже.

Полупроцитирую, полуизложу некоторые мысли малотиражной статьи.

«Нельзя не заметить, что весь так называемый «петербургский», императорский период русской истории отмечен размышлениями над ролью случая...» А также, что, впрочем, от случая неотрывно: «противоречием между железными законами внешнего мира и жаждой личного успеха, самоутверждением, игрой личности с обстоятельствами, историей, Целым, законы которого остаются для нее Неизвестными Факторами».

Причины тому есть — и ежели не глобальные, то общеевропейские. Но нас-то сейчас больше занимает своя, «специфически русская ситуация». Состоящая вот в чем:

«Начиная с Петровской реформы, жизнь русского образованного общества развивалась в двух планах: умственное, литературное, философское развитие шло в русле и темпе европейского движения, а социально-политическая основа общества изменялась замедленно и в соответствии с другими закономерностями. Это приводило к резкому увеличению роли случайности в историческом движении... Приведем в качестве примера утверждения Пушкина, что в России нет подлинной аристократии, Андрея Тургенева, критиков-декабристов, Полевого, Надеждина, Веневитинова, молодого Белинского, Пушкина — что в России нет литературы, Чаадаева — о русской истории, славянофилов — о петровской государственности и общественности и проч., и проч. Каждый раз отрицаемый факт, конечно, существует, и это прекрасно понимают его отрицатели. Но он воспринимается как неорганический, призрачный, мнимый».

Да и не то что сама история, но прозаическая служебная жизнь развивается не закономерно, непредсказуемо; она, говорит Лотман, «цепь эксцессов»:

«Такие понятия, как «счастье», «удача» — и действие, дарующее их — «милость»,— мыслились не как реализация непреложных законов, а как эксцесс — непредсказуемое нарушение правил. Игра различных, взаимно не связанных упорядоченностей превращала неожиданность в постоянно действующий механизм. Ее ждали, ей радовались или огорчались, но ей не удивлялись...»

И все это на протяжении «петербургского периода» искало и нашло словесное выражение. Материализовалось в теме карточной игры, где либо выигрыш, либо проигрыш, а третьего не дано. Скажем, штосса — в него, к примеру, играл пушкинский Германн, к которому мы исподволь и подбираемся. Или варианты штосса: банк, фараон, воплощенная зависимость от слепой фортуны[1]. Впрочем, неодинаковая.

Закончу цитировать лотмановскую статью:

«Ситуация фараона — прежде всего ситуация поединка: моделируется конфликт двух противников. Однако в самую сущность этой модели входит их неравенство: понтер — тот, кто желает

[1] Для ясности — вот упрощенная схема игры хотя бы в банк. Банкомет объявляет ставку: столько-то и столько-то рублей. Его соперник, понтер, или соперники, понтеры, сообщают ответно, на какую часть ставки (банка) они понтируют. Играют, выражаясь по-человечески. Затем понтер называет карту, на которую будет играть, или просто молча загибает ей угол.

Банкомет начинает метать банк — берет карточную колоду и раскладывает карты: налево, направо, налево, направо... Если карта, выбранная понтером, легла справа, выиграл банкомет. Слева — понтер.

все выиграть, хотя рискует при этом все проиграть,— ведет себя как человек, который вынужден принимать важные решения, не имея для этого необходимой информации; он может действовать наугад, может строить предположения, пытаясь вывести какие-либо статистические закономерности (известно, что в библиотеке Пушкина были книги по теории вероятности, что, видимо, было связано с попытками установить наиболее оптимальную стратегию для себя как понтера). Банкомет же никакой стратегии не избирает. Более того, то лицо, которое мечет банк, не знает, как ляжет карта. Оно является как бы подставной фигурой в руках Неизвестных Факторов, которые стоят за его спиной».

Словом:

«...Понтирующий игрок играет не с другим человеком, а со Случаем».

Да таков и традиционно-избитый образ: судьба, дескать, мечет банк, человек понтирует.

Замечу и то, что впоследствии нам пригодится: для честной игры в банк или в штосс не нужно ни ловкости, ни ума, ни мастерства — на то есть так называемые коммерческие игры, «интеллектуальная дуэль», по Лотману, где возможно перехитрить, переиграть, победить друг друга. В азартной же игре есть выигрыш, но нет победы; кто может сказать про себя, что победил, одолел, подчинил себе Случай? Его можно — если, разумеется, удается — только исключить.

Мудрено ли, что человеку, понтирующему, играющему против Судьбы, как раз и хочется исключить случайность? Исправить ошибку фортуны, как деликатно выразился колосс шулерства, граф Федор Толстой, прозванный Американцем?..

Один из литературных героев, неметафорически ставящих на карту свою судьбу, уже помянутый пушкинский Германн, поглощен идеей именно такого исправления. Он хочет вытеснить Случай, заменив его Постоянством. И, думаю, здесь уже кроется — или приоткрывается — сущность его характера, который, как мне кажется, изрядно-таки перетолкован нами в результате множества волевых прочтений, насильственно «обогащенных» нашим, новейшим, нынешним опытом. Вернее сказать, опытом русской литературы, шедшей и продолжающей идти вслед Пушкину, подхватывая его намеки (а иногда полупридумывая их за него), так что и в самом деле трудно не поддаться собственной памяти, которая непременно захочет нам подсказать, к примеру, что за нечаянным убийцей старухи графини Германном идет «идейный» убийца старухи процентщицы Раскольников, а там и иные персонажи российских книг (сказание об атамане Кудеяре, «Фальшивый купон» и т. п.), достаточно крупные и мощные, чтобы собственное злодейство оказалось для них непосильным, сокрушило и перевернуло их души.

Да, трудно не поддаться — и больше того, это — дело совершенно естественное, ибо великое создание великого писателя живет и движется во времени. А все же...

Вспоминаю яркую статью Б. Сарнова «Время собирать камни» («Вопросы литературы», 1987, № 8). Подчеркиваю: яркую, тем самым как бы вынося за скобки свою положительную оценку (заодно и оговорив принципиальное согласие с рядом ее соображений). Впрочем, окажись статья тусклой, она бы мне не пригодилась: как разглядеть в тусклости нечто характерное, типовое?

Итак:

«Читая статьи В. Непомнящего о Пушкине, собранные в его книге «Поэзия и судьба», то и дело вспоминаешь ироническую метафору Маяковского, вскользь брошенную им в его воспоминаниях о Есенине: «Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем... мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной, посконной...» Таким же голосом говорит В. Непомнящий о Пушкине...»

Задержимся.

Признаюсь, я вообще не сторонник этого полемического приема — переадресовывания нынешним оппонентам сказанного кем-то, когда-то и уж, естественно, не на их счет. Былой контекст старой инвективы способен на коварное возрождение,— как, например, здесь. Даже если критику вполне по душе бесцеремонная грубость, на которую бывал щедр полемист Маяковский, ка́к забыть, что в этом (непустяковом!) споре со страдателем за Россию Есениным правота того, кто в пылу своего прекрасного интернационализма видел наше будущее «без Россий, без Латвий»[1], а «исконное» с иронической легкостью приравнивал к «посконному», весьма, так сказать, проблематична? Ведь спор-то, начавшись как будто меж тем, кто демонстративно носил лапти, и тем, кто предпочитал с тою же целью желтую кофту, и вправду не мог свестись к этаким пустякам: «Его очень способные и

[1] Снова подчеркиваю: прекрасного интернационализма. И стоит подчеркнуть — даже оба слова — в сегодняшнем общественном контексте, когда, кажется, и эти знаменитые строки из стихотворения «Товарищу Нетте...» были перетолкованы в грубом, элементарно антирусском смысле. Разумеется, подозревать в этом Маяковского по меньшей мере неисторично; тут его устами говорило неповторимое время, и после высказывавшееся на сей счет на разных уровнях. От строк молодого Михаила Кульчицкого: «Только советская нация будет и только советской расы люди...» до наивных мечтаний Макара Нагульнова, как бы переженить всех землян, белых и черных, дабы все были «личиками приятно-смуглявые и все одинаковые».

Так или иначе, однако, спор Есенина с Маяковским вышел слишком серьезным — именно в историческом смысле, в своем многоголосом продолжении и развитии,— чтобы его экспрессию брать отдельно от его содержания.



очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны». Конечно, то есть неизбежно и закономерно...

Вообще (возвращаясь к спору уже современному) лично я за иерархию в искусстве и, очень часто не соглашаясь с Валентином Непомнящим,— пожалуй, чем дальше, тем чаще и опять-таки принципиальнее,— все-таки не хочу забывать, что он, может быть, самый блистательный талант среди сегодняшних пушкиноведов, а его работы — ощутимый, состоявшийся вклад в наш духовный обиход. Несогласие вообще никакой не критерий, ибо согласен ли я во всем, предположим, с Бердяевым? Розановым? Или, заглядывая в пущую отдаленность, с Хомяковым, Константином Аксаковым, Чаадаевым? Но неужели мое несогласие и сверх того очевиднейшие из их заблуждений дают мне хоть чуточное право на оскорбительную снисходительность победителя?

Дело, однако, не только в этом. Помянутая снисходительность, высказанная тем не менее в повышенном тоне, сама по себе очень показательна. Мы, теперешние, в своем (см. эпиграф) почитании Пушкина настолько уважительно и самоуважительно серьезны — серьезны до мрачности, до свирепости,— настолько утрачиваем способность воспринимать сочиненное им как чтение, просто чтение, для чтения и сочинявшееся, что, встретясь с иным, не нашим взглядом, приходим в ярость, словно обладатель этого взгляда кровно обидел... вот только кого? Пушкина? Или нас самих? Но я ведь уже намекнул, что уважительность соседствует с самоуважительностью.

«Веселое», по выражению Блока, имя — Пушкин — постепенно превращается в воплощенный догмат, вокруг которого можно священнодействовать, но упаси боже вольничать, парадоксальничать, шутить, так что, когда я прочитал в журнале «Знамя» скромную по своим притязаниям, вполне «рабочую» реконструкцию десятой онегинской главы, не без остроумного блеска исполненную Андреем Черновым, первое, что подумалось: ну, достанется ему! Как в воду глядел: досталось...

Прежде, во времена Брюсова и Цветаевой, словосочетание «мой Пушкин» означало признание, что на большее, нежели «мой», автор версии не замахивается; боюсь, что теперь это притяжательное местоимение все чаще произносится как заявка на исключительную и оттого агрессивную правоту захвата и обладания. Так сказать, а ну-ка отними!

Почему?

Конечно, можно углубиться в предысторию вопроса, и, возможно, углубившись, обнаружим, что и тут мы жертвы и виновники известной общественной болезни, то есть авторитарности, отрицания плюрализма мнений, отвычки от спора, не исключающего благожелательности к инакомыслящему и допуска собственной неправоты. Но можно ответить и проще: потому что перестали читать. Просто — читать.

«Приспосабливая Пушкина к своей концепции, В. Непомнящий (совершенно так же, как это делал некогда Д. Благой) игнорирует реальность нарисованных Пушкиным картин...» Так пишет Б. Сарнов и, что естественно, в споре с волевой концептуальностью демонстративно дает свое прочтение — ну, допустим, «Медного всадника»,— предварительно напомнив, что прежние истолкования поэмы в общем сходятся к тому, что «Медный Всадник Истории гонится по пятам за бедным Евгением, чтобы подавить его бунт». (Не совсем понятно, почему именно Истории, но — ладно.) Между тем, говорит критик, бунта-то в поэме и нету, есть лишь «нелояльность».

«В гениальной, воистину пророческой поэме Пушкина пред нами впервые предстала во всем своем блеске претензия деспотического государства на полное, абсолютное, тотальное владение душой каждого своего гражданина. Претензия преследовать каждого, кто хоть в малой мере утратил веру в его (Государства) непогрешимость...

И конечная цель преследования Евгения Медным Всадником... в том, чтобы вернуть Евгения на путь истинный.

Не случайно мы расстаемся с бедным Евгением лишь после того, как он, подобно герою знаменитого романа Оруэлла, вновь полюбил Старшего Брата...»

И опять: «точь-в-точь, как герой Оруэлла...»

Остроумно. Даже талантливо, и этого мне уже хватило бы, чтоб воспринять трактовку с любопытственным благодушием, если бы... Если бы она не играла в статье назидательной роли, увы, так же концептуально противопоставляя то, «как надо», тому, «как не надо». Если б в вышеупомянутом притяжательном местоимении не ощущался железный привкус нормативности.

Поскольку же он, по-моему, явственно ощущается, приходится напомнить историко-литературный и общественно-исторический контекст — наипростейший, совсем не столь основательный и изощренный, в какой воротил «Пиковую даму» Лотман. Приходится вспомнить, что сердечно сочувствующий Евгению автор «Медного всадника» был еще и, что поделаешь, автором «Бородинской годовщины» и «Клеветникам России», был сомневающимся, страдающим, но «неперековавшимся» государственником, у которого хватило твердости письменно возразить — в 1836-м, уже после «Всадника», — горькому чаадаевскому скепсису (и хватило душевного благородства не отправить письма, возможно, и потому, дабы не удручить попавшего в беду и опалу Чаадаева). Да и идея тотального единомыслия — идея, даже

в государственном самосознании, куда более поздняя; это когда еще родителям Козьмы Пруткова придет в озорные головы вышутить ее в своем «Проекте о введении единомыслия в России» — вышутить, как пока еще отнюдь не восторжествовавший абсурд...

Впрочем, все эти напоминания, пожалуй, излишни, ибо ориентир, с помощью которого Б. Сарнов *так* прочитал пушкинскую поэму-повесть, красноречив до крайности: «подобно герою знаменитого романа Оруэлла...» Нет, даже: «точь-в-точь, как герой Оруэлла...»

Сдается мне (возможно, и ошибочно), что такая ассоциация, возникнув, скорее должна была напугать толкователя Пушкина. Должна была заставить проверить и перепроверить свое толкование.

Б. Сарнов критикует В. Непомнящего за то, что последний творит из сочинений и мыслей Пушкина подобие *мифа*; взамен же предлагает злободневный *фельетон*, не умея и не желая (за что хвала) скрыть, чем, каким чтением порожден и целенаправлен характер этой фельетонности. Чтением Оруэлла.

То, что выявилось в соприкосновении работ замечательного пушкиниста и талантливой полемической статьи, то бишь некая легендарность Пушкина, его бытие в нашем сознании преимущественно как легенды, иногда «божественной», чаще вульгарно-бытовой, но равно далекой от реального пушкинского облика, от реальных границ его мира (как бы он ни был велик, все ж далеко не безграничного),— это, по существу, давняя болезнь. И не только пушкинистики, ибо она, болезнь, возникла прежде ее, пушкинистики, зарождения. Проблема «хорошего читателя», просто читателя, способного на бескорыстный, непредвзятый интерес к тому, что́ он читает, драматически ощущалась самим Пушкиным при жизни его.

Два закавыченных слова «хороший читатель» — название главки недавней книги Н. Эйдельмана «Пушкин. Из биографии и творчества. 1826—1837» (М., «Художественная литература», 1987). Они конкретизированы в реальном облике милой и умной девицы Марии Мухановой (для уточнения ее круга и ценза — родственницы декабриста), которая на протяжении 1820—1830-х годов в письмах к своему наставнику, известному литератору Михаилу Лобанову, то бегло оценивала, то полурецензировала являвшиеся в свет пушкинские сочинения и не страшилась оспорить суждение своего учителя, каковой разбранил «Бориса Годунова» (сперва разбранил, после же потщился превзойти, сотворив бесталанную трагедию того же названия). Словом, почти идеальный случай читательского восприятия (внимание к работе писателя, понимание его да в придачу несбиваемая самостоятельность суждений — чем, скажите, не идеал?), и пусть, как ревниво заметит Эйдельман, Муханова не вполне умеет понять, насколько Пушкин выше всего литературного окружения, насколько он в нем, стало быть, одинок; это не более чем нормальная ограниченность современника, с которого довольно понять истинность художественного явления и которому несправедливо пенять на непонимание масштабов его.

Печально, однако, что самостоятельности-то, отдельности, «штучности» большинству читателей Пушкина и недоставало; даже лучшие из них — и какие! — тяготели к стадности восприятия, поддаваясь некоему общему представлению, которое именно в силу своей всеобщности, неиндивидуальности обычно склоняется к тому, чтобы обретать черты мифа, легенды (или, что куда хуже, сплетни).

С «толпой» дело ясное и общеизвестное; она, поспешив обоготворить сочинителя «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана», быстро охладевала и резко охладела к творцу маленьких трагедий и поздней лирики (между прочим, это житейски и политически осложнялось тем, что сформулировал автор книги: «В 1830-х годах быть «не народным» означало опасное расхождение с официальным курсом. Успехи Булгарина, Греча, Сенковского шли в унисон с правительственной официальной народностью, и «демократическая» литература булгаринского толка вроде бы начинала выполнять поставленную правительством задачу — завоевания народа, просвещения большинства в официальном духе»).

Но то «толпа», «чернь» — а, скажем, «лицейские, ермоловцы, поэты»? А декабристы? А «юная Москва» (молодые Белинский, Герцен)? Увы, и эти читатели, каждый из которых личность, часто притом выдающаяся, сбиваются — ну, не в толпу, понятное дело, но, по-нашему говоря, в дружный коллектив (дружный безотносительно к тому, знакомы они меж собою или нет), где торжествует, как и положено коллективу, мнение большинства. «Критика слева», та форма стадности, которая доступна лучшим, есть, вероятно, самое болезненное из непризнаний и отчуждений, выдержать которое, оставшись собою, мучительно трудно. Пушкин выдержал, хотя, привыкнув рассматривать его как венец совершенства, как воплощенный идеал, способны ли мы догадаться, чего он лишился, чего не создал, какие еще вершины не одолел из-за своего драматического одиночества; он, которого лишали душевного покоя, необходимого, дабы творить?..

Так или иначе, замечает Эйдельман, «Пушкин... идет к читателю своим путем — зачастую путем удаления от него; «не зарастет народная тропа», «и долго буду тем любезен я народу...»: для того чтобы это осуществилось, нужно не к *ним* спуститься, а их к себе поднять; муза послушна не велению толпы, а «веленью божию».

«Их» — то бишь нас. А мы, как будто и понимая это, редко осознаем суть




«подъема»: не только и не столько карабкаться вверх, к нему своими силами, сколько ему не мешать поднимать нас.

Думаю, цитированная книга это как раз осознает. Ее ощутимое достоинство — отсутствие самоутверждающейся концептуальности (да, отсутствие, вычитание, — казалось бы, так немного!), что, вероятно, и отличает «хорошего», непредвзятого читателя... Хотя почему именно «достоинство»!? Речь не о гарантированно победном результате, а о расположенности к его достижению, не больше того, и лучше сказать: «свойство», которое может оборачиваться так или этак, на сей же раз обернулось отчасти и недостатком, ибо новое собрание эйдельмановских штудий невыгодно отличается от предыдущего, «Пушкин и декабристы», отсутствием магистральной, стержневой, крепежной мысли, став и оставшись довольно разрозненным комментарием к последнему десятилетию духовной биографии Пушкина. И тем не менее ее противостояние воспроизводству пушкинских легенд, а также множащимся твердым намерениям нечто «открыть», «перевернуть», «наконец-то» — разумеется, раз и навсегда — понять, это отчетливое противостояние без преувеличения драгоценно. Даже то, что автор почти не прибегает к самим по себе творениям пушкинского духа, ограничиваясь обрисовкой фона, выяснением обстоятельств, восстановлением исторического контекста, в коем этот дух трудился, кажется той читательской деликатностью, от которой мы поотвыкли.

Вот на пробу один из комментариев, вот деталь контекста — попытка прочитать эпиграф к повести о Случае и Постоянстве, о карточной игре, затянувшей и погубившей инженера Германна: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. *Новейшая гадательная книга*».

«Невнимательный читатель, — говорит Эйдельман,— не увидит здесь ничего особенного: «Повесть о карточной игре, и эпиграф о том же!»

Это — невнимательный. А читатель «хороший», приглядчивый?

«Попробуем взглянуть на текст: ...дремучая, из дальних веков, карточная примета — это ведь знак суеверия, непросвещенности; и тут же ссылка на новейшее издание, «последнее слово». Для читателей 1830-х годов пушкинский эпиграф звучал примерно так, как в наши дни ссылка на квантовую механику в книге о привидениях. Пушкина мало занимает борьба с суевериями; неизмеримо важнее проблема — новейшее — это лучшее ли? умнейшее? Или — всего лишь старое заблуждение, вытесняемое новейшим?.. Ведь Германн немец, представитель образованнейшей нации, да еще инженер; новейшая профессия!»

Словом: «Пушкин не раз писал о распространенном грехе полупросвещения, то есть незрелого самообмана... «Новейшая гадательная книга» — одна из формул этого состояния ума и духа...»

По мне, в этом комментарии наиважнейшее: «Для читателей 1830-х годов...» Готовность отступить вспять от множества — впрочем, довольно-таки одиородных — новейших толкований «Пиковой дамы» и ее героя Германна («новейшее — это лучшее ли? умнейшее? Или...»).

И, отступив вместе с воскрешающим контекст автором, с первой строки пушкинской повести видим: Пушкин настроен нисколько не патетически, не романтически, не драматически, но насмешливо. Словно загодя остужает наше воспаленное воображение.

Согласившись с тем, с чем, кажется, трудно не согласиться, попробуем *читать*.

Попробуем, говорю я, почитаем (множественное число), тем самым, надеюсь, исключив ироническое предположение, будто я — я! — сейчас покажу, «как надо». Прочтем лишь то, что невозможно не прочесть; по той простой причине, что — написано, вот оно.

Итак, уже первая строка «Пиковой дамы», вернее, даже не собственно текст, но первый и главный эпиграф — странность, загадка, к которой приложена (по мнению Н. Эйдельмана) и разгадка; надо сказать, это вообще свойство повести, почитающейся загадочной. Правда, большинство разгадок, сразу, безотлагательно предлагаемых нам Пушкиным, уже по одной причине этой безотлагательности способно вызвать сомнение в своей подлинности.

«Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости».

«...Будучи в душе игрок, никогда не брал он карт в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*...»

Так вот: точно ли воображение Германна огненное? Точно ли он игрок в душе? То есть игрок по страсти, а не по занятиям, для кого игра — цель, а не утилитарное средство?

(Сам-то автор его, вот кто был именно что игрок по страсти, ставя последнюю чрезвычайно высоко. «Страсть к игре есть самая сильная из страстей»,— скажет он Вульфу. Выходит, сильнее даже любви?)

Вот надежно связанная цепочка Германновых размышлений.

«Что если,— думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу,— что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость,— пожалуй, сделаться ее любовником,— но на это все требуется время — а ей восемьдесят семь лет,— она может умереть через неделю — через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет!

расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

«...Попробовать своего счастия?..» Но разве это — «счастие» игрока, бросающегося в бездну неизвестности? («Самая сильная из страстей»... «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...») Нет, это «счастие» спекулятора, как выражались прежде, да и то далеко не всякого, а такого, кто готов на любую низость ради денег. Даже возраст графини, подчеркнуто точно названный,— не «далеко за восемьдесят», не «под девяносто», а деловито прикинутая в мозгу цифирь: 87,— выдает хладнокровный прагматизм рассуждения. Казалось, молодому, здоровому мужчине тут невозможно не содрогнуться от отвращения: стать любовником полумертвой старухи?! Тем более, что времена Екатерины и ее фаворитов-временщиков отошли, да царица и не дожила до столь устрашающего — для ее амантов — возраста... ан нет, и возраст будет помянут прямо-таки с насмешливой педантичностью, ибо он означает только то, что можно не успеть залезть к графине в постель. Помрет. «Через неделю — через два дня!..»

Кстати, если бы Пушкину понадобилось сказать, что сама эта мысль далась Германну не без содрогания, тогда, пожалуй, и оказалось бы уместно или хотя бы возможно это «под девяносто». Плоть, протестующая против чудовищного приказания, которое отдает ей мозг, не считает с точностью до двух дней. На дни считает голый расчет. «Огненное воображение», стало быть, уж по меньшей мере избирательно,— того физиологически ужасного пути, на котором Германн надеется добыть богатство, это воображение не оживляет, не материализует, оставаясь безучастным.

И сон Германна — даже сон! — как бы обделен воображением, которому только во сне бы и материализовать тайные помыслы, обделен трепетом, страстью; он, «игрок в душе», переживает в нем не карточную игру, не процесс ее, а выигрыш, завершение:

«...Когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства...»

У Николая Языкова есть не совсем скромные строки об эротическом сновидении: «Я задыхался и дрожал, и утомленный — пробуждился». Германн спит спокойно, пробуждается поздно и только вздыхает; содроганий и тут в помине нету.

К Лизавете Ивановне, в него заранее влюбившейся, он подбирается, точнейшим, трезвейшим образом рассчитав, что это «пренесчастное создание», эта «домашняя мученица» (все понимает — неглуп) самолюбиво страдает в своем унизительном положении при графине, «с нетерпением ожидая избавителя». И со старухой, проникнув наконец в ее спальню, в этот роковой час говорит, все просчитав загодя,— или ведóмый своей логически-безошибочной интуицией.

«Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут»,— то есть для начала, для пробы обращается к ее доброте и рассудительности, к качествам наиболее основательным, становым.

Первый приступ не удается, и он взывает к чувственному опыту, к сентиментальности,— разумеется, для полноты впечатления падая на колени (нет, не так пылко: «стал на колени»,—говорит Пушкин).

«Если когда-нибудь,— сказал он,— сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына...» — и так далее; вот на что небогато хватает его воображения, не слишком, признáемся, «огненного», потому что говорит он о том, чего не испытал и что ему недоступно.

Наконец:

«Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы,— так я ж заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет».

Даже ярости, даже ненависти, заставляющей потерять голову при мысли о том, что он утрачивает надежду на самое дорогое для себя, на деньги, здесь нет. «Я не хотел ее смерти,— скажет Германн потом Лизавете Ивановне,— пистолет мой не заряжен».

И это о нем-то, о таком наговорено вот этакое?

«— Этот Германн,— продолжал Томский,— лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства».

У Томского в повести участь — давать приблизительные или неосновательные характеристики. «Германн немец: он расчетлив, вот и все!» — хотя если и вправду расчетлив и если вправду по-немецки, то уж безусловно не «все». Не исчерпывается же он только этим. Что же до «романического лица», до Мефистофеля и Наполеона, то относиться серьезно к этой аттестации никак не приходится: Томский на балу занимает Лизавету Ивановну вяло, нехотя. Он, «дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку». Вот чем занята его голова,— да так ведь и вообще болтают с барышнями, теша их любящий очаровываться и пугаться слух, а заодно приукрашивая этим манером и себя самого, обогащенного такими сравнениями. Хотя сравнения-то — из самых простеньких: помнится, и Павла



Ивановича Чичикова губернские дамы находили романически-загадочной особой, а губернские чиновники подозревали, что он не то что похож на Наполеона, а как раз и есть самый Наполеон, бежавший со Святой Елены. Или с кем сравнит своего кумира Кречинского профессиональный пловец в волнах той стихии, которой опрометчиво доверился дилетант Германн, то бишь Иван Антоныч Расплюев? Правильно, угадали: «А Михайло Васильич ведь Наполеон?»

Наполеон, Мефистофель — это общее достояние, принадлежность даже полукультурного обихода, почти жаргон.

Взгляд на Германна как на личность таинственную и вызывающую столь демонически-царственные сравнения не мог не быть подхвачен, особенно в случаях заведомо упрощенного, популярного, полулубочного истолкования повести, и вот, допустим, в немом еще фильме Протазанова «Пиковая дама» профильная тень, падающая на стену от Ивана Мозжухина, есть тень не кого иного, как императора Наполеона I. Впрочем, сваливать все на упрощенность несправедливо. Традиция подобного, завышенного отношения к Германну куда серьезнее, стало быть, и прочнее, и если в превосходной статье Лотмана, которую я почтительно цитировал, ее автор, отходя от косвенного комментирования и приступив к прямой характеристике, пишет: «Германн — человек двойной породы, русский немец, с холодным умом и огненным воображением»,— то здесь прослеживается пушкиноведческая преемственность. В одном из самых знаменитых трудов этого рода, в «Мудрости Пушкина» Михаила Гершензона, утверждалось следующее — притом, заметим, и тут не обошлось без лестной для «русского немца» тени французского императора:

«...Мне кажется, что, по мысли Пушкина, сам космос склоняется перед такой непреклонной верой, слепой случай, как пес, лижет властную руку: вот почему Герман (у Гершензона именно так, по-оперному.— **Ст. Р.**) выигрывает. Герман *мог* выиграть и на третьей карте, мог и не выиграть по собственной оплошности, как действительно случилось; на этой безумной высоте у человека не может не кружиться голова, ему слишком легко оступиться; но горе ему, если он оступился: малейший неверный шаг — движение Наполеона на Москву или, как здесь, ошибочно вынутая карта,— и он летит в бездну, *увлекаемый порожденными собственного возмущенного духа*».

И еще:

«Как я уже сказал, Пушкин для вящей наглядности эксперимента выбрал характер исключительный, т. е. такой, в котором хотение или страсть достигают предельного напряжения, поглощают всю волю без остатка. Поэтому Герман был с самого начала задуман, как контрастная натура».

Поверили, значит, Томскому...

Да, но ведь в повести примерно то же сказано и не его устами:

«Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну».

Однако тут ведь прямо говорится: *она* подняла глаза, и этими-то, *ее* глазами Германн увиден в эффектном свете — как могло быть иначе у влюбленной или готовой влюбиться девушки, заинтригованной рекомендацией своего партнера по мазурке? Тем более что этому ее преображающему взгляду предшествовало: «Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!*»

Право же, если будем такими доверчивыми к неравнодушному взгляду девушки и к характеристикам, даваемым Томским, то отчего не поверить и в эти три злодейства? Даром, что не только на три, даже на одно Германн решительно не способен, и *этот Случай* исключив для себя с самого начала: «пистолет мой не заряжен».

Германн куда проще, прозаичнее, чем думается — и думается не одному Томскому (если он вообще говорит, что думает).

«Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовь! Деньги — вот чего алкала его душа!»

И уж на сей раз Пушкин не позволит нам решить, будто и это — всего-навсего с точки зрения девушки, только что надеявшейся на любовь, а теперь разочарованной и оскорбленной:

«Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения».

Нам всем свойственно, в общем, понятное заблуждение: разбирая характер какого-либо героя, созданного воображением гениального автора, мы невольно переносим свое благоговейное уважение к гению создателя на его создание. Словно писатель не может ставить перед собой цели сочинить ничтожного персонажа, не наделенного и малой долей сложности его собственной натуры,— и уж тут мы ревнивы и пылки. Так, Гершензон конструировал Германна «исключительного», Германна-Бонапарта, отчасти наперекор Белинскому, который некогда довольно небрежно отнесся к «Пиковой даме», позволив себе предположить, что это не более чем анекдот, хотя бы и мастерски рассказанный. И если полемический посыл очень понятен, а небрежность

Белинского до очевидности не права, все ж, полагаю, даже при конечной своей неправоте великий критик явил куда бóльшую внутреннюю свободу, нежели прославленный пушкинист,— в данном случае свободу от лучшей из форм порабощения: порабощения почтительностью к действительному гению.

Впрочем (воротимся к тексту, который взялись читать, и поставим себе — добросовестности ради — еще одну препону), быть может, бесчувственность Германна, нелестно его характеризующая, объясняется тем, что он мономан своей страсти, глухой ко всему на свете, помимо нее?

Может быть. Даже наверняка так. Однако ведь важно и то, чтó это за страсть. Возвышающая или унижающая дух. Гарпагон, мономан скупости, не чета Меджнуну, одержимому любовью.

«...Все это было не любовь!» — вот чем печально озарено сознание Лизаветы Ивановны. Да, не любовь: ни к ней, ни к игре. Только к однозначно воспринятой цели, к результату, к деньгам.

«Что наша жизнь? Игра...» — спрашивал-отвечал оперный Германн (нет, уже Герман). К пушкинскому этот вопрос-ответ отношения не имеет.

Играть только и именно так, как хочется Германну (другие, конечно, тоже не прочь — кто ж откажется от надежной удачи? — но он-то согласен только на такую игру), словом, играть так — это все равно, как выходить на дуэль, твердо зная, что пистолет противника в отличие от твоего не заряжен.

Юрий Лотман, с бóльшим доверием, чем я, отнесшийся к словам об «огненном воображении», сочетаемом в Германне с холодным умом, говорит, что жажда внезапного обогащения, завладевшая этой двойственной душой, «заставляет его вступить в чуждую для него сферу Случая».

Так ли? Германн вступает в игру только потому, что верит: Случай изъят из обращения. Сферы его — для Германна — не существует. Он выходит на свой поединок, как Грушницкий, полагавший, что печоринский ствол безнадежно пуст, и тоже гибнет, когда оказывается, что он ошибся.

Возможно, сравнение с Грушницким полезно: Лермонтов деромантизирует своего персонажа, высмеивая его нелепые притязания на красиво-таинственную незаурядность. Пушкин этого не делает, но, может быть, лишь потому, что и сам его Германн не претендует быть романическим героем. Не заявляет желания оказаться в роли, навязанной ему Томским. Он не деромантизирован, а просто не романтизирован.

Отчего он считает необходимым прийти на похороны графини, умершей из-за него? Мефистофельский демонизм? Болезненная тяга на место преступления? Как сказано поэтом: «Вот так, убив, Раскольников пришел звонить в звонок»?

Ничуть! Конечно, без чувства вины не обошлось,— но какого?

«Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь,— и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения».

И тут — расчет! Корысть.

Не подозревая, во что превратит его героя либреттист Модест Чайковский,— который, надо отдать ему должное, приукрасив Германна в соответствии с оперной эстетикой, почувствовал, что тогда уж надо сменить и эпоху, перенеся действие в восемнадцатый век, более отдаленный и потому более пригодный для романтизирующей дымки,— не подозревая о такой возможности, Пушкин без подчеркнутости, но до предела прозаичен в изображении персонажа:

«Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение»,— то есть явление ему мертвой графини. Каков педант! Причем тут размеренно деловит не только герой, но, кажется, и сам автор, не позабывший отметить: «Засветил свечку».

А финал, чрезвычайно выразительный в этом смысле?

«Германн сошел с ума...

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине».

Хотя ни судьба Томского, не имеющего серьезного отношения к сюжету, ни тем более его Полина нас совершенно не интересуют. Как и Пушкина, уделившего им весьма малое внимание.

Разумеется, если воспринимать Германна как личность крупную (Наполеон... Мефистофель...), можно — отчего бы и нет? — сказать, например, что финал написан по принципу картины Брейгеля Старшего «Падение Икара»: люди пашут, хозяйствуют, буднично делают свои будничные дела, не замечая, что где-то там выплеснуло волну — с неба в море пал Икар, которого и мы-то, зрители, не сразу обнаруживаем на полотне. Но такая притчевость, полагаю, слишком далека от поэтики «Пиковой дамы»: в ней, в повести, написано то, что написано. И даже гибель Германна, чему по-человечески нельзя не сочувствовать, не есть трагедия в полном смысле.

«Обыкновенная пылинка», «комочек житейской пошлости», пояснял Гершензон, то есть анекдот о трех картах, рассказанный Томским и всеми, кроме Германна, выслушанный сравнительно равнодушно, эта пылинка попала в огневую, могучую душу — и вот взрыв, катастрофа. Хотя, сдается, все наоборот. Могучие «Неизвестные Факторы» (Лотман)



сгубили не оценившую их заурядность, не ставшую от того незауряднее.

В Германне не только нет ничего романического и романтического — он олицетворяет печальное прощание с романтизмом, который уступает место прозе, буржуазности, овладевающей даже заповедной «сферой Случая», неузнаваемо извращающей даже «самую сильную из страстей». Игра, на которую он решается, как думает, овладевши тайной мага-мистификатора Сен-Жермена, ведется им наверняка, неравно с противниками. То есть она уже попросту не игра, но — грабеж.

Как односторонне безопасная дуэль — не дуэль, но убийство.

Кстати сказать, опера Чайковского, которая, конечно, заглушает в нас своими чарующими мелодиями память о пушкинском первоисточнике, и в историю с Сен-Жерменом внесла избыточную — для повести, не для оперы — мистику вкупе с гривуазностью: «Графиня, ценой одного rendes-vouz,— хотите, пожалуй, я вам назову три карты, три карты, три карты!» ...Красотка вспылила... Но граф был не трус... Вернула свое, но какою ценой!» И т. д.

У Пушкина и тут все много проще. Никаких альковных страстей и даже сделок. Все в рамках приличий. Так сказать, скромные будни высшего света.

«Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою,— сказал он,— но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться».—«Но, любезный граф,— отвечала бабушка,— я говорю вам, что у нас денег вовсе нет».— «Деньги тут не нужны,— возразил Сен-Жермен: — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал...»

Даже эта история, за достоверность которой Пушкин ответственности не несет, изложена Томским без эффектов: тут ни сладострастной платы, которой потребовал Сен-Жермен у графини волей Модеста Чайковского, ни оперного заклятия с третьим роковым разом. Графиня открыла свою тайну всего единожды, когда «молодой Чаплицкий» катастрофически проигрался и был в крайнем отчаянии. «Она дала ему три карты, с тем чтобы поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть».

Понятно, почему взяла. Причина самая (опять и опять) прозаическая: одно дело — отыграться, как отыгралась она сама, и совсем другое — продолжать грабить беззащитных банкометов.

То есть делать то, что практически неотличимо — да, да! — от шулерства. Разве что гоголевским игрокам или сухово-кобылинскому Расплюеву для того, чтобы ловчить в картах, нужны опыт, труд, мастерство, риск, а Германн хочет все получить, как говорится, «за так».

Герой драмы «Маскарад» Евгений Арбенин сам совершает то, что графиня заставила сделать Чаплицкого: отказывается от игры. Благодарный ему князь Звездич говорит Арбенину, который из жалости сделал для него исключение, сел за оставленное занятие и отыграл проигранные княжеские деньги: «Но проиграться вы могли».

Арбенин отвечает:

Я... нет!.. те дни блаженные прошли.
Я вижу все насквозь... все тонкости их
знаю.
И вот зачем я не играю.

Германн его бы не понял: блаженство игры, связанной с риском проиграться, ему недоступно. (А мошенники из «Игроков» Гоголя или презренный Расплюев, те решительно не согласны с Арбениным с другой позиции: видя все насквозь, познавши все тонкости, играть они не бросят, шалишь!)

Обыкновенный, обыденный — осмеливаюсь настаивать на своем — Германн, существо, охотно шагающее в ногу с «железным» неукротимо наступающим буржуазным веком (где не предусмотрено место для Пушкина) и, как бывает именно с заурядностями, особенно поспешно улавливающее новые веяния,— он падает жертвой того, что в его жизнь замешалась старинная легенда с ее допущением чуда, в которую он как человек с предрассудками (что специально объяснено автором — словно медицинский диагноз поставлен) имел слабость поверить. Слабость — не силу, не «огненное воображение». А уж практически, без всяких дурацких фантазий, рукотворно его мечта об игре наверняка, без спора с Судьбой, со Случаем, с Неизвестными Факторами, будет, дай только срок, реализоваться племенем расплюевых, шулеров, не ждущих милости от природы.

Компания, хоть кого способная шокировать, но Германну на такое историческое соседство обижаться, кажется, не приходится. Он разве что рановато явился, но, явившись, думаю, знаменовал для Пушкина надвигающийся конец его, пушкинского, мира, его правил, его понятий. Понятий во всем — например, в делах чести, да хотя бы и в делах, творящихся за зеленым столом; отделишь ли одно от другого?

Если все это так, то «Пиковая дама» — одна из печальнейших пушкинских угадок.

Л. ЛАЗАРЕВ

# Освобождаясь от ведомственности

Боюсь, как бы такое название не смутило читателей. Это хозяйственную нашу жизнь душит ведомственность — изо дня в день читаем об этом в газетах. А к литературе какое она имеет отношение? Ведь литература, она для всех и обо всех, нет романов для рыбаков и поэм для пожарных; если писать о рыбаках или пожарных, то только так, чтобы это было интересно почтальонам и геологам...

А что происходит в действительности?

Три десятилетия назад в «Литературной газете», где я тогда работал, произошла история, которую потом довольно долго вспоминали. Мы напечатали элегические стихи Евгения Винокурова о том, что в наше время, на наших глазах уходит в прошлое целая историческая эпоха, огромный пласт бытия, неразрывно связанный с лошадью, которая многие века была главным помощником человека в труде, в долгой дороге, на поле боя. Стихи были объяснением в любви к вытесняемой машинами из нашего быта лошади — живому «смешному чуду» (как есенинское: «Милый, милый, смешной дуралей, ну, куда он, куда он гонится!»). Это был печальный вздох при расставании с отступающим под натиском цивилизации миром естественной природы:

Ракета, атмосферу прорывая,
Уйдет туда, где теплится звезда...
А ты, о лошадь, ты душа живая,
В наш сложный век исчезнешь без следа.

Кто мог подумать, что такое стихотворение может кого-нибудь оскорбить! А разразился настоящий скандал, и причиной его было ведомственное отношение к литературе, именно оно. Пришло грозное письмо руководителей конезавода, обвинявших автора в клевете на советскую лошадь, которая по-прежнему занимает заметное место в сельском хозяйстве, приносит нашей стране на разных аукционах немалые суммы валюты, прославляет Отечество, добиваясь блистательных побед на всевозможных международных конноспортивных соревнованиях, и все это подтверждалось цифрами, кличками знаменитых лошадей, именами прославленных наездников. Пришла телеграмма маршала, разившая, как конноармейский клинок, поэта, принизившего роль лошади. Журнал, занимающийся коневодством, напечатал передовую статью, в которой публикация винокуровской «Лошади» квалифицировалась как подрывные действия.

История эта разбиралась на редколлегии. Теперь она кажется смешной, тогда же эта кавалерийская атака на поэзию веселья нам не сулила. Претензии такого рода считались резонными, они вполне укладывались в рамки официальных представлений о задачах литературы, оттуда и произрастали. Да и внутри литературы было немало людей, все это горячо одобрявших, жаждавших ведомственного покровительства и рьяно отстаивающих интересы своих покровителей. И читатели, воспитанные такого рода литераторами и книгами, привыкли считать литературу сферой обслуживания, скажем, капитального строительства и уборочной кампании, набором поучительных примеров для подражания, инструкцией в лицах для старших агрономов и младших офицеров. Все это ныне уходит из литературы, но медленно, с трудом, при сопротивлении, и не надо думать, что с ведомственным мышлением уже покончено, оно глубоко пронизало литературный быт, въелось в поры, у многих читателей и литераторов стало второй натурой — попробуй вытрави его. Оно встречает ныне отпор, но тогда, когда проявляется в крайних, агрессивных формах, а как часто, когда когти спрятаны, мы его просто не замечаем — привыкли, притерпелись. Существуют, например, литературные премии министерства мелиорации, милиции, Вооруженных Сил, еще каких-то ведомств, которыми одаривают полюбившихся писателей. Этим премиям радуются — тесная, мол, связь с жизнью, всякое даяние — благо. Но ведь это еще как сказать. Такое ведомственное меценатство вовсе не безобидно. Принимая эти дары, мы как бы допускаем возможность существования литературы, цель которой — восславлять милицию или воспевать мелиораторов, ибо именно за это, ни за что другое, выдаются премии, для этого они и учреждены. Вот так и формируется нелитература — и кнутом (ведомственным контролем, запретами), и пряником (ведомственными премиями и наградами).

Нет, надо действительно по разным плоскостям развести эти понятия — ведомственность и литература, так далеко, чтобы сближение их и в литературной жизни, и в читательском сознании было невозможно.



Все эти мысли вызвал у меня недавно прочитанный роман, я к нему еще вернусь. А сначала об его авторе. Это новое в нашей литературе имя. В двух толстых столичных журналах один за другим напечатаны романы Анатолия Азольского «Степан Сергеич» и «Затяжной выстрел». Такого литературного дебюта — дуплетом — я не припомню. Впрочем, не знаю: годится ли здесь слово «дебют», можно ли считать Анатолия Азольского начинающим? «Степан Сергеич» написан двадцать лет назад и должен был тогда же появиться в «Новом мире», еще при А. Твардовском, но, как говорили в ту пору, по не зависящим от автора и редакции причинам света не увидел. Да и «Затяжной выстрел» лежал у автора лет десять — даже предлагать его куда-нибудь не было никакого смысла. И еще один большой роман, я слышал, готов у А. Азольского. А ведь после того, как ничего не вышло в «Новом мире» со «Степаном Сергеичем», все это писалось почти без всяких надежд на публикацию...

Чем бы человек ни занимался — и писатель не исключение, наоборот, он тут особенно чувствителен, особенно уязвим,— если у него нет перспективы увидеть плоды своего труда, работать ему тяжко, очень тяжко; только говорится, что «рукописи не горят» — это просто последняя надежда, когда надеяться уже не на что, заклинание, как памятное всем пережившим войну «жди меня», а не торжествующий в реальной действительности закон. К тому же, если говорить о писательстве, одно дело, когда в «стол» пишет автор, который уже известен читателям, у которого есть какое-то свое место в литературе, и совсем другое — двадцать лет труда в вакууме, в безвестности, труда, который может оказаться дорогой в никуда, труда, в жертву которому, в сущности, приносится жизнь. Для этого требуется особая одержимость и особое мужество. Но читателям да и критикам нет дела до того, как создавалась книга: понравилась или не понравилась, удалась или не удалась — вот на чем основывается их приговор, и, в общем, это верно, не хочу и не могу ставить под сомнение справедливость такого суда, не знающего никаких других критериев, кроме ценности произведения. И если я рискнул сказать здесь о двух десятилетиях подвижнического — трудно отыскать более точное слово — служения литературе автора «Степана Сергеича» и «Затяжного выстрела», то потому, что дарование — конечно, если оно есть, никакая самоотверженность, никакие старания не могут его заменить — без «полной гибели всерьез», как писал поэт, невозможно реализовать.

В свое время Виталий Семин, перед глазами которого прошла не одна драматическая судьба тех, кто «пускался на дебют» — в том числе и его собственная судьба,— это было за несколько месяцев до смерти,— писал с мудрой печалью: «Человека и его призвание связывают довольно сложные отношения. Полная поглощенность призванием чрезвычайно редка. Для этого есть много причин. Главная из них — время. Время от завтрака до обеда, время сна, отдыха, развлечений. И время с большой буквы — Время всей жизни. Того, что отдадите призванию, не хватит для чего-то другого. Поэтому с представлением о поглощенности невольно связывается представление о жертвенности. Человек жертвует главным — жизнью... Идя за призванием, вы вступаете на дорогу риска. Так было, так есть и так будет... Вы можете обознаться. Простое беспокойство принять за талант. В любом случае вам не по силам определить его размеры и, следовательно, степень оправданного риска. Пресловутый «внутренний голос» слишком долго остается вашей единственной опорой. Вы прекрасно понимаете ее ненадежность. Больших душевных сил требует мгновенный риск. Каких же сил требует риск, растянутый на годы!»

Так было с писателями всегда, во все времена: и жертвы, и обольщение, и риск — верно пишет Виталий Семин. Но у пережитых нами десятилетий была и своя особенность. Сплошь да рядом дорогу в печать автору закрывали не недостаток таланта, не эстетические шоры издателей, а неуклончивая и потому неприемлемая правда в изображении окружающего нас мира, обращение к «табуированному» материалу, зона которого на наших глазах разрасталась и разрасталась. И если бы не изменившаяся столь существенно, столь основательно общественная ситуация, романы А. Азольского света не увидели бы ни за что.

Но при этом новое время, новая обстановка в литературе — безжалостное испытание для «запоздавших», как романы А. Азольского, вещей: не отсырел ли за эти годы порох, не случится ли осечка, выстрел-то затяжной? К тому же никому не известный писатель оказался в положении, когда ему приходится завоевывать читателей, получивших именно сейчас доступ к произведениям, о которых земля давно слухом полнилась, которые написаны не кем-то там, а А. Ахматовой и А. Твардовским, М. Булгаковым и Б. Пастернаком, А. Платоновым и В. Гроссманом. И все-таки надеюсь, что и в этом невиданном литературном половодье романы А. Азольского найдут своих читателей — во всяком случае, в литературной среде его книги замечены, об этом свидетельствуют появившиеся в «Литературной газете» обстоятельные статьи — А. Латыниной о «Степане Сергеиче» и Е. Войскунского о «Затяжном выстреле», в которых обе вещи, как мне кажется, оценены по достоинству. И если в этих заметках я буду говорить лишь о втором романе — «Затяжном выстреле»,

то только потому, что эта книга ближе мне и материалом своим, и некоторыми проблемами жизни и литературы, на которые она наталкивает...

«Щебечущей стайкой прибывают каждый год на эскадру молодые офицеры, проверенные на все виды искушения...» Один из них, год назад назначенный после окончания училища командиром 5-й батареи черноморского линкора, и есть главный герой романа А. Азольского: «К бою и походу на линейном корабле Олега Манцева готовили в Ленинграде четыре года, по прошествии которых училищные командиры пришли к выводу, что Олег Павлович Манцев партии Ленина — Сталина предан, морально устойчив, физически вынослив, морской качке не подвержен. Отличными и хорошими отметками преподаватели удостоверили, что обученный ими Олег Манцев знает физику, высшую математику, артиллерийские установки, приборы управления стрельбой и прочая, и прочая, что он умеет плавать кролем и брассом, управлять артиллерийским огнем, определяться в море по маякам и звездам. Общую мысль выразил тот, кто прочитал последним автобиографию, дыхнул на прямоугольный штамп и оттиснул им: «В политико-моральном отношении изучен, компрометирующих данных нет».

Это характеристика человека, которому предназначено стать серийным «винтиком», и вполне уместен тут штамп-печать — малая рационализация, придуманная доками кадровых служб. Но из первого же эпизода романа выясняется, что, несмотря на тщательную училищную обработку, Манцев не достиг «винтикового» совершенства — уже хотя бы потому, что вовсе не всем искушениям он способен не поддаваться. История шинели из адмиральского драпа, которую решил соорудить себе герой, обнаруживает и его склонность к пижонству, и живой интерес к особам прекрасного пола, и безотказную готовность принять посильное участие в дружеских пирушках. Но не будем слишком уж строго осуждать современного «поклонника Марса, Вакха и Венеры» за молодое легкомыслие и проказы, ибо они связаны и с его вполне симпатичными душевными качествами — отзывчивостью, открытостью, независимостью характера.

«Винтику» не полагается по-своему ни поступать, ни думать, он должен неукоснительно следовать предписанному свыше порядку вещей, беспрекословно и рьяно выполнять приказы начальства. Манцеву же многое из того, что происходило на флоте, показалось неразумным, и он стал доискиваться, в чем тут дело. Да и время было такое — пятьдесят третий — начало пятьдесят четвертого года,— люди стали задумываться. Это было непривычно и даже страшно. Сожитель по каюте и друг Манцева, имеющий уже кое-какой жизненный опыт, предупреждает его: «Плохо то, что ты начал думать. Не для этого дана голова. Ты подумай — и прекрати думать». Свежими глазами присматриваясь к тому, что не ладилось во флотской службе, лейтенант выяснил, что главные беды — следствие утвердившегося, ставшего привычным, как хроническая болезнь — ее уже не замечают,— равнодушного отношения к матросам. Ситуация стала особенно тяжелой после приказа по флоту, в котором для дальнейшего завинчивания дисциплинарных гаек предлагалась экстраординарная мера — рассматривать увольнение на берег как особое поощрение. Неразумный, противоречащий уставу, предписывающему обязательное поочередное увольнение трети команды, приказ привел к резкому падению дисциплины, остановить которое не удавалось самыми жестокими наказаниями. «Берег рядом. Кто-то ведь будет признан достойным увольнения, кто-то ведь попадет на Приморский бульвар. А танцы на Корабельной стороне? А Матросский бульвар с эстрадою? А Водная станция? А знакомство с девушкой? А телефонный разговор с домом. Это все для достойных. Большинство матросов недостойные. И матрос в увольнение не записывается. Он знает, что получит отказ. Раз отказали, два отказали. Что дальше? На праздник, по какому-либо другому поводу матрос увольняется-таки на берег. И зная, что следующего увольнения не видать ему полгода, матрос пьет, буянит, скандалит. Наказания он не боится, оно для него не существует. Выходит, что приказ о «мере поощрения» рождает массово — сотнями, тысячами, целыми кораблями — матросов-нарушителей».

Возник порочный круг, который даже те, кто считал состояние дел нетерпимым, или не знали как, или не рисковали разорвать. Манцев отважился: он, как и положено по уставу, стал увольнять на берег треть матросов своей батареи. (Жаль только, замечу тут же, что артиллеристы 5-й батареи выступают в романе единой массой—у большинства их неразличимы лица, а из-за этого демократизм Манцева иногда выглядит умозрительным, ему недостает живого чувства именно к этим людям.) Сначала это было воспринято как сумасбродная мальчишеская выходка — вроде лейтенантской шинели из адмиральского драпа. Да и сам Манцев не отдавал себе до конца отчета в серьезности своего поступка, не понимал, что бросил вызов тем, кому ничего не стоит «выгнать его с флота одним шевелением бровей». Но, встретив сопротивление, уперся: должны же быть справедливость и здравый смысл — ведь он действует по уставу. Происшествие это стало широко известно, имя дерзкого лейтенанта было у всех на устах: одни осуждали его, другие восхищались им, третьи ожидали, чем это кончится. Нет, начальство не могло терпеть, чтобы какой-то лейтенант на глазах всего флота указывал ему, что негоже ревизовать устав, надо лейтенанта поставить на место, а не одумается, не отступит, в бараний рог скрутить, нечего с ним миндальничать — спровоцировать скандал, организовать компрометирующий материал, создать дело, вышибить на «гражданку».



Я не буду пересказывать всех неожиданных — то драматических, то смешных — поворотов борьбы Манцева и его травли, чудом окончившейся для лейтенанта благополучно, хочу обратить внимание читателей на две особенности романа. Во-первых, на прекрасное знание автором жизни флота. Это особого рода знание — не добытое в ходе работы над романом, книга построена на том, что было пережито, не может быть ни малейших сомнений, что автор служил в ту пору на Черноморском флоте. «Затяжной выстрел» как художественное произведение просто бы рухнул под тяжестью столь большого количества «производственных» подробностей, если бы все они не были в свое время для автора, а ныне для героя органической сферой обитания.

Во-вторых, привлекательна непринужденная, ироническая манера повествования, богатая красками и оттенками — от едва уловимой улыбки до едкого сарказма. Она имеет давнюю традицию в нашей маринистской литературе — от Станюковича до Колбасьева, до малышкинского «Севастополя» и соболевского «Капитального ремонта», но рождена реальной действительностью, кают-компанейским «трепом», как пишет А. Азольский, «знаменитой военно-морской травлей, фантастической смесью небывальщины, оголтелой лжи и абсолютной правды». Ирония, острословие, насмешка помогают разоблачать тупоумие, прикидывающееся морсофлотской лихостью, самодурство, выдающее себя за командирскую решительность, приспособленчество, скрытое за дымовой завесой демагогии.

Роман «Затяжной выстрел» пронизан любовью к флоту, к нелегкой корабельной жизни, к морякам, и именно поэтому автор так ополчается на бездушие, рутину, несправедливость, омрачающие морскую службу. Кажется, впервые за долгие годы флот в произведении художественной литературы рассматривается не как отгороженное от берега (на котором еще допускалось существование отрицательных явлений, разумеется, в небольших, тщательно взвешенных дозах) идиллическое царство разума, порядка и братства — таким он не был и не мог быть, а как часть нашей неладно устроенной, скованной бюрократизмом и бесправием жизни.

В этом, кроме таланта, главная причина удачи А. Азольского. Взгляд его не замутнен, не искажен ведомственными соображениями. Чтобы понять, как это важно, надо задуматься над тем, почему за четыре последних десятилетия наша литература не дала ни одного произведения о мирной, послевоенной армии, которое встало бы рядом с популярными книгами о Великой Отечественной войне. Можно, наверное, попытаться отвести это сравнение — предвижу ответ: естественно, что однообразные армейские будни мирного времени не впечатляют так, как трагические потрясения войны. Но ведь на эту тему не написано и ничего равного произведениям о современности Ю. Трифонова и В. Тендрякова, Ф. Абрамова и Ч. Айтматова, Ф. Искандера и Г. Матевосяна. Когда это происходит из года в год на протяжении многих лет, вряд ли это случайно. В чем же причина явления, которое долгое время старались не замечать, убеждая себя и читателей, что у нас расцветает литература о современной армии?

Представим себе, что командование русской армии в свое время получило бы право контролировать литературу. Увидели бы свет «После бала» или «Поединок»? Всякое чувствующее себя в силе ведомство критики не терпит, долгие годы военные добивались — и весьма успешно,— чтобы армия выглядела в книгах, как на параде, начищенно до блеска: все сияет, радует глаз. И не будем обольщаться, что с этим уже покончено. Юрий Поляков справедливо писал недавно, вступившись за подвергнутый разгромной критике рассказ В. Крупина «С наступающим!» (впрочем, он знает это и на собственной шкуре: его повесть «Сто дней до приказа» была взята под обстрел еще до публикации — после напечатания отрывка): «Нельзя, с одной стороны, требовать от писателей полновесных художественных произведений о современной армии, а с другой — ставить его по стойке «смирно», если что-то не понравилось и вызвало возражение. Литература все-таки создается не по строевому уставу... И взаимодействовать с писателями в данном случае по принципу «а пикнете — так мигом успокоим» проще всего, но, по моему разумению, и бесплоднее всего». Такого рода установки действовали и по отношению к литературе о Великой Отечественной войне. Воениздат десятилетиями не издавал произведений К. Симонова, К. Воробьева, В. Быкова, Д. Гранина, Г. Бакланова, многие правдивые книги о войне на страницах «Красной звезды» подвергались разносам с откровенно лакировочных и антиисторических позиций.

Если же обратиться к отвечающим ведомственным требованиям книгам о мирной армии и флоте, читая их, нельзя избавиться от впечатления, что болезни и непорядки нашего общества, о которых так много говорится и пишется в последнее время, каким-то чудодейственным образом совершенно миновали армию и флот, являвшиеся образцово-показательным заповедным уголком нашей действительности, где хорошее самозабвенно соревновалось с лучшим, а лучшее старалось догнать превосходное, где изредка случались отдельные мелкие недоработки в боевой и политической

подготовке, но к финалу они решительно устранялись, где не совсем положительные персонажи — само собой понятно, в небольших чинах и должностях — благодаря отечески строгому и заботливому руководству старших начальников быстро исправлялись и твердо становились в жизни и службе на верную стезю. Разумеется, такого рода умилительно-радужные картины к реальной жизни никакого отношения не имели, все это прекрасно понимали — в том числе авторы парадно-благостных сочинений и их ведомственные вдохновители и стражи. И как только в последнее время печать получила возможность писать об истинном состоянии дел в армии (даже «Красная звезда» приоткрыла щель для критических материалов), сразу же выяснилось, что никакого оазиса, где существует только хорошее, лучшее и превосходное, нет и не было, просто болезни и безобразия замалчивались, просто предпринимались весьма энергичные меры, чтобы писатели и журналисты сор из избы, то бишь казарм и кубриков, не выносили. А между тем сама природа армии с ее жесткой дисциплиной, строгой субординацией, с особым укладом повседневной жизни предрасполагает к распространению некоторых опасных социальных инфекций. Нигде нет такого простора для превышения власти и самодурства, как в военной среде, нигде нет таких возможностей для преследования чем-то неугодных подчиненных, как в армии, нигде не кажется столь нужной и привлекательной идея всех стричь под одну гребенку, как в воинских частях. Лишь тогда, когда правда, даже неприятная и горькая, не будет встречаться в штыки, когда перестанут, наконец, пенять на зеркало, люди одаренные станут писать об армии и флоте так, как они пишут о других сферах нашей жизни, иначе эта тема будет привлекать бездарей, приспособленцев, лакировщиков, готовых всячески потрафлять ведомственным амбициям.

Отвергая ведомственное самоупоение и претензии на непогрешимость, надо добавить, что писатель, к какому бы материалу или теме он ни обратился, исследует общие процессы социальной и духовной жизни общества. И в романе «Затяжной выстрел» печальная эпопея заведующего симферопольской баней № 3 Цымбалюка, схватившегося со своим начальством из-за того, что хотел изменить дело к лучшему, и подведенного за это под статью уголовного кодекса, «рифмуется» со счастливо кончившейся (быть может, не без вмешательства горячо сочувствующего ему автора) историей командира 5-й батареи линкора лейтенанта Манцева. Выясняется, что могучий военный флот и захолустное коммунальное хозяйство в принципе живут по одним и тем же установлениям, их раздирают одни и те же противоречия и неурядицы. А разве не в того же свойства конфликты, что и в «Затяжном выстреле», втягиваются изобретатель Лопаткин в романе В. Дудинцева «Не хлебом единым», прораб Самохин в повести «Хочу быть честным» В. Войновича, бригадир монтажников Потапова в пьесе А. Гельмана «Протокол одного заседания»? Человек с умом и совестью, выступивший против приписок, чиновничьего равнодушия, рутинерства, добивающийся настоящих перемен, как бельмо на глазу. Это уже не литература — судьбы реальных людей: И. А. Снимщикова, поднявшего балашихинский колхоз имени Кирова, засудили; И. Худенко, директор совхоза «Илийский» Алма-Атинской области, в котором себестоимость зерна его стараниями стала в четыре раза ниже обычной, закончил свои дни в лагере; А. И. Чабанова, директора научно-производственного объединения «Ротор», наладившего выпуск первоклассных станков, успели лишь исключить из партии — это было уже в наши дни, и дальше этого дело не пошло.

Так что, только ли о флоте роман Анатолия Азольского «Затяжной выстрел»?

Владислав ХОДАСЕВИЧ

# Из литературного наследия

*Творческое наследие Владислава Фелициановича Ходасевича (1886, Москва — 1939, Париж) обширно и многообразно. Стихи, поэтические и прозаические переводы, автобиографическая проза, мемуары, часть которых собрана автором в книгу «Некрополь» (Брюссель, 1939), десятки историко-литературных статей и книга «Державин» (Париж, 1931), четверть века длившееся исследование жизни и сочинений Пушкина — биографические, стиховедческие, текстологические публикации, выдвинувшие Ходасевича в число наиболее авторитетных пушкинистов, и отличная книга «О Пушкине» (Берлин, 1937). Наконец, сотни заметок, рецензий, обзоров, критических статей о творчестве современников: первые написаны девятнадцатилетним поэтом, последние — за несколько месяцев до смерти.*

*Критика — наименее изученная сторона творчества Ходасевича. Да и собрана она пока далеко не полностью. Тому есть объективные причины.*

*Ходасевич относился к критике как к повседневной, «текущей» работе. Потому не «вызволял» рукописей из редакций газет и журналов, где сотрудничал, не собирал, как правило, публикаций и даже не вел им библиографического учета. Рассеянные по изданиям, многие из которых ныне труднодоступны (а то и просто не дошли до нас), либо по зарубежным изданиям, комплекты которых в наших библиотеках и архивах зияют пробелами, эти работы словно бы «играют в прятки» с историками литературы. А если добавить, что часть из них подписана псевдонимами, из которых не все еще раскрыты, часть и вовсе не подписана, станет ясна вся сложность задачи. Но решать ее надо.*

## О Сирине*

Критик всегда немного похож на ярмарочного зазывалу, который кричит перед своим балаганом: «Заходите, смотрите чудо XX века, человека с двумя желудками» — или «Ирму Бигуди, чудо-ребенка, от роду восьми лет, весом в шестнадцать пуд» — или еще что-нибудь в этом роде, какую-нибудь бородатую женщину. Но положение зазывалы проще и выигрышней, потому что за ситцевой занавеской балагана являются почтеннейшей публике уроды самоочевидные, не нуждающиеся в пояснениях. Дело же критика — показать, почему его «чудо XX века» не хуже других стоит алтына или десяти су, затраченных любознательным читателем. Poetae nascuntur» — поэтами люди рождаются. Всякий истинный художник, писатель, поэт, в широком смысле слова, конечно, есть выродок, существо, самой природой выделенное из среды нормальных людей. Чем разительнее несходство его с окружающими, тем оно тягостнее, и нередко бывает, что в повседневной жизни свое уродство, свой гений поэт старается скрыть. Так, Пушкин его прикрывал маской игрока, плащом дуэлянта, патрицианской тогой аристократа, мещанским сюртуком литературного дельца. Обратно: бездарность всегда старается выставить наружу свою мнимую необыкновенность, как симулянт-попрошайка выставляет наружу поддельные свои язвы.

Сознание поэта, однако ж, двоится: пытаясь быть «средь детей ничтожных мира» даже «всех ничтожней», поэт сознает божественную природу своего уродства — юродства,— свою одержимость, свою, не страшную, не темную, как у слепорожденного, а светлую, хоть не менее роковую, отмеченность перстом Божиим. Даже более всего в жизни дорожит он теми тайными минутами, когда Аполлон требует его к священной жертве, когда его отмеченность проявляется в полной ме-

* В. Сирин — псевдоним В. В. Набокова до 1940 г. (Ред.).

ре. За эти минуты своей одержимости, своего святого юродства, которые сродни мгновениям последней эротической судороги или эпилептическим минутам «высшей гармонии», о которых рассказывает Достоевский,— поэт готов жертвовать жизнью. Он ею и жертвует: в смысле символическом — всегда, в смысле прямом, буквальном — иногда, но это «иногда» случается чаще, чем кажется.

В художественном творчестве есть момент ремесла, хладного и обдуманного д е л а н и я. Но природа творчества экстатична. По природе искусство религиозно, ибо оно, не будучи молитвой, подобно молитве и есть выраженное отношение к миру и Богу. Это экстатическое состояние, это высшее «расположение души к живейшему приятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных», есть вдохновение. Оно и есть то неизбывное «юродство», которым художник отличен от не-художника. Им-то художник и дорожит, его-то и чтит в себе, оно-то и есть его наслаждение и страсть. Но вот что замечательно: говоря о вдохновении, о молитвенном своем состоянии, он то и дело сочетает его с упоминанием о другом занятии, сравнительно столь, кажется, суетном, что здоровому человеку самое это сочетание представляется недостойным, вздорным, смешным. Однако этим своим занятием он дорожит не менее, чем своим «предстоянием Богу», и порой вменяет его себе в величайшую заслугу, обосновывая на ней даже дерзостную претензию на благодарную память потомства, родины, человечества.

Уже две тысячи лет тому назад поэт, благоразумнейший певец здравомыслия и золотой середины, объявил, что воздвиг себе памятник прочнее меди и царственной главой выше пирамид; что смерть бессильна перед ним; что его будут называть в самых глухих углах его земли до тех пор, пока будет стоять его родной, вечный Город, и сама Муза поэзии увенчает его чело неувядаемым лавром. Все это он изложил на протяжении четырнадцати с половиной громозвучных стихов, а на полутора стихах обозначил свою заслугу, дающую ему право на бессмертие и, по его мнению, не нуждающуюся в пояснениях:

Princeps aeolium carmen ad Italos
Deduxisse modos.

«Я первый в Италии ввел эолийское стихосложение!» Подумаешь, какой подвиг. Меж тем через девятнадцать столетий российский Гораций, которого грудь была усыпана орденами за важные государственные заслуги, писал, подражая латинскому:

Слух пройдет обо мне от Велых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Что из безвестности я тем известен стал,
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях ... возвестить,—

т. е. право на свое бессмертие основывал на том, что возвестил о Фелицыных добродетелях не как-нибудь иначе, а именно «в забавном русском слоге»: первый стал писать оды простым языком.

Подражая Горацию и Державину, Пушкин в «Памятнике» своем писал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.

Потом, должно быть, подумав, что народ не очень-то умеет ценить новизну «звуков», он переделал эту строфу, но весьма многозначителен тот факт, что первоначально перед собственной совестью обретение новых звуков в числе своих заслуг ставил он наряду с воспеванием свободы и милосердия — и даже впереди этого воспевания. Он как будто иронизировал над собой, когда, противополагая себя скептическому Онегину, писал, что тот не имел «высокой страсти»

Для звуков жизни не щадить.

В действительности под маской иронии здесь высказана самая сокровенная его мысль о существе поэта. Она и повторена им вполне серьезно, как поэтическое «кредо»:

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Здесь вдохновение, общее состояние поэтического сознания, с непреложной верностью расчленено на два равнозначащих и равно обязательных, друг друга дополняющих элемента: «звуки сладкие» и «молитвы».

Художник одержим творчеством. В этом — его страсть, его (по выражению Каролины Павловой) «напасть», его счастье и горе, его святое уродство. Но он одинаково «не щадит жизни» как для «звуков», так и для «молитв». Формальный и смысловой элемент искусства для него неразделимы и потому равноценны. Оно так и есть в действительности. «Сладкие звуки» без «молитв» не образуют искусства, но и «молитвы» без «звуков» тоже. Звуки в искусстве не менее святы, чем молитвы. Искусство не исчерпывается формой, но вне формы оно не имеет бытия и, следственно,— смысла. Поэтому исследование творчества немыслимо вне исследования формы.

С анализа формы должно бы начинаться всякое суждение об авторе, всякий рассказ о нем. Но формальный анализ настолько громоздок и сложен, что, говоря о Сирине, я не решился бы предложить вам пуститься со мной в эту область. К тому же настоящего, достаточно полного исследования сиринской формы не произвел я и [illegible], ибо настоящая критическая работа в [illegible]ших условиях невозможна. Однако некоторые наблюдения мною сделаны — и я позволю себе поделиться их результатами.

При тщательном рассмотрении Сирин оказывается по преимуществу художником формы, писательского приема, и не



только в том общеизвестном и общепризнанном смысле, что формальная сторона его писаний отличается исключительным разнообразием, сложностью, блеском и новизной. Все это потому и признано, и известно, что бросается в глаза всякому. Но в глаза-то бросается потому, что Сирин не только не маскирует, не прячет своих приемов, как чаще всего поступают все и в чем Достоевский, например, достиг поразительного совершенства, но напротив: Сирин сам их выставляет наружу, как фокусник, который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес. Тут, мне кажется, ключ ко всему Сирину. Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из главных задач его — именно показать, как живут и работают приемы.

Есть у Сирина повесть, всецело построенная на игре самочинных приемов. «Приглашение на казнь» есть не что иное, как цепь арабесок, узоров, образов, подчиненных не идейному, а лишь стилистическому единству (что, впрочем, и составляет одну из «идей» произведения). В «Приглашении на казнь» нет реальной жизни, как нет и реальных персонажей, за исключением Цинцинната. Все прочее — только игра декораторов-эльфов, игра приемов и образов, заполняющих творческое сознание, или, лучше сказать, творческий бред Цинцинната. С окончанием их игры повесть обрывается. Цинциннат не казнен и не не-казнен, потому что на протяжении всей повести мы видим его в воображаемом мире, где никакие реальные события невозможны. В заключительных строках двухмерный, намалеванный мир Цинцинната рушится, и по упавшим декорациям «Цинциннат пошел,— говорит Сирин,— среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». Тут, конечно, представлено возвращение художника из творчества в действительность. Если угодно, в эту минуту казнь совершается, но не та и не в том смысле, как ее ждали герой и читатель: с возвращением в мир «существ, подобных ему», пресекается бытие Цинцинната-художника.

Сирину свойственна сознаваемая или, быть может, только переживаемая, но твердая уверенность, что мир творчества, истинный мир художника, работою образов и приемов создан из кажущихся подобий реального мира, но в действительности из совершенно иного материала, настолько иного, что переход из одного мира в другой, в каком бы направлении ни совершался, подобен смерти. Он и изображается Сириным в виде смерти. Если Цинциннат умирает, переходя из творческого мира в реальный, то обратно — герой рассказа «Terra incognita» умирает в тот миг, когда, наконец, всецело погружается в мир воображения. И хотя переход совершается здесь и там в диаметрально противоположных направлениях, он одинаково изображается Сириным в виде распада декораций. Оба мира по отношению друг к другу для Сирина иллюзорны.

Точно так же и торговец бабочками, Пильграм, герой одноименного рассказа, умирает для своей жены, для своих покупателей, для всего мира — в тот миг, когда он, наконец, отправляется в Испанию — страну, не совпадающую с настоящей Испанией, потому что она создана его мечтой. Точно так же и Лужин умирает в тот миг, когда, выбрасываясь из окна на бледные и темные квадраты берлинского двора, он окончательно выпадает из действительности и погружается в мир шахматного своего творчества — туда, где нет уже ни жены, ни знакомых, ни квартиры, а есть только чистые, абстрактные соотношения творческих приемов.

Если «Пильграм», «Terra incognita» и «Приглашение на казнь» всецело посвящены теме соотношения миров, то «Защита Лужина», первая вещь, в которой Сирин стал уже во весь рост своего дарования (потому, может быть, что здесь впервые обрел основные мотивы своего творчества),— то «Защита Лужина», принадлежа к тому же циклу, в то же время содержит уже и переход к другой серии сиринских писаний, где автор ставит себе иные проблемы, неизменно, однако же, связанные с темою творчества и творческой личности. Эти проблемы носят несколько более ограниченный, можно бы сказать — профессиональный характер. В лице Лужина показан самый ужас такого профессионализма, показано, как постоянное пребывание в творческом мире из художника, если он — талант, а не гений, словно бы высасывает человеческую кровь, превращая его в автомат, не приспособленный к действительности и погибающий от соприкосновения с ней.

В «Соглядатае» представлен художественный шарлатан, самозванец, человек бездарный, по существу чуждый творчеству, но пытающийся себя выдать за художника. Несколько ошибок, им совершенных, губят его, хотя он, конечно, не умирает, а только меняет род занятий,— потому что ведь в мире творчества он никогда не был, и перехода из одного мира в другой в его истории нет. Однако в «Соглядатае» намечена уже тема, ставшая центральной в «Отчаянии», одном из лучших романов Сирина. Тут показаны страдания художника подлинного, строгого к себе. Он погибает от единой ошибки, от единого промаха, допущенного в произведении, поглотившем все его

творческие силы. В процессе творчества он допускал, что публика, человечество, может не понять и не оценить его создания,— и готов был гордо страдать от непризнанности. До отчаяния его доводит то, что в провале оказывается виновен он сам, потому что он только талант, а не гений.

Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника — вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях, начиная с «Защиты Лужина». Однако художник (и, говоря конкретнее, писатель) нигде не показан им прямо, а всегда под маской: шахматиста, коммерсанта и т. д. Причин тому, я думаю, несколько. Из них главная заключается в том, что и тут мы имеем дело с приемом, впрочем, весьма обычным. Формалисты его зовут остранением. Он заключается в показывании предмета в необычайной обстановке, придающей ему новое положение, открывающей в нем новые стороны, заставляющей воспринять его непосредственнее. Но есть и другие причины. Представив своих героев прямо писателями, Сирину пришлось бы, изображая их творческую работу, вставлять роман в повесть или повесть в повесть, что непомерно усложнило бы сюжет и потребовало бы от читателя известных познаний в писательском ремесле. То же самое, лишь с несколько иными трудностями, возникло бы, если бы Сирин их сделал живописцами, скульпторами или актерами. Он лишает их профессионально художественных признаков, но Лужин работает у него над своими шахматными проблемами, а Германн — над замыслом преступления совершенно так, как художник работает над своими созданиями. Наконец, надо принять во внимание, что, кроме героя «Соглядатая», все сиринские герои — подлинные, высокие художники. Из них Лужин и Германн — как я говорил — лишь таланты, а не гении, но и им нельзя отказать в глубокой художественности натуры. Цинциннат, Пильграм и безымянный герой «Terra incognita» не имеют и тех ущербных черт, которыми отмечены Лужин и Германн. Следовательно, все они, будучи показаны без масок, в откровенном качестве художников, стали бы, выражаясь языком учителей словесности, положительными типами, что, как известно, создает чрезвычайные и в данном случае излишние трудности для автора. Сверх того, автору в этом случае было бы слишком нелегко избавить их от той приподнятости и слащавости, которая почти неизбежно сопутствует литературным изображениям истинных художников. Только героя «Соглядатая» Сирин мог бы сделать литератором, минуя трудности,— потому именно, что этот герой — поддельный писатель. Я, впрочем, думаю, я даже почти уверен, что Сирин, обладающий великим запасом язвительных наблюдений, когда-нибудь даст себе волю и подарит нас безжалостным сатирическим изображением писателя. Такое изображение было бы вполне естественным моментом в развитии основной темы, которою он одержим.

1937 г.

## *В. Ропшин (Б. Савинков). Книга стихов. Париж, 1931*

«Тому, кто не ищет в стихах только эстетического наслаждения, книга Ропшина даст больше: она может открыть ему новое о душе человека, о трагедии жизни — и смерти». Такими словами заканчивается предисловие к недавно изданной книге стихов покойного Савинкова. Таким словам можно бы и не удивляться, если бы не стояла под ними подпись З. Гиппиус. Подпись, однако, стоит — приходится удивляться. Спора нет, что только очень наивные люди могут искать в стихах «только эстетическое наслаждение». Столь же бесспорно, что в стихах можно находить «новое о душе человека, о трагедии жизни и смерти»: я бы даже решился заметить, что это — общее место, ибо все стихи говорят или порываются сказать именно о душе человека, о жизни и смерти. Но ведь столь же бесспорно и то, что стихи, не доставляющие «эстетического наслаждения», стихи эстетически порочные, представляют собою явление в поэтическом смысле отрицательное. В лучшем случае их можно рассматривать как рифмованный человеческий документ, но и тут возникает вопрос: понижается или повышается ценность документа от того, что он изложен не прозою, а плохими стихами? Я, конечно, имею в виду оценку не с точки зрения искренности (тут стихотворная форма ничего не прибавляет и ничего не убавляет) — а со стороны значительности. И думаю, что ответ может быть только один: человеческий документ, изложенный в форме плохих стихов, неизбежно утрачивает свою внутреннюю значительность. И это не потому, что сильно действие дурного литературного стиля, но потому, что невозможно себе представить замечательного человека, предающегося писанию плохих стихов. Весьма возможно быть замечательной личностью и не писать стихов вовсе. Но быть замечательной личностью и писать жиденькие стишки — невозможно.

Драматическая коллизия, возникающая в душе Савинкова, сама по себе трагична в смысле религиозном и философском. Она к тому же несет в себе семена глубоких и сложных психологических переживаний. Она отчасти соприкасается с трагедией Раскольникова — это трагедия идейного убийцы. Из истории Раскольникова Достоевский сделал великое произведение. Из драмы Савинкова та же З. Гиппиус в некоторых своих прежних статьях о нем сумела создать нечто, во всяком случае, значительное. Но вот теперь нам показали душевную драму Савинкова не в обработке ее интерпретаторов, а в подлинных документах, в стихотворных признаниях самого Савинкова,



и приходится сожалеть об этом: подлинный Савинков оказывается во много раз мельче легендарного.

Искусство возникает отчасти из чувства и к чувству отчасти обращено: в этом смысле оно человечно. Однако чувство подчинено в нем особым, вполне автономным законам, которыми оно перерабатывается, очищается от слишком человеческого и поднимается на иную ступень, где становится уже не человечно, а демонично (в античном смысле этого слова). Демонизм и лежит в основе искусства как начало, художественно устрояющее хаос чувств, как мастерство, подчиняющее переживание человека нечеловеческому опыту художника. Таким образом, путь, ведущий от человеческого документа (исповеди, дневника) к искусству, демоничен. На этом пути правда исповеди или дневника претерпевает глубокие изменения, пока не станет правдой художественной. И дело вовсе не в том, что выше: правда жизни или правда искусства? Дело в том, что они не совпадают.

От художника мы не только вправе, но обязаны требовать правды художественной, которая достигается только в глубоком, творческом слиянии формы с содержанием, в их взаимном соподчинении, в равном овладении тем и другим. Человеческий документ, проскандированный в случайном метре и уснащенный привешенными к нему рифмами, имеет несчастье не только не превращаться в нечто художественно оправданное, но и утрачивать значительную часть своей правды человечески-документальной. Именно это произошло с Савинковым, когда свои чувства и мысли с помощью наивнейших, совершенно внешних, а часто и беспомощных стихотворных приемов пытался он превратить в поэзию. Беда здесь не в том, что он низвел творчество до документа: творчества здесь и вообще не было. Беда в том, что он испортил документ, пытаясь его украсить, лишая его той первоначальной правды, которая одна могла бы оправдать его труд. Вместо хорошего документа он сделал плохие стихи. Это было бы художественным кощунством, если бы не было хуже — наивностью. Тут-то и возвращаемся мы к тому, с чего начали: трудно поверить в значительность человека, способного на такую наивность.

З. Н. Гиппиус находит, что, если стихи Савинкова «несовершенны» (определение слишком мягкое), то это не важно. Напротив, важно до чрезвычайности. Представьте себе рисунок: домик с тремя окошечками, с трубой, из окошек и из трубы спиралями валит дым: рисунок изображает пожар. Для детской тетради — мило. Но если окажется, что это художественная исповедь Герострата, если тут выражена его душа, то что же сказать о Герострате? Савинков-поэт компрометирует Савинкова — политического деятеля. Претенциозная, но безвкусная, непринужденная, но неопытная форма его стихов (разумею метрику, инструментовку, словарь и т. д.) соответствует содержанию: тут трагедия террориста низведена до истерики среднего неудачника.

Нельзя сказать, что эта трагедия Савинковым не осознана. Но, сознав ее и поставив перед собой как проблему, Савинков тотчас ее пугается. Нет высшей радости, нежели переживание трагедии во всей ее глубине и полноте: но этого Савинков принять не в силах. Его страдание несомненно, но это не трагическое страдание. Создав для себя ситуацию трагического героя, Савинков тотчас ее пугается и отказывается пережить ее должным образом. Он мучительно ищет личного благополучия. В буре он хочет найти покой, даже просто какой-то житейски-любовный уют. Жалобами на отсутствие такого уюта полны его стихи, это одна из основных его тем, то звучащая явно, то подспудно. Именно ею зачеркнута вся трагедия. Именно о Савинкове можно сказать словами поэта:

> Но перед ним туда навек закрыта дверь,
> Где радость теплится страданья.

Как провинциальны его стихи, порой напоминающие худшие страницы Леонида Андреева, так и душевная его драма сводится к излияниям на провинциальную тему «Пожалей ты меня, дорогая». По-человечеству его, разумеется, очень жаль. Но слишком человеческое оказывается нетрагично в трагедии и... непоэтично в поэзии.

1932 г.

## *Кровавая пища*

Недавно в статье о Есенине мимоходом коснулся я темы об ужасной судьбе русских писателей. После того несколько друзей упрекнули меня в преувеличении. Но преувеличения нет. В известном смысле историю русской литературы можно назвать историей изничтожения русских писателей.

«Тредьяковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды, в какой-то праздник, потребовал оду у придворного пиита, Василия Тредьяковского, но ода не была готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростью оплошного стихотворца».

Так, с холодною живописностью историка, хотя, впрочем, не совсем точно, рассказывает Пушкин. В собрании сочинений Тредьяковского имеется его подлинная жалоба на Волынского. В ней вся история изложена куда подробнее и страшнее, на многих страницах, с униженными причитаниями и дрожью глубоко спрятанного самолюбия. Презренное и ужасное сплетены в ней. Невозможно читать ее без смеха, готового перейти в слезы, но ведь на то это и Тредьяковский, всеобщее посмешище русской литературы, которая столькими ему обязана.

За Тредьяковским пошло и пошло. Побои, солдатчина, тюрьма, ссылка, из-

гнание, каторга, пуля беззаботного дуэлянта, не знающего, на что подымает он руку, эшафот и петля — вот краткий перечень лавров, венчающих «чело» русского писателя. Я пишу не историю литературы, я даже не заглядываю ни в какую «историю», я говорю по памяти, да и ту не особенно напрягаю. При этом говорю только об умерших, не называя живых, с которыми мы встречаемся каждый день, которые плечом к плечу с нами совершают свой путь к гибели. И вот: вслед за Тредьяковским — Радищев; «вслед Радищеву» — Капнист, Николай Тургенев, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Одоевский, Полежаев, Боратынский, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев (особый, ни с чем не сравнимый вид издевательства), Огарев, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Достоевский, Короленко... В недавние дни: прекрасный поэт Леонид Семенов, разорванный мужиками, расстрелянный мальчик-поэт Палей и расстрелянный Гумилев.

Я называю имена лишь по одному разу. Но ведь на долю скольких пришлось по две, по три «казни» — одна за другой! Разве Пушкин, прежде чем был пристрелен, не провел шесть лет в ссылке? Разве Лермонтов, прежде чем был убит, не узнал солдатчины и не побывал тоже в ссылке? Разве Достоевского не возили на позорной тележке и не возводили на эшафот, прежде чем милостиво послали на каторгу? Разве Рылеев, Бестужев и Гумилев перед смертью не узнали, что есть каземат? Еще ужаснее: разве Рылеев не дважды умер?

Но это только «бичи и железы», воздействия слишком сильные, прямо палаческие. А сколько же было тайных, более мягких и даже вежливых? Разве над всеми поголовно не измывались цензоры всех эпох и мастей? Разве любимых творений не коверкали, дорогих сердцу книг не сжигали? Разве жандармы и чекисты не таскали к допросу и не сажали в каталажку, чуть не по очереди, без разбору, за то именно, что — писатель? А полицейский надзор, который порой поручался родному отцу (это было с Пушкиным)? А прижимательства и придирки начальства, отравлявшие каждую минуту жизни? А дикая, одуряющая нищета, с алчностью издателей, с судорожной работой наспех — с этой великой казнью для всякого художника: быть недовольным своими созданиями? А «широкая публика», своим рыночным спросом вечно снижающая литературный уровень и обрекающая писателя шутовству, в той или иной степени?

От начальства и общества не отставали семьи и ближние. Я не делаю «методологической ошибки», когда, тривиально выражаясь, валю всех в одну кучу. Русскому писателю казни не избежать: а уж кто, как и когда будет ее исполнителем, как сложатся обстоятельства, это дело случая:

Глаза усталые смежи,
В стихах, пожалуй, ворожи,
Но помни, что придет пора,—
И шею брей для топора.

И снова идет череда: голодный Костров; «благополучный» Державин, преданный Екатерине и преданный Екатериной; измученный завистниками Озеров; Дельвиг, сведенный в могилу развратной женой и вежливым Бенкендорфом; обезумевший от «свиных рыл» и сам себя уморивший Гоголь; дальше — Кольцов, Никитин, Гончаров; заеденный друзьями и бежавший от них, от семьи, куда глаза глядят, в ночь, в смерть, Лев Толстой; задушенный Блок, загнанный <...> Гершензон, доведенный до петли Есенин. В русской литературе трудно найти счастливых; несчастных — вот кого слишком довольно. Недаром Фет, образчик «счастливого» русского писателя, кончил все-таки тем, что схватил нож, чтобы зарезаться, и в эту минуту умер от разрыва сердца. Такая смерть в семьдесят два года не говорит о счастливой жизни. И, наконец, последнее поколение: только из числа моих знакомых, из тех, кого знал я лично, чьи руки жал,— одиннадцать человек кончили самоубийством.

Я называл имена без порядка и системы, без «иерархии», как вспомнилось. И, разумеется, этот синодик убиенных нетрудно было бы весьма увеличить. Сколько еще пало жертвой того общественного пафоса, который так бурно и откровенно выразил городничий в своих проклятиях «бумагомаракам, щелкоперам проклятым»? Того пафоса, коим охвачен был на моих глазах некий франтоватый молодой человек: в Берлине, перед витриной русского книжного магазина, он сказал своей даме:

— И сколько этих писателей развелось!.. У, сволочь!

Это был маленький Дантес, совсем микроскопический. Или, если угодно, городничий, потому что ведь Дантес сделал то самое, о чем городничий думал. А городничий думал то самое, что, по преданию, сказано было о смерти Лермонтова: «Собаке собачья смерть».

Лесков в одном из своих рассказов вспоминает об Инженерном корпусе, где он учился и где еще живо было предание о Рылееве. Посему в корпусе было правило: за сочинение чего бы то ни было, даже к прославлению начальства и власти клонящегося,— порка: пятнадцать розог, буде сочинено в прозе, и двадцать пять — за стихи.

* * *

«Слышно страшное в судьбе русских поэтов!» — сказал Гоголь.

Ровно сто лет тому назад Мицкевич писал из Парижа стихи «К друзьям москалям». Должно быть, думал и он, как Гоголь, потому что воскликнул: «Благородная шея Рылеева, которую, как брат, обнимал я,— висит по приказу царя, прикрученная к позорному древу. Проклятие народам, казнящим своих пророков!»



Но то был Мицкевич, бунтарь и враг. Но когда прикончили Лермонтова, графиня Ростопчина, отнюдь не крамольница, писала:

Не трогайте ее, зловещей сей цевницы,
Поэты русские, она вам смерть дает.
Как семимужняя библейская вдовица,
На избранных своих она грозу зовет!

С тех пор это не прекращается. В чем же дело? Неужто так низок и дик народ русский, что эти проклятия им заслужены? Да может ли он после этого равняться с другими народами? Да смеет ли он смотреть в глаза им?

Я думаю — может и смеет. И вовсе не потому, что другие, более культурные народы не лучше его. Не потому, что и у них дело обстоит так же. Нет, совсем по иной причине. Конечно, мы знаем изгнание Данте, нищету Камоэнса, плаху Андрея Шенье и многое другое, но до такого изничтожения писателей, не мытьем, так катаньем, как в России, все-таки не доходили нигде. И, однако же, это не к стыду нашему, а может быть, даже к гордости. Это потому, что ни одна литература (говорю в общем) не была так пророчественна, как русская. Если не каждый русский писатель — пророк в полном смысле слова (как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский), то нечто от пророка есть в каждом, живет по праву наследства и преемственности в каждом, ибо пророчествен самый дух русской литературы. И вот поэтому древний, неколебимый закон, неизбежная борьба пророка с его народом, в русской истории так часто и так явственно проявляется. Дантесы и Мартыновы сыщутся везде, да не везде у них столь обширное поле действий. Если принять слово Мицкевича как правое, придется проклясть все народы, кроме тех, у которых пророков никогда не было.

У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет...

Ну, разумеется, зыряне да чукчи никого и не казнят.

Дело пророков — пророчествовать, дело народов — побивать их камнями. Пока пророк живет (и, конечно, не может ужиться) среди своего народа —

Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!

Когда же он наконец побит,— его имя, и слово, и славу поколение избивателей завещает новому поколению, с новыми покаянными словами: «Смотрите, дети, как он велик! Увы нам, мы побили его камнями!» И дети отвечают: «Да, он был велик воистину, и мы удивляемся вашей слепоте и вашей жестокости. Уж мы-то его не побили бы». А сами меж тем побивают идущих следом. Так совершается и пишется история литературы.

Несколько лет тому назад, высказывая впервые эти мысли, я думал, что основная причина здесь именно в неизбежном *столкновении* пророка с народом, писателя с обществом, с близкими. Этой причины не отрицаю и теперь, но думаю, что она не единственная, даже не главная. Может быть, столкновение есть лишь неизбежный повод, возникающий из гораздо более глубокой причины. Кажется, что народ *должен* и побивать, чтобы затем «причислять к лику» и приобщаться к откровению побитого. Кажется, в страдании пророков народ мистически изживает собственное свое страдание. Избиение пророка становится жертвенным актом, закланием. Оно полагает самую неразрывную, кровавую связь между пророком и народом, будь то народ русский или всякий другой. В жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное. Изничтожение поэтов по сокровенной природе своей таинственно, *ритуально*. В русской литературе оно прекратится тогда, когда в ней иссякнет родник пророчества. Этого да не будет...

И все-таки если русским писателям должно и суждено гибнуть, то — как бы это сказать? Естественно, что каждый из них по священной человеческой слабости вправе мечтать, чтобы чаша его миновала. Естественно, чтобы он, обращаясь к согражданам и современникам, уже слабым, уже безнадежным голосом еще все-таки говорил:

— Дорогие мои, я знаю, что рано или поздно вы меня прикончите. Но все-таки, может быть, вы согласны повременить? Может быть, в самой пытке вы дадите мне передышку? Мне еще хочется посмотреть на земное небо.

1932 г.

## *Примечания*

### *О Сирине*

23 января 1937 г. в Париже Ходасевич открыл вступительным словом авторский вечер Набокова. Эта речь и легла в основу статьи «О Сирине», опубликованной три недели спустя («Возрождение», 13 февраля).

### *В. Ропшин (Б. Савинков). Книга стихов. Париж, 1931.*

Опубликовано в «Современных Записках», кн. 49, 1932.

### *Кровавая пища*

Опубликовано в «Возрождении» 21 апреля 1932.

Семенов Л. Д. (1884—1917) — поэт, филолог, племянник В. П. Семенова-Тян-Шанского. Убит 13 декабря 1917 г. ружейным выстрелом в затылок в избе, где жил с «братьями»-толстовцами.

Палей В. (? — 1918) — поэт, автор книг «Стихотворения». Пг., 1916, «Стихотворения. Вторая книга». Пг., 1918.

## *Несколько слов о Ходасевиче-критике*

С первых же своих критических выступлений в печати Ходасевич обозначил

жесткую, по сути, максималистскую систему требований, предъявляемых им к творчеству писателей-современников.

Сознание своей правоты Ходасевич-критик черпал у Ходасевича-поэта. Не знавшая поблажек строгость к себе, к собственной поэтической работе давала ему моральное право быть неснисходительным ко всякому, кто отваживается работать в литературе, давшей миру Пушкина и Державина, Толстого и Достоевского.

Выступления откровенно программные для Ходасевича, к которым, несомненно, относится и публикуемая здесь статья «Кровавая пища», где из истории русской литературы выводится, предрекается судьба еще живущих в момент писания статьи, еще пытающихся удержать в равновесии колеблемый треножник поэтов (в том числе самого автора, Ходасевича), эхом проходят через всю его критику, сообщают ей размах и глубину.

Ходасевич неукоснительно последователен. В 1914 году он писал об одном из молодых поэтов: «В первой его книге внимательный читатель различит следы упорного труда, желания во что бы то ни стало подчинить себе стих, заставить слова выражать именно то, что надо». Семь лет спустя заметил в «Колеблемом треножнике»: «Нельзя не указать тут же и на воскресшее в последнее время отсечение формы от содержания и проповедь главенства формы, подобно тому как в пору первого затмения проповедовалось главенство содержания». Еще через одиннадцать лет в статье о стихах Б. Савинкова сказал о том же — иначе, резче: «От художника мы не только вправе, но обязаны требовать правды художественной, которая достигается только в глубоком, творческом слиянии формы с содержанием, в их взаимном соподчинении, в равном овладении тем и другим».

Звучит актуально сегодня, когда после многолетних стращаний жупелом «формализма» критика почти перестала обращаться к форме стиха, без чего разговор о поэзии становится несерьезным, если не беспредметным.

Для Ходасевича форма всегда и прежде всего содержательна. Ее изъяны не недостаток «техники», но следствие несложившейся, недодуманной мысли и невнятного либо банального чувства. И критик обращается к в н и м а т е л ь н о м у читателю (то есть именно к тому, для кого и творится литература), нимало не опасаясь «затруднить» его размышлениями о таких сугубо «формальных» вещах, как рифма, ритм, звук. Потому что нет иного пути к выяснению «содержательной» задачи, стоявшей перед художником, и к выводу, насколько успешно и полно она решена.

Тут опять-таки уместна проекция на опыт Ходасевича-поэта. В январе 1925 года в ответ на восторженную оценку, данную Вячеславом Ивановым его четвертой книге «Тяжелая лира», Ходасевич писал: «Сейчас я сколько ни пробую писать — ничего не выходит. Отчетливо чувствую, что прежняя моя форма должна быть как-то изменена, где-то надломлена. Однако ни вычислить угол и точку надлома, ни натолкнуться на них в процессе работы мне все никак не удается. Не скрываю от себя и того, что сей «кризис формы» корнями уходит, конечно, глубже, что должно мне сейчас разрешить для себя ряд других проблем, которые, вероятно, автоматически приведут к разрешению формальной. Но это — дело трудное и затяжное». Ни слова — «о содержании». Однако очевидно, что речь — о нем. Это в него «корнями уходят» мысли о форме.

В 1927 году, рецензируя «Собрание стихов» Ходасевича, Сирин (В. Набоков) писал о «дерзкой, умной, бесстыдной свободе плюс правильном (т. е. в некотором смысле несвободном) ритме», что «и составляет особое очарование стихов Ходасевича». И о «мастерстве и острой неожиданности образов», которые «оказывают какое-то гипнотическое действие» на читателя. Назвал поэзию Ходасевича «п р о з о й в с т и х а х».

Десять лет спустя Ходасевич, «зазывая публику» на творчество Сирина, заговорит в первую очередь о природе творчества вообще, о том, что «формальный и смысловой элемент искусства для него (художника.— **В. П.**) неразделимы и потому равноценны», что «искусство не исчерпывается формой, но вне формы оно не имеет бытия и следственно — смысла»...

И замечательно, что, именно анализируя творческую манеру Сирина, его отношение к форме, к слову, вглядываясь в путь, уже пройденный писателем, критик рискует предсказать, он «почти уверен, что Сирин... когда-нибудь даст себе волю и подарит нас безжалостным сатирическим изображением писателя». Потому что это «было бы вполне естественным моментом в развитии основной темы, которою он одержим». Иначе говоря, отчасти предугадывается появление уже выношенного в эту пору Набоковым «Дара» и определенно предвидится много позже, уже после смерти Ходасевича, написанный по-английски роман «Бледный огонь»...

Историзм мышления, мастерское владение анализом художественного текста, не разрушающим единства формы и содержания, «игривый яд» (Набоков) и стилистическая ясность изложения до конца додуманных мыслей, наконец, органическое ощущение противящейся распаду связи времен, позволяющее с весьма высокой точностью прогнозировать будущее,— вот эти качества и делают такою современной критическую прозу Ходасевича. С ним можно соглашаться или спорить, или даже отрицать его выводы и оценки. Но чтение его увлекательно и плодотворно.

*Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР*



# Памятник прошедшему времени

•

**Андрей Битов. Пушкинский дом.** Роман. «Новый мир», 1987, №№ 10—12.

•

Древняя мудрость верна относительно не только реки, но и книги: нельзя дважды войти в один и тот же роман. Роман протекает сквозь время и читательское восприятие, переливаясь, видоизменяясь, живя своей жизнью.

Я трижды читал «Пушкинский дом» почти с равными промежутками времени. Впервые где-то в середине семидесятых в виде рукописи. Второй раз на «застойном» пороге восьмидесятых: замечательный шрифт и не менее замечательная золотисто-красная обложка ардисовского издания. Третий раз — в трех новомировских номерах — только что.

Впервые читал взахлеб и действительно захлебнулся. «Пушкинский дом» был настолько умен и масштабен, что трудно было не сравнить (в духе традиции, из которой вытекал роман) себя с Евгением, роман — с Медным всадником. Создать нечто такое, что было бы продолжением русского романа XIX века, его достойным развитием, отчасти обобщением, своего рода отечественным «метароманом»... не это ли мечта каждого талантливого писателя-современника? Битов воплотил эту мечту в безукоризненно выполненный текст, размеченный и прописанный так, что его архитектоника перекликалась с архитектурой места действия. И потом: те мысли, которые в недодуманном состоянии толкались в уме и выплескивались в «кухонных» спорах, здесь были не только додуманы — они были запечатлены. Высказаны спокойно, решительно, резко, в лицо времени, неготовому их принять. Смелость автора завораживала. Роман был написан в никуда, то есть, на жаргоне эпохи, «в стол». Пленяла не только воля автора, взявшегося за безнадежное дело безадресного письма, но и его гражданская смелость, которой мы все понемногу в шестидесятые годы пытались учиться, но оказались не то недоучками, не то нерадивыми самоучками, что, впрочем, одно и то же. Смелость, однако, нередко вела к безрадостной правде. Битов, наверное, первым или одним из первых в современной прозе заговорил о слабости человека, о его душевных пределах, эмоциональном «оледенении». При этом он не желал удовлетворяться расхожими объяснениями душевной импотенции: мол, жизнь груба, среда заела. Дело не в форме существования, а в природе существования. Коли среда заела (Леву Одоевцева, его родителей, почти всех поголовно), значит, смогла заесть. Сила среды оказалась равновелика слабости человека: «Господи! Какие мы все маленькие!» — восклицал Битов в другой повести. «Пушкинский дом» был о том же. Однако дед героя приносил с собою — привозил из лагеря! — надежду. Он выламывался из среды — меня восхищал его образ. Вместо предполагаемых проклятий сталинизму дед с помощью автора, ведающего о том, что он делает, обнажал перед читателем свою живую, неуправляемую душу; дед бунтовал не в социальных рамках, а в экзистенциальных безднах. Трещали либеральные стереотипы — тоже авторская заслуга. Вообще при первом прочтении меня захватила стихийность (несмотря на архитектонику!) книги, вымысла, авторского ума.

Второе прочтение как-то невольно оказалось более «отчужденным» (все-таки второй раз!) и потому, наверное, более «историческим». Я почувствовал силу битовского таланта в точности, в той самой традиционной реалистической верности детали, при которой героя, антигероя, героинь видишь, как на фотографии, подробно: от галстука до чулок. Я оценил значение битовского соглядатайства, разделенного по-братски с героем. Однажды к Леве на дачу приехала нелюбимая женщина, привезла «какие-то дурацкие пастилки в шоколаде и бутылку кислого вина. Лева холодно и тупо погасил свет. И странно, ничего не чувствуя, ничего, кроме власти, именно о в л а д е л Альбиной. Будто разглядывал себя сверху, будто висел под потолком и мстительно наблюдал механический ритм покинутого им тела...» Под потолком висел и автор; это была его «точка зрения», не божественная, как у Толстого, а человеческая, «слишком человеческая».

Зато смущали литературоведческие неточности, промахи в изысканиях образованного героя, за которые, впрочем, автор не нес непосредственной ответственности. В романе же мне стало не хватать именно стихийности. Все было определено, схвачено в кольцевую композицию, и первоначальный план проступал в окончательном тексте. Было ясно, что героям заданы характеры и никуда им от них не деться: ни Леве — от его интеллигентского полугнилого нутра, ни Митишатьеву — от его бесовщины, ни женщинам — от жестких вариантов их женских натур. Роман «стекленел», он выглядел чуть насмешливой игрой с психологическим понятием «характер» в русском реализме. Но нет, автору была ближе роль стилизатора, нежели «концептуали-

ста»: в тексте то там, то здесь (особенно в первых главах) возникали знакомые интонации (скажем, А. Белого, автора «Петербурга»), не обыгранные, а облюбованные.

В третий раз, теперь, прочитав роман, я увидел в нем — и это, наверное, окончательное видение — памятник. Памятник «шестидесятничеству». В романе схвачен весь комплекс «шестидесятничества», его нравственный код: мы — они, честный — стукач и т. д., его социальный акцент: никто не свободен от общества ни в чем, даже в бунте и дури. Все им обусловлено. От этого «душно», зато достоверно. Многие иллюзии «шестидесятничества» обнажены (это ожидание истины, которая родится в споре), равно как и обнажен его эгалитаризм, разночинный, или, пользуясь авторской терминологией, «плебейский», пафос, убежденность в народности ума и, соответственно, налет скептицизма по отношению к «ненародности», аристократизму (неожиданно злобный выпад против аристократии в первой части романа удивляет не позицией, а категоричностью). «Пушкинский дом» — это памятник «шестидесятничеству», возведенный блистательным «шестидесятником», не его идеологом, не его критиком, а его свободно мыслящим современником. Оттого этот памятник и вышел адекватным эпохе; художественная картина оказалась подлинной не только по результату, но и по способу изображения.

Слабость же основной авторской концепции оказалась именно в том, где первоначально я увидел ее силу: развитие литературной традиции, какой бы монументальной она ни была, не может быть линейной, а подразумевает, если вспомнить Набокова, «ход конем», то есть «метароман» рождается при гораздо более фундаментальном переосмыслении художественного опыта прошлого. Ведь отстаивая в теоретической главе форму прошедшего времени (в данном случае глагольную форму) как незыблемую основу романа, автор, по сути дела, возводит памятник прошедшему времени самого романа, роману прошлого с его устойчивой и непоколебимой «точкой зрения», психологичностью, «характером» и т. п.

«Пушкинский дом» — роман интеллектуальный, то есть основанный на уверенности автора в возможности рационалистического охвата действительности, когда творческая интуиция лишь служанка разума, обеспечивающая так называемую художественность. Диктатура авторитарного ума, присутствующая в романе на всем его протяжении, не ослабляется ни написанием слова «бог» с большой буквы, ни метафизическими тревогами героя и автора, чувствующего глухую пустоту рационально упорядоченного мира (это чувство есть и в «Птицах» и вообще везде в битовской прозе), но не видящего — потому-то он и «шестидесятник» — выхода из этой упорядоченности. А этот выход прежде всего в ином отношении к слову. У Битова слово романа — инструмент писателя; оно подчинено его задачам и не значит больше, чем ему определено по заданию. Вот почему сюжет равен сюжету, характер — характеру, стиль — стилю. В этом «Пушкинский дом» есть нечто прямо противоположное поэтике Платонова, когда автор — инструмент слова, отпущенного на свободу, когда слово богаче любого смысла, вложенного в него не только читателем, но и самим автором. Наконец, создание романа-музея не дает эффекта «одомашнивания» культуры, единственного эффекта, позволяющего автору чувствовать культуру «как собственные штаны», уйти от «литературности». Вот почему на битовский роман оказывают сильное давление токи «оттепели», информационного бума, политической свободы. Романное слово Битова в новой ситуации стремится к самоочевидности, порой к обидной банальности.

При всем том памятник «шестидесятничеству», этой странной эпохе, когда жизнь клали на заужение брюк, раздвигая рамки свободы (о чем прекрасно сказано в романе),— необходимый историко-литературный монумент, возведенный надолго.

**Вик. ЕРОФЕЕВ**

---

# Незаживающее прошлое

•

**Булат Окуджава. Из лирической тетради.** «Дружба народов», 1988, № 1; **Бесшумная эскадрилья.** Стихи. «Новый мир», 1988, № 2.

•

Как писала критика о Булате Окуджаве? Сначала не писала вообще, делала вид, что такого нет. Из каждого окна неслись его песни, его голос, но критика оставалась безгласной. Потом стали появляться критические отзывы — большей частью уклончиво-настороженные. Не было таких разгромных статей, после которых, кажется, уже и печататься нельзя. Но автору песен (а потом и исторической прозы) давали понять, что все это не то или не совсем то, что нужно. Третий период, нынешний, я бы назвал порой мажорных восклицаний и междометий. Дружно заговорили о «нашем дорогом», а то и о «нашем любимом».

Хорошо, конечно, что отброшены былая предвзятость и недоброжелательность. Плохо, что все еще мало аналитических статей, разборов. Чаще эмоциональные всплески. Откровенно говоря, пишу это и боюсь, что с появлением моего отклика еще одним всплеском станет больше.

Надо сказать, что наше представление об Окуджаве-лирике во многом основывалось на его песнях. Например, его «Последний троллейбус» мы узнали как песню и отдельно как стихотворение уже не вспоминали. В самом деле, попробуйте произнести: «Когда мне невмочь пересилить беду...» и при этом отвлечься от мелодии — ничего не получится. То же самое с любыми другими стихотворениями-песнями: «Ах, война, что ты сделала, подлая?», «Виноградную косточку в теплую землю зарою», «Во дворе, где каждый вечер все играла радиола», «Вы слышите, грохочут сапоги», «Глаза, словно неба осеннего свод», «Девочка плачет», «Из окон корочкой несет поджаристой», «Моцарт на старенькой скрипке играет», «Не бродяги, не пропойцы», «Пока земля еще вертится».

Все это не только памятно-напевно, мелодично, песенно. Это еще и талантливейшие стихи! И напоминают они не кого-то другого, а именно Булата Окуджаву, и только его.

Два лирических цикла, о которых пойдет речь,— это, похоже, в первую очередь стихи, а не песни. Перед нами не просто некая россыпь стихотворений, а именно циклы. Первый связан с темой «культа», второй — с темой войны.

Цикл «Из лирической тетради» начинается с детских воспоминаний:

Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость, и его простор,
и аромат грошового обеда.
И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.

Резким контрастом к этим идиллическим строкам звучат слова идущих вслед стихотворений: «Ну что, генералиссимус прекрасный? Лежишь в земле на площади на Красной... Уж не от крови ль красная она, которую ты пригоршнями пролил, пока свои усы блаженно холил, Москву обозревая из окна?»

Поэт посвящает стихи «Памяти брата моего Гиви», которого столкнули с откоса — «будто рюмочку с подноса, будто вправду невзначай?». Здесь же очень сложное по интонации «Письмо к маме». Начинается оно так:

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне — намордник, воля — за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат...
Прости его, мама, он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

В «Письме к маме» — злая ирония над преступниками, которые творят свои темные дела под прикрытием слов обо «всем народе».

В стихотворении «Мой отец», посвященном памяти расстрелянного отца, начинается тема, которая затем пройдет, нарастая, сквозь весь цикл.

И время отца моего молодого печальный
развеяло прах,
и нету надгробья, и памяти негде
над прахом склониться рыдая,
а те, что виновны в убийстве, и сами
давно уже все в небесах.



И там, в вышине, их безвестная стая
кружится, редея и тая.

Убийцы превратились в «безвестную стаю», их нет, а стало быть, нет возмездия. Вот один из самых главных и самых печальных мотивов лирического цикла Булата Окуджавы.

Время бежит, и свирепые преступники, лиходеи, садисты уходят на покой, а потом и на вечный покой, а раны не заживают: «Убили моего отца не за понюшку табака. Всего лишь капелька свинца — зато как рана глубока». Эта рана, говорит поэт, «еще во мне», «наверно, и подохну с ней...».

Вспоминаю рассказ моего хорошего знакомого, писателя Валерия Аграновского. В одной командировке он оказался на Севере как раз в том месте, где прежде находился в заключении его отец, известный фельетонист. Он разыскал бывшего начальника лагеря, который особенно зверствовал, избивал отца. Нашел беспомощного старика, только что после инфаркта. Узнав, что перед ним журналист, старик стал просить от прессы помощи и заступничества, долго жаловался на местную больницу. Какое уж тут возмездие?

Не об этом ли пишет Окуджава в стихотворении о «старике», убившем его отца:

То в парке, то на рынке, то в трамвае
как равноправный дышит за спиной.
И зла ему никто не поминает,
и даже не обходят стороной.

Кончается стихотворение тем, что убийца «все смотрит, смотрит, не мигая, на круглые затылочки внучат».

Есть у нас такое романтическое представление: прямая линия рассекает мир на добро и зло, на жертв и палачей, на убиваемых и убивавших. Однако чем страшнее дела творились в прошлом, тем трезвее, яснее, объективнее должен быть взгляд на него. Можно себе представить, как залились бы слезами внучата, когда от них увели бы деда-убийцу. И я не могу сказать, что не было бы жаль этих ничего не ведавших и ни в чем не повинных детишек. Цикл стихотворений Окуджавы — о незаживающем, о прошлом и настоящем, которое не может до конца излечить эту рану. Но кончается цикл совершенно неожиданно: «По-моему, все распрекрасно, и нет для печали причин...» «Все распрекрасно» — это как тихий возглас: «Ничего» или «Переживем», «Перебьемся». Слова эти произносит человек, утирая пот, кровь, слезы.

Это манера Окуджавы. Она исполнена доверия к читателю, который все понимает не буквально, не буквоедски.

«Пусть память — нелегкая служба, но все повидала Москва, и старым арбатским ребятам смешны утешений слова...» В этом, видимо, все дело. Не заживают раны, и нет возмездия, но не надо утешающих слов. «Память — нелегкая служба...».

Второй цикл стихотворений поэта — «Бесшумная эскадрилья» — так же цело-

стен, внутренне собран. Смелый образ: бесшумная эскадрилья надежд, которые остаются витать в небе после гибели солдат. Образ этот сродни гамзатовским «журавлям». Но только Окуджаве, верному принципу заземленной романтики, призрачные эти видения кажутся «эскадрильей».

Война все еще стоит близко, как огромная гора, как Арарат. Кто бывал в Армении, видел эту гору, одновременно далекую и близкую, помнит вид горы, даже не вид, а взгляд горы. Вот так смотрит на нас в упор война.

Стоит июль во всей своей красе,
за поворотом женщина смеется,
но шаг — и стратегическим шоссе
дорожка и дому обернется...

...Где родились мы? Под звездой какой?
Какие нам определяют силы
носить в себе и ярость, и покой,
и жажду жить, и братские могилы?

Прошлое как будто возвращается, настигает нас. Какое-то непреходящее прошлое, не минующее минувшее, не отстающее от настоящего ни на шаг. И это связывает два цикла. «Культ» и война — темы, которые друг от друга оторвать невозможно. Помещенные в разных журналах лирические циклы Булата Окуджавы посылают друг другу сигналы, взаимно откликаются, как созвучья. Думаешь о том, что воспоминания и надежды внутренне родственны. Воспоминания — это наши надежды, обращенные в прошлое.

З. ПАПЕРНЫЙ

---

# Сшибка страстей

●

**В. Арро. Колея.** Л., Советский писатель, 1967.

●

В списках драматургов так называемой «новой волны» одним из первых часто называют Владимира Арро (и дело тут не в алфавите). Если бы наш театр и кровно связанная с ним драматургия развивались нормально, естественно, то новое, то есть молодое, поколение, в свой черед вступившее на сценическую стезю, непременно принесло бы юношеский максимализм и задор, неожиданные, может быть, бунтарские, театральные идеи, заражая читателей, актеров, зрителей молодой энергией, оптимизмом, свежестью, короче — «бурей и натиском». Ровно ничего из этого наша «новая волна» не принесла. Потому что в театр пришли не юноши со взором горящим, а «молодые» люди — родители взрослых дочерей и сыновей. Люди, досыта и с лихвой хлебнувшие многолетних жизненных передряг, прорвавшиеся к своему призванию и признанию через множество рогаток и барьеров, на которых, как клочья одежды, остались и оптимизм, и свежесть, да и молодость... Но они пришли не опустошенными. Они принесли острый и трезвый взгляд на жизнь — порой гневный, порой саркастический и злой. Принесли чувство тревоги и желание очистить души людей и все общество от равнодушия, лицемерия, от извращенной морали.

Поздний приход писателя в литературу (в том числе драматическую) вынуждает его отказаться от всего побочного, второстепенного, заставляет говорить только о главном, о сути, торопиться крикнуть: «Смотрите, кто пришел!» — имея в виду не собственную персону, конечно, а своих героев, сверстников, свое поколение.

Все сказанное относится к Владимиру Арро с той оговоркой, что это лишь «генетический код» его творчества, нуждающийся в расшифровке.

Он провел детство в предвоенном Ленинграде — под колоннадой Исаакиевского собора, у Медного всадника, на невской набережной; вступление в жизнь было праздничным. Потом — исчезновение многих родных, блокада, эвакуация на Урал, что в биографии духовной сказалось осознанием драматизма и горечи жизни. Но не зачеркнуло памяти о празднике, веры в его возможность. Наверное, именно из этого сложилось мироощущение писателя: из понимания трагичности жизни и веры в то, что все-таки достижимы гармония и счастье.

Арро стал детским прозаиком, выпустил полтора десятка книг. По его признанию, вновь и вновь пытался вернуть прерванное детство, доигрывая веселые довоенные игры, делясь довоенным счастьем с новыми поколениями. Но время шло, вычерпывая ресурс веселости и склоняя поколения к играм иного рода, отнюдь не радостным. Наступала пора определить отношение к новым временам. На мой взгляд, Арро сделал это уже в «Высшей мере» — своей первой пьесе, написанной в 1976 году,— хотя ее события датируются годами блокады Ленинграда.

К высшей мере приговаривает трибунал двух людей, чья вина не доказана. «Прокурор: ...Судебную волокиту жители города нам не простят!.. Ради победы... мы должны показать сегодня, что в нашем окруженном, истекающем кровью городе ни одному расхитителю, ни одному мародеру пощады не будет!» Напрасно молодой адвокат Кислицына пытается воздействовать на трибунал доводами разума и «довоенными» нормами уголовного права. Второй адвокат, знаменитый Темин с усталой иронией смотрит на ее бесплодные усилия. «Да! Я циник! Девочка моя, я устал делать вид, будто я управляю справедливостью!» — отвечает он на упреки Кислицыной. Подсудимых приговаривают к расстрелу. По пути из здания, где заседал трибунал, в центр города председатель трибунала



Шевляков, адвокаты, подсудимые, конвой попадают под бомбежку, укрываются в доме, бомба накрывает его, и все они в западне. Их завалило, и шансов на спасение почти нет. И суд начинается снова — не по скорострельным меркам неправого судилища, а по высшей мере — совести.

«Я выполнял свой долг!» — оправдывается Шевляков.— «И до войны, и всегда. Я начал войну раньше вас. Я всегда был лицом к лицу с врагом, какие бы обличья он ни принимал!.. И если хотите знать, почему войска стоят насмерть, а в городе нет паники и капитулянтских настроений, так это только благодаря нашей твердости и непримиримости!» «Не смейте!» — перебивает Кислицына.— «Войска стоят насмерть, а в городе нет капитулянтских настроений лишь потому, что каждый боец, каждый житель по доброй воле, по приказу сердца, по приговору совести поклялся не отдавать город. А вы им не верите. Скажите, почему вы позволили себе... нам не верить? По какому праву вы лишаете нас осознанной силы и даете взамен неосознанный страх перед вами?» Даже в ожидании смерти не могут они примириться... Но их спасают. Они выходят из завала, приговор остается в силе, и продолжится жизнь, в которой снова будут сталкиваться честь и бесчестье, вера и скептицизм, трусость и мужество, правда и ложь...

Арро не открыл нам каких-то новых истин, он показал один лишь эпизод извечной борьбы добра и зла. И хотя время действия далеко отстранено от нас, тема — одна из острейших не только для 76-го года, но и на сегодняшний день. Если в сверхэкстремальных условиях блокады все-таки были люди, считавшие, что правду и закон нельзя попирать ни при каких, самых страшных и кровавых обстоятельствах, люди, с риском для жизни отстаивавшие эту правду, то что уж говорить о других временах и условиях, куда более спокойных и комфортных, когда правда и закон тем не менее становились служками корысти и амбиций...

Арро не облегчил себе задачу, не изобразил носителей зла в карикатурном виде. Его Шевляков — человек не глупый и не подлый. Он действует, исходя из собственного, искаженного представления о том, что полезно, считая, что правда и справедливость — понятия гибкие, зависящие от неких «высших интересов». Он воспитан так, что *искренне* верит: правда должна служить обществу, и если его руководители думают, что не всякая правда хороша и полезна, то, стало быть, следует поменять эту правду, исправить на другую, лучшую и полезную. Шевляков *искренне* не понимает, что любая «исправленная» правда суть ложь, а значит, служить она может только подлым интересам, и если общество нуждается во лжи, то оно обречено рано или поздно сгнить. Повторяю: Шевляков не глуп и по-своему честен. И тем трагичней неизбежно будет его судьба. Мне кажется, что финал именно этой судьбы прослеживает Арро в нерадостной старости 75-летнего Алексея Дементьевича Пришивина, героя пьесы «Колея» (1985). Пришивин тоже честен, он прям и бескомпромиссен и в то же время непоправимо несчастен. Это как будто Шевляков, оказавшийся на развалинах жизни, которую долгие годы самоотверженно строил по своим правилам.

В «Колее» нет столь острых поворотов, как в «Высшей мере». Нам показан один вечер в семье Пришивина: две дочери, внук, внучка... Вроде бы обычная интеллигентная семья, не захваченная, скажем, пьянством, коррупцией, взаимным равнодушием или каким другим пороком. Но увы, не семья это, а руины. Говорит Нелли, дочь Пришивина: «Давно, много лет назад, мне казалось, что мой дом — это весь мир. Я изучала эсперанто... Потом размеры его сузились до города: улицы, джаз-клубы, кафе. Дальше моим домом стало издательство... Ну, а теперь у меня нет дома... Это? Квартира. К тому же, как видите, не очень прибранная... Просто мерзкая, если честно сказать!.. Сюда приходят ночевать и трепать друг другу нервы... Мы вообще утратили понятие дома: дружного, надежного, теплого. А нет дома — нет и семьи. А нет семьи... и ничего нет!» Кто виноват? Срываясь, Нелли обвиняет отца: «Он видите ли, воспитывал не внука, а поколение и чуть не каждый день возвращался домой в пионерском галстуке... У нас их на целую дружину!» А вот голос Наташи, сестры Нелли: «Я ведь предупреждала! А ты смеялась! Так подумай теперь, стоило ли смеяться!.. Вы духовной пищей питаетесь, мы — материальной!.. Вы романтики, философы, по ночам о дзэнбуддизме, мы технократы — ложимся рано... Ну так на, жри!.. Мы не философствуем, нет. У нас для сына — режим, спорт и английский... Зато у меня семья!» Правда, при этом у нее и любовник... Это пьеса о непонимании между сестрами, между отцом и дочерьми, между матерью и детьми, между дедом и внуками. Все не понимают всех, все разделены, хотя и тянутся к пониманию, к любви... Но, наверное, поздно, и гармония для них уже не достижима: слишком долго не тем богам молились, слишком долго была перемешана иерархия ценностей, в которой дом, семья, любовь оказались загнаны в самый конец... Слишком долго жили «исправленной», шевляковской правдой, а она и привела на руины, в тупик.

В сборнике «Колея» шесть пьес, но я не буду разбирать их поочередно. «Смотрите, кто пришел!» (1981) — достаточно известна по спектаклю, ярко поставленному Борисом Морозовым в Московском театре имени Маяковского (показанному и по телевидению). «Синее небо, а в нем облака» (1983) — по-моему, забавная и трогательная шутка на тему женской

любви и верности. Арро не чужды ни юмор, ни добрая ирония. В этой пьесе, так же, как и в «Пяти романсах в старом доме», он вновь говорит о поиске гармонии, но берет иные краски — не трагичные и не мрачные, прибегая к гротеску и фарсу, к веселому розыгрышу.

«Сад» (1979)... Молодые строители города на заре его жизни вместе заложили сад: символ юности, символ общности и солидарности, символ счастья, и в то же время вполне реальное место общего отдыха и сбора урожая, делимого на всех. Но прошло время, город сильно вырос... И сад стал невыгоден: дорого его содержать. Руководство города решает... Нет, не уничтожить, а просто разделить его на частные участки. Сад сохранится, погибнет лишь символ: велика ль беда? Вокруг этой коллизии и строится пьеса об утрате романтического видения мира, о времени, меняющем многих людей и критерии нравственности... «Птицы нашей молодости теперь не прилетят никогда!» — говорит тот, кто принял решение о дележе сада — первостроитель, ныне председатель горисполкома Арнаутов. «На свежую голову прикинешь — вроде экономика, финансы... А про себя все время помнишь — молодость! Чистый порыв этот сад. Бескорыстный. Наивный». И он не лицемерит — он существует в двух непримиримых шкалах ценностей одновременно. В прежней, где молодость и птицы, и в нынешней, где затраты и рентабельность...

Мне нравится в пьесах Арро то, что он не оглупляет тех, чьих взглядов не разделяет. Он сознательно не берет в противники огурцовых и держиморд. В его пьесах сталкиваются системы мировоззрений, каждая из которых имеет свою логику, свои социальные, исторические корни. Например, Шевляков представляет недавно народившуюся, агрессивную и пока побеждающую шкалу ценностей, тогда как Кислицына отстаивает ценности вечные, непреходящие; Пришвин — побежденный сторонник рушащейся системы взглядов, а его дочь Нелли — жертва этого обвала; Арнаутов остро чувствует смену вех, она больно режет его душу... Арро исследует промежуточные состояния людей и социальных явлений, рассматривает моменты слома, перехода. Он говорит о своих пьесах: «Люблю острый конфликт, когда доводишь героев (и сам с ними доходишь!) до края и с ужасом глядишь вниз, в эту пропасть... Люблю диалогическую форму, когда из безобидных вроде бы фраз вызревает, рождается мощная сшибка страстей». А какая пропасть глубже той, которая разверзается перед человеком, теряющим веру? И какая страсть мощнее той, которая подымает человека на бой за свою веру?..

Книга Арро читается на едином дыхании, и в каждой пьесе — стремительная спираль сюжета, плотно насыщенного столкновением идей. Но, несмотря на легкость чтения, это не веселая и не легкая книга. Нет, автор не «берет на испуг». Он просто трезво и с тревогой смотрит на мир, ни на миг не теряя веры в возможность гармонического существования людей.

«Новая волна» бросила на театральный брег немало талантливых драматургов. Владимир Арро выделяется среди них особо пристальным и серьезным вниманием к тому, как движение времени отражается в душах людей. Он требует раздумья и понимания.

Георгий ВИРЕН

Главный редактор А. А. АНАНЬЕВ.

Редакционная коллегия: Г. В. БУДНИКОВ (зам. главного редактора), В. В. ДЕМЕНТЬЕВ, Р. Т. КИРЕЕВ, Д. Ф. КРАМИНОВ, Н. Д. КРЮЧКОВА, А. Н. КУРЧАТКИН, В. М. ЛИТВИНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ (первый зам. главного редактора), И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь), В. Д. ПОВОЛЯЕВ, А. А. ПРОХАНОВ, В. Я. САВАТЕЕВ, И. Е. ФИЛОНЕНКО.

Технический редактор И. П. Калачева.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 28.04.88. Подписано к печати 02.06.88. А 01504. Формат $70 \times 108^1/_{16}$.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 250 000 экз. Заказ № 2411.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.